ИНОСТРАННАЯ литература

4
1970

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

Иностранная литература

Издательство «Известия»
Москва

АПРЕЛЬ
1970

СОДЕРЖАНИЕ

ЛУИС ФЮРНБЕРГ — Вселенский гимн *(Фрагмент поэмы)* 5
РАФАЭЛЬ АЛЬБЕРТИ — 1917 *(Стихи)* 11
УИЛЬЯМ БЕЙЛИ — Ветер рождает бурю *(Повесть)* 12
ФРАНТИШЕК ГАЛАС — *Стихи* 54
ТЕ ХАНЬ — У Мавзолея Ленина *(Стихи)* 58
ЛЭНГСТОН ХЬЮЗ — *Стихи* 59
ЭРИКО ВЕРИССИМО — Пленник *(Роман)* 62
КИЛКО УАРАК-КА — Встреча *(Стихи)* 151
МАХДУМ МОХИУДДИН — *Стихи* 153
МУЛУД ФЕРАУН — Дни Кабилии *(Главы из книги)* 156
БЛАС ДЕ ОТЕРО — *Стихи* 187
ЖОЗЕФ КЕССЕЛЬ — Побег *(Рассказ)* 190

Критика

Е. КНИПОВИЧ — Читая Ленина 208

Анкета «Иностранной литературы»

АЙВОР МОНТЕГЮ. ГЕОРГИЙ КАРАСЛАВОВ. ЛАСЛО КАРДОШ. ЭРВИН ШТРИТТМАТТЕР. ФРАНЦ ФЮМАН. САДЖАД ЗАХИР. РЕНАТО ГУТТУЗО. НИКОЛАС ГИЛЬЕН. АНХЕЛЬ АУХЬЕР ЛОДОЙН ТУДЭВ. ЮЛИАН КАВАЛЕЦ. ТАДЕУШ БРЕЗА. ДЕМОСТЕНЕ БОТЕЗ. НИНА КАССИАН. СИДНЕЙ ФИНКЕЛЬСТАЙН. ХЕСУАЛЬДО. ПЬЕР ГАМАРРА. ИРЖИ ТАУФЕР. ЛАДИСЛАВ ШТОЛЛ. ЛУИС ЭНРИКЕ ДЭЛАНО. МЕША СЕЛИМОВИЧ. АЛЕКС ЛА ГУМА. ХИРОСИ НОМА 220

Изобразительное искусство за рубежом

Плакаты Венгерской советской республики (цветная вклейка)

Публицистика

МИРОСЛАВ КРЛЕЖА — «Лениниана» 241

Наши публикации

ЛУИС ТЕХАДА — Пылающее слово ЖАН-РИШАР БЛОК — Мысли француза о Ленине 250

Среди книг

Издано в СССР. Издано за рубежом

Г. Злобин — Лениниана продолжается. ◇ Борис Слуцкий — Встречи с Владимиром Ильичем Лениным. ◇ Арсений Рутько — С мыслью о Ленине. ◇ Ю. Цветков — Тысяча строк о Советской России. ◇ И. Голик — Путь к Ленину. ◇ Б. Гиленсон — Логика жизни. ◇ И. Васильева — Вся жизнь — в борьбе. ◇ Л. Архипова — Просто Хуан Чакон 254

На всех континентах 274

■

На обложке: плакат венгерского художника Едена Данко «Защити власть пролетариев!». Будапешт, 1919 г.

К 100-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
В. И. ЛЕНИНА

В. И. ЛЕНИН. Рисунок кубинского художника Педро де Ораа.

ЛУИС ФЮРНБЕРГ

■

Перевод с немецкого ЛЬВА ГИНЗБУРГА

Вселенский гимн

Меж былью и небылицей
в начале моей весны
я жадно читал страницы
невиданной новизны.

С горячих полей сраженья,
где лязгал и выл металл,
тревожный ропот б р о ж е н ь я
до мальчика долетал.

Произнесенные шепотом,
ветер гасит слова...
Вспугнута грохотом, топотом,
земля ни жива, ни мертва.

Кресты, обелиски, надгробья,
тяжесть чугунных плит.
...Что зреет в земной утробе?
Что время в себе таит?

Терпенье веков на пределе —
история втоптана в грязь...
И в этом гигантском борделе
пирует сановная мразь.

Летом 1957 г. известный немецкий поэт Луис Фюрнберг писал поэму «Вселенский гимн», посвященную 40-й годовщине Великого Октября. Поэма осталась незаконченной: Фюрнберг умер скоропостижно, в самый разгар работы. Впоследствии, на основании оставшихся черновиков, финальные главы были дописаны другом и учеником Фюрнберга — Кубой. На русском языке первые страницы поэмы, принадлежащие перу Луиса Фюрнберга, публикуются впервые.

Что завтра свершится, не ведают
ни царь, ни министр, ни поп...
Умеренность проповедует
западный филантроп.

И, не гнушаясь саном,
в чертов вступают круг
святейший Синод с Ватиканом,
как Шнейдер-Крезо и Крупп.

Да! Старого мира совами,
зыркающими в ночи,
будут мобилизованы
кликуши и палачи.

Все пригодится нечисти,
от золота до штыков,
чтобы из человечества
вырвать большевиков.

Сволочью генштабистскою,
скалящей клыки,
будут на Русь большевистскую
брошены волчьи полки.

Землю завалят каратели
грудами мертвых тел.
Социал-предатели
благословят расстрел.

Будут ночами морозными
виселицы скрипеть.
Вшами киша тифозными,
будут бараки хрипеть.

Белые генералы
в дугу мужичье согнут,
а господа либералы
смочат слезами кнут.

Мечты о свободе выкинь
из головы, батрак!..
Прет на Москву Деникин,
душит Сибирь Колчак...

В этой сплошной заварухе
вьются, как мошкара,
декаденты и шлюхи,
валютчики и шулера...

Вот некая балеринка
мяучит, котам под стать:
«Для Ленина «Мариинка»
отказывается танцевать!»

Мигом брильянты в шкатулку
и — в сад! Зарывай под куст!..
Шаги раздаются гулко.
Слышен паркета хруст.

На улице вой метели.
Пламень свечей погас...
Цыганские виолончели
плачут в последний раз...

Но в смутное пенье хора,
сквозь вымерший Петроград,
на крыльях грозы «Аврора»
внесла свой громовый раскат.

Бьют орудья громóвые,
разинув громадную пасть:
время настало новое!
Грядет советская власть!

Старое время пятится,
вечной ночи конец!
Песнь орудийная катится
прямо на Зимний дворец...

И словно невидимый некто
в точно назначенный срок
там, над Невским проспектом,
флагов пожар зажег!

Путиловский всеми домнами
пылает в рассветной мгле...
Те, кто были бездомными,—
хозяева на земле!

О, гордая песнь Советов!
Бессмертная песнь труда!
Словами первых декретов
накалены провода!

Мира! Земли! Хлеба!
Что взяли — не отдадим!
Рвется в высокое небо
земной пролетарский гимн.

Над мелким, над обветшалым
звени, разливайся рекой:
«С Интернационалом
воспрянет род людской!»...

Вот оно — единенье
миллионов сердец и рук!
Вот оно — сновиденье,
ставшее явью вдруг.

И будь я трижды поэтом,
будь строки мои крепки,
чем это — «ВСЯ ВЛАСТЬ
СОВЕТАМ!» —
не знаю я лучшей строки.

Я эти слова, как воздух,
всей грудью в себя вдохнул...
...Высокое небо в звездах.
Меняется караул...

...Смольный. Товарищ Ленин...
Его соратники с ним.
Грядущие поколенья —
мы видим его живым.

Солдаты, студенты, матросы,
мы входим в его кабинет.
И, слушая наши вопросы,
на всё он дает ответ.

Без царственных жестов
державных,
без позы, без пышных фраз,
как равный среди равных,
Ленин слушает нас.

К его приобщенные славе,
с ним связаны жизнью всей,
считать свою жизнь мы вправе
прекраснейшей из эпопей!.

Думаю, что едва ли
в любой уместится том
все, что о нем мы читали
или слыхали о нем.

Ленин в Казани и в Шушенском...
Ленин Октябрьской поры...
Ленин, читающий Пушкина...
Ленин средь детворы...

Звуча легендами, были
обходят материки...
«Синьора Дринь-дринь» не забыли
каприйские рыбаки...

Время не знало пощады...
Шел девятнадцатый год.
Россия — в кольце блокады.
Голод и недород.

И вот к товарищу Ленину
прибыли мужики
с подарками драгоценными —
с мешками ржаной муки.

Ленин их ласково встретил,
руки пожал он им:
«Мы голодающим детям
подарки передадим!»...

И каждый подобный случай
(не домысел и не слух)
в себе отражает могучий,
бессмертный ленинский дух.

Тут дело не просто в скромности,
которой он был велик,
а в безграничной огромности
понятия «большевик».

Горький рабочего Павлова
приводит слова неспроста:
Ленин — п р о с т, к а к п р а в д а...
Но как не проста простота!

Да, простота такая
в сложнейшем труде родилась.
В сущность эпох проникая,
жил он, уча и учась,

сердцем с массами связанный,
сам он был сердцем масс...
Каждое слово, им сказанное,
слышится и посейчас...

Лживые прочь идиллии!
Вечно во мне живи
гнева его всесилие,
ярость его любви,

зоркость и ясность зрения...
Ленинец, сберегу
ленинское презрение
к классовому врагу.

Любовью к людям охвачен,
Ленин был неумолим
к тебе, спекулянт и растратчик,
жулик и подхалим!

Бестрепетна трибунала
карающая рука...
...В учебниках слишком мало
об этом писали пока...

...Дела его нетленные
вошли в нашу плоть и кровь,
в черты п о в с е д н е в н о г о
Ленина
всмотримся вновь и вновь.

На пьедестале вечности,
над толпами вознесен,
во всей своей человечности
мне явственно виден он.

Масс миллионных вожатый,
он смотрит в простор мировой...
Но величавей всех статуй
о б л и к е г о ж и в о й...

■

РАФАЭЛЬ АЛЬБЕРТИ

■

Перевод с испанского ПАВЛА ГРУШКО

1917

В ту пору было мне пятнадцать лет,
и я из Кадикса, от волн родных,
от маленькой иссиня-белой бухты
спешил в далекий город на равнине.
В 17-м мне минуло пятнадцать.

В моей руке палитра живописца
была похожа на зеленый лист,
который грезит многоцветьем красок.
Жизнь наплывала девственным пейзажем.
Что знал я, что умел? Смешно и вспомнить:
писал сиреневою краской тени,
а белой краской — блестки на воде,
из солнца делал огненный подсолнух,—
таким я был...
Но на заре Октябрьской
вдруг появилось имя, и во мраке
над миром полыхнуло красным — Ленин.

Стихотворение «1917» известного испанского поэта Рафаэля Альберти написано в Риме в 1967 г.

УИЛЬЯМ БЕЙЛИ

Ветер рождает бурю

ПОВЕСТЬ

Вступление и перевод с английского В. ЛИМАНОВСКОЙ

Уильям Бейли — не профессиональный писатель. Он рабочий, докер, связавший всю свою жизнь с одной из самых боевых организаций американского пролетариата— Профсоюзом портовых грузчиков и складских рабочих Западного побережья США. Бейли занимает в его сан-францисском отделении выборный пост вице-президента.

Я встретилась с ним на общем собрании сан-францисского отделения, куда была приглашена как гостья из Советского Союза.

По внешности Бейли — типичный старый моряк, подвижный, сухощавый, с обветренным морщинистым лицом. Видимо, насмешник: глаза то и дело хитро щурятся. Ему далеко за 60. Кое-что в его биографии напоминает биографию героя его повести Нельсона. Он проплавал на судах более 23 лет и «с 1929 года,— заметил он,— без меня, кажется, не обходилась ни одна стачка моряков». В 1936 году он сражался в Испании— был пулеметчиком в батальоне Линкольна, участвовал во многих боях. Бейли по сей день много работает в порту и в профсоюзе, а по ночам пишет. Другое увлечение Уильяма — фотография. Но он снимает главным образом не море и закаты, а то, что может потом явиться документом истории: демонстрации и стачки, деятелей рабочего движения, снимает, как трудятся рабочие.

Недавно он прислал мне свою рукопись «Ветер рождает бурю», которая публикуется ниже в сокращенном виде. Вместе с рукописью Уильям прислал мне и письмо, выдержки из которого хочется здесь процитировать.

«Моя повесть задумана,— пишет Бейли,— как дань мужеству американских моряков, которые выступали солидарно с другими народами в решающие минуты, а в периоды великих бед и испытаний умели доказать свою отвагу. Я также хотел, чтобы рассказанное мною послужило примером для тех, кто испытывает разочарование в повседневной революционной борьбе, считая, что темп ее замедлен и приходится заниматься «обыденными» делами, якобы не представляющими большой важности. Между тем, если бы сложить все эти «обыденные» дела вместе, то получился бы весьма внушительный итог. Надо помнить, что подлинно значительные события совершаются лишь на основе прочного фундамента, заложенного теми, кто не гнушался «обыденной» работы. Пример тому русская революция. Она явилась великим событием, подготовленным кропотливым трудом народа...

Теперь несколько слов о фактах, положенных в основу моей повести. В сентябре 1919 года в порту Сиэтл грузилось для отправки в Россию американское торговое судно «Дилайт». Под невинной маркировкой в ящиках скрывалось оружие и военные материалы для американских экспедиционных сил под командованием генерала Грейвса. Но сочувствовавшие большевикам докеры отказались грузить и объявили забастовку. Она продолжалась несколько недель, а когда в конце концов судно вышло в море, были все основания предполагать, что из-за длительной задержки военный груз попадет уже «не в те руки». Возможно, это так и случилось. Хотя моя повесть не документальна, но я включил в нее события, имевшие место в действительности, и кое-что из своего личного опыта; кое-что я домыслил, и все вместе это составило мою книгу.

Писал я ее, рассчитывая на американских читателей — на рабочих, главным образом на моряков, но мне кажется, что она будет близка по материалу и рабочим в других странах, быть может, напомнит им что-нибудь из их собственного опыта. С замиранием сердца буду ждать выхода ее в свет на русском языке. Хочу надеяться, что те долгие часы, которые я провел за пишущей машинкой, не пропали даром.

Напоследок хотелось бы подчеркнуть мысль, побудившую меня дать такое название моей повести. В одиночку никому не раздуть дыханием и ветерка, когда же воедино сливается дыхание огромных масс, то поднимается вихрь. Таким вихрем, такой народной бурей была большевистская революция в России».

Я переводила эту повесть, написанную в сегодняшней Америке о событиях, происходивших полвека тому назад, когда в далекой России рабочие и крестьяне взяли власть в свои руки, и мне вспомнилось письмо, которое рабочие Сиэтла передали В. И. Ленину через матросов русского судна «Шилка» в конце декабря 1917 года. В письме есть такие строки, которые подтверждают достоверность чувств, побудивших героев Бейли поступить так, как они поступают в повести:

«Вы, русские рабочие, взяв в свои руки контроль и создавая новый общественный строй, творите больше, чем свое собственное будущее: вы вдохновляете и ускоряете революционное движение, подобного которому мир еще никогда не видал... Рабочие, оставшиеся до сих пор глухими ко всей нашей пропаганде, теперь радостно слушают нас...

...Пролетариат остального мира делает величайшие усилия, чтобы сбросить власть паразитов и установить такой же общественный порядок в своих странах».

Самый факт создания в США повести «Ветер рождает бурю» показывает, что и сегодня лучшая часть американского пролетариата воспринимает русский Октябрь как зарю Нового дня.

Глава первая

Среди морских специалистов «Американский сокол» считался одним из самых прочных судов во всем торговом флоте. История его такова. Он был построен немцами на громадных Кильских верфях в 1913 году и поначалу назывался «Франкфурт-на-Майне». Под этим названием он совершил свой первый и единственный рейс в Нью-Йорк.

А 6 апреля 1917 года, в день, когда «Франкфурт» должен был выйти из нью-йоркского порта в обратный рейс, Соединенные Штаты объявили Германии войну. Капитан решил затопить судно, чтобы оно не досталось неприятелю. До прибытия американских властей команда успела свинтить головки цилиндров с главного двигателя и выбросить их за борт, забить цементом насосы и, выключив воду, сжечь котлы; немцы были уже готовы открыть кингстоны и затопить судно, но тут на борт поднялись представители военно-морского флота США и реквизировали пароход. Хотя повреждения были серьезные, американские механики справились с ремонтом за несколько месяцев, и судно снова вернулось в строй.

Вот тогда-то «Франкфурт» и был переименован в «Американский сокол» и уже под американским флагом стал курсировать через Атлантику вместе с сотнями других судов, перевозивших военные грузы для американских экспедиционных сил в Европе.

Вскоре судно приобрело мировую известность. «Сокол» шел в составе конвоя, когда у него произошла поломка рулевой машины и ему было приказано отстать. Пока команда была занята ремонтом, пароход беспомощно болтался на волнах, и тут его выследил германский рейдер «Граф фон Эссен», охотившийся за отставшими от конвоя судами.

Полагая, что «Сокол» не вооружен, немцы подошли на близкое расстояние и навели орудия. Тогда на «Соколе» сорвали чехол с единственной трехдюймовой пушки, замаскированной порожней тарой, и выстрелили по рейдеру. Снаряд попал в кормовую часть рейдера. Там поднялась паника. Артиллеристы «Сокола» выстрелили снова. Второй снаряд угодил в цистерны с нефтью. Раздался взрыв, цистерны взлетели на воздух, нефть хлынула на палубу. Вспыхнул пожар. Объятый пламенем

морской разбойник пустился наутек. А на «Соколе» снова принялись за ремонт рулевой машины.

За смелые действия судно было отмечено в приказе военного министерства. В течение двух недель газеты всех стран мира писали о грузовом пароходе и его команде, печатали фотоснимки отважных моряков. Художники и карикатуристы всячески обыгрывали образ бесстрашного сокола, вонзающего когти в змею, которая символизировала немецкий рейдер.

С окончанием войны серую военную краску на «Соколе» заменили черной, и он опять стал обычным торговым пароходом. И вот теперь он входил в сан-францисскую гавань, проделав рейс из Нью-Йорка через Панамский канал за двадцать одни сутки. В трюмах его было пусто. В нью-йоркской конторе пароходной компании капитан получил приказ следовать с балластом в Сан-Франциско и принять там на борт некий груз, порт назначения которого ему тоже пока не сообщили. Все это капитану предстояло узнать на месте.

Стоя на левом крыле капитанского мостика, Роберт Бивер вводил свое судно в порт. Бывалый моряк, сорок лет проплававший на торговых судах, Бивер был капитаном «Сокола» около года. Когда-то в молодости, едва получив диплом капитана, Роберт Бивер приобрел собственную шхуну и, курсируя между южными островами Тихого океана, вел бойкую торговлю копрой. Но шхуна разбилась на рифах во время урагана, и на этом его карьера судовладельца окончилась. За недолгий срок пребывания на «Соколе» Бивер создал себе в глазах хозяев репутацию верного служаки. Из всех пароходов, принадлежавших этой компании, «Сокол» стал самым дешевым в эксплуатации. Расходы по ремонту двигателей и механизмов были умеренными и сравнительно редкими. Если механики не справлялись с работой, Бивер немедленно выгонял их и нанимал других. Если у кочегаров уходило слишком много топлива, он ругах их на все корки, а заметив нарушение вторично, говорил: «На следующей стоянке пакуй свои пожитки!» Бивер выгадывал на чем только мог и в особенности на желудках команды. Старшему стюарду он приказывал покупать мясо самых низших сортов. Полуголодный человек работает усерднее, чем сытый,— таково было убеждение Бивера.

Однажды во время рейса в Южную Америку он, придравшись к какой-то мелочи, привязал кочегара-панамца к мачте и, верный духу капитана Блая *, исхлестал его плеткой до полусмерти. Бивера привлекли к суду, но он сумел выкрутиться, заявив, будто кочегар замахнулся на него лопатой.

После этого случая кто-то окрестил Бивера «капитан Плетка», и эта кличка так и прилипла к нему. Но пароходная компания дорожила Бивером. За свою преданность он всегда мог рассчитывать на самые прибыльные рейсы, на самый выгодный груз. Потому-то, следуя на сей раз в Сан-Франциско, он не очень ломал себе голову над тем, что означает вся эта загадочность и какой груз ему предстоит принять. Бивер всегда считал, что начальство исполнено мудрости и печется об его интересах. А у себя на судне он хозяин, в его дела никто не вмешивается, и это — главное. Да и платят ему вовремя. А о рейсах и грузах пусть заботится начальство. Стало быть, нечего гадать, зачем его посылают в Сан-Франциско: вот уже порт, и здесь ему все скажут. Тем временем «Сокол» подходил к причалу.

— Право руля! — скомандовал капитан.

— Есть право руля! — ответил рулевой и медленно повернул штурвал.

* Уильям Блай — капитан английского корабля «Баунти», жестокость которого вызвала бунт команды.

Третий помощник Джон Хомер, стоя у машинного телеграфа, подавал команды вниз, в машинное отделение.

— Эй, Хомер, тихий ход! — крикнул капитан.

— Есть тихий ход, сэр!

Судно прижималось к стенке причала.

— Сандерс! — заорал капитан старшему помощнику, тот стоял на носу с матросами, державшими наготове швартовы.— Какого черта вы там ждете? Подавайте концы! Или, может, мне за вас бросить?

Сконфуженный грубым окриком в присутствии подчиненных, Сандерс крикнул стоявшему у борта матросу:

— Подавай!

Раскручиваясь, полетел конец, на причале его поймали. Затем второй помощник Купермен. наблюдавший за продвижением кормовой части судна, скомандовал матросам подать кормовые концы. Через несколько минут «Сокол» пришвартовался.

В последний раз оглядев судно, капитан Бивер приказал помощнику дать в машинное отделение команду остановить двигатели. Просигналив вниз, тот отправился в штурманскую рубку и записал в вахтенном журнале: «Двигатели остановлены в 8.45». Потом вышел из рубки и, подозвав судового плотника Кнута Нельсона и матроса О'Райли, велел им подать трап и закрепить сетку. Нельсон уже поднимался на палубу, когда навстречу ему вылетел — плащ внакидку — матрос Джек Мартин.

— Куда тебя несет? — удивился Нельсон.

— Нельзя ли без дурацких вопросов?

— Что, не терпится?

— А тебе-то что? Ну, не терпится.

— Уж так она заждалась! — засмеялся Нельсон.

— Четыре месяца — не шутка. Заждалась.

— А как ее зовут, твою новую зазнобу? Луиза, Мэри, Элен?

— Не угадал. Сузи. Да я же тебе о ней рассказывал.

— Ты мне о стольких рассказывал, всех и не упомнишь!

— Завидуешь, приятель! Или решил сыграть роль строгого папаши?

— Эх, Джек, если б я тебя не знал, я сказал бы: пустая у тебя башка!

Мартин посмотрел на Нельсона.

— Это тебе только кажется, будто ты меня знаешь!

— Нет, знаю все-таки. Как-никак — на третьей посудине вместе ходим. Ну, а за этот рейс я изучил тебя, пожалуй, лучше, чем свой фуганок.

— Хорошенькое сравнение! Я тебе, Нельсон, не фуганок! Агитируй кого хочешь, а меня твоими бредовыми политическими идеями не проймешь. Я, брат, тоже тебя изучил.

Оба засмеялись, и Нельсон потрепал Мартина по плечу.

— Ступай, а то как бы не охладела к тебе твоя девчонка.

— Не бойся, не охладеет. Я предупредил ее, она ждет.

— Хвастун ты, Джек! По совести сказать, ты славный малый, только дурачина!

— Это я тоже слышал: дурачина, хоть и с образованием. И так далее, и тому подобное. Ну, пока! — И Мартин зашагал по длинному причалу. У ворот ему попались навстречу двое хорошо одетых мужчин, один из них держал в руке портфель. Посторонившись и пропустив их на причал, Мартин вышел на улицу и окликнул проезжавшее такси.

А те двое направились к «Соколу» и, осмотревшись по сторонам, стали осторожно подниматься по трапу. На палубе стоял матрос. Это был Нельсон.

— Где можно видеть капитана? — спросил один из незнакомцев.

— Он у себя в каюте, сэр!

Стук в дверь заставил капитана Бивера вскочить. Он отворил и, увидев пришедших, узнал в одном из них Уоррена Коллинза, представителя пароходной компании на Восточном побережье.

— Прошу вас, господа,— сказал капитан, жестом предлагая им войти.— Располагайтесь. Вот уж, право, не ожидал увидеть вас здесь, мистер Коллинз. Ведь три недели тому назад в Нью-Йорке вы благословили меня в путь.

— Как видите, пришлось приехать,— ответил Коллинз.— Капитан Бивер, разрешите представить вас мистеру Мэтьюзу, сотруднику государственного департамента.

С видом радушного хозяина Бивер пожал обоим руки.

— Разговор будет конфиденциальным,— проговорил Коллинз.

— Понимаю, сэр!

Капитан захлопнул иллюминатор, запер дверь на ключ и вернулся на свое место за письменным столом.

— Мистер Мэтьюз подсел ко мне в вагон в Вашингтоне,— сообщил Коллинз,— и мы приехали сюда вместе, чтобы встретить ваш пароход. Вам дается задание, которое вас наверняка заинтересует. Но, пожалуй, лучше, чтобы мистер Мэтьюз сам ввел вас в курс дела.

— С удовольствием! — Мэтьюз поставил на стол портфель, открыл его и вытащил оттуда бумаги.— Капитан Бивер, я прибыл с чрезвычайно важным поручением. Оно связано с некоторыми осложнениями международного характера. Быть может, вы считаете, что война для нас действительно кончилась? Должен вас разочаровать. Она только начинается.

Капитан Бивер с недоумением взглянул на Коллинза. Тот кивнул, подтверждая слова представителя государственного департамента. А Мэтьюз закурил и, выпустив струйку дыма, положил сигарету в пепельницу, как бы готовясь к долгому разговору.

— Я имею в виду войну, которая идет в России,— заговорил он, наконец, глядя на капитана.— Похоже, что большевики сумели поднять весь народ на борьбу с законными властями. В семнадцатом мы полагали, что это — ну, как бы вам сказать — обычная демонстрация протеста, какие любят устраивать европейцы, денек пошумят, и тем все кончится. Но теперь дело зашло так далеко, что под угрозой оказалась безопасность нашей собственной политической системы. Да и не только нашей, но и западноевропейской.

Мэтьюз вытащил платок и вытер лоб. Капитан, воспользовавшись паузой, налил себе воды. Коллинз вытянул ноги поудобнее и откинулся на спинку кресла.

— Этой революцией,— снова заговорил Мэтьюз,— охвачены уже две трети России, и, если не будут приняты срочные меры, в ближайшие месяцы вся страна окажется под властью большевиков.

— А как же их армия, мистер Мэтьюз? — спросил капитан. — Ведь у русских большая армия!

— В русской армии, если ее вообще еще можно называть армией, полный развал. Солдаты перешли на сторону большевиков. Но значительная часть офицерства сохранила верность властям.

Бивер придал своему лицу сочувственное выражение. А Мэтьюз продолжал:

— В России у нас немало друзей, которые твердо намерены не допустить победы большевиков. Они создают крупные армии для подавления этого мятежа и сумели уже отвоевать часть стратегически важной территории. А наша задача в настоящий момент — помочь оружием тем генералам, которые борются с большевиками на Дальнем Востоке. Но затруднение в том,— проговорил он с расстановкой, глядя прямо в лицо капитану,— что во всем мире растет протест против вмешательства

Франции и Англии во внутренние дела России. Поэтому и нам приходится действовать осторожно. У нас ведь тоже есть радикалы и идеалисты как в палате представителей, так и в сенате. Так вот, они требуют, чтобы Америка сохраняла нейтралитет. А мы вовсе не хотим дать им повод для критики. Иными словами, капитан, наша помощь должна осуществляться без всякого шума, оставаясь, так сказать, семейной тайной.

— Очень интересно, мистер Мэтьюз. Приятно услышать, что в Вашингтоне не дремлют.

— Пока бушует русская революция, им не до сна, поверьте. Теперь вы, вероятно, спросите, почему мы остановили свой выбор на вас? На то есть особые причины. Конечно, можно было бы использовать и более современный пароход. Но мы отказались от этой мысли, чтобы не вызывать подозрений. Заинтересованные лица в Вашингтоне высказались за судно среднего тоннажа и средней скорости. Так, обычный пароход-бродяга, заходит то в один порт, то в другой и подбирает груз, какой попадется. Ваш «Сокол» — как раз то, что нужно. Ну и, кроме того, мы искали подходящего капитана. Такого, на которого можно положиться. Нам предложили несколько кандидатур, но мы выбрали вас — вы человек дела и умеете держать команду в руках. Вам будет, наверно, приятно узнать, капитан, что в Вашингтоне у вас есть весьма влиятельные доброжелатели.

— Я польщен, мистер Мэтьюз, и сделаю все, что в моих силах.

— Так я и полагал. А теперь взгляните, что вам предстоит доставить в Россию.— И Мэтьюз вручил капитану длинный список.— Всего — четырнадцать тысяч ящиков. В них сто орудий, сорок тысяч винтовок, десять тысяч станковых пулеметов, боеприпасы, медикаменты и многое другое. Как видите, немало. Конечно, неплохо бы еще и танки послать. Но вы представляете себе, какой поднялся бы переполох, если бы по Сан-Франциско вдруг прогрохотали тяжелые танки? Да еще по направлению к порту? Ведь у всех еще свежа в памяти война! Кстати, насчет этой помощи есть три разных мнения. Первое: вообще не совать носа в дела русских. Второе — снабжать русских только продовольствием и одеждой. И третье — его придерживается влиятельное меньшинство — содействовать разгрому большевиков. Но поскольку американский народ революции сочувствует и большая часть России уже в руках большевиков, кое-кто в Вашингтоне предпочитает вести двойную игру. Ведь если большевики победят, мы окажемся в глупейшем положении; они станут кричать на весь мир, что Америка помогала их врагам. Поэтому лучше делать вид, будто мы посылаем русским продовольствие, одежду и медикаменты. Белые генералы поймут, в чем дело,— они будут в курсе, а американцы примут все за чистую монету и обрадуются такому проявлению доброй воли со стороны правительства.

Капитан кивнул и натянуто улыбнулся. Мэтьюз продолжал:

— Если победят белые генералы, они будут считать нас своими спасителями. Если же, не дай бог, победят большевики, то мы потребуем у них концессии — за помощь, оказанную русскому народу. Пожалуй, стоит дать в газетах сообщение, что русским посланы продовольствие и одежда. Но только, конечно, после того, как вы отчалите.

— А почему не сейчас? — спросил молчавший до сих пор Коллинз.

— Нельзя,— решительно ответил Мэтьюз.— Найдутся любопытные, и тогда мы не оберемся неприятностей. Нет, нет! Никаких официальных сообщений, пока судно не выйдет в море. Но вы, капитан, можете говорить всем, в том числе и команде, что грузите продовольствие и игрушки для русских детей. Да, игрушки — наша сентиментальная публика на это клюнет!

— Но тут у вас значатся, сэр, сто пушек и две полевые кухни,— растерянно возразил капитан.— А это, как вы понимаете, предметы гро-

моздкие! Вы не боитесь, что они будут обнаружены? Ведь это не мелочи какие-нибудь — взял и завернул в старые газеты!

— Совершенно верно, но мы учли решительно все. Именно потому, что кухни будут бросаться в глаза, они и послужат для маскировки. На них написано «Помощь». И одеяла упакованы так, чтобы сразу видно было, что это такое. А вот орудия — наоборот. Наши артиллеристы разобрали их, уложили детали в большие ящики и тщательно замаскировали. Все запаковано очень аккуратно и прочно. В последнюю очередь будут грузить консервы, одеяла, галеты и эти самые полевые кухни. И пусть все это останется на причале, на самом виду, до последней минуты. На ящиках четкая маркировка: «Продовольствие», «Игрушки».

— Отлично,— сказал капитан.— А теперь разрешите узнать, когда начнется погрузка?

— Сейчас скажу. Я обо всем уже договорился с грузовым агентством. Ровно в полдень,— Мэтьюз вынул часы, посмотрел на них и положил обратно в жилетный карман,— иными словами, через полтора часа со склада выйдут первые автофургоны. Машины пойдут сюда сплошным потоком. Ящики сразу же сгружать в трюмы. По нашим расчетам, погрузка должна быть закончена завтра утром к пяти тридцати. А час спустя ваше судно выйдет в море. Это реально?

— Да, сэр, вполне. Пожалуй, даже всего двадцать минут спустя.

— Прекрасно! — оживился Мэтьюз.— Не зря я на вас так рассчитывал, капитан. Верно мне говорили в Вашингтоне, что вам любые трудности нипочем.— Он извлек из портфеля пачку бумаг. — Здесь карты Тихого океана. Мы проложили для вас курс. Я знаю, такие бывалые моряки не любят мелочной опеки, но зато в любой час дня и ночи мы будем знать, где вы находитесь. Да, чтобы не забыть: радировать будете один раз в сутки. Чем реже пользоваться передатчиком, тем лучше. В случае каких-нибудь изменений вас известят накануне прибытия. Если извещения не будет, следуйте этим курсом. Наши инструкции будут подписаны «Самаритянин». Значит, так. Вы выходите в Охотское море и следуете до этого вот порта на Дальнем Востоке.— Тут Мэтьюз ткнул в едва заметную точку на карте.— Ни в какие промежуточные порты не заходите. Доставите груз по назначению и пойдете через Татарский пролив в Японское море. В Нагасаки возьмете все, что нужно для обратного рейса. Да, меня просили предупредить вас, что в Охотском море возможно столкновение с русскими военными кораблями. Впрочем, флот у русских настолько мал, что это едва ли вероятно. Но все же будьте начеку. Если вас остановят корабли красных, скажете, что идете в Японию. Впрочем, решайте сами на месте, как выйти из положения. А я прикажу радировать, куда надо, что завтра «Сокол» выходит в море.

— Договорились,— сказал капитан,— у меня возражений нет.

— Отлично. Мистер Коллинз уже распорядился обеспечить вас углем. А провиант и все прочее будет у вас на борту до двадцати четырех ноль-ноль. Что еще, капитан? Есть какие-нибудь вопросы? Сомнения?

— Нет, сэр. Ни вопросов, ни сомнений. Передайте в Вашингтоне, что они могут быть спокойны. Рука у меня твердая.

Все трое встали.

— Позвольте вас заверить, капитан Бивер,— сказал Мэтьюз,— что Вашингтон сумеет оценить вашу заслугу. По возвращении вас ждет денежная награда. Ну, капитан, счастливого плавания! До встречи!

Гости спустились по трапу на причал и направились к воротам. Капитан видел с палубы, как они вышли за ворота, к ожидавшей их машине. Потом он вернулся к себе, сел за стол, закурил и, откинувшись в кресле, уставился в потолок.

Глава вторая

Капитану Биверу было решительно все равно, кто победит: большевики или белые генералы. Он служит тому, кто ему платит. А если сделать ставку на тех, кто хочет разбить большевиков, то, видно, можно изрядно подзаработать. Обещанная Мэтьюзом денежная награда не шла у него из головы. Интересно, сколько они отвалят? Пятьсот долларов? Тысячу? Две тысячи? А может, даже все пять? Впрочем, и это не так уж много, если учесть, что за груз ему предстоит доставить. А вдруг все совсем не так просто, как изобразил Мэтьюз? Что, если у красных все-таки есть корабли и они задержат «Сокол», устроят обыск и обнаружат винтовки и орудия? Как быть тогда? Сказать, что орудия нужны мне для лова рыбы? Так большевики и поверят! Нет, уж если суждено встретиться в море с русскими, дай бог, чтобы это были те, кому мы помогаем!.. А что он за птица, этот Мэтьюз? Можно ли ему верить? — размышлял капитан, дымя сигаретой. Что он в одной шайке с нынешними заправилами, это ясно. И мечтает дорваться до высокого дипломатического поста. Если в России победят белые генералы, он, может, и получит теплое местечко в награду за свои старания. А что получу я, сделав за него грязную работу? Кость, которую мне позволят обглодать за преданность хозяевам? И все-таки, хоть я человек маленький, у меня положение прочнее, чем у него. Потеряет его шайка власть, и он тоже превратится в нуль. А я, как был капитаном, так и останусь. Я хозяин на своем судне.

Капитан сунул сигарету в пепельницу, достал из ящика бутылку шотландского виски и, налив стакан, залпом осушил его. Алкоголь взбодрил Бивера: с утра он не позавтракал, успел только выпить чашку кофе. А работы сегодня — невпроворот.

В дверь постучали.

— Войдите! — крикнул капитан.

На пороге стоял механик Рональд Бьюкенен. Проплавав пятнадцать лет на разных судах и постепенно дослужившись до старшего механика, Бьюкенен хорошо разбирался в двигателях любых систем. Каждую свободную минуту он штудировал книги по механике, доставая их где только можно, всеми правдами и неправдами. Во время войны, когда специалистов не хватало, он был аттестован на старшего механика и теперь держался за свое место зубами.

Признавая Бивера царем и богом на верхней палубе, себя он почитал полновластным хозяином в машинном отделении. Он давно постиг простую истину: если хочешь добиться успеха, подыгрывай сильному. Сам жил по принципу «Не высовывайся!» и любил советовать это другим. Словом, Бьюкенен был доволен всем — и своим положением, и порядками на судне. Правда, подчас его злил капитан; любит старик совать нос в работу машинного отделения и обожает поучать. Но с этим Бьюкенен готов был мириться — пусть капитан потешит душу, добрее будет.

— Что скажете, старший механик?

— Зашел узнать, когда подойдут баржи с углем.

— Коллинз сказал мне, что скоро. Отходим завтра в шесть ноль-ноль.

— Что ж, самое время начинать день,— заметил Бьюкенен.— И куда, позвольте спросить, мы направляемся?

— На север России.

— Как, в Россию? А я только сегодня читал в газете: большевики наступают повсюду.

— Насчет этого я не в курсе. Мне дан приказ — доставить туда одежду и продовольствие. А других сведений я не имею. Распорядитесь,

чтобы к пяти часам судно было под парами — может, успеем выйти раньше.

Старший механик больше не стал ничего спрашивать. По тону капитана было ясно, что сейчас ему лучше уйти.

— Есть, капитан. Как только подойдут баржи, поставлю людей грузить уголь. В пять ноль-ноль машина будет готова,— бодро сказал он, а про себя подумал: «Вот ведь гад! Дураку и то ясно, что если отход в шесть, то пар должен быть в пять. Так нет, обязательно должен дать указание!»

Отпустив Бьюкенена, капитан пошел искать старшего помощника. Лоуэлл Сандерс сидел у себя и писал письмо. Капитан распорядился загружать первый, третий и пятый трюмы, сказал, что Коллинз пришлет своего человека наблюдать за погрузкой, и велел, чтобы завтра в шесть все было готово к отходу.

— На берег никого не отпускать! — добавил он в заключение.— Сейчас начнет прибывать продовольствие и все, что требуется для рейса. Надо быстро погрузить.

Помощник выслушал капитана и спросил:

— Куда идем?

— В Россию. Если вас будут спрашивать, что грузим, отвечайте: продовольствие, игрушки, одеяла и медикаменты для русских детей. Я сойду на берег оформить документы. А вы тут глядите в оба.

— Есть, сэр,— гаркнул Сандерс.

Через час подошла угольная баржа. Ее сразу пришвартовали к «Соколу» и стали грузить уголь в судовые бункеры. С берега уже подали шланги и качали в танки питьевую воду. Появились грузовики с продовольствием, бельем и запасными частями. Матросы ловко перетаскивали все на судно. Сандерс наблюдал с палубы за их работой. Он служил старшим помощником на «Соколе» уже три года. Однажды, когда предшественник Бивера внезапно заболел и был списан на берег в Ливерпуле, Сандерс весь обратный рейс до Нью-Йорка заменял капитана. Вкусив всю прелесть власти, он воспринял назначение Бивера как тяжелый удар. Сандерс тогда хотел уволиться, однако капитан порта отговорил его: «Потерпи, получишь свое судно!» С тех пор прошло уже больше года, а компания о нем так и не вспомнила. И теперь, глядя, как грузят припасы, Сандерс вдруг подумал, что с этим рейсом что-то нечисто. Обычно капитан передавал ему полный список грузов и сообщал, в каких портах стоянка. А на этот раз ни списка, ни разговора о стоянках. Что бы это значило? Может, капитан просто занят?

Тем временем появились докеры и начали готовиться к работе: опустили стрелы, проверили такелаж. Подкатили первые автофургоны с грузом. Шоферы распахнули стальные дверцы, из машин стали выволакивать ящики. Сандерс смотрел, как контейнер с ящиками взлетает наверх и опускается в трюм. Ящики были аккуратно окантованы стальными полосами. Решив посмотреть, как идет погрузка на корме, Сандерс повернулся и увидел Бьюкенена, тоже вышедшего на палубу.

— Наверно, рейс будет долгий,— заметил Бьюкенен. — И я слыхал, что в России чертовски холодно в это время года.

— Смотря по тому, в какой порт мы идем,— сказал старший помощник.— Россия велика.

— В какой же?

— Не знаю. Старик не сказал, и я решил, лучше не спрашивать.

— Что грузим? — спросил Бьюкенен.— Я так понимаю — продовольствие для русских, да?

— Могу лишь повторить то, что мне сказал старик: продукты и игрушки для голодающих русских детей.— Сандерс оглянулся и заметил стоявшего поблизости Нельсона.— Вот как! И давно ты подслушиваешь?

— Я не подслушивал, сэр. Я только хотел спросить, куда класть лишние маты из четвертого трюма.

— Пускай матросы перенесут их на палубу — может, они пригодятся грузчикам.

Нельсон сам перенес маты, а потом пошел на корму к себе в каюту, которую занимал вдвоем с боцманом, и присел на койку. Раскрыв газету, доставленную на пароход мальчишкой-газетчиком, он стал читать последние новости. В Вашингтоне некий сенатор обрушился на правительство за то, что оно недостаточно энергично содействует подавлению большевистского мятежа в России, и требовал послать в помощь белым генералам военные корабли и морскую пехоту. Небольшая редакционная статья дышала ненавистью и злобой к революционной России. Она тоже кончалась требованием, чтобы Соединенные Штаты присоединились к тем государствам, которые хотят силой оружия ликвидировать большевистскую угрозу.

«Странное дело,— подумал Нельсон.— Мы тут собираемся везти русским продовольствие и игрушки, а этот сенатор и такая влиятельная газета требуют послать в Россию войска и военные корабли! Непонятно что-то». Нельсон закурил и вышел в проход. Там он увидел кочегара Паппаса.

— Знаешь новость, Пап?

— Нет. Какую?

— Да вот, везем русским детям продовольствие и игрушки.

— Кто тебе сказал, Нельсон?

— Слышал, как старший помощник и старший механик говорили между собой.

— Вот это здорово! — заметил Паппас.— И с русских потребуют небось за каждую игрушку пол-литра крови, а?

— Все это очень подозрительно.— И Нельсон рассказал про редакционную статью и речь сенатора.

— Но как нам это выяснить? — Паппас взглянул в хмурое лицо Нельсона.— А может, это и правда помощь русским?

— Кто его знает. Может, и помощь. Америка не раз посылала другим странам продовольствие и одежду. А все-таки будем начеку.

Паппас пошел поесть, а Нельсон заглянул в люк пятого трюма. Там докеры, работая как-то особенно сноровисто, принимали груз и крепили его вдоль переборок. Ящики были одного размера и окрашены в один цвет; на каждом по всем четырем сторонам стояло одно только слово: «Продовольствие». Однако Нельсон не мог избавиться от тревожного чувства: то, что он видел здесь, противоречило прочитанному в газете. В России ему побывать не довелось, несмотря на то что плавал он уже много лет. Его отец был эмигрант-норвежец, а сам Кнут родился в штате Мэн, в портовом городке, и свой первый рейс совершил на рыбачьей шхуне, какие ходили на промысел к Нью-Фаундленду и каждую неделю доставляли свой улов в Портленд или в Бостон. Кнуту так полюбилась морская жизнь, что, несмотря на гнев родителей, он бросил школу и стал моряком. Где он только не побывал — в Бомбее и Калькутте, Гонконге и Шанхае, Иокогаме и Порт-Саиде. Другие моряки, попадая в порт, торопились в злачные места, где вдоволь спиртного и полно дешевых женщин, а Кнут осматривал достопримечательности города, музеи, памятники старины. Он шел туда, где жили и работали бедняки, и никогда не упускал возможности побеседовать с ними. Он покупал книги о государственном устройстве разных стран, об их природных ресурсах и экономике, о положении народа. Знал, где какие есть политические партии, какие профсоюзы.

Однажды, вернувшись из плавания, Нельсон узнал о существовании в Бостоне «Общества борьбы за лучшую жизнь».

В эту небольшую организацию входили люди думающие — в основном студенты.

Нельсон вступил в Общество. В эту довольно замкнутую среду он принес свой жизненный опыт и наблюдения человека, который много повидал. Но и организация дала ему немало. Здесь он узнал, какие социальные бури потрясают мир. Одна из дискуссий особенно запомнилась Нельсону. Докладчик говорил о царизме и о революции 1905 года. Этот рассказ навсегда врезался Нельсону в память, и, понимая, что капиталистическое правительство будет стремиться помочь реакционному режиму, он не мог не тревожиться по поводу подозрительных грузов, которыми набивали сейчас трюмы «Сокола».

Из газет Нельсон знал о большевистской революции, о том, что в России установлена власть Советов и впервые в истории создается новое общество. И он сочувствовал большевикам.

Сойдя на причал, Нельсон как бы невзначай покрутился вокруг ящиков, сгруженных с машин на землю. Ящиков были сотни — все с маркировкой «Мясные консервы». Он подошел поближе, осмотрел их повнимательнее: что ж, значит, и вправду консервы! Поодаль он увидел тюки одеял, перевязанные толстой проволокой. В том, что это одеяла, он убедился воочию. Несколько успокоившись, Нельсон опять поднялся на палубу, заглянул в открытый люк: внизу в трюме суетились докеры, едва успевая размещать поступающий груз. Подошел кочегар Санчес и тоже заглянул в люк. Нельсон сказал:

— А здорово все-таки, что мы наконец посылаем голодающим еду, а не что-то другое...

— Я так и думал, что ты обрадуешься,— усмехнулся Санчес.— А то ты все переживаешь, что рабочим плохо живется.

Нельсон вскинул голову: ему послышалась насмешка в этих словах, но Санчес улыбался вполне дружелюбно.

— А сам ты разве не рабочий?

— Рабочий, ну и что? Я получаю жратву три раза в день и сплю в тепле на койке, а не валяюсь под дождем и иногда могу даже к бабе пойти. Так стану я тревожиться из-за того, что где-то там, на краю света, голодают какие-то русские. Да они привыкли голодать!

— Но теперь большевики хотят с этим покончить! — возразил Нельсон.

— Мне лично неизвестно, что там у них делается. Правда, сегодня я кое-что прочел в газете, и сдается мне, эти большевики тоже не сахар.

— Почему ты так решил?

— Да вот один сенатор заявил, что мы должны помогать их противникам.

— Мало ли что он мелет? Мы должны народу помочь, ясно? Война всегда приносит голод и страдания простым людям.

— Ну, может быть. А пока я пойду поем. Мне скоро заступать на вахту.— И Санчес направился в столовую команды.

Понаблюдав еще немного за работой грузчиков, Нельсон почувствовал, что он голоден, и тоже пошел поесть. Когда он снова появился на палубе, к нему подошел грузчик-негр и спросил, нельзя ли тут разжиться чашкой кофе: им запретили отлучаться на берег, а до конца работы еще далеко. Нельсон сходил в столовую и принес оттуда грузчику кофе и бутерброд, но поманил его за рубку: команде категорически запрещено угощать посторонних, объяснил он, и, если увидит начальство, его могут выгнать.

— Такой работы я не припомню,— пожаловался негр, жуя бутерброд.— Нас предупредили: если кто-нибудь трахнет хоть один ящик, всю бригаду уволят и не станут доискиваться, кто виноват. Оттого мы все так нервничаем, будто грузим стекло или динамит.

— Но как же они смеют требовать, чтобы вы работали столько часов без передышки?

— Как видишь, смеют. Денежки каждому нужны, хоть достаются они нам нелегко. Спасибо, брат, за кофе. Пойду, а то стивидор хватится, что меня нет, и будет мне нахлобучка. — Негр побежал вниз, а Нельсон отнес пустую чашку на место и решил спуститься в котельную.

■

Внизу в котельной Паппас держал под паром два вспомогательных котла для лебедок, остальные котлы на стоянке бездействовали. Паппас, великий мастер своего дела, был родом из Салоник, но по примеру двух старших братьев покинул Грецию еще в юности: не было сил смотреть, рассказывал он, как делят на шестерых скудную еду, которой едва хватило бы на двоих, да слушать, как кашляет день-деньской больная сестренка. Несколько лет Паппас ходил на разных пароходах помощником кочегара, и, хотя кормежка везде была дрянная, все же ел он три раза в день, не то что дома. Во время войны он стал кочегаром на транспортном судне, а после перемирия побывал во многих странах. Но никогда не забывал оставшейся в Греции семьи: где бы он ни находился, в дни получки непременно посылал домой деньги. Была у него мечта — сколотить деньжонок, чтобы купить матери и сестренке дом и клочок земли. Ростом Паппас не вышел, зато силой обладал исключительной. На спине у него был шрам длиной чуть не в полметра. Иногда, в хорошем настроении, Паппас рассказывал желающим послушать, откуда у него этот шрам. Однажды в Гонконге он увидел, как английский офицер избивает стеком молодого рикшу. Тот упал на землю и молил о пощаде, но офицер продолжал осыпать его ударами. Не помня себя от гнева, Паппас подскочил к англичанину, вырвал у него стек и хорошенько его отхлестал.. Подбежали английские офицеры и солдаты, и Паппасу пришлось плохо. Очнулся он на следующий день в больнице. На спине у него была глубокая рана — в драке один из англичан ударил его саблей. Но рассказ свой он неизменно заканчивал так: «Бьюсь об заклад, тот офицер уже никогда не посмеет ударить рикшу!» После этого случая у Паппаса не прибавилось симпатии к офицерской касте, да и к полиции тоже.

За то время, что Паппас работал на «Соколе», состав команды значительно изменился: одни не вынесли дьявольской жары в котельной, особенно тяжкой во время плавания в тропиках, других возмущало грубое обращение начальства. Но Паппас терпеливо сносил все... Сейчас, услышав, что кто-то спускается по трапу, он поднял голову и увидел Нельсона.

— Ну, что ты узнал? — спросил его Паппас.

Нельсон рассказал о том, что видел на причале.

— Вроде бы ничего подозрительного. Возможно, все это только мое воображение,— признался он.

— Вернее всего,— согласился Паппас.

— Но я сейчас разговорился с одним докером и от него узнал, что им строго-настрого наказывали быть осторожными с грузом, их это даже удивило.

— Ну, им это не первый раз наказывают,— возразил Паппас.— Сам знаешь, как они швыряют груз!

— Да это, пожалуй, верно.

Они еще поговорили немного, а потом Нельсон снова поднялся на палубу.

Глава третья

В четыре часа судно было забункеровано. Угольная пыль покрывала палубу, и Нельсон вызвался помочь матросам ее отмыть. Орудуя шлангом, он слышал, как стивидор, нагнувшись над люком, орал на грузчиков.

— Эй, вы, поворачивайтесь! — кричал он.— Весь график летит к чертям собачьим! Живей, живей. а то выгоню всех, найму другую бригаду! — И, не выслушав ответа, он несся на причал — подгонять рабочих и там.

Машинисты лебедок работали с лихорадочной быстротой, уже не думая о правилах безопасности. Им было сказано: сейчас не до правил, сейчас все темп решает. Рабочие в трюмах едва успевали разбирать поданный груз и ворчали, но их никто не желал слушать. К концу дня на берегу уже не старались укладывать ящики аккуратно, а сваливали их в контейнер как попало. Опуская одну такую партию, машинист ударил контейнер о комингс. Перепугавшись, он сразу остановил лебедку, контейнер повис над люком, груз резко качнулся, один из ящиков вывалился и полетел в трюм. От удара на нем треснула крышка и лопнула стальная окантовка. Разбитый ящик поспешно оттащили в сторону: не дай бог, заглянет вниз начальство! Грузчик-негр побежал наверх за плотником.

Найдя Нельсона, он рассказал ему, в чем дело.

— Сделай одолжение, почини нам ящик. Там и нужно-то сменить всего две-три доски

— Ладно, только схожу за инструментом,— ответил Нельсон.

Прихватив пилу и молоток, он спустился в трюм, замерил крышку, отпилил две доски нужного размера и, прежде чем их приладить, стал отбивать с крышки обломки. Вдруг его словно током ударило. Сердце застучало быстро-быстро: из ящика выглядывал ствол винтовки.

Может, игрушечная? Он вытащил ее, подержал на весу — нет, винтовка тяжелая, настоящая. И новехонькая, вся в смазке. Он подвигал затвор, нажал на спусковой крючок, потом стер смазку, и позади прицела явственно проступила заводская марка: *Оружейный завод «Ремингтон», США*. Нельсон нагнулся над ящиком — там было еще одиннадцать винтовок. А на ящике — маркировка «ИГРУШКИ». Так вот какие это игрушечки! Ящиков в трюме было уже полно, а сверху поступали все новые и новые. Да ведь их тут тысячи, мелькнуло у Нельсона в голове; в каждом ящике — по двенадцать винтовок, а грузимся-то в несколько трюмов!

К Нельсону подошел его новый приятель, негр.

— Ну как, не очень запарился? — И вдруг заметил винтовку.— А это что такое?

— То, что видишь. Теперь будешь знать, что подрядился грузить. Вот так продовольствие! Вот так игрушки! Винтовки, самые настоящие винтовки! А в тех вон ящиках, что побольше, наверно, игрушки посерьезней! Позови-ка своих ребят, пусть тоже взглянут!

— Сюда, сюда, ребята! — закричал негр.— Посмотрите, что тут есть!

Грузчики обступили разбитый ящик. Нельсон сказал:

— Если верить надписям, тут всё игрушки и продовольствие для голодающих русских детей. Скажите, вы бы хотели, чтобы этим накормили ваших детишек?

Все молчали, но Нельсон чувствовал: люди с ним заодно. Тут в люк подали новую партию ящиков, и грузчики принялись за работу. Возле Нельсона остался только его новый приятель.

— Слушай, друг, услуга за услугу,— сказал ему Нельсон.

— Идет. Что надо сделать?

— Мне нужно вынести отсюда эту штуковину. Ящик я сейчас починю, поставишь его на место. А потом поднимись на палубу и, если там никого нет, подай мне знак. Я отнесу ее к себе. Ладно?

Негр кивнул.

Нельсон заколотил ящик, и его убрали вместе с остальными. Уже стемнело; Нельсон благополучно выбрался наверх и, никем не замеченный, прошел на корму. В проходе ему попался Мартин, уже вернувшийся с берега. Тот сразу обратил внимание на винтовку.

— Собрался на охоту? С ружьем надо в лес!

— Черта с два на охоту! И не ружье это, а винтовка! Вот мы чем грузимся!

— Ну и что?

— Ты соображаешь? — вспылил Нельсон.— Это же идет под маркой помощи детям. А я вдруг обнаруживаю, что в ящиках винтовки. Да ведь это подлый обман! А ты спрашиваешь: «Ну и что?» Пораскинь мозгами!

— Да будет тебе известно, что я уже давно отказался от этого занятия,— в тон ему ответил Мартин.

— Но ты же учился в колледже! Неужели ты не понимаешь, что это значит? «Сокол» везет оружие для врагов революции!

— Да мне-то какое дело? Революция... эволюция... Я не революционер. Я моряк.

— Как раз потому, что ты моряк, ты не можешь быть равнодушным к бедам других народов! — с болью проговорил Нельсон.

Мартин сказал уже несколько сдержаннее:

— Пойми ты раз и навсегда. Я равнодушен ко всему, что не касается лично меня, Джека Мартина. Твои розовые мечты о спасении человечества меня не интересуют. Меня никогда не тянуло к политике, а сейчас и подавно. Кажется, я выражаюсь ясно? — И Мартин неторопливо зашагал прочь, оставив Нельсона в грустном раздумье: как же он не сумел до сих пор пробудить в этом парне совесть.

■

Придя в свою каюту, Нельсон запер дверь и спрятал винтовку под матрац. Сел, закурил и принялся обдумывать, что делать дальше. Надо любым способом помешать судну выйти в море с этим грузом. Однако, если он будет протестовать один, это не даст никакого результата; его уволят и наймут вместо него другого. А вот если вся команда его поддержит и пригрозит уходом,— тогда капитан, пожалуй, вынужден будет отказаться от груза. Но еще вопрос, поддержит ли его команда. И согласятся ли ребята, на худой конец, собрать свои пожитки и покинуть судно, как и он — из принципа? А вдруг все скажут то же, что и его приятель Мартин? Ведь, казалось бы, именно Мартин должен первым поддержать любой протест! Вспомнив свой разговор с ним, Нельсон снова помрачнел, но тотчас заставил себя вернуться к мысли о главном. «Если дело не выгорит, возьму расчет,— решил он.— Но сперва надо как-то воздействовать на ребят. Поговорю с приятелями, первым делом — с Паппасом».

Нельсон запер дверь и снова пошел в котельную. Паппас чистил котел, поджидая сменщика. На чугунных плитах лежала горой зола, пыль стояла столбом. По лицу товарища Паппас понял: случилось что-то важное. Он шагнул к Нельсону и, опершись на лопату, вопросительно на него посмотрел.

— Да-а,— протянул он, выслушав рассказ друга, и громко выругался.— Выходит, вместо молока и хлеба мы собираемся угостить русских

детишек пулями! — Он отшвырнул лопату, упер руки в бока.— Ну, что будем делать?

— Даже не знаю,— озадаченно сказал Нельсон.

— А я считаю: надо сообщить команде. Услышим, что скажут ребята.

— Да, это верно. Но на кого можно рассчитывать? Кто, по-твоему, нас поддержит?

— Ну, Макгрегор, например. Хороший парень. Не побоялся высказать все старику насчет харчей, когда мы шли из Нью-Йорка. Потом еще твой друг Дункан. И смазчик из моей смены, и подносчик угля. Все отличные ребята.

— Так-то оно так, но нас же двадцать девять душ, не считая начальства и этого хапугу, старшего стюарда. Сможем ли мы убедить остальных? Ведь не в том фокус, чтобы взять расчет,— на наше место мигом наймут других. Тут надо действовать круто. Вплоть до забастовки. Но провалиться мне на этом месте, если я знаю, как нам уговорить ребят.

— Все зависит от того, как им это преподнести,— возразил Паппас.— Во всяком случае, нельзя терять ни минуты. Сам подумай: если отваливаем завтра в шесть, то половина груза наверняка уже в трюмах.

— Ладно. Пойду потолкую с Маком.— И Нельсон стал подниматься по трапу.

Макгрегор сидел в столовой команды и читал газету, посасывая трубку.

— Мак,— зашептал ему на ухо Нельсон.— Выйди-ка со мной. Я тебе что-то покажу.

Они вместе пошли на корму. Из кубрика доносился голос Дункана, распевавшего песню.

— Пойду позову его тоже,— сказал Нельсон.

Вскоре Дункан и Макгрегор сидели у Нельсона.

— Вот полюбуйтесь-ка, чем мы грузимся.— Приподняв матрац, Нельсон вытащил винтовку.— А называется: игрушки. Таких игрушек в наших трюмах уже тысячи.

Макгрегор растерянно уставился на винтовку. Дункан взял ее из рук Нельсона и стал вертеть и разглядывать, точно собирался купить.

— Я думаю, да и Паппас тоже так считает, что груз этот — позорный. У нас есть два пути: либо потребовать расчет всем вместе, либо объявить забастовку.

— Если меня спросят, я за то, чтобы бастовать,— определенно! — заявил Дункан.— Уйти любой дурак может, но ничего этим не добьешься — будешь загорать на берегу, и все. Уж если действовать, лучше объявим забастовку — хоть не жалко рисковать.

— Верно,— поддержал его Макгрегор.— Я тоже так считаю. Но я не уверен, что все будут за нас.

— Да-а, повод-то ведь необычный,— заметил Нельсон.— Я сам участвовал во многих стачках, но чего мы тогда требовали? Чтобы нам больше платили, обеспечили бы сносные условия труда и лучше кормили. И даже в этих случаях трудно было добиться единства. А тут задача совсем иного порядка: сорвать доставку оружия врагам революции. Как внушить ребятам, что для рабочего человека — это кровное дело?

— Не такой я мудрец, чтоб тебе ответить,— усмехнулся Макгрегор.— Но одно знаю наверняка: надо опросить людей. Что толку строить догадки?

— Созовем собрание,— предложил Дункан.

— Верно,— кивнул Нельсон,— но мне хотелось бы прежде самому все хорошенько продумать. Чтобы правильно осветить дело.

— Да что тут продумывать! — возразил Макгрегор.— Надо им все рассказать, как есть. Так, мол, и так: каждый народ вправе решать свою судьбу, а русским хотят за это нож приставить к горлу. Если наши ребята дубы, то сколько им ни толкуй, проку не будет. Но я уверен, кое-кто из них соображает неплохо. Заодно разберемся, кто мужчина, а кто просто сопляк. Нас поддержат, если мы скажем прямо: не желаем возить такие игрушки! Уж, кажется, так нажились на войне все эти кровососы, прямо лопаются от богатства, а все им мало! Вот так и заявим.

— Идет! — сказал Нельсон.— Соберем всех, кто сейчас на борту. Но только, ребята: раз начали, заднего хода не давать! И если объявим забастовку — держаться до конца.

— Ясное дело,— кивнул Макгрегор.

— А как насчет грузчиков? — спросил Дункан.

— Если мы забастуем, это и их коснется,— ответил Нельсон.— Пара-то ведь не будет. Поэтому надо, чтобы они поддержали нас. В конце концов, они тоже рабочие люди.

Макгрегор взглянул на часы.

— Сейчас уже шесть. Успеем за полчаса собрать народ? Я думаю — в кубрике, а? Там попросторнее.

— Договорились!

Все трое вышли, Нельсон запер дверь. Макгрегор пошел на камбуз и сказал кокам и стюардам, чтобы кончали дела и шли на собрание. У выхода он встретил двух кочегаров и позвал их тоже.

Дункан направился к матросам. Одни играли в карты у стола, другие читали.

— Насчет чего собрание? — полюбопытствовали матросы.

— Придете и узнаете,— ответил им Дункан и пошел вниз звать подносчиков угля. Там он застал сонное царство: Бэском и Санчес храпели, и только Ричленд, примостившись у столика, писал письмо. Дункан пошептался с ним и попросил разбудить товарищей, чтобы пришли все,— дело важное. Ричленд пообещал, и Дункан решил завернуть в каюту смазчиков. По дороге он увидел Мартина, возвращавшегося из душевой.

— Привет, Мартин,— сказал он,— мы созываем собрание. Ждем тебя в кубрике через полчаса.

— Если это по поводу винтовки, которую обнаружил Нельсон, то на меня не рассчитывайте.

Дункан прошел было мимо, но вернулся и посмотрел на Мартина в упор:

— Вот и скажи это на собрании, пусть все знают, каков ты есть.

— А я, может, еще и не приду. Мне вахту стоять. Но уж если явлюсь, выложу вам все, что думаю.

— Валяй! — крикнул Дункан ему вслед.

А у Нельсона тем временем был длинный разговор с матросом Кеннеди. Зная, что Кеннеди сейчас в столярке мастерит деревянные башмаки, Нельсон пошел туда.

— Фред...— окликнул он его.

Кеннеди перестал обтачивать колодку и обернулся.

— Что скажешь веселенького?

— Веселенького мало. Мы собираем команду на собрание. Тут случайно выяснилось одно важное обстоятельство: нам набивают трюмы оружием, которое будет пущено в ход против русского народа. Поэтому я и еще несколько ребят — мы все считаем, что команда должна заявить протест, а может быть, даже решиться на забастовку.

— Эй, погоди, приятель! Протест — еще куда ни шло, но забастовка — ишь ты куда загнул! И я не понимаю, почему это нас должно волновать? Какая разница, что мы везем — печные трубы, гаечные ключи или оружие? Для нас с тобой все едино: груз...

— Ты не дал мне кончить,— перебил его Нельсон. Он рассказал, как хитро все это обставлено, и кратко обрисовал происходящие в России события.

На Кеннеди это не произвело впечатления.

— Не понимаю, что изменится от нашей забастовки? Ты хочешь, чтобы мы заявили протест? Пожалуйста, заявим. Пойдем тебе навстречу. Отправимся к старику и выложим ему все, что думаем насчет этих сволочных винтовок. Вот так. И спи спокойно, если это все, что тебя тревожит. Но забастовка?! Нет, я первый буду против!

— У нас с тобой, Фред, разный подход к этому делу,— сказал Нельсон, видя, что драгоценное время уходит зря.— Но мы тебя все-таки просим прийти на собрание.

— Приду,— ответил Кеннеди.

Они закрыли мастерскую и пошли.

— Ладно, ты, Фред, ступай, а я еще сбегаю вниз, приведу ребят оттуда,— сказал ему Нельсон.

Паппас уже ждал его. Мысль о собрании он одобрил.

— Я тут беседовал со смазчиком Килпатриком,— сообщил он,— этот согласен с нами: будем требовать расчет. Надеюсь, мой сменщик не напился на берегу и придет вовремя. Мне бы хоть часть собрания захватить.

Как раз в эту минуту его сменщик спустился вниз.

— Прошу прощения, Грек, опоздал маленько. Отстою за тебя в следующем порту. Если, конечно, у нас будет следующий порт. Я уже слышал новость от Макгрегора. Я всей душой с вами, ребята, как бы там ни решило большинство.

Паппас с Нельсоном поспешили наверх. Нельсон забежал к себе, вытащил винтовку, завернул ее в газету и понес в кубрик.

Глава четвертая

В кубрике были составлены полукругом скамьи, принесенные из других помещений. Весь народ, какой был на борту, уже собрался. Обладатели верхних коек расположились с комфортом, лежа; обладатели нижних сидели согнувшись. Отсутствовали только двое: боцман Гендерсон и матрос Сент-Клер. Когда Нельсон назвал для общего сведения имена отсутствующих, кто-то крикнул: «Ладно, начинай представление!»

Нельсон пояснил, что дело очень серьезное и надо поставить кого-то за дверью, чтобы не сунулось начальство. После короткого обсуждения решили поставить Дункана.

— А теперь давайте начнем,— сказал Нельсон.— Кого хотите председателем, ребята?

— Нельсона! — дружно крикнуло несколько голосов.

— Никто как будто не возражает. Значит, собрание буду вести я,— сказал Нельсон и подумал: решающая минута! Может, только раз в жизни такое бывает, когда ставишь на карту все. Вряд ли ребята разделяют его идеи; поэтому надо найти такие доводы, такие доходчивые, правдивые слова, которые могли бы их убедить. Но ведь может случиться и так, что, услышав правду, они все равно не захотят действовать. Хуже того: затопчут ее в грязь, начнут издеваться над тем, что ему дорого. Что тогда? От этих тревожных дум его вернул к действительности нетерпеливый окрик: «Начинай, что ли!» И Нельсон заговорил: — Братья! Для вас будет полной неожиданностью то, что я скажу. Ей-богу, я и сам обалдел, когда обнаружил, чем грузится наш пароход. Старший помощник при мне говорил старшему механику, что мы везем

игрушки и продукты для русских детей, для многих тысяч ребятишек, которых война сделала бездомными сиротами. Оказывается, это вранье! Вот что это за игрушки! — Тут Нельсон развернул газеты и поднял винтовку.— Нате, полюбуйтесь!

Матросы, окружив столик, с минуту молча рассматривали винтовку, потом так же молча вернулись на свои места.

— Тут такое дело, — снова заговорил Нельсон.— Цари много лет угнетали русский народ. И вот терпение народное лопнуло. Простой люд поднялся на борьбу. Его возглавляют большевики, они хотят дать беднякам землю, хлеб и свободу. Тираны понимают, что им конец, но отчаянно цепляются за власть. В России идет гражданская война. Царя хлопнули, генералов бьют так, что пыль летит. Но тут Франция, Англия и Америка решили вмешаться. Кому же они помогают? Конечно, белым генералам! Вооружают их до зубов. Посылают им винтовки — такие, как эта! — По лицам матросов Нельсон видел, что они его понимают.— Сами знаете, что за подлость — удар ножом в спину, когда двое дерутся. Вот такой удар в спину они и наносят русскому народу. Перед собранием мы тут, несколько человек, потолковали между собой, как нам лучше всего поступить. И решили, что самое правильное — объявить забастовку: не хотим доставлять военные грузы врагам революции! А теперь пусть каждый выскажет свое мнение. Я уверен: сообща мы найдем правильный путь. Первым пусть говорит Мартин, а то ему идти на вахту.

Стоявший у двери Мартин заговорил с места:

— Ребята! Возможно, это жестоко, но, ей-богу, я не понимаю, почему мы должны волноваться из-за того, что происходит где-то там на краю света, за тысячи миль отсюда? Да и чем мы можем помочь русским беднякам? Нельсон хочет, чтобы мы проголосовали за стачку. Но чего мы этим добьемся, черт подери? Двух часов не пройдет, как вместо нас здесь будут штрейкбрехеры. Допустим, мы сумеем задержать отплытие судна или даже выбросить груз за борт, но что значит какая-то ничтожная партия оружия — особенно для такой громадной страны, как Россия? Нет, я считаю, нечего нам ввязываться в политику. Я против, так и запишите. А я пойду, мне вахту стоять.

Нельсон огляделся. Слова просил Паппас.

— Паппас, говори!

— Я согласен с плотником,— сказал Паппас, выйдя вперед.— Я — за стачку. Не хочу, чтобы с моей помощью доставляли оружие врагам простого народа! У нас в Греции народ очень бедный. В моей деревне мало у кого есть башмаки. Даже на кусок хлеба нелегко заработать. Был я когда-то в России, правда, давно. Там живут так же плохо, как в Греции. Босые ребятишки, кругом одна бедность. А теперь русские прогнали кровопийц. Молодцы! Вот бы и грекам так! Нет, забастовка — это правильно! Только забастовка! Покажем им, что такое международная солидарность! Это поможет большевикам! — И Паппас пошел на свое место.

Стоя за дверью, Дункан краем уха слушал, что говорят на собрании. Вдруг на палубе показался второй помощник Купермен. Он шел на корму. Едва Дункан успел просунуть голову в кубрик и предупредить товарищей, как помощник заметил его.

— Не знаешь, куда, к черту, подевался весь народ? — спросил он.

— Да разбрелись — кто куда...— буркнул Дункан.

— Уж не собрание ли у вас тут? — И помощник направился было к кубрику.

— На вашем месте я бы туда не ходил,— тихо сказал Дункан.

— Помощник капитана может идти куда ему вздумается. Как-нибудь обойдусь без твоих советов!

— Сэр, я не то хотел сказать... Понимаете, там ребята дуются в по-

кер — так, может, не стоит им мешать. Сами знаете, что бывает, когда разгорятся страсти.

Потоптавшись немного, помощник ушел, и Дункан оповестил товарищей, что опасность миновала.

Следующим выступал старший кок Рейнгард — рослый, плечистый немец родом из Гамбурга.

— По-моему, ребята, не так уж трудно решить, что в таком случае делать. Новичкам и тем, кто помоложе, это, может, и кажется пустым и ненужным делом. А я вот плаваю уже двадцать пять лет, и я вам говорю: дело это совсем не пустое. Очень нужное дело. Я человек мирный, войну не люблю. Ее всегда затевают богачи, а потом сами прячутся и драться посылают бедняков. Сейчас в России погнали царя с семейкой — это же здорово! Родные пишут мне из Германии, что немецкий народ сочувствует русской революции. А Соединенные Штаты посылают оружие тем, кто хочет навязать русским нового царя. Безобразие! Посмотрел я на эту винтовку, послушал, что говорит плотник Нельсон — а я ему верю полностью,— и вот что я вам скажу: меня совесть замучает, если я соглашусь везти этот проклятый груз. Надо бороться за правое дело, даже если рискуешь проиграть. Это честней, чем заранее отказываться от борьбы.

Сразу взметнулось несколько рук.

— Брат О'Райли,— сказал Нельсон.— Твое слово.

— Брат председатель, братья, я вот сижу и все думаю, думаю. Нет, забастовка нам ничего не даст! Сейчас объясню почему. Прежде всего, надо, чтоб нас поддержали грузчики. А все знают: когда требуется поддержать моряков, грузчики — народ неверный. Отчего — я и сам не пойму. Может, когда-нибудь моряки им насолили — поди знай! Помните забастовку в Роттердаме? Весь порт тогда замер. А кто сорвал дело? Грузчики, кто же еще! Стакнулись со штрейкбрехерами. А моряки простояли в пикетах пять недель, и все попусту. Так и вернулись на суда, согласившись даже на меньшую плату, чем до забастовки. И за это они могли сказать спасибо грузчикам. Я повторяю: шансов у нас нет. Вы не подумайте, что я за отправку оружия этим убийцам-генералам. Но пусть мне кто-нибудь объяснит, как добиться своего.

Паппас вскочил и возбужденно закричал:

— Ну и что? Да, тогда забастовка в Роттердаме сорвалась. Зато на этот раз будет иначе...

Но Нельсон не дал ему договорить: не перебивай! Пусть каждый выскажет то, что думает. Паппас смущенно сел. Следующим получил слово подносчик угля Ричленд — новичок на «Соколе». Он не говорил ни да, ни нет — он сомневался. А вот матрос Гарбидиен, пожилой необщительный человек, решительно заявил:

— Я против — что бы там ни было! Мне надо кормить семью, у меня двое детей, и мой первый долг — заботиться о них. А до русских мне нет дела. Меня интересует только моя семья, мои дети.— И Гарбидиен тяжело опустился на скамью.

Тут Кеннеди, до сих пор сидевший тихо, не поднимая головы, выпрямился и неожиданно попросил слова. Но ему пришлось переждать Кармайкла. Это был юнга лет семнадцати, совершавший на «Соколе» свой первый рейс. Он хвастал перед командой связями своей семьи в политическом и деловом мире. Все знали, что отец хотел сделать его адвокатом, но когда парня выгнали из колледжа за пьянку и беспутное поведение, упросил приятеля, одного из владельцев пароходной компании, устроить мальчишку на судно — в надежде, что тот испугается черной матросской работы и возьмется за ум. Однако парню в море понравилось, начальство к нему благоволило, и он чувствовал себя в своей стихии. Сейчас он встал, подбоченился и с насмешливым видом заявил:

— Что это за дурацкая идея — бастовать? Я ни разу не был в России, но слыхал, что девочки там — первый сорт. Так что же, вы хотите лишить меня удовольствия с ними побаловаться? Номер не пройдет! Чем скорее мы выйдем в рейс, тем лучше. А кто не хочет, пусть убирается к чертям.

Его перебил стюард Лопес по кличке Чико:

— По-моему, брат председатель, у этого парня мозги не в голове, а в заднице!

Нельсон постучал молоточком.

— Прошу прощения, брат председатель, я маленько погорячился. Мой друг Паппас прав. Я тоже считаю: доставлять эти винтовки в Россию никак нельзя. Если все будут за стачку, то я тоже.

— Спасибо, Лопес. Теперь послушаем Кеннеди.

— Братья,— начал Фред Кеннеди,— я так понимаю: нам платят за то, чтобы мы выполняли свою работу, а не проверяли груз. Нельсон сует нос не в свое дело. Если бы каждый матрос брал на себя смелость решать, что можно перевозить, а чего нельзя, получилась бы полная неразбериха. Нельсон хочет, чтобы мы помогли русской революции. Но скажите, ребята, какое нам дело до этой революции? Если наше правительство считает нужным помочь одним русским, а не другим, так уж, наверно, оно знает, что к чему, дай ему бог здоровья! Я хочу задать Нельсону только один вопрос: если бы это оружие предназначалось революционерам, он тоже потребовал бы забастовки? Хватит тебе, Нельсон, воду мутить! Иначе все останемся загорать на берегу, верьте слову!

— Правильно, Фредди! — радостно выкрикнул Кармайкл.

Тут О'Райли, только что высказывавшийся против забастовки, вдруг встал, подошел к шкафчику, открыл его и принялся выбрасывать свои пожитки на койку.

— Ты что это? — удивился Нельсон.

— Мне было стыдно слушать этого Кеннеди. Ведь так же говорили и насчет ирландцев, когда они из последних сил дрались за свою свободу и независимость. Англичане тогда послали в Ирландию войска, чтобы подавить восстание. А в России, оказывается, тоже борются за свободу. Вот я и решил: бастовать так бастовать, риск — благородное дело. Я уже пакую свой мешок. Не будет забастовки — все равно возьму расчет.

— Погоди,— возразил Нельсон.— Так не годится. Если ты уйдешь один, это делу не поможет.

— Может, и так,— отрезал О'Райли,— но я не желаю, чтобы меня мучила совесть.

— Кто-нибудь еще хочет высказаться? — спросил Нельсон.— Если желающих нет, я добавлю несколько слов. По поводу солидарности... Мы с вами все почитаем Эйба Линкольна, так вот, послушайте его собственные слова, сказанные им однажды: «По-моему, самыми крепкими узами, кроме семейных, должны быть узы дружбы, связывающие трудящихся всех наций, языков и племен». Лучше, кажется, не ответишь тем, кто говорит, что события в России нас не касаются.

Вы, может, думаете, что мы единственные и только на этом судне ратуем за справедливость. Против военной помощи белым генералам бастовали рабочие и во Франции, и в Англии. Да и у нас в Америке тоже. Помните, что было в Сиэтле? Так разве мы, на «Соколе», не такие же рабочие? Или мы настолько слепы, что не видим, куда идет история? Вот тут Кеннеди спрашивал: а что бы я сказал, если бы это оружие предназначалось революционерам? Правда, такого себе представить нельзя. Американские банкиры пожалели бы им даже пот от своих носков, где уж там оружие! Но если бы так случилось, что же, скажу прямо: я был бы рад доставить такой груз революционному народу. О'Райли и еще кое-кто здесь сомневается, выиграем ли мы забастовку. Честное слово, не

знаю. Забастовка — это лотерея. Мне кажется, что шансы у нас неплохие, если только будем действовать сплоченно. Но гарантии дать не могу. Я был бы глупцом и обманщиком, если бы взялся сейчас предсказывать ее исход. Даже о грузчиках пока ничего не скажешь, ведь мы их еще не спрашивали. Только одно я знаю точно: если мы будем здесь еще долго разговаривать, грузчики кончат работу и уйдут. А нам надо с ними поговорить, чтобы знать, как они поведут себя, когда мы выставим пикеты. Вообще, я уверен, что в городе найдется немало людей, которые нас поддержат.— Нельсон посмотрел на часы.— Ох, как поздно! — Он вытер платком потный лоб: в кубрике было накурено и очень жарко.— Хочу вам напомнить, что до голосования каждый может спорить и высказываться «за» и «против». Но уж когда проголосуем, меньшинство должно подчиниться большинству. Я предлагаю тайное голосование, раздадим всем по листку бумаги: кто за стачку — ставьте крестик, кто против — кружок. Но что бы мы ни решили, постараемся остаться добрыми товарищами.

Макгрегор вырвал несколько листков из блокнота и разделил на узкие полоски, и Нельсон неожиданно для всех поручил Фреду Кеннеди раздать их.

— Не сменит ли кто-нибудь там Дункана? — спросил Нельсон.— Ему тоже надо проголосовать.

Стюард Гопкинс вышел и прислал Дункана в кубрик. Паппас отнес вниз две бумажки — кочегару и смазчику и третью — Мартину на трап. Когда все проголосовали, Нельсон предложил выложить листки на стол, чтобы каждый мог наблюдать за работой счетчиков. Разобрав листки вдвоем с Макгрегором, Кеннеди поднялся и с презрительной миной объявил:

— Ну вот. Доигрались! Двадцать три — за стачку, трое — против. Один подал чистый бланк. Не знаю, как проголосовали бы боцман и Сент-Клер...

— Значит, бастуем! — сказал Нельсон.— Наше единственное требование — немедленно вернуть на берег груз. Давайте выберем комитет по руководству стачкой.

К общему удивлению, Кармайкл предложил Кеннеди. Кроме него выбрали Нельсона, Макгрегора, Паппаса и Лопеса. Все обязались держать решение в тайне, пока комитет не подаст команды. Договорились также связаться с грузчиками и выяснить их позицию. А тем временем пусть все пакуются — на случай, если придется уходить с судна.

Члены комитета поднялись на палубу. Здесь Нельсон заметил того самого грузчика-негра, по просьбе которого он чинил ящик. Отозвав его в сторону, Нельсон рассказал ему, что было у них на собрании, и спросил, могут ли матросы рассчитывать на помощь докеров, если объявят забастовку.

— Кто его знает,— ответил тот.— За других поручиться не могу, но сам я пикетчиков сроду не предавал.

— Что ж, и на том спасибо,— тихо проговорил Нельсон. И все комитетчики отправились к капитану.

■

В каюте капитана неожиданно оказался юнга Кармайкл. Когда матросы вошли, он посмотрел на них и злорадно ухмыльнулся. Капитан сердито рявкнул:

— Ну, что там у вас? Выкладывайте!

— Капитан,— начал Нельсон,— команда поручила нам заявить, что мы отказываемся везти военные грузы в Россию. Мы требуем погрузку прекратить, а то, что уже на борту, вернуть на берег.

Капитан побагровел, на шее у него вздулись жилы. Он вскочил с места и шагнул к Нельсону; тот отпрянул, ожидая удара.

— Неблагодарные собаки! — заорал Бивер.— Да кто вам сказал, что это оружие?

— Я видел своими глазами,— спокойно ответил Нельсон.

— А хоть бы и так! Ни груз, ни место назначения вас не касаются. С каким удовольствием я выгнал бы всю вашу босяцкую команду на мостовую! Впрочем, я понимаю,— капитан сбавил тон,— кто-то вам мозги забивает баснями о русской революции. Давайте успокоимся и спустим пары. Будем считать ваш приход сюда ошибкой. Возвращайтесь по местам и выкиньте все эти глупости из головы. У меня и без вас дел по горло. Ступайте!

— Но это совсем не так просто,— возразил было Нельсон,— груз, который...

Капитан не дал ему кончить.

— Вон отсюда! — заревел он.— Не уйдете — вышвырну!

Матросы вышли один за другим; юнга Кармайкл остался в капитанской каюте.

Глава пятая

— Ну и мразь этот Кармайкл! Видали? — сказал Нельсон, когда они вышли.

— Да, действительно! — подхватил Кеннеди.— Мне в голову не приходило, что этот гаденыш еще и доносчик. Уже понес на хвосте, поторопился доложить капитану.

— Так что будем делать? — спросил Лопес.

— В первую очередь надо, чтобы загасили топки,— сказал Нельсон.

— Ну-ка, Паппас, иди с Макгрегором в котельную.

...Над морем густел туман. Тревожно завыли сирены, откуда-то издалека доносились удары судового колокола, оповещавшего гавань, что какой-то пароход бросил якорь и простоит на рейде всю ночь. Несколько буксиров еще пыхтели во мгле, давая резкие гудки.

Шагая по палубе, Нельсон услышал звук замирающих механизмов. Он присмотрелся: грузовые стрелы остановились. Один контейнер повис в воздухе, и машинист, отчаянно ругаясь, напрасно пытался опустить его в трюм.

— Не старайся попусту! — крикнул ему Нельсон.— Пара не будет, команда забастовала.

По трапу уже бежал стивидор.

— Что за чертовщина здесь происходит? — крикнул он машинисту.

— Пара нет,— ответил тот.

В этот момент электрический свет замигал и стал меркнуть.

Когда члены комитета вошли в кубрик, матросы ходили с карманными фонариками, а кто-то зажег керосиновый фонарь.

— Ничего, ребята, это проба сил! — крикнул Нельсон.— Помните: что бы ни случилось, держаться дружно и не давать им себя запугать.

Вошел Рейнгард и предупредил, что сюда направляются какие-то люди. Это оказались капитан, два его помощника и старший механик.

— Довольно, ребята! Побаловались — и хватит! — с ходу заорал Бивер.— Даю вам ровно минуту подумать и вернуться на свои места. Принимайтесь за работу! А нет, так я вас всех, мерзавцев, вышвырну на берег. И будьте уверены, я не успокоюсь, пока все вы не будете занесены в черные списки. Потом сто лет ни на одно судно не устроитесь!

— Мы не возобновим работы, пока не будут приняты наши требования,— твердо ответил Нельсон.

— Требования! Требования! Да провалитесь вы с вашими требованиями! Два часа слышу одно и то же — заладили, и ни с места! А ты, чертов агитатор,— капитан сделал шаг в сторону Нельсона,— считай себя уволенным с этой минуты! Все остальные приступайте к работе немедленно, а ты, я сказал,— он ткнул пальцем в Нельсона,— ты уволен. Собирай барахло — и на берег!

Не дав Нельсону ответить, выступили вперед Макгрегор и Паппас.

— Не выйдет, капитан,— сказал Макгрегор,— увольнение Нельсона ничего не изменит. Требования команды остаются в силе. Пока на судне весь этот арсенал, оно ни на фут не отойдет от причала. Мы требуем, чтобы вы отказались от такого груза.

— Ах, так! — взревел капитан.— А вы отдаете себе отчет, какую заварили кашу? За бунт на корабле пойдете под суд и запросто схлопочете по двадцать лет каторжных работ! Не думаю, чтобы вам это улыбалось!

— Судно не в море,— крикнул Нельсон,— оно находится в американском порту, и это американское судно. А кроме того, мы объявили забастовку. И не пытайтесь нас запугать!

— Я не с тобой говорю, мерзавец! — снова взорвался капитан, забыв, что намеревался держать себя в рамках.— Ладно,— добавил он уже тише,— я понимаю, что эта болтовня про оружие — только предлог, чтобы потребовать прибавку. Так вот, давайте условимся: каждый, кто вернется сейчас на свое место, получит дополнительно пятнадцать долларов. По-моему, ребята, я иду вам навстречу. И жду того же от вас.

Матросы молчали.

— Ну? — спросил капитан.

— Не выйдет! — ответил за всех Макгрегор.

— Раз так, через десять минут ни одного из вас тут не останется.

Капитан повернулся и вышел. Свита последовала за ним.

Уже на палубе капитан велел старшему механику послать своих помощников вниз, чтобы обеспечить свет. Но прошел еще целый час, пока заработали генераторы и снова появилось электричество.

Нельсон и Макгрегор отправились на палубу поговорить с грузчиками. Те сидели вокруг люка, ожидая, когда возобновится погрузка. Они слышали о конфликте, но Нельсон рассказал им все как есть, и, хотя никто из них не высказался открыто за помощь команде, по некоторым замечаниям он почувствовал, что эти люди мыслят так же, как он.

Беседу с грузчиками прервал Паппас; он требовал, чтобы Нельсон спустился вниз: боцман Гендерсон и матрос Сент-Клер вернулись с берега вдрызг пьяные. Сент-Клер сразу завалился спать, а Гендерсон поднял скандал.

— Компания дает мне работу и кормит три раза в день,— шумел он, когда Нельсон пришел в кубрик,— а вы, свиньи такие, хотите укусить руку, которая вас кормит. Я знать вас не желаю!

— Пускай уходит! — сказал Нельсон.— Так будет лучше, чем если он прикинется нашим, а после воткнет нам нож в спину.

— Да он всегда был предатель,— заметил один из матросов.

— Уж так над нами издевался весь рейс!— подхватил другой.

— Слушай команду! — сказал Нельсон.— Всем оставаться на борту. Сколько сумеем продержаться — не знаю. Но если уж придется уходить, так только всем вместе, а не поодиночке. Назначим дежурных — по четыре человека, остальные пусть спят. Мы не знаем, что собирается делать Плетка, но что-то он наверняка затевает! Надо, чтобы он не застал нас врасплох. Только смотрите, ребята, на посту не зевайте, особенно если заметите посторонних. С вами все время будет один из членов комитета. Сейчас одиннадцать. До трех дежурят Паппас, Рейнгард, Бэском и Гесс.

— Где будет пост? — спросил Рейнгард.

— Мне кажется, лучше всего в столовой команды. Оттуда хорошо просматривается трап. Но сами ни с кем не связывайтесь и смотрите, как бы капитан кого из вас не спровоцировал. Он ведь старик хитрый, ему пальца в рот не клади.— Нельсон уже направился было к выходу, но вдруг вспомнил:— Между прочим, кто-нибудь видел Мартина?

— Да,— ответил Гесс.— Я видел этого ветрогона час назад, он снова побежал на берег, плащ накинул.

— А Кармайкл? Этот где?

— Не знаю,— ответил Гесс,— небось верен себе, лижет зад начальству.

Дежурные отправились в столовую команды, остальные пошли спать. Кок Рейнгард открыл кладовую и принес товарищам галеты, сыр и банку сардин. Гесс вытащил колоду карт, и четверка принялась за игру, закусывая и время от времени поглядывая в сторону трапа.

Нельсон вернулся к себе в каюту и, не раздеваясь, бросился на койку — он смертельно устал. Закрыл воспаленные глаза, но заснуть не мог. Тогда он зажег лампочку над головой и, достав с маленькой полки рассказы Горького, начал читать. Вошел Рейнгард с едой на тарелке.

— Я подумал, может, ты тут голодный,— сказал он.

— Спасибо, друг!

— Ну, пока. Меня ждут ребята, да и тебе не вредно отдохнуть.

И Рейнгард ушел.

Нельсон погасил свет и закрыл глаза. Какой же будет следующий шаг капитана? Погрузка прекращена. Пара нет. Ох, молодцы ребята! Здорово держатся! Боцман и Кармайкл — не в счет. Даже Кеннеди и тот, кажется, начинает кое-что понимать. А что касается грузчиков, поживем — увидим. Среди них тоже есть славные парни. И Нельсон заснул.

■

В каюте капитана ярко горел свет. Собралось все начальство, здесь же терся и юнга Кармайкл. Капитан объявил:

— Ни в коем случае нельзя допустить огласки. Иначе сорвется все дело. Кармайкл мне рассказал, что за стачку голосовали не все. Трое или четверо были против. Значит, в этой шайке у нас могут найтись помощники. Кеннеди, например, верно? — обратился он к Кармайклу.

— Верно,— подтвердил тот.— И боцмана не забудьте.

— Ах да, и боцман тоже. Так вот, прежде всего,— обратился он к старшему механику,— обеспечьте мне пар. Делайте, что хотите, но чтобы пар был. Ясно?

Старший механик кивнул.

— А я постараюсь покончить с этой историей как можно скорее. Ну, все. Вы свободны.

Помощники капитана и механики вышли поодиночке, стараясь не шуметь, а капитан надел плащ и фуражку и, взяв портфель с документами, вышел на палубу. Он и не подозревал, что четверо из столовой команды смотрели ему вслед, пока он спускался по трапу на причал.

Глава шестая

Притихший «Сокол» стоял у причала. В помещениях команды всех сморил сон. В каютах начальства чего-то напряженно ждали.

Механик Ланкастер спустился в машинное отделение и, увидев, что стрелка манометра падает, поспешил в котельную. Там на куче золы, весь в крови, лежал боцман Гендерсон. Ланкастер бросился к нему,

прислонил спиной к переборке и привел в чувство. Очнувшись, Гендерсон сказал, что его избил Паппас, когда он хотел подойти к котлу. Механик тут же помчался к старшему помощнику. Сандерс достал ключи, вошел в каюту капитана, вынес оттуда несколько пистолетов и велел механику раздать их начальству.

— А боцмана доставьте наверх и уложите в запасной каюте,— добавил он.

Люки трюмов оставались открытыми. Грузовые стрелы висели неподвижно. Густой туман плотно окутывал судно. Сигнальные огни на мачте отбрасывали на палубу тревожные отсветы. На причале была полная тишина. Грузовики больше не подъезжали. Докеры, ожидавшие, когда возобновится работа, спали на тюках.

В столовой команды коротала ночь за картами вторая четверка. В пятом часу на трапе послышались шаги. Кочегар Салливэн высунул голову за дверь и увидел возвращающегося капитана. Вскоре в каютах начальства зажегся свет, захлопали двери.

— Интересно, почему это старик проскользнул наверх, словно змея? — заметил Лопес.

— Значит, ужалить собирается! — отозвался Салливэн.— Пожалуй, надо предупредить плотника.— Он тут же пошел и разбудил Нельсона.

На палубе послышался грохот.

— Что там такое? — насторожился Нельсон.

— Не знаю,— сказал Салливэн,— как будто табун диких лошадей протопал. Схожу посмотрю.

Но он не успел сделать и шага, как в кубрик ворвались полицейские, впереди — лейтенант с пистолетом в руке.

— Встать! Руки вверх! — скомандовал он.

Ослепленные вспыхнувшим светом, матросы повскакали с коек, подняли руки. Сюда же, в кубрик, согнали всю команду. Последним втолкнули Нельсона, руки у него были скручены за спиной. Вошел капитан в сопровождении старшего помощника.

— Тот самый! — сказал капитан, показывая на Нельсона.— Он зачинщик. Убрать его отсюда в первую очередь!

Лейтенант приставил Нельсону пистолет к животу:

— Будешь рыпаться — выпущу из тебя кишки! А ну, марш отсюда вы все, живо!

Команду вывели на палубу. Кругом было полно полиции — во всех проходах и на трапе виднелись синие мундиры. Спускаясь по трапу первым, Нельсон посмотрел наверх: капитан, перегнувшись через борт, следил, как гонят вниз матросов.

— Мы еще до вас доберемся! — крикнул ему Нельсон.

— Руки коротки! — насмешливо ответил капитан.

Команду погнали вдоль причала за ворота. Грузчики, спавшие на тюках, проснулись и удивленно таращили глаза, не понимая, почему все матросы разуты и откуда здесь столько полицейских.

Лейтенант объявил, что собственноручно застрелит первого, кто попробует вернуться на причал. В порту было сыро и холодно. Через некоторое время полицейские вынесли мешки и чемоданы, башмаки, куртки и другие личные вещи команды и свалили все это в кучу на мокром асфальте. Матросы разобрали вещи и торопливо оделись.

Нельсон отвел членов забастовочного комитета в сторонку — обсудить положение. Решили выставить пикет у ворот причала, чтобы город узнал о забастовке.

Напротив порта находилась маленькая дешевая гостиница для моряков, с ресторанчиком внизу, открытым всю ночь. Нельсон предложил

тем, кто не в пикете, пойти туда отдохнуть. Сам он надеялся раздобыть там картон для плакатов.

Шестеро пикетчиков молча вышагивали перед воротами, которые охраняло двое полицейских. Снизу им было видно, как на палубах «Сокола» расхаживают блюстители порядка. Огни на судне снова стали меркнуть — это значило, что с котлами не справляются. Грузовые стрелы по-прежнему бездействовали. В пять часов стало светать. Было холодно, и сырость пронизывала до костей. Нельсон вернулся с горячим кофе и булочками, и пикетчики подкрепились. Настроение у всех было бодрое.

— Смотрите, что я принес,— сказал Нельсон и развернул громадный плакат. На нем было написано: *«Команда парохода «Американский сокол» бастует. Мы против отправки оружия белым генералам в Россию. Помогите нам выиграть забастовку!»*

■

В восемь часов к воротам причала подошла полицейская машина. Капитан и старший помощник вместе с двумя полицейскими сели в нее, и она помчалась по набережной к центру города.

Возле высокого здания капитан с помощником вышли. Машина осталась их ждать. Поднявшись на лифте, они постучали в дверь со скромной табличкой: «Экспорт-импорт». Представитель компании Уоррен Коллинз открыл им и провел их в кабинет. Там сидел Мэтьюз. Капитан представил ему помощника, и все сели.

— Давайте прямо к делу,— сказал Мэтьюз.— Выходит, что все великолепные планы, которые мы вчера так тщательно обсудили с вами, капитан, теперь лопнули.

— Во всем виноваты болваны-грузчики: не умеют аккуратно работать! Пока не сломали ящик, все шло прекрасно, мы погрузили продовольствие, забункеровали судно и были готовы к отходу...

— Мне наплевать, кто виноват,— перебил его Мэтьюз.— Я знаю одно: все вышло наружу, а ответственность за операцию мы возложили на вас. И потом, я ума не приложу, как теперь быть с вашей командой.

— Я выгнал вон всю эту шайку. Пришлось прибегнуть к помощи полиции.

— Куда умнее было бы оставить людей на борту и выйти на буксире, а потом заявить им: каждый, кто откажется выполнять приказ, пойдет под суд за бунт в открытом море. По крайней мере эти люди не шатались бы сейчас по улицам. А так всему миру станет известно, что за груз у вас на борту.

— Был у меня такой вариант,— сказал капитан.— Но это дело нереальное — на нашей стороне только боцман, юнга и один из матросов. А тут еще кто-то из стачечников избил боцмана, когда тот хотел подойти к котлам. Вот я и решил: если оставить эту банду на борту, они весь начальствующий состав перекалечат. Нет, надо действовать иначе. Я уже звонил в портовое агентство, и мне обещали прислать других людей. Теперь главная задача — провести их на судно.

Мэтьюз обвел всех тяжелым взглядом.

— Мне казалось, я доверил дело опытным людям, однако теперь я опасаюсь, что допустил серьезный просчет. Но если моя голова покатится, то уж я позабочусь о том, чтобы не остаться в единственном числе. Надеюсь, вы меня поняли?

Капитан пробормотал что-то невразумительное.

— Так действуйте! — продолжал Мэтьюз.— И помните: полиция будет поддерживать с вами тесный контакт и обеспечит охрану судна. Вопросы есть?

— А если пронюхают газеты, что тогда? — спросил капитан.

— Беседовать с прессой предоставьте мне,— ответил представитель Вашингтона.— Они свое дело знают и будут писать то, что мы прикажем. А ваше дело — погрузиться и отчалить ко всем чертям!

■

Когда полицейская машина привезла капитана назад, у ворот порта собралось человек шестьдесят, и Нельсон рассказывал им, из-за чего моряки бастуют.

— Вон они, хозяйские прихвостни! — крикнул кто-то, когда капитан и помощник, охраняемые полицейскими, юркнули в ворота.

К двенадцати часам полицейских на причале прибавилось.

— Смотри, раз их столько нагнали, сейчас начнется представление,— сказал Паппас Нельсону.

— Передай всем: растянуться цепью и, что бы ни случилось,— не уходить!

Издали донесся вой сирен: появилось несколько легковых такси, конвоируемых полицейскими на мотоциклах. Полиция стала расталкивать пикетчиков, чтобы освободить проезд. Но шофер первого такси, увидев пикет, замедлил ход. Нельсон и трое матросов преградили ему дорогу:

— Мы бастуем. Товарищ, не будь штрейкбрехером!

Подбежали полицейские, стали торопить шофера, но тот выскочил из машины.

— Я не штрейкбрехер! — закричал он и велел своим пассажирам вылезать. Их было шестеро. Они вылезли и стали растерянно топтаться, поглядывая то на пикетчиков, то на полицейских. Шум стоял невообразимый. Кричали прохожие, гудели клаксоны остановившихся на набережной грузовиков, шоферы высовывались из кабин — узнать, что происходит. Воспользовавшись суматохой, кое-кто из привезенных моряков удрал. Напрасно полицейские подталкивали остальных к воротам — никто не двигался с места. Шоферы такси развернулись и укатили. Нельсон подошел к завербованным морякам и рассказал им, из-за чего началась забастовка, а они объяснили, что их втянули в это дело обманом: им сказали, будто команда «Сокола» перепилась и дезертировала с судна.

■

Паппас первым заметил Мартина, возвращавшегося из города в порт.

— Погляди-ка, кто идет! — крикнул Паппас Нельсону.

Тот быстро обернулся:

— Джек! Рад тебя видеть.

— Ты все-таки своего добился? — спросил Мартин.

— Ты о чем, Джек?

— Как же, по твоей милости команда оказалась на улице.

— Черт побери, Мартин, нас же выбросили!

Мартин сжал кулаки:

— Ты этого с самого начала хотел!

— Не дури, Мартин, нас силой вышвырнули, спроси любого.

— Значит, вы все идиоты! А я работы не брошу.

— Мартин, бога ради... Ты понимаешь, что делаешь? Послушай, мы не зовем тебя в пикеты: не хочешь подставлять голову под полицейские дубинки — не надо. Мы просим тебя об одном: не участвуй в доставке оружия в Россию.

— Я тебе, Нельсон, с самого начала сказал: на меня не рассчитывай. А слову своему я хозяин.

— Джек, ты же умный малый! Книги читал. Учился в колледже.

— Колледж и сделал его ученым дураком,— сказал Паппас, глядя Мартину в лицо.

— Хватит! — крикнул Мартин.— Дайте пройти! — И он шагнул к воротам.

— Джек,— с отчаянием крикнул Нельсон,— в последний раз тебя прошу: не дай им превратить тебя в убийцу! Тебе никогда не смыть крови со своих рук. Потом всю жизнь будешь себя проклинать. Не будь трусом, Джек, иди с нами — ведь мы защищаем правое дело!

Но Мартин только передернул плечами и, опустив глаза, повторил:

— Дайте пройти!

Паппас и Нельсон отошли, и Мартин прошел на причал.

— Пускай идет! — сказал Паппас.— Пусть помогает штрейкбрехерам. Он им — хорошая компания.

Нельсон положил ему руку на плечо:

— Не расстраивайся, Пап. Запомни: «И в самом слабом таятся силы».

— Пойди, скажи ему это,— усмехнулся Паппас.

Глава седьмая

Первая попытка сорвать забастовку не удалась. Однако Нельсон понимал, что это еще далеко не конец и самое трудное — впереди. О забастовке уже знал весь порт — во всех закусочных, барах и матросских гостиницах только и разговоров было, что о «Соколе». Большинство склонялось к тому, что забастовку нужно поддержать, а если кто и был против, то предпочитал помалкивать. Владельцы нескольких закусочных, сочувствовавшие стачечникам, бесплатно их кормили. Команда «Сокола» держалась стойко.

Так прошел день. К вечеру улицы стали пустеть. У ворот причала остались только бастующие и группа сочувствующих. Часов в семь начался дождь, с полуночи он превратился в настоящий ливень, и все, кроме пикетчиков, направились в ресторанчик напротив порта. Через некоторое время со стороны «Сокола» послышался треск мотора. Нельсон подошел к воротам и сквозь струи дождя различил полицейский катер, пришвартовавшийся к судну. По сброшенному штормтрапу с катера поднимались на борт люди: полиция доставила штрейкбрехеров.

Подошел полицейский.

— Что ж, ребята,— сказал он стачечникам.— Я вижу, обошлись и без вас.

— Но судно еще не вышло в море,— возразил Нельсон.

— Ну, ничего,— ответил тот,— теперь уже скоро выйдет.

Миновала полночь. Грузовые стрелы, как и раньше, бездействовали, ящики по-прежнему валялись на земле. И вдруг на причале началось что-то невообразимое. Послышался топот, громкие возгласы: «Штрейкбрехеры! Предатели!» Потом распахнулась калитка, которой пользовались только ночью, и Нельсон увидел уже знакомого ему грузчика-негра.

— Я не штрейкбрехер! Я не штрейкбрехер! — твердил он.

Нельсон подошел, пожал ему руку. За негром толпой повалили грузчики — Нельсон насчитал человек сорок; позади всех шел Кеннеди с чемоданом в руке. Он сразу увидел Нельсона и бросился к нему:

— Я терпел, сколько мог, а больше — нет сил. Мало того, что на борту полно штрейкбрехеров, так они еще хвастать начали, как лихо срывают забастовки. Тут уж мне стало невмоготу.

Пикетчики окружили Кеннеди, жали ему руку, хлопали по плечу.

Нельсон повел грузчика-негра и Кеннеди в ресторанчик. Негр стал рассказывать:

— Наша бригада решила: ждать до последней минуты на причале, а если появятся штрейкбрехеры — всем уходить. Потом нам сказали, что команда уже поднимается на борт и чтобы мы возобновили погрузку. Приходим на палубу и видим: никого из вас там нет, а полицейский катер привез новых людей. Тогда я и говорю своему напарнику: «Ну их к чертям, пошли отсюда!» А за нами и остальные грузчики двинулись. Стивидор звал нас обратно, орал, что, если мы не вернемся, нам уже никогда не работать в сан-францисском порту. А мы ему в ответ: «Сам грузи!»

Вон как обернулось дело, подумал Нельсон. Раз уж и грузчики ушли, капитану совсем туго придется.

В шесть часов утра пикетчики отпраздновали первую победу: им удалось задержать отход судна уже на двадцать четыре часа. Снова город проснулся, и друзья пришли в порт поздравить пикетчиков.

Паппас предложил послать делегацию в редакцию местных газет, сообщить о забастовке. Нельсон сперва был против, но так как всем остальным эта мысль пришлась по душе, он согласился, хотя и не верил, что из этого выйдет толк. В редакциях четырех самых влиятельных газет моряков встретили с удивлением: там не знали ни о забастовке, ни о ее причинах. В одной редакции обещали расследовать все обстоятельства и в следующем номере напечатать заметку. Обрадованные делегаты вернулись в порт.

Но под вечер один из бастующих принес свежий номер газеты:

— Вот, полюбуйтесь, что пишут о нас эти подлецы!

Нельсон взял у него газету и стал читать вслух:

«Команда парохода «Американский сокол» объявила стачку ввиду отказа капитана увеличить ей плату и премиальные за рейс в Россию. Капитан заявил нашему корреспонденту, что стачка — следствие подстрекательства со стороны продажных агитаторов, стремящихся сорвать погрузку продовольствия и одежды для русских детей.

По словам капитана Бивера, забастовщики не дают лояльным американским морякам заменить их на судне. Капитан добавил, что зачинщики жестоко расправились с одним из членов команды, оставшимся на своем посту.

Начальник полиции Доналдсон сообщил нашему корреспонденту, что, во избежание дальнейших инцидентов, на борту судна находится усиленный наряд полиции».

— Вот мерзавцы! — возмутился Паппас.— Придется нам, видно, снова к ним ехать.

— Но это ровно ничего не даст,— возразил Нельсон.— Пора уже вам, ребята, понять: газеты всегда на стороне хозяев.

■

На третий день полиция продолжала патрулировать причал. Часов в десять утра к воротам подъехала машина, из нее высунулся полицейский офицер и что-то тихо сказал двум полицейским, охранявшим вход на причал. Те явно занервничали: один посмотрел на часы, другой вытер лоб платком. Вскоре поблизости остановился фургон для перевозки мебели. К нему приткнулся черный автомобиль, в котором сидело четверо. Затем к причалу подошли двое в плащах с фотоаппаратами, минуту спустя к ним присоединился третий — за ленту шляпы у него была заткнута репортерская карточка. Полицейский, охранявший ворота, еще раз взглянул на часы. Фоторепортеры шагнули поближе к пикетчикам.

И тут началось. Тишину нарушил рев клаксонов. У въезда на причал остановились еще три машины, из них высыпали полицейские, размахивая дубинками. Они стали расталкивать пикетчиков, освобождая дорогу для фургона, и он на полной скорости въехал в ворота. Четверо из черного автомобиля прикололи к лацканам бляхи и вытащили из карманов дубинки с тяжелыми набалдашниками. Это были сыщики. Под оглушительный вой сирены приближалась еще одна полицейская машина, за ней — несколько легковых.

— Вот там наверняка штрейкбрехеры,— сказал Нельсон товарищам.

Когда машины подошли ближе, один из пикетчиков выбежал вперед, держа в руке плакат. Сержант подал команду, двое полицейских ринулись к пикетчику и стали колотить его дубинками по голове. Он потерял сознание, его оттащили от ворот и оставили лежать. Вдруг раздался громкий возглас: «Бей их, ребята!» Это было сигналом к схватке. Один из сыщиков притиснул Нельсона к стене и стал молотить дубинкой по голове. Тут подскочил грузчик-негр и с такой силой двинул сыщику, что тот упал. У Нельсона по лицу текла кровь, но увидев, что рядом полицейский избивает Макгрегора, Нельсон бросился товарищу на помощь и сбил фараона с ног.

Тем временем первая машина со штрейкбрехерами успела проскочить на причал и понеслась к пароходу. Вторая медленно приближалась к воротам, лавируя между дерущимися. Третья остановилась, шофер распахнул дверцу и побежал. Полицейский выхватил пистолет и выстрелил. Пуля попала в ногу грузчику-негру. Кто-то выбил оружие из руки стрелявшего. Грузчики, стоявшие на мостовой, ринулись на помощь бастующим. В этот момент что-то ударило по стальным воротам. Раздалось несколько взрывов, один за другим.

Слезоточивый газ!

Полицейские быстро надели маски и снова заработали дубинками.

...Когда схватка кончилась, на земле лежало двадцать семь человек — избитые, искалеченные, отравленные газом.

■

Поздно ночью Нельсон очнулся в больничной палате. Страшно ныл затылок. Он потрогал голову — она была забинтована. Из-за сильной боли в груди трудно было дышать. Нельсон медленно повернул голову и, к своему удивлению, узнал в соседе грузчика-негра. Тот лежал на спине, одна нога его была подвешена на блоках. Сосед заговорил первым:

— Привет, дружище! Крепко тебе досталось?

— Да вот на голову и на грудь будто гору навалили,— ответил Нельсон.— А у тебя что?

— Этот гад всадил мне пулю в ногу. Кость раздроблена. Но доктор сказал, что месяца через полтора я встану.

Вошла сестра, наклонилась над Нельсоном, пощупала пульс.

— Как вы себя чувствуете? Вам записка из соседней палаты.

«Привет,— прочел Нельсон.— Мы показали этим сволочам, где раки зимуют, верно? Всего хорошего!

Кеннеди».

Нельсон положил записку на тумбочку и улыбнулся. Ведь как кипятился Кеннеди, как доказывал, что забастовка ни к чему. А дошло до дела — не захотел оставаться со штрейкбрехерами, стоял со всеми в пикетах, дрался с полицейскими. И тоже попал в больницу, а теперь, может статься, пойдет под суд и даже в тюрьму. У Нельсона потеплело на душе при мысли об этом человеке. Он снова взглянул на соседа и сказал:

— Все эти три дня мы с тобой были рядом. Не пора ли нам познакомиться?

— Купер. Фредерик Купер,— сказал тот, протягивая ему руку.

Нельсон крепко пожал ее.

— Кнут Нельсон. Считаю за честь знакомство с тобой.

— Хотелось бы верить, что мы дрались недаром,— задумчиво проговорил Купер.— Скажи, ты в самом деле считаешь, что мы сделали нужное дело? Ты уверен, что где-то в другой стране таким же рабочим парням, как мы, от этого будет хоть какая-то польза?

— Трудно сказать, по крайней мере сейчас,— ответил Нельсон.— Вообще же любая борьба — и большая и малая — всегда приносит пользу. У нас была ясная цель — помешать им отправить оружие врагам русской революции. Мы считали, что будет преступлением, если это оружие достанется белым генералам. Имей в виду, если русская революция будет задушена, всякая борьба за свободу застопорится на много лет. Вот почему всем нам очень важно, чтобы русский народ победил! И если мы хоть немного помогли ему, задержав «Сокол» на трое суток,— что ж, может, будущие историки сочтут, что и мы внесли свой вклад в общее дело. Но я и так уверен, что русский народ победит и укажет всему человечеству путь к новой жизни, к миру и братству.

■

Весь вечер штрейкбрехеры грузили «Сокол». Полицейские не покидали судно, они торчали в машинном отделении, на капитанском мостике и на трапе, толклись на причале.

В шесть часов утра люки были задраены, грузовые стрелы подняты, такелаж закреплен. Полиция сошла на берег, трап убрали. Проревел гудок, и «Сокол» отделился от причальной стенки.

В машинное отделение была дана команда «полный вперед!». Судно выходило в море.

Стоя на мостике, капитан Бивер и старший помощник Сандерс смотрели назад, на исчезающий вдали Сан-Франциско.

— Признаться, я уже думал, что мы вообще не выйдем,— сказал помощник.

Капитан помолчал. В лицо ему дул прохладный океанский ветер, он снова чувствовал себя хозяином на судне. Потом, повернувшись к помощнику, проговорил:

— Мы опаздываем самое малое — на трое суток. Надо любой ценой наверстать эти семьдесят два часа. Делайте все, что можно. И давайте молить бога, чтобы нам прийти туда не слишком поздно,— иначе плохо наше дело.

Глава восьмая

На следующее утро Бивер поднялся чуть свет. Помощник, стоявший на мостике, удивился, завидев капитана в такую рань.

— Не понимаю, почему мы так ползем,— сказал капитан.— Какой ход?

— Я проверял три часа назад, сэр. Тогда мы делали двенадцать с половиной узлов.

— Двенадцать с половиной? — возмутился капитан.— Это почему? Так мы вовек не дотащимся!

— Я спрашивал механика. Говорит — у него с котлами не ладится.

Капитан прошел в рулевую рубку и стал звонить в машинное отделение.

Подошел старший механик.

— Что за чертовщина у вас там происходит? — закричал капитан.— Как же мы наверстаем потерянные трое суток? По вашей милости мы еле ползем.

— Да все новички проклятые! — сердито ответил Бьюкенен.— Понятия не имеют, как к котлу подойти.

— А вы их научите! Надо, чтобы было полных пятнадцать узлов. Вы меня слышите?

— Не глухой!

На палубе картина тоже была нерадостная. Боцман Гендерсон направился к третьему люку, где он поставил трех матросов сбивать ржавчину с палубы. Подойдя к ним, он увидел, что работает только один — Мартин, а двое других — дюжий швед по имени Гуннар и звероподобный верзила по кличке Чернявый — растянулись на палубе, заложив под голову могучие лапищи, и болтают.

— Что это вам, воскресный пикник? — заорал боцман.— А ну, беритесь за молотки!

Гуннар посмотрел на него снизу вверх, жмурясь от яркого солнца.

— Если будем стучать, еще продырявим вашу ржавую посудину.

— И потопим ее,— добавил Чернявый.— И ты так и не дослужишься до помощника капитана!

— Слушайте, лодыри, если еще замечу, что работает он один, а вы волыните,— отведу вас к капитану.

Но Гуннар и ухом не повел: он вообще не испытывал трепета перед начальством.

— Да кто тебя боится, мелочь пузатая?

Боцман предпочел пропустить эти слова мимо ушей и уйти от греха.

— Вот балда, решил, что мы действительно сюда работать пришли! — засмеялся Гуннар.— С ума сошел! Больно надо мне вылизывать ваш пароход!

Мартин работал, не обращая на них внимания, но тут они взялись и за него.

— Эй, матрос,— начал Гуннар,— ты что, не слышал: я сказал, мы сюда не работать пришли.

— Чего же ты? Решил нам всю музыку испортить? — подхватил Чернявый.

— Я дело делаю,— спокойно ответил Мартин.

— Так вот, имей в виду, мозгляк,— сказал Гуннар.—Мы свое дело сделали. Уже сделали, понимаешь? Нас просили сорвать забастовку, и мы ее сорвали. А теперь требуем награды. Знаешь, какой награды, мозгляк? Ну-ка, скажи ему, Чернявый.

Тот поднялся во весь рост, отшвырнул молоток.

— А вот какой: весь рейс сидеть и отдыхать, как пассажиры, верно, Гуннар?

— Вот именно как пассажиры. Как пассажиры первого класса.

Оба захохотали и двинулись в столовую команды. Мартин негодовал. Если бы не рост и могучие кулаки, разве посмели бы они оскорблять людей? Но Мартин был не из храбрых и понимал, что в случае драки они его превратят в котлету. Только такой силач, как Паппас, мог бы справиться с этими скотами.

Ужин в тот вечер сильно запоздал. Оба кока весь день препирались по поводу того, как распределить между собой обязанности; штрейкбрехер, нанявшийся старшим, был по профессии вовсе не кок, а лесоруб и считал своей единственной задачей стоять над душой у помощника и приказывать. Под конец они кое-как договорились, но команда, прождав ужина целый час, подняла бучу.

Напротив Мартина за длинным столом оказался Гуннар. Новый стюард Ник — маленький, похожий на мышонка,— разносил миски с вареным мясом, единственным блюдом, которое успели приготовить. Ник поставил миску перед Мартином, и тот принялся за еду.

— Эй, крыса,— крикнул Гуннар стюарду,— почему подал этому мозгляку раньше меня?

Мартин, не обращая внимания на грубую выходку, продолжал есть. Тогда Гуннар набросился на него:

— Что это ты все молчишь? Не нравимся мы тебе? Так ведь ты такой же штрейкбрехер, как и мы. Чего же ты сидишь, будто воды в рот набрал?

Мартин понял, что ему не будет покоя от этого бандита.

— Молчу, потому что не о чем мне с тобой говорить,— ответил он и вышел из-за стола.

— Из образованных! Воображает, что он лучше нас! — бросил ему вслед Гуннар.

■

Уже несколько дней «Сокол» шел своим курсом без особых происшествий. Механик кое-как сумел добиться от машинной команды полных паров. Капитан почти не выходил из штурманской рубки, вычерчивая разные варианты на случай, если придется изменить курс. Боцману удалось заставить команду работать, хотя бы вполсилы. Мартин в свободные часы сидел у себя в каюте с книгой, а в столовую команды заходил только, чтобы поесть. Он уже не заглядывал туда, как бывало, по вечерам — поболтать или сразиться в шашки.

К концу первой недели стало ясно, что, несмотря на отличную погоду и попутное течение, «Сокол» все еще не вошел в график.

— Что там творится в вашей змеиной яме? — кричал капитан за обедом на старшего механика.— Один день несемся как гончая, а в другой — ползем как черепаха. Можно подумать, что мы на морской прогулке!

— Такие уж работнички! — отвечал ему Бьюкенен.— Не то, что прежняя команда. Когда хотят, тогда и работают. Не могу я торчать в котельной день и ночь. А с них — какой спрос?

— Уж я бы заставил этих подлецов работать,— пробурчал Бивер.

— Может, и так, капитан. Но вас там нет, вы наверху! И они это чувствуют. Я им двадцать раз грозил карцером, а они только смеются. «Валяй,— говорят,— мы не против такого отдыха». Или еще похлеще: «Сам топи, если не нравится!» Так уж давайте терпеть...

— Черта с два! — разозлился капитан.— Почему старая команда могла держать высокое давление круглые сутки, а эта не может?

— А вот почему: то были настоящие моряки, они любили свою работу. А эта — банда лодырей, к тому же никто из них дела не знает.

— Мне ваши лекции не нужны, мне пар нужен. Мне надо сделать рейс и вернуться.— Капитан вытер рот салфеткой и ушел, оставив Бьюкенена в одиночестве доедать свой обед.

Да, то ли дело Паппас и Салливэн, думал Бьюкенен, закуривая после обеда трубку. Вот это кочегары, вот это работники! Всегда у них были полные пары, только скажи. А сейчас в машинном отделении такая шпана — готовы горло собственной матери перерезать. А кто во всем виноват? Капитан, кто ж еще. Ну и черт с ним! Сам заварил кашу, сам пусть и расхлебывает!

■

Поздно вечером Мартин собрал валявшиеся у него книги и пошел в кубрик поменять их. За столом сидела компания и выпивала. Верхо-

водил Маккорд по прозвищу Клиппер — здоровенный детина из котельной. Перед ним стояла наполовину пустая бутылка виски. Он отпускал непристойные шуточки, и люди смеялись.

— Откуда виски? — удивленно спросил Мартин.

Маккорд посмотрел на него и ухмыльнулся.

— А ты что думал — я стачки задаром срываю?

— Странное дело,— заметил кто-то,— вот мне так никто не поднес бутылочки, когда я поднялся на борт.

Маккорд засмеялся.

— Видать, ты еще новичок в этом деле. Знать надо, кого доить, понял?

— Нет, не понял.

— Взять за грудки механика, дурья твоя голова! — пояснил Маккорд.— Ему нужен полный ход, он за это и платит. Умей нажать — вот и весь фокус. На, пей и помалкивай! — И он налил матросу стакан.

— Такой дрянью небось покойников бальзамируют,— отхлебнув, с отвращением бросил тот.

— Ничего, после первого стаканчика легче пойдет!

Компания загоготала, и Маккорд налил всем еще. Возмущенный Мартин схватил книжки и выбежал из кубрика.

Глава девятая

Чем дальше, тем тягостней становилось Мартину. Больше всего ему не хватало друга, с которым можно было бы поделиться мыслями и поспорить. И он подумал: а что, если возобновить знакомство с радистом Дювалем? Ведь Дюваль тоже остался на «Соколе». И ему тоже, наверно, тоскливо одному. Почему бы не продолжить интересные беседы, которые бывали у них, когда они шли из Нью-Йорка в Сан-Франциско?

Дюваль был интересный человек, поездивший по свету и много повидавший. Мартин тоже когда-то учился на радиста, но в отличие от Дюваля, окончившего курс и работавшего по специальности, он завел очередной роман и бросил учение.

Словом, Мартин зачастил в радиорубку, и Дюваль был рад его ежевечерним посещениям — это немного разнообразило монотонную жизнь.

Дювалю было лет пятьдесят; он был горбатый от рождения и вдобавок хромой. На этом злая природа не успокоилась и наградила его огромным приплюснутым носом. Лишенный обычных человеческих радостей, всю жизнь мечтавший о семейном очаге, он ожесточился, так как мечта эта оказалась несбыточной.

Дюваль был далеко не глуп. Он с отличием окончил курсы радиооператоров, был весьма начитан — проводя большую часть времени один, у себя в рубке, он жадно глотал книги. Вот к этому-то одинокому человеку и стал приходить каждый вечер Мартин в поисках сочувствия и дружеского общения. Дюваль приносил из буфета небольшой кофейник, ставил его на столик рядом с пишущей машинкой и разливал кофе, а Мартин садился напротив на табуретку. Однажды он сказал:

— Я рад, что могу поговорить с вами, а то ведь здесь с ума сойдешь.

— Ты слишком серьезно ко всему относишься.

— Вы хотите сказать, как Нельсон?

— Нет, вы с ним разные. Он тоже серьезный, но у него на первом месте политика. По-моему, Нельсон дрался за правое дело. Только вот тактики его я не одобряю.

— Почему же вы остались на судне, если считали, что Нельсон в принципе прав?

Дюваль забарабанил пальцами по столику, отвел глаза.

— Поверь, мне это было нелегко.— Он говорил тихо, тщательно подбирая слова: — Во-первых, я уже не молод; во-вторых, я рисковал бы своим местом, а места радистов не валяются, ты это знаешь, сам собирался стать радистом. И, наконец, пойми, что человеку с моей внешностью попасть на судно трудно, а ужиться на нем еще труднее.

— А чем плоха ваша внешность? Вы ничего, ей-богу! — попытался утешить его Мартин.

Дюваль улыбнулся:

— Спасибо, друг.

— Но объясните, почему вы миритесь с тем, что вам не по душе?

Дюваль закурил и снова взглянул на Мартина.

— Я повторяю: в принципе Нельсон прав. Но он не учел силы своих врагов. Любой здравомыслящий человек понял бы, что такой важный груз уже не завернуть обратно. И ему следовало считаться с реальностью. Ведь он все равно не смог помешать выходу судна в море.

Мартин покачал головой.

— Пока вы мне еще не ответили...

— Хорошо, скажу, чтобы было понятнее. Я тоже против отправки такого груза белым генералам. В этом отношении я полностью поддерживаю Нельсона. Продовольствие русским детям — да, оружие генералам — нет. Но между мной и Нельсоном есть разница: мне ясно, что такие протесты ни к чему не ведут. Теперь ты понял?

Мартин нервно потирал руки.

— Я знаю одно: Нельсон с командой на берегу, а мы с вами в море. И лучше бы нам наскочить на айсберг и потонуть.

— Брось! — сказал Дюваль.— Зачем так отчаиваться? У тебя вся жизнь впереди.

— Моя жизнь исковеркана. Я и сам теперь не знаю, чего хочу.

Послышался писк позывных. Дюваль с улыбкой повернулся к Мартину:

— Дают сводку погоды. Ну-ка, Мартин, покажи, чему тебя научили на курсах. Принимай!

Мартин пересел на место радиста, заложил бумагу в машинку и, искоса поглядывая на Дюваля, начал принимать и печатать сводку.

■

В этот вечер в столовой команды было много народу. Мартин сидел на своем обычном месте, Гуннар и Чернявый тоже. По лицу Чернявого Мартин понял, что сейчас последует новая провокация. Чернявый налил себе кофе и обратился к Мартину:

— Не знаешь, кто донес капитану, что мы выпивали?

— Понятия не имею.

— Что изволил сказать наш профессор? — спросил Гуннар.

— Говорит, что не знает. Этот мозгляк вообще не желает с нами водиться.

Теперь все взгляды были обращены на Мартина и Чернявого. На лбу у Мартина выступил пот, руки задрожали. Он бы с радостью убежал, но от страха словно прирос к скамье.

— Я же сказал, что...

Однако верзила не дал ему договорить: он стащил его со скамьи и, толкнув в грудь, прижал спиной к переборке.

— Слушай ты, мразь! — прошипел он, нацеливаясь кулачищем в челюсть Мартину.— Мы не желаем сидеть с тобой за одним столом, ясно? Теперь будешь жрать в гальюне.— И, не дав Мартину опомнить-

ся, вытолкнул его за дверь. Возвращаясь к столу, Чернявый заметил насмерть перепуганного стюарда.

— Эй, крыса! — крикнул он ему.— Будешь кормить этого парня в гальюне. Понял?

— Понял, понял! — пролепетал стюард под общий хохот команды.

Мартин долго не мог прийти в себя. Он еле добрел до каюты,— ему казалось, что его и здесь настигает гогот штрейкбрехеров. Он подошел к своей койке и повалился на нее ничком. Перед глазами неотступно стояла бандитская рожа Чернявого, вновь и вновь вспоминалась унизительная сцена в столовой. Мартин зарылся лицом в подушку и заплакал. И вдруг вспомнил Нельсона, услышал его слова: «Не будь трусом, Джек. Иди с нами — ведь мы защищаем правое дело!» На миг перед ним возникло доброе лицо товарища, и у него стало легче на душе.

Глава десятая

На четырнадцатые сутки погода испортилась. Под вечер тучи заволокли небо, начался шторм. Задул резкий, холодный ветер. Море, еще недавно спокойное и гладкое как зеркало, теперь вставало дыбом, грохотало и бешено пенилось. Попрятались даже чайки, сопровождавшие пароход. Громадные крутые волны обрушивались на носовую часть, вода захлестывала судно, и ветер гнал потоки по палубе, окатывая стекла рубки. Судно металось, как раненый кит,— оно то проваливалось в пучину, то снова взмывало на поверхность. «Сокол» содрогался от вибрации. Казалось, еще минута — и он разлетится вдребезги.

Капитан не покидал рулевой рубки. Он видел, как падает барометр, и следил за рулевым, честя его на все корки за неумелость.

— Да, при таком шторме нечего и думать о том, чтобы наверстать потерянное время,— сказал он старшему помощнику.

— Жаль, ходу-то всего с неделю осталось,— покачал головой тот.

Капитан шагнул к компасу, проверил курс.

— Хорошо, если еще больше не опоздаем.

— Пока вы здесь, капитан, я бы сходил взглянуть, как там у нас в третьем трюме,— сказал помощник.— Мне еще в Сан-Франциско казалось, что новые грузчики крепят ненадежно, а теперь мне слышится подозрительный треск. Как бы там не перебило весь груз к чертовой матери...

— Верно, ступайте. Только этого нам не хватало. Можно сказать, на пороховой бочке сидим! Позвоните мне снизу.

Сандерс взял карманный фонарик и пошел. Ураганный ветер никак не давал открыть дверь, и ему пришлось налечь на нее всем телом. Стоя у окна рубки, капитан Бивер вглядывался в мглу, будто чего-то ждал. Потом он услыхал, как снова открылась дверь. В рубку с воем ворвался ветер. Повернув голову, Бивер увидел Дюваля с листком бумаги в руке.

— Что у вас?

Дюваль шагнул поближе, протянул листок:

— SOS, капитан.

Бивер прочел:

«НЬЮ-БЭДФОРД» ПОТЕРЯЛ ВИНТ. ВОДА ПОСТУПАЕТ В МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. НАСОСЫ НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ. ПОЛОЖЕНИЕ СЕРЬЕЗНОЕ. ПРОСИМ ОКАЗАТЬ НЕМЕДЛЕННО ПОМОЩЬ И СНЯТЬ КОМАНДУ. НАШЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 150 МИЛЬ К СЕВЕРО-СЕВЕРО-ВОСТОКУ ОТ МЫСА СИРЕТОКО. СООБЩИТЕ ВАШИ КООРДИНАТЫ И ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ».

Капитан помрачнел и несколько секунд молчал, уставившись на Дюваля, потом сказал:

— Когда приняли?

— Только что, сэр.

Капитан метнулся к карте, провел несколько линий.

— Вон они где! — показал он.— Но мы ничего не можем сделать. Они очень далеко от нас. Нет. Мы не сумеем им помочь.

Дюваль в ужасе смотрел на капитана.

— Но не можем же мы нарушить законы моря, сэр! Наш долг — попытаться спасти людей.

Капитан вскинул голову.

— Не вам учить меня законам моря, как-нибудь сам разберусь! Я вам сказал: помочь не можем. Мы не изменим курса ни на один градус.

Стараясь не смотреть на капитана, Дюваль возразил было:

— Но я подумал, что их команда...

— Хватит! — перебил капитан.— Думать предоставьте мне! На сигналы с этого судна не отвечать! Ступайте!

Дюваль осуждающе глянул на капитана и вышел.

А Бивер вернулся к окну рубки и снова стал глядеть во мглу. На миг ему вспомнилась гибель его собственной шхуны, разбившейся много лет назад на рифах, и он представил себе, что творится сейчас на гибнущем «Нью-Бэдфорде». Ему стало жутко, он явственно видел, как капитан стоит на мостике и всматривается во тьму — не появятся ли какие-нибудь огни; они означали бы, что его призыв услышан и к нему спешат на помощь. Но Бивер быстро подавил в себе это чувство и стал думать о грузе, который надо срочно доставить в Россию. И о денежной награде, ожидающей его в Сан-Франциско. Раздался телефонный звонок.

— Капитан слушает!

— Говорит старший помощник. В трюме полный разгром. Крепления сорваны. Ящики разбросаны. Много разбитых. Какие будут распоряжения?

— Проклятие! — закричал капитан.— Немедленно бросить туда всех, кто не на вахте!

— Есть, сэр,— ответил Сандерс.

Швырнув трубку на рычаг, капитан пробормотал:

— Какие это, к черту, грузчики. Дерьмо!

И снова стал напряженно всматриваться во мрак.

■

Всю команду подняли. Сорвали с коек даже тех, кого укачало. Боцман Гендерсон провел матросов к третьему люку, отдраил стальную крышку и велел спускаться по трапу на нижнюю палубу. Одетые слишком легко, люди ворчали: ледяной ветер пронизывал до костей. Когда трюм осветили лампами на удлинителях, взорам всей команды представилось довольно безрадостное зрелище. Кругом валялись разбитые ящики, по всему трюму были разбросаны винтовки, а поверх них — груды консервных банок. Ящики покрупнее громоздились один на другом, грозя вот-вот свалиться от качки и разлететься вдребезги.

Мартин распиливал доски для обрешетки, другие собирали винтовки и складывали у переборки.

— Ух ты! — закричал Чернявый, подняв винтовку и прицеливаясь.— Бьюсь об заклад — из такой вот штучки можно выбить глаз с тысячи ярдов!

— Тут этого добра хватит, чтоб выбить глаза всем русским! — подхватил Гуннар.— Сезон охоты на красных открыт, разрешения не требуется! — И он загоготал.

— Как, ты и женщин собираешься убивать? — с комическим ужасом спросил Кармайкл.

— Не бойся, только тех, кто старше двадцати! Ну, а другие сами будут не рады, что живы остались, когда я за них примусь.

Эти гнусные шуточки вызвали общий смех. Мартин делал вид, что не слышит, но у него все переворачивалось внутри. Винтовки валялись под ногами, мешали работать, и он решил убрать их в сторону. Он нагнулся, взял винтовку в руки, и сразу по спине у него побежали мурашки. «Джек,— услышал он голос Нельсона,— не дай им превратить тебя в убийцу!» В ужасе Мартин швырнул винтовку на пол и посмотрел на свои руки: они были жирные от смазки. Он стал лихорадочно обтирать их о штаны. У него была одна только мысль: бежать отсюда без оглядки, чтобы не видеть этих людей, не прикасаться к этому оружию.

Глава одиннадцатая

Наконец шторм выдохся, и через два дня опять установился штиль. Солнце с раннего утра заливало палубу теплыми лучами, а по вечерам его огненный шар долго пылал над западным краем неба. Чайки опять кружили над судном, словно охраняя его от напастей. «Сокол» приближался к берегам России.

Все свободные вечера Мартин коротал с Дювалем. У него в рубке он пережидал, пока команда кончит ужин. Только когда из столовой уходил последний матрос, стюард Ник шел в радиорубку и говорил ему:

— Порядок! Ступай есть.

Мартин шел за ним, Ник запирал дверь и кормил его. Вид у стюарда при этом был испуганный: что, если вдруг заявится Чернявый? Изобьет их обоих, или, на его счастье, одного только Мартина?

Как-то вечером Мартин, по обыкновению, сидел у Дюваля. Радист принес из буфета горячий кофе.

— Я все-таки не понимаю,— заговорил Мартин,— вы столько читали, так много видели на своем веку. Вот вы говорите, что сочувствуете справедливой борьбе. Так почему же вы не отказались пойти в этот рейс?

— Опять ты за свое! Что ж, скажу тебе откровенно. Я тоже хотел бы, чтобы жизнь стала лучше, но броситься в драку у меня не хватает смелости.

— Так ведь вы...

— Потому-то я и восхищаюсь Нельсоном,— не слушая его, договорил Дюваль.— Он мужественный человек. Открою тебе правду: по ночам я частенько не сплю...

— Ручаюсь — у Нельсона сон хороший.

— Наверно! Совесть у него чиста, руки не замараны.

Мартин невольно бросил взгляд на свои ладони и начал нервно тереть одну о другую.

— Эх, если бы я мог то же самое сказать о себе! Да, Нельсон — человек незаурядный, вы совершенно правы, и больше всего на свете мне хотелось бы показать ему, что, несмотря на все случившееся, я не штрейкбрехер!

■

Рейс подходил к концу. В последний вечер Дюваль и Мартин играли в шахматы.

— Старик считает, что мы там будем завтра около шести,— сказал Дюваль.— Осталось чуть больше ста миль.

— Скорей бы кончился весь этот кошмар!

— Для тебя кончится, для других только начнется. Ты понимаешь, каково будет тем, в кого станут стрелять из этих винтовок?

Мартин опустил голову.

— Понимаю. И мне не следовало здесь быть — это вы хотите сказать?

Дюваль кивнул.

— Что ж, ты меня правильно понял. Пора решать, на чьей ты стороне, пора сделать выбор.

Мартин помрачнел.

— Вся беда в том, что я сам не знаю, на чьей я стороне! Мне бы остаться где-то в середине.

— Когда идет смертельная борьба, середины быть не может! Нельзя вечно сидеть между двух стульев!

— А почему нельзя? Ведь вы вот — сидите!

Дюваль рассердился.

— Да пойми ты: в этом трагедия моей жизни! Слишком часто я отсиживался, когда надо было действовать. Я бесхарактерный человек. А ты должен быть другим!

— Но объясните, почему себя вы мерите одной мерой, а меня — другой?

— Я хочу, чтобы ты не повторил моей ошибки.— Дюваль еще раз посмотрел на часы, встал, потянулся.— Ну, хватит на сегодня нравоучений! Пойду вниз, заварю нам свеженького кофе. Если без меня начнут передавать что-нибудь насчет курса, смотри прими все точно, слово в слово! — Он потрепал Мартина по плечу и пошел к двери.

— Будьте спокойны! Я старый «маркони»! — Мартин подсел к рации и, сняв с полочки книгу, начал ее листать. Вдруг послышались позывные. Мартин увеличил громкость, придвинулся к машинке и начал печатать, стараясь ничего не упустить. Кончив прием, он вытащил бумагу и перечитал текст:

«КАПИТАНУ «АМЕРИКАНСКОГО СОКОЛА». ВАМ ПРЕДЛАГАЕТСЯ НЕ ВХОДИТЬ В ПОРТ НАЗНАЧЕНИЯ. ЕСТЬ ОПАСЕНИЯ, ЧТО ОН ВЫШЕЛ ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ НАШИХ ДРУЗЕЙ. К БЕРЕГУ НЕ ПОДХОДИТЕ ДО ДАЛЬНЕЙШИХ РАСПОРЯЖЕНИЙ. НЕМЕДЛЕННО ПОДТВЕРДИТЕ ПОЛУЧЕНИЕ ПРИКАЗА. САМАРИТЯНИН».

Мартин растерянно огляделся. Как быть? Отнести радиограмму капитану или прежде послать подтверждение? Нет, положено сперва его уведомить. Мартин шагнул было к двери, но тут ему снова послышался голос Нельсона: «Джек, не дай им превратить тебя в убийцу! Ведь русские — такие же рабочие, как мы с тобой! Мы все обязаны помогать друг другу!»

У Мартина задрожали руки, на лбу выступили крупные капли пота. За короткий миг ему вспомнилось многое: как Нельсон, Кеннеди и Паппас убеждали его остаться с ними и как потом их всех зверски избивали полицейские, а он стоял и наблюдал со стороны; потом он вспомнил рожи Гуннара и Чернявого, все унижения, которые он терпел от них... И вдруг увидел оборванных и голодных русских, которые с безумной отвагой бьются за свою свободу... Мартин закусил губу до крови, и боль вернула его к действительности.

Решение было принято. Он разорвал радиограмму на мелкие кусочки и поспешно спрятал их в карман. Потом вернулся к аппарату, переключился на передачу и отстукал:

«ВАШ ПРИКАЗ ПРИНЯТ. КАПИТАН БИВЕР».

Мартина била дрожь, у него подгибались колени. Переключившись на прием, он сел на прежнее место и сделал вид, будто читает. Когда Дюваль вернулся с кофейником, он успел уже овладеть собой.

— Ну, было что-нибудь? — спросил радист.

— Нет, ничего,— ответил Мартин, не поднимая головы. Но глаза его радостно блестели.

Глава двенадцатая

На следующее утро капитан Бивер поднялся, едва забрезжил свет.

— Подходим,— крикнул он старшему помощнику, глядя в бинокль.— Я вижу деревянный причал. И целую толпу на нем. Говорят, эти русские очень радушно встречают иностранцев. Да, позовите ко мне третьего помощника, он, кажется, немного болтает по-русски. И прикажите стюарду накрыть стол в салоне. Передайте ему, что я велел подать самое лучшее виски и холодные закуски, которые он припрятал для этого случая.

«Сокол» пришвартовался без осложнений. Долгий рейс был, наконец, окончен. После девятнадцати дней непрерывной работы остановились горячие двигатели, и в машинном отделении воцарилась тишина. Почти вся команда высыпала на палубу. Был спущен трап. Первыми на борт поднялись четверо русских военных. Они были встречены старшим помощником и приглашены в салон. Вслед за ними по трапу устремилась толпа бородатых людей с винтовками, все в потрепанной военной форме без знаков различия, с пулеметными лентами крест-накрест на груди, с ручными гранатами на поясе.

Мартин наблюдал со стороны, как русские весело устремились к люкам, которые были заблаговременно отдраены матросами, быстро спустились в трюмы и, не теряя ни минуты, с поразительным проворством принялись их разгружать.

■

В салоне был накрыт парадный стол. Он был уставлен бутылками с виски и винами, вазами с консервированными фруктами, блюдами с сыром, рыбой, маслинами, ветчиной и колбасами.

Сияющий капитан любезным жестом пригласил четырех военных сесть и обратился к стоявшему рядом с ним третьему помощнику:

— Скажите им на самом лучшем русском языке, что нам еще не приходилось видеть таких темпов: не прошло и получаса, как мы пришвартовались, а разгрузка уже идет полным ходом.

Третий помощник, важно заложив руки за спину, подошел к гостям и медленно, запинаясь, начал переводить слова капитана. Когда он кое-как с этим справился, поднялся один из русских, низенький, в очках с толстыми стеклами, в сильно помятой военной форме, мешковато висевшей на нем. Заложив руки за пояс, он сказал:

— Простите, господа, но я довольно свободно говорю по-английски. Я прожил много лет в вашей стране и могу избавить господина помощника от скучной обязанности.

— Но это замечательно! — воскликнул капитан.— Вот не ожидал. Встретить здесь, за столько тысяч миль от дома, человека, свободно говорящего по-английски...

Старший стюард, облачившийся ради такого случая в накрахмаленную белую куртку, разливал виски.

— Разрешите, капитан, приветствовать вас и вашу команду на нашей земле,— сказал русский.

— Благодарю вас, сэр,— капитан поклонился и пожал ему руку.— По поручению пароходной компании и отправителя — государственного

департамента Соединенных Штатов — передаю вам документы на доставленный груз.— Он вручил русскому пачку бумаг, соединенных скрепкой. Тот взял их, пробежал глазами и передал своему соседу.— Господа! — Бивер поднял стакан.— Предлагаю выпить за успешно выполненную миссию!

Все подняли стаканы, и капитан осушил свой первым. Остальные последовали его примеру. Стюард налил всем снова и отошел. Бивер хвастливо продолжал:

— Я горжусь этим поручением. Не всякому капитану оказывают такое доверие...

Русские весело переглянулись.

— Мы знаем, какое значение придаете вы и ваше командование своевременному получению американской помощи. От нее зависят мир и демократия у вас в стране. Мы верим: все, что нами доставлено, будет использовано с толком и поможет вам одержать победу над врагом. Я предлагаю тост за спасение России, за мир, за благоденствие русского народа.

— Золотые слова! — одобрительно сказал русский в очках.

— Благодарю вас, сэр! — церемонно ответил капитан.— Простите, не разобрал вашей фамилии...

— Кравченко. Борис Кравченко,— ответил тот.

— Красивая фамилия...— рассеянно проронил Бивер.

Кравченко поднялся, поправил очки.

— Капитан, от имени наших бойцов и командиров, от имени всего русского народа приношу вам благодарность. Вы совершенно правы: все, что мы от вас получим, будет использовано для разгрома врага. Да, мы боремся за мир и демократию. И то, что американский народ заинтересован в нашей судьбе, имеет для нас большое значение: мы видим в этом проявление международной солидарности. Я предлагаю тост за человека, который войдет в историю как вождь народов, как великий стратег,— за Ленина!

— Как вы сказали — за Ленина? — вскричал Бивер и от испуга выронил стакан. Лицо его вдруг стало пепельно-серым.

Лицо Кравченко тоже приняло новое выражение — оно стало жестким и непроницаемым.

— Вот именно, за Ленина,— подтвердил он.— Что-нибудь не так, капитан?

— Но ведь Ленин — большевик! — выкрикнул капитан с нескрываемым ужасом.— Значит, вы тоже большевики! А этот груз предназначен тем, кто с вами борется!

Кравченко перевел слова капитана своим спутникам, и они рассмеялись. Потом он снова обратился к капитану:

— Как вы сами только что изволили заметить, груз предназначается тем, кто борется за мир и демократию, за благоденствие русского народа. Значит, он предназначен нам. Ведь мы и есть народ!

Капитан злобно кусал губы. В глазах его были ярость и страх.

— Это предательство,— выдавил он из себя.

Кравченко усмехнулся:

— Неверно. Вот если бы вы прибыли сюда на три дня раньше, то борющийся русский народ получил бы удар ножом в спину. Тогда это было бы предательство.

Четверо русских поднялись. Кравченко, у которого еще оставалось на донышке немного виски, поднял стакан.

— За ваше благополучное возвращение в Штаты, капитан! — Он допил и подал знак товарищам. Кивнув на прощание, они вышли.

Едва за ними захлопнулась дверь, капитан зверем накинулся на своих помощников:

— Вон отсюда все — вон!

Салон опустел. Оставшись один, капитан попытался осмыслить происшедшее. На палубе скрипели грузовые стрелы, слышалась русская речь. Бивер подошел к иллюминатору: сквозь толстое стекло было видно, как выгружают на причал орудия в громадных ящиках с надписью «Продовольствие».

Бивер налил себе еще, выпил одним духом и запустил бутылкой в переборку. Осколки брызнули во все стороны, виски потекло на пол.

— Пропади они пропадом, эти русские! И Мэтьюз тоже — чтоб ему пусто было! И этот чертов сын Нельсон, чтоб его разорвало!— Бивер схватил другую бутылку и со всего маху швырнул ее в большое круглое зеркало на стене. Потом плюхнулся на стул и уронил голову на руки. Скрип лебедок и стрел приводил его в ярость. Он заткнул уши, чтоб ничего не слышать, и вскоре заснул пьяным сном.

■

У трапа стоял на часах бородатый партизан с винтовкой.

Кармайкл, принарядившийся и надушенный, фланирующей походкой приблизился к трапу.

— Иду на берег выбирать себе красотку! — на ходу крикнул он коку, но русский преградил ему путь винтовкой.

— Нельзя! — произнес он решительно, и юнга ошеломленно отступил.

Мартин, стоявший тут же, видел эту сценку.

— Что значит «нельзя»? Ты понимаешь по-русски? — растерянно спросил юный ловелас.

— А то и значит, что сиди и не рыпайся. И никаких тебе русских красоток! — пояснил Мартин.

— Вот это здорово! Проделать такой путь впустую! — огорченно воскликнул Кармайкл.

Мартин повернулся и зашагал прочь.

— Ты куда? — поинтересовался капитанский любимчик.

— В столовую, обедать.

— То есть как — в столовую? — заорал тот.— Ведь тебе ясно было сказано, чтоб ты не смел туда показываться!

— Мало ли что было,— ответил Мартин с новой для него решительностью.— А теперь я не боюсь ничего!

ФРАНТИШЕК ГАЛАС

■

Перевод с чешского НАТЭЛЛЫ ГОРСКОЙ

7 ноября

Деревья сыпали листву,
а дни — часы,
и день всегда вставал в громах
и засыпал в громах.

И был тогда ноябрь.

И вдруг из тьмы подполья
вышел Ленин,
глаза прищурил,
и взгляд его, как бич,
ожег и подхлестнул коня —
из-под копыт посыпались века,
и опустил поводья Медный Всадник.

И Ленин оседлал коня,
и — всем, всем, всем!..
И Ленин оседлал коня,
вонзил надежду, словно шпоры,
промчался сквозь ревущую толпу,
сквозь голод и свинец
и одержал победу.

...Вся власть Советам!..

Франтишек Галас вошел в литературу как один из наиболее выдающихся представителей чешской поэзии. С юных лет Галас принимает активное участие в рабочем движении, в политической жизни. Во время второй мировой войны Галас создает патриотические стихи, публиковавшиеся в подпольной печати, вселявшие надежду и веру в победу над фашизмом; умер Галас в 1949 г.

На русском языке стихи Галаса публиковались в различных сборниках.

Шаги истории будили мир.

Огонь врывался в ночь,
и зверь когтил Россию,
и живое мясо
клочьями сползало
с древнего скелета.

И стало видно все:
земли измученное лоно,
и любопытство нищеты,
и пальцы, вылезавшие из башмаков,

и мусор недоверья,
и пасть измены,
где бешеная злоба
вскипала горькою слюной.

И слезы так лились,
что ржавчиной покрылись щеки.

Да, было видно все.

Но... взлет любви! Свободы острый вкус!
И тьма — с луной в зубах!..

Переливалась ртуть,
и Маяковский
загрохотал стихом по всей земле,
по всем земным широтам —
Владимир Маяковский.

Деревья сыпали листву.
Вершился справедливый суд.
И барабан эпохи
гудел, как марш Гомера.

И был ноябрь, взорвавшийся,
как бомба,
на краю Европы.

1 февраля 1943 года

Тот сорок третий год...
Все мысли были в спячке,
и радости от нас ушли.
Тот сорок третий год...
И вдруг из-под земли —

фонтан кровавый,
как будто бы вулкан
плюется темно-красной лавой,
и лава на людей — облавой:
сковала всех, застыла,
испепелила страхом.

Я кровь узнал:
живая кровь из русских ран.
В России был потоп,
земля насквозь промокла,
и тек сюда поток,
и мертвые тела вздымались...

С грохочущего неба
Сталинграда
обрушилась зима,
среди руин ползла чума
с крестом паучьим на груди
и мертвых женщин оскверняла.

Мужчины плакали навзрыд
неудержимым гневным плачем...
И вдруг сама земля
пришла своим сынам на помощь:
и золотые залпы обожгли поля,
и ураган расчистил небосвод.

Тот сорок третий год...

Настрой, 1942

Спел бы колыбельную детям полусонным —
так ангелы ночами поют в раю.
Спел и улетел бы за тихим звоном,
вдаль бы улетел, как только допою.

В страны светлые, где наесться можно,
где мороза не бывает на дворе...
Вот бы было здорово — господи боже! —
сидеть на марципановой горе.

Ангельская песенка не получается —
пойду и колыбельную детям нашепчу.
Тяжко вам взлетается, высоко мечтается —
а вы взлетайте! Бегите по лучу!

Папа и мама... Им страшновато:
пусто в кармане, и живот подвело.
Но за окнами высь необъятна,
и прорастает у каждого крыло.

Ночи

Ночь, отдай мудрецам всю прелесть:
твоя красота для них начало начал,
их губы твоим поцелуем грелись,
ночь, и влюбленным отдай печаль.

Ночь, болящим отдай всю свежесть:
заря бередит их раны, вредит глазам,
им так нужна твоя нежность,
ночь, и влюбленным отдай бальзам.

Ночь, мятущимся дай всю кротость:
память ядом вошла в их кровь,
они — как дети в своем сиротстве,
ночь, и влюбленным отдай свой кров.

Осень

К слепцу в ладонь легла монета тихо,
и я — в осеннем дне.
К слепцу в ладонь легла монета тихо,
как дни в ладонь ко мне.

Простор и ветер, и на грядках,
как в детстве, тлеет жухлая ботва.
Брести по старым тропам, плакать сладко —
любовь еще жива.

Сейчас я беден, обездолен —
у всех удел такой.
Но пусть лишь я пребуду болен
осеннею тоской.

Дай выкуп звонкой медью листьев
всем бедам за меня,
избавь от страхов, тайных, близких,
и в грудь мою войди звеня.

К слепцу в ладонь легла монета тихо,
и я — в осеннем дне.
К слепцу в ладонь легла монета тихо,
как дни в ладонь ко мне...

■

ТЕ ХАНЬ

■

Перевод с вьетнамского ЕВГ. ДОЛМАТОВСКОГО

У Мавзолея Ленина

Миллионы людей до меня здесь прошли,
Миллионы и после пройдут вереницей.
Показалось мне вдруг, что вращенье земли
На мгновенье решило остановиться.

Это Красная площадь Москвы... Мавзолей.
Ставший сердцем народов и центром вселенной.
Словно знамя Октябрьское, он заалел —
Наши судьбы привел к Революции Ленин.

Люди молча проходят, чтоб только взглянуть.
Чтобы сильными стать, им довольно момента:
Революции ветер им надо вдохнуть
И его понести на свои континенты.

Я стараюсь запомнить родные черты
Вдохновившего нас на борьбу человека,
Приобщаюсь к величью его чистоты,
Как часы, сверив сердце с курантами века.

Стихотворение известного вьетнамского поэта Те Ханя взято из его сборника «Новая песнь»; задуманное в Москве в июле 1961 г., оно было создано в Ханое в октябре 1964 г.

ЛЭНГСТОН ХЬЮЗ

■

Перевод с английского В. БРИТАНИШСКОГО

Гость на званом обеде — я

Я знаю, зачем приглашен и пришел —
Сажусь Негритянской Проблемой за стол,
Я пробую вина и яства
И тут же беседую с теми,
Кому в Негритянской Проблеме,
Как правило, что-то неясно,
Сижу, отвечаю белым, ищущим не спеша
Корни зла и выход для США,
Белым, не понимающим, как дошло до такого,
Искренне осуждающим ночь, царившую в Штатах
При демократах,
Шепчущим потихоньку —
Вздохнув над fraises du bois*:
«Стыдно теперь быть белым, честное слово».

Омар великолепен,
Божественно вино,
Вниманье собравшихся за столом
Ко мне обращено.
Быть трудной Проблемой на Парк Авеню,
На званом обеде с таким меню —
Довольно приятный труд.
Решенье Проблемы,
Конечно, не тут.

* Лесная земляника *(франц.)*.

Эти стихи взяты из последней книги известного негритянского поэта Лэнгстона Хьюза «Пантера и хлыст», 1967 г. Автор многократно переводившейся на русский язык «Баллады о Ленине», Хьюз видел решение проблемы американских негров в интернациональной борьбе всех обездоленных.

Не спеши

Не спеши, твердят они мне,
Подожди, вот спустим собак,—
И собаки летят стремглав.
Не спеши, твердят мне, грозя,
Подожди, сейчас объясним,
Что служить тебе здесь нельзя,
И что жить тебе здесь нельзя,
Есть и пить тебе здесь нельзя!
Не спеши! Не лезь напролом!
Подожди — ворота запрем.

Что ж вы думаете, я бог
Или ангел я во плоти,
Если с голоду чуть не подох,
А работы нигде не найти?
Что же вы думаете, и впредь
Я вам буду прощать и терпеть,
Буду ждать. не спеша, не спеша, не спеша.
Не спеша, не спеша, не спеша,
Не спеша, не спеша,
Не спеша,
? ? ? ?
? ? ?
?

Взгляд вдаль: 1865

Освобожденье, сто лет назад.
Если взглянуть на него
В телескоп мечты,
Оно большое-большое,
Такое большое,
Что кажется,
Будто оно было вправду.

Но ты поверни телескоп,
Взгляни с другого конца —
И удивишься тому,
Что казавшееся большим
Стало маленьким-маленьким
Снова.

Сахарная пудра

Свобода —
будто сахарная пудра
на торте
чьем-нибудь чужом;
искать других сравнений
трудно,
пока свой торт
мы сами не спечем.

Воинствующий

Другие молча пусть едят
Хлеб своего позора.
Я не могу
Не выкрикнуть моих обид,
Всю глотку жжет мне горький этот яд,
И вся душа
От горечи болит.
За честный труд
Мне дали нищету,
Плевок в лицо —
За честную мечту,
Вот почему
Я сжал кулак сегодня —
Я помню все, и я им все зачту.

■

ЭРИКО ВЕРИССИМО

Пленник

РОМАН

Перевод с португальского и вступление
ЮРИЯ КАЛУГИНА

Роман «Пленник», принадлежащий перу одного из крупнейших писателей Бразилии, представляет собой примечательное явление в современной литературе Латинской Америки.

Это не только своего рода литературный документ времени, отражающий важные философские, этические проблемы, стоящие ныне перед людьми земли, но и свидетельство известной эволюции во взглядах той части буржуазных деятелей культуры, которые предпочитали находиться в стороне от происходящих в мире процессов, однако под воздействием прогрессивных идей нашей эпохи раньше или позже переходят на позиции защиты жизненных интересов народа, активной борьбы против злейшего врага человечества — империализма.

Автор романа Эрико Вериссимо, маститый писатель, формально не числившийся в какой-либо политической партии, не участвовавший в политической жизни страны, творческий путь которого был весьма сложным и достаточно противоречивым, не смог далее оставаться сторонним наблюдателем. Его два последних произведения — недавно вышедший на русском языке роман «Господин посол», разоблачающий политику США в Латинской Америке, и публикуемый ныне «Пленник»—свидетельствуют о том, что писатель видит свой долг в служении делу демократии и прогресса.

В романе «Пленник» автор не называет страну, в которой развертывается действие, не называет подданство действующих лиц, не называет их имен, но не трудно заключить, что речь идет о Вьетнаме, о южновьетнамских партизанах, героически защищающих свою родину от американской агрессии, речь идет о палачах и убийцах в американской военной форме, творящих чудовищные преступления на вьетнамской земле. Свое произведение Эрико Вериссимо охарактеризовал как «гневный протест против войны и расизма». Но он не только протестует, он беспощадно обвиняет империализм Соединенных Штатов, вскрывая существо этой гнусной агрессии, показывая моральное банкротство интервентов, их неотвратимую обреченность.

Эрико Вериссимо назвал свой роман «своеобразной современной притчей о различных аспектах человеческой глупости, таких как, например, война и расизм». С отдельными спорными концепциями автора, высказанными в романе, конечно, нельзя согласиться, однако самое важное заключается в том, что такой видный буржуазный писатель, как Эрико Вериссимо, возвышает свой голос против империалистической политики Соединенных Штатов, политики экспансии, разбоя и террора. И хотя писатель не указывает страну, где происходит действие романа «Пленник», зато недвусмысленно дает понять: то, что происходит сегодня во Вьетнаме, может возникнуть и в другой стране, в другой части света, пока существуют империализм, силы неофашизма.

«Я не настолько наивен, чтобы ожидать, что мой роман окажется в состоянии изменить ход истории или хотя б повлиять на разрешение некоторых из многих сложных проблем человека нашего времени, — пишет Эрико Вериссимо во вступлении к бразильскому изданию «Пленника».— Но во всяком случае «Пленник» может быть расценен как выступление во благо мира и лучшего взаимопонимания между людьми, независимо от их национальных, расовых, религиозных или политических воззрений». И в этом писатель несомненно прав.

Май был на исходе, уже подул юго-западный муссон, а к концу того дня внезапно наступило затишье. Небесный купол — прижатая к земле гигантская медицинская банка — словно высосал воздух с просторов равнины, с гор и с моря. Древний императорский город, раскинувшийся по обоим берегам реки, с его знаменитыми дворцами, храмами и гробницами, казался живым, трепещущим существом, задыхающимся от недостатка кислорода.

Стояла гнетущая жара. Солнечный свет окрашивал лихорадочной желтизной влажный неподвижный воздух, насыщенный запахом гнили и разложения. Смешиваясь с затхлостью тины, этот сладковато-приторный запах поднимался из заросших лотосами крепостных рвов, над которыми реяли тучи москитов.

В саду Дворца Совершенной Гармонии виднелись изящные силуэты елей. На замощенной площади у музея все длиннее становились тени каменных статуй сановников былых времен. Напротив одной из пагод — там, где утром покончила с собой семнадцатилетняя студентка-буддистка, которая подожгла на себе одежду, облив ее предварительно бензином,— на мостовой темнело жирное пятно.

Уличное движение, усилившееся после пяти часов, сейчас достигло апогея. Тысячи автомобилей, велосипедов, мотороллеров и велорикш неслись, разноголосо сигналя, по улицам этой древней столицы провинции — души и мозга разделенной нации. Стремительные двухколесные экипажи мелькали, как рыбки в аквариуме. По тротуарам, обсаженным жасмином, манговыми деревьями, кокосовыми и веерными пальмами, двигались мужчины и женщины, преимущественно небольшого роста, скуластые, с кожей бронзового цвета, с раскосыми глазами. Мужчины большей частью были одеты по-западному, но без пиджаков и шляп, однако в толпе прохожих попадались и одетые по-местному: полинявшие, неопределенного цвета хлопчатобумажные брюки и куртки, надвинутые на глаза конические шляпы из соломки.

Мелькание людей и машин по камням и асфальту, еще горячим от дневного солнца, контрасты света и тени, стоявшее в воздухе голубовато-молочное бензинное марево, алые пятна цветов фламбойана и колоритные женские одеяния ао заи пастельных тонов — все это сливалось в общее ощущение цвета, объема и легких линий: некоторые из этих улиц напоминали картину импрессиониста, вдруг обретшей движение и звук.

Джонки, сампаны и другие большие и малые суденышки сновали по реке или неподвижными гроздьями располагались у причалов, образуя целые плавучие поселки. С военного вертолета, который пролетал над городом, возвращаясь с разведывательного задания, автомобили, двумя потоками катившиеся по большому мосту, казались исполинскими пресмыкающимися, допотопными панцирными чудовищами.

На несколько минут движение остановилось: у крепостной стены, возле императорских ворот, полицейский ударом ноги сбросил наземь корзину продавца фруктов, который показался ему подозрительным; среди покатившихся по тротуару плодов манго обнаружилось полдюжины пластиковых бомб. Прохожие наблюдали за этой сценой, сохраняя равнодушный и безучастный вид.

С полей и рисовых плантаций, окружавших город и простиравшихся до гор на западе и до моря на востоке, возвращались в свои хижины крестьяне, чтобы за запертой дверью укрыться с семьей от опасностей, которыми грозила наступающая ночь. В городе и его окрестностях уже стало известно, что в часы полуденного отдыха спустившиеся с гор партизаны неожиданно появились в деревне, расположенной в нескольких

* Печатается с сокращениями.

километрах к югу от демилитаризованной зоны. Войска регулярной армии Юга, поддержанные своими белыми заокеанскими союзниками, были на вертолетах отправлены туда, где, как предполагалось, должен был находиться противник, но тот уже успел бесследно исчезнуть.

Старик в праздничной одежде из черного шелка, сопровождаемый старшим сыном, вышел из большого храма, куда он ходил воскурить благовония и поклониться алтарю своих предков. На пороге он остановился, несколько мгновений созерцал стены Запретного города, а затем возвел глаза к небу. Губы его задвигались, как будто он что-то говорил. Юноша почтительно склонил голову, не решаясь нарушить молчание старика. Сын хорошо знал, как тяжко его отцу — ревностному конфуцианцу — видеть муки, которые его родина и народ терпят под гнетом насилия. Точно мало было этой братоубийственной войны между Севером и Югом, недавно по призыву буддистов против нового правительства вспыхнуло еще одно восстание. Старик видел народные демонстрации на улицах родного города; укрывшись за баррикадами из столов, стульев и даже домашних алтарей, сотни студентов оказывали сопротивление полиции и войскам. Пагоды превратились в поля сражений. Солдаты правительства стреляли по народу... В столице страны на крайнем Юге священник-буддист в знак протеста против произвола правительства объявил голодовку. Участились ритуальные самоубийства — всего лишь несколько часов назад старик держал в руках обгоревшие лохмотья девушки, пожертвовавшей собой и погибшей в пламени.

Старик скорбно покачал головой и, по-прежнему храня молчание, пошел в сопровождении сына через храмовой сад вдоль каменных грифов.

А в это время под навесом сампана, стоявшего на якоре у берега реки, партизан-коммунист, за голову которого правительство Юга назначило награду, но который целым и невредимым входил и выходил из города, где у него имелись сотни друзей, единомышленников и родственников, вполголоса объяснял двум юношам, что им надо будет сделать. У его ног лежал развернутый план города. Юноши слушали с напряженным вниманием, и в их зрачках отражался этот с виду хилый человек неопределенного возраста с худым, скуластым лицом и властным взглядом. Время от времени они кивали в знак согласия. На носу лодки стоял еще один юноша, по-видимому, на страже и внимательно следил за всем, что происходило вокруг. А на корме девушка, сидя на корточках, наблюдала за кастрюлей, в которой варился рис.

В нескольких километрах от города, посреди рисового поля, пожилой крестьянин с морщинистым лицом цвета охры курил и улыбался, глядя на бамбуковую ловушку, только что захлопнувшуюся за голубкой: завтра эта голубка приманит много голубей, и они тоже попадут в ловушку. Он мечтал, как пойдет в город, выгодно продаст птиц на базаре, а на вырученные деньги купит табаку, и соли, и еще масла для лампы. Серовато-красные губы открылись в беззубой улыбке. И старик сквозь клубы табачного дыма, подымавшегося из трубки, созерцательно смотрел на раскаленный диск солнца, спускавшийся к вершинам горной цепи.

Всего неделю назад белый полковник послал письмо своей пятнадцатилетней дочке, от которой его отделяли тысячи миль суши и моря. Не сообщая ей никаких подробностей о кровавых событиях в городе, он писал, что в саду при доме, где он поселился в качестве временного военного коменданта города, «цветут орхидеи и пулеметы, водяные лилии и штыки». И вот сейчас, в этот удушливый вечер, из окна своего рабочего кабинета он следил мертвым от усталости взглядом за солдатами военной полиции, которые, как легавые псы, рыскали среди деревьев

и кустов этих джунглей в миниатюре, проверяя, не прячется ли среди густой зелени террорист, тайно проникший в сад. Такая операция повторялась несколько раз в сутки. Враг постоянно ускользал, он был хитер, упорен, невидим. И невозможно было предугадать, где, когда и с каким оружием он нападет.

Большое здание, в свое время построенное для военной администрации европейской страны, в течение многих лет оккупировавшей этот полуостров на юго-востоке Азии, было обнесено трехметровой стеной; недавно на ней установили проволочную сетку тоже высотой в три метра, чтобы предохранить здание от гранат.

Полковник вытер лицо и шею влажным от пота платком и начал мысленно сочинять новое письмо: «Дорогая дочка! Вечереет, и из моего окна виден красноватый диск солнца, спускающийся к горам. Но что за вздор! Солнце не диск и относительно Земли оно не движется. Профессиональному солдату не к лицу поэтические метафоры. Ему прежде всего нужно быть логичным. Однако к чему логическое мышление в стране, где преобладает мышление магическое?»

Он прислушался к глухому шуму, доносившемуся с улицы, затем взглянул на стену, окружавшую сад, и ему стало не по себе. Он продолжил воображаемое письмо: «В юности твой отец мечтал в один прекрасный день стать командиром подводной лодки, но психологическая проверка положила конец его мечтам, так как он оказался клаустрофобом, то есть одним из тех, кто не выносит пребывания в закрытых помещениях. И ему пришлось удовольствоваться службой в морской пехоте, представители которой вам, девушкам, кажутся такими бесстрашными и романтичными. А вот сейчас я, как монах в монастыре, заперт в этом здании, обнесенном высокой стеной. И уже двое суток не покидаю своего кабинета, не отхожу от рабочего стола, на котором растет кипа бумаг, требующих решений... Это я-то, который так ненавидит бюрократизм! Любое самое трудное боевое задание было бы в тысячу раз предпочтительнее — все что угодно, лишь бы не нести на своих плечах, даже временно, бремя управления азиатским городом, раздираемым внутренними распрями, в опасной близости от скрытого, но постоянно о себе напоминающего врага». Он тяжело вздохнул, рассердившись на себя: разве можно писать такие письма пятнадцатилетней девочке? Пусть война для нее остается серией героическо-романтических эпизодов, какие показывают по телевидению и в кино!

Полковник оглядел свой кабинет, обставленный наспех, кое-как. Большой рабочий стол с тремя телефонами, сейф для хранения документов, выкрашенный зеленовато-оливковой краской (цвет его мундира), полдюжины стульев, неудобных и некрасивых. Лопасти большого вентилятора вращались и гудели, но в комнате не становилось прохладнее — воздух оставался жарким и душным. Линолеум на полу напомнил полковнику линолеум кухни в его доме, там, на далекой родине. (И сразу же перед его глазами возник ненавистный образ жены.) На одной из стен висели карты — этого района, территории противника, а также соседних стран, формально соблюдающих нейтралитет в нынешней войне. Единственная вещь в кабинете, которая как-то напоминала об обыкновенных человеческих отношениях, был диван с выцветшей и засаленной обивкой: возможно, думал полковник, это — наследство, оставшееся от чиновников-эпикурейцев, умевших скрашивать будничную работу эротическими интермедиями.

Из соседних помещений доносился приглушенный толстыми стенами стук пишущих машинок. Полковник знал, что в эту минуту в здании работает около восьмидесяти человек, готовых явиться по его первому зову, и все-таки он чувствовал себя таким одиноким, затерянным во вре-

мени и пространстве, словно его забросили на необитаемую планету, удаленную от Земли на тысячу световых лет.

У него вдруг возникло странное ощущение, будто швырнули его в котел, чтобы утопить в кипящем масле. (Для мальчика, который зачитывался «Тысячей и одной ночью», Восток — это, конечно, Моргиана, служанка Али-Бабы, налившая горячее масло в кувшины, в которых прятались разбойники.) Он сильно вспотел. Ему казалось, что рубашка прилипла к груди, как будто между кожей и материей находился слой гуммиарабика. Последние сутки он не сомкнул глаз. Пустота в голове — и так болят глаза... Всю прошлую ночь он пил черный кофе без сахара, курил сигарету за сигаретой и руководил отсюда, из кабинета — по телефону и по радио — действиями своих солдат, которые производили облавы в подозрительных местах, пытаясь найти крупную партию пластиковых бомб: по утверждению осведомителей, ее накануне тайно доставили в город. До сих пор, однако, ничего не найдено, если не считать самодельных ручных гранат и взрывчатки, спрятанных в корзинах уличных торговцев фруктами, в подвалах домов на окраинах и в сампанах. Есть от чего прийти в бешенство!

Два дня назад в вестибюле самого крупного в городе отеля «Континенталь» взорвалась бомба, убив восемь человек и ранив двадцать пять. Несколько часов спустя другая пластиковая бомба взорвалась в зале кинотеатра «Дельта», и жертв оказалось еще больше, потому что многие из тех, кто не был убит или искалечен взрывом, оказались задавленными, когда зрители в слепой панике ринулись к дверям.

Генерал оставил на его попечение этот город на время переговоров между правительством Юга и бонзами. Мятеж буддистов фактически закончился, когда был сдан соседний город — последний оплот восставших. Остальное зависело только от результата переговоров за круглым столом. Но, поскольку до сих пор еще не удалось выработать окончательное соглашение, полковнику было поручено поддерживать порядок в этом районе. Генерал еще сказал, что именно он, полковник, лучше других разбирается в восточной психологии. Какая нелепость! На новом посту он чувствовал себя как слон в посудной лавке...

Он налил в бумажный стаканчик холодного чая с лимонным соком, стоявшего на столе в пузатом кувшине. Поднес ко рту и отпил с жадностью, нарочно пролив чай так, чтобы он стекал по разгоряченной коже подбородка, шеи и груди. И слабый запах вощеной бумаги стакана перенес его в детство...

Однажды вечером в зале кинотеатра... ему было тогда лет двенадцать... или тринадцать?.. он сунул монетку в щель автомата с прохладительными напитками... он увидел себя нажимающим кнопку со словом «вишневый»... даже вспомнил размер букв... Затем купил фунтик жареной кукурузы, отдававшей растительным маслом... Почему на память пришли образы именно этого дня, а не сотен других, когда он тоже пивал из бумажных стаканчиков? Наверно, потому, что в тот вечер он в кино ускользнул в уборную, заперся в одной из кабинок, уселся на унитаз, даже не расстегнув брюк, и с дрожью от страха и блаженства (или тошноты?), с мучительным сознанием греха, с мыслью об отце, протестантском священнике, и об адском огне, которым тот постоянно угрожал ему, выкурил первую сигарету в своей жизни.

Полковник отхлебнул еще глоток чая. Теперь запах вощеной бумаги перенес его еще в один день прошлого... Ему было двадцать лет с небольшим — в тот день он познакомился с девушкой, которая через год стала его женой...

Был апрель, цвели форситии и шиповник. Они выпили с ней за будущее — лимонад в бумажных стаканчиках. Ведь они были методистами

и не признавали алкогольных напитков. Ее смех был весенним, а фигура — гибкой, как молодая ива.

Полковник смял бумажный стаканчик и злобно швырнул его под стол в проволочную корзину для бумаг. Он не любил думать о своей семейной жизни.

Он потер щеку ладонью и ощутил жесткость двенадцатичасовой щетины. «Разве ты не побреешься, дорогой? Не забудь, что мы сегодня идем на обед к священнику». Он ненавидел сладкий голос жены. Она кончила один из лучших женских колледжей страны и привыкла произносить слова подчеркнуто правильно, декламируя их, словно все время находилась на сцене — конечно, на любительской. Ее материнская заботливость его раздражала. Они были почти ровесники, но она преждевременно состарилась — ее волосы совсем поседели, а кожа на шее представляла беспощадный календарь. Дочь появилась у них настолько поздно, что это могло оказаться для всех троих либо очень хорошо, либо очень плохо... У него и жены кровати всегда были отдельные, и уже более двух лет они воздерживались от близости. Она, казалось, находила это не только очень удобным, но и вполне естественным. «Было бы смешно, милый, если бы мы...» А он между тем на пороге пятидесяти лет чувствовал себя таким же крепким, как в тридцать, и вскоре начал страдать от воздержания, что выводило его из себя. Его не привлекало тело жены. Узкие бедра и небольшой бюст, которые в молодости придавали ей изящество подростка (паж, тополь, газель), теперь превратили ее в бесполое существо (доска, столб, кукла). И по мере того как шло время, он все больше убеждался, что она относится к нему по-матерински — совсем как мать к единственному сыну. От всех этих «сыночек» и «папочка», как она любила его называть, ему становилось тошно, словно его обвиняли в кровосмешении. Часто, разговаривая с нею, он терял терпение, был язвительным и грубым. Тогда она принималась плакать, а он чувствовал себя виноватым и только больше возмущался. «Ты обращаешься со мной как со своими солдатами. Армия тебя испортила, бедняжка!» Полковник понимал, что терпеть не может жену, и жалел об этом. Пожалуй, во всем мире только дочь его не раздражала — на нее он изливал всю свою неистраченную нежность и доброту.

Он снова подошел к окну и машинально поглядел на ручные часы, однако до его сознания не дошло, какой час указывают стрелки. Теперь перед его глазами с томительной ясностью возник образ той, другой. Их встреча, их сближение заставили его поверить в судьбу. Они познакомились на вечеринке в доме общих знакомых года два назад. Это она пригласила его на танец. Ее горячая, жадная рука обвила его шею, привлекла его лицо к своему. Оба сочетались в гармоничном движении, как две половины одного существа, которые наконец встретились и слились воедино. Тридцатидвухлетняя женщина, она обладала каким-то неотразимым животным магнетизмом, совсем-совсем не похожая на жену: страстная, с красивыми линиями тела и лепными формами, пышная, но отнюдь не толстая, беззаботная, естественная, разговаривавшая непринужденно и легко, способная громко расхохотаться где угодно, в любой обстановке, расхохотаться от всей души. Она была матерью троих детей, которые жили то у нее, то у отца — ее бывшего мужа, с которым она развелась. Служила она в фирме по художественному оформлению интерьеров. Через неделю они уже стали любовниками. Встречались они в мотелях или же уезжали в его — либо в ее — машине за город. Вот так ему открылся сад наслаждений, Эдем после грехопадения, но до изгнания. Они полюбили друг друга искренне и безудержно и вместе с тем относились друг к другу уже как старые, добрые, преданные друзья. Он чувствовал, что молодеет от каждой встречи с этой необыкно-

венной женщиной, которая была само отрицание пуританского мирка его детства и юности, неизменно тяготевшего над ним,— только жизнь в казармах немного освободила его от этих уз, точнее, лишь слегка их ослабила.

Воспоминания о минутах, проведенных с любовницей, делали для него еще более невыносимым общество законной супруги. Кроме того, он чувствовал, что предает дочь, будто он ее покинул, чтобы усыновить детей другой женщины — мальчика и двух девочек,— которых он видел довольно часто и которые называли его дядей. Для него эта двойственная жизнь была глубоко мучительной — его учили ненавидеть лицемерие. И вскоре образ отца, методистского епископа, снискавшего глубокое уважение своей паствы, стал преследовать его, напоминая о собственной вине. А любовница требовала, чтобы он развелся с женой и женился на ней. Она тоже страдала от необходимости скрывать их отношения. «Я же развелась, так почему ты не можешь сделать того же?» Он объяснял, что боится травмировать дочь — та в переходном возрасте и очень любит и его, и мать. На самом же деле — это ему было хорошо известно — человеком, державшим в руках ключ от его тюрьмы, был его отец.

Вот так и шла его жизнь — чередование рая, ада и (возможно, чаще всего) чистилища. А самым худшим, думал полковник, уставившись невидящими глазами на участок сада в рамке окна, самым худшим были воскресные утра, когда он по давно заведенному порядку отправлялся с женой в приходскую церковь и они все время были вместе — вместе пели псалмы и слушали проповеди, вместе молчали. Запах краски церковных скамей смешивался с ароматом гвоздики, исходившим от матери его дочери. А она дрожащим сопрано старательно выводила псалом, миниатюрная и нелепая, кивая головой, как птица, и в самых трогательных местах еще приподнималась на цыпочки и механически улыбалась в притворном религиозном экстазе. От всей этой комедии ему было неловко, он презирал самого себя. В конце концов у него обнаружилась язва желудка. Врач скоро понял, в чем было дело. «Диета или лекарства, которые я пропишу, вам не помогут, полковник, если вы не устраните зло в самом корне». Врач был невысок и застенчив, он громко дышал, его крошечные, но живые глаза под нависшими лохматыми бровями редко смотрели на собеседника прямо. «Развод? А моя дочь, доктор? А моя жена, которую мне абсолютно не в чем упрекнуть? Это будет для нее слишком большим потрясением».

Врач пожал плечами и пробормотал: «Такие вопросы не в моей компетенции. Может быть, специалист по психоанализу...» Обратиться к специалисту по психоанализу? Ему, офицеру, почти пятидесятилетнему, лечь на кушетку и подобно кумушке выбалтывать постороннему человеку свои самые сокровенные тайны? Нет! Он отверг этот совет с возмущением, словно врач предложил ему сделать что-то постыдное.

Однажды, когда ему было особенно тяжело, он собрался с духом и отправился к отцу. Оставшись с ним с глазу на глаз, он рассказал ему все, испытывая странное ощущение, что делает это не для того, чтобы просить у отца прощения или совета, и даже не для того, чтобы избавиться от гнетущей тайны. Нет, он шел в наступление. Ему, в сущности, хотелось смутить сурового моралиста, как будто именно тот был виновником всех его мучений. Старик выслушал сына в удивленном молчании, крепко вцепившись в кресло. После пространных и гневных библейских цитат он пробормотал: «Так обмануться! Мой сын, мой единственный сын, которым я так гордился... прелюбодействует с какой-то... какой-то...» Он умолк, а когда заговорил снова, то произнес тоном древ-

него пророка: «Ну что ж, если ты хочешь, чтобы твой отец и твоя мать умерли от горя, иди проси развода у чистой и достойной женщины, которая приняла тебя, как законная супруга перед богом и людьми. О, это будет прекрасно! Я уже слышу перешептывания... Сын методистского священнослужителя развелся с женой, чтобы жениться на разведенной, с которой живет в грехе уже более года! Изумительный пример для общины! Подумал ли ты о своей дочери? Что будет с ней?» Старик снова умолк. И в заключение, как всякий раз, когда жена или прихожане пытались ему возражать, пустив в ход свой собственный апокалипсис, под занавес устроил один из своих знаменитых сердечных припадков. Начал ловить ртом воздух, словно задыхаясь, схватился за грудь... Притворщик! Его лицо оставалось по-прежнему розовым... Тогда сын решил поступить, как поступает хороший игрок в покер — «заплатить, чтобы посмотреть». Он не тронулся с места. Отец достал из позолоченной металлической коробочки таблетку тринитрина и положил ее под язык. Эту трагикомедию старик разыгрывал всегда, когда хотел заставить волноваться жену, которая более полувека служила ему с покорностью рабыни и сносила все его выходки. Эгоист и тиран! Для него важнее всего поддерживать свою репутацию в глазах прихожан.

Увидев, что сын не бросается к телефону, не вызывает врача и ничего не делает, чтобы ему помочь, старик огорченно пробормотал: «Тебе все равно, если твой отец умрет. Ты думаешь только о том, как потворствовать своей греховной плоти! Ну что ж! Но не жди моего одобрения, моего благословения безумию, которое ты намереваешься совершить. Вспомни о господе, он все видит, все знает и судит...»

Теперь полковник пристально смотрел на крону мангового дерева. Тени в саду сгустились. Издали донесся какой-то возглас на туземном языке.

В тот далекий вечер, вспоминал полковник, он ушел из отцовского дома, полный гнева, вовсе не чувствуя себя виноватым, сразу же отправился к любовнице и провел с ней самый безумный час любви.

Полковник сунул руку в кувшин с чаем и, достав последний кубик льда, превратившийся в тонкую пластинку, провел им по щекам. Потом, словно еще раз бросая вызов отцу, осуждавшему употребление табака не меньше, чем алкоголя, вытащил сигарету из пачки, лежавшей на столе, и сунул ее в рот. Сигарета была влажной и мягкой. Он закурил, и щелчок зажигалки вместе с запахом бензина вызвал в его памяти ту последнюю ночь...

...Он с любимой женщиной в автомобиле, на берегу реки... Это было их прощание — на следующий день ему предстояло отправиться за океан, на войну. Они долгое время сидели молча, держась за руки. Потом он щелкнул зажигалкой, потому что ее сигарета погасла. Маленький язычок пламени осветил на мгновенье любимое лицо, манящие губы. Едва она сделала первую затяжку, как он стал целовать ее с такой поспешностью, что даже обжегся о сигарету... Потом они в томном и немного грустном пресыщении снова начали наблюдать за прогулочным пароходом, который в ожерелье огней скользил по реке.

Полковник принялся расхаживать взад и вперед по кабинету. Будь что будет, подумал он. Во всяком случае его затруднения если и не разрешены, то отложены на какое-то неопределенное время или даже навсегда. Быть может, какой-нибудь партизан послужит орудием в руках судьбы и все кончит одной пулей? Он снова остановился у окна, посмотрел на кроны деревьев сада. Как знать, не сидит ли в эту самую минуту там, на суку, невидимый враг, целясь в него из карабина или готовясь швырнуть гранату в его окно? Черт возьми! Такие болезненные трусливые мысли недостойны кадрового офицера! Обязанность солдата —

остаться в живых и уничтожить противника. Это малодушие, конечно, плод жары и бессонницы, телесной и душевной усталости...

Зазвонил один из телефонов. Полковник взял трубку, выслушал доклад адъютанта и распорядился:

— Вызовите ко мне майора.

Вошел майор, человек лет сорока, невысокий и тучный. Сильное пучеглазие придавало его мясистому багровому лицу выражение, которое почему-то казалось полковнику непристойным. Толстые красные губы, совсем не похожие на губы его начальника, узкие, как лезвие ножа, говорили о животной чувственности. Среди сослуживцев майор славился добродушием и считался желанным гостем в любой компании. Он любил хорошо и вкусно поесть, с комфортом поспать и не думал, какое впечатление это может произвести на других.

Он отдал честь несколько небрежно, даже чуть ли не пренебрежительно. Полковник поглядел на него с неудовольствием. Военнослужащий, подумал он, не имеет права распускаться и так неприлично толстеть. В своем подчиненном он начал замечать первые признаки процесса, неумолимо разрушающего тело и душу каждого белого человека, который слишком долго остается под физическим и духовным воздействием тропиков. Ему захотелось крикнуть: «Извольте подтянуться, когда отдаете честь! Подберите живот! Застегните рубашку!» Однако он сдержался и подавил в себе раздражение.

Майор, испустив вздох облегчения, развалился на стуле в вольной позе ковбоя среди ковбоев. Полковнику не понравилось, что майор сел, не дожидаясь приглашения, однако и на этот раз он не сделал замечания.

— Что нового? — спросил он.

Майор открыл черную папку, которую держал под мышкой, вытащил из нее два исписанных листа и положил их на стол.

— Вот донесение,— сказал он.— Как вы увидите, мы так ничего толком и не узнали про контрабанду взрывчатки...

Говорил он хриплым басом.

Полковник взглянул на листки, но не притронулся к ним.

— А расследование взрывов в отеле и кино?

— Пока мы еще не напали на след.

Полковник нетерпеливо пожал плечами и сел у стола. Уже несколько месяцев майор находится в его подчинении, но до сих пор он не составил о нем определенного суждения. Он не мог даже сказать с точностью, почему ему не нравится этот тип. Тем не менее полковник не мог не признать, что у майора есть положительные качества — умен, хитер, достаточно храбр и обладает поистине восточным терпением. Мало кто из белых способен так хорошо разбираться в капризной политике этой страны, во всех этих заговорах, контрзаговорах и ловушках, в достоинствах и недостатках туземных генералов, готовых перегрызть друг другу глотку в борьбе за власть. К тому же у него превосходная память, и он довольно бегло говорит на местном языке. И все же...

— За два дня мы допросили более двухсот человек, и никакого толку,— сообщил майор, вытаскивая из кармана трубку и табак.— Никто ничего не знает. Никто никого не знает.

Полковник потушил сигарету о дно пепельницы и воскликнул:

— Проклятые азиатские штучки!

Майор закурил трубку. Он затянулся, выдохнул дым с явным наслаждением и даже зажмурил глаза.

— Ну, положим,— улыбнулся он,— мы на Западе тоже умеем уходить от ответов, когда это нам нужно.

Полковник поглядел на него искоса. Мысли майора иногда казались

ему не менее опасными, чем некоторые плоды этой части света, зрелые и сладкие, они вот-вот переспеют и попортятся, отравят.

— В этих туземцах, майор, меня особенно раздражает одна их черта... э... как бы это выразить? Ну, аморфность. Как ни стараюсь я быть с ними добрым христианином, однако сравнить их могу только с чем-то из... Не то моллюски... не то черви... пиявки.. Только вспомните, как они плодятся! Иногда у меня возникает такое ощущение, будто в этом ужасном климате, в этой жуткой жаре мы все плаваем в какой-то питательной среде, где быстро размножаются микробы и инфузории... и в конце концов мы обязательно заразимся какой-нибудь дрянью.

Майор пожал плечами.

— А вы когда-нибудь думали, полковник, чем мы представляемся этим людям? С какими тварями сравнивают нас они? Скорее всего, может, с драконом, который жует резинку, пожирает ванильное мороженое и испражняется напалмовыми бомбами...

Он на мгновение вынул трубку изо рта. Полковник, как зачарованный, уставился на влажные губы собеседника, испытывая что-то вроде тошноты, а тот продолжал:

— Ведь для этих людей главное — семья, род... А о том, что такое нация, они имеют самое смутное представление... Результат нашего расследования меня не удивил. Иногда мне кажется, что в этой стране все — близкие или дальние родственники по крови или по браку, друзья, кумовья, единоверцы и прочее и прочее... Круговая порука! Все покрывают друг друга и уж конечно не выдают. Исключения можно сосчитать по пальцам одной руки... Вот почему я очень хотел бы понять этот народ, который, на мой взгляд, гораздо ближе нас находится к основным источникам жизни, к ее смыслу.

Он снова взял трубку в крупные, выступающие вперед зубы, их желтоватый цвет свидетельствовал, что они скорее всего настоящие, а не вставные. Полковник встал, стараясь превозмочь сонливость, расслаблявшую тело, затуманивавшую мысли. Его руки были заложены за спину, пальцы левой руки охватывали запястье правой.

— То, что вы говорите, майор, лирика наихудшего сорта. Я читал фантазии вроде вашей о счастье первобытного, слившегося с землей человека, и так далее. И я не согласен с тем, что мы — страшные, кровожадные драконы. На мой взгляд, наша страна выполняет в мире цивилизаторскую миссию. Вот что вселяет в меня надежду, дает силу. Мы достаточно могучи, чтобы спасти от нищеты, болезней и невежества как эту, так и другие страны мира. А потом... несмотря на эту войну, мы все же строим школы, больницы, амбулатории... Обучаем крестьян начаткам агрономии. А после уничтожения коммунистов мы предоставим этой нации жить самостоятельно.

Полковник замолчал, чувствуя, что сам не очень верит в то, что сказал. Но больше всего ему хотелось противоречить собеседнику, а потому он продолжал:

— К тому же мне не верится, что вы искренне восхищаетесь этими туземцами, заклинающими духов своих предков, этой неполноценной расой, верящей в колдунов, вызывателей духов и астрологов. Мне говорили, что в здешней провинции есть религиозная секта, которая поклоняется богу в образе глаза...

Майор улыбнулся.

— Мы тоже поклоняемся странным богам.

Полковник сделал нетерпеливый жест.

— Хорошо! — воскликнул он.— Поговорим о том, что непосредственно нас касается. Из-за их нежелания выдавать бандитов партизанские главари безнаказанно приходят в город и свободно из него уходят —

и они даже ночуют у родственников, прямо у нас под носом. Все это вам отлично известно.

Майор молча кивнул.

— А известно ли вам, полковник, как враг поступает с теми, кто сотрудничает с нами?

Известно ли ему! У него в памяти сразу же возникла неприятная картина. Это было месяца четыре назад. Он приехал в деревню, где только что побывали партизаны. Деревенских старейшин, обвиненных в предательстве, расстреляли. На видном месте прикреплена дощечка с короткой надписью на туземном языке: «Вот что ожидает всех, кто сотрудничает с белыми империалистами и их прислужниками».

Майор продолжал после короткой паузы:

— В столице положение еще хуже, чем здесь. Там существует подпольное правительство-призрак, которое имеет не меньше власти, чем законное. Мне сообщили, что у противника есть шестьсот почтовых ящиков и что его служба связи работает гораздо эффективнее нашей. У него имеются шпионы во всех стратегически важных пунктах — например, на телефонной станции. Каждый бродячий торговец, каждый хозяин киоска или мелочной лавки может оказаться тайным агентом или соглядатаем... Никогда не известно, кто с нами, а кто против нас.

Он улыбнулся, словно собираясь рассказать анекдот.

— На днях в одно кафе зашел мальчик лет семи-восьми и с самым невинным видом положил на столик какой-то сверток, а затем опрометью выбежал на улицу. Когда посетители кафе сообразили, что может произойти, и пытались бежать, было уже поздно... Спрятанная в свертке небольшая бомба взорвалась и ранила трех или четырех человек.

Майор смолк. В течение некоторого времени полковник не ощущал ничего, кроме удушающей жары, еще более тягостной, чем днем, из-за вечерней сырости. Он чувствовал себя отвратительно. По его телу струился пот. Он прикинул, сколько еще часов ему предстояло мучиться, и с тоской подумал о холодном душе, чистом белье и удобной постели в номере отеля, где кондиционированный воздух был почти прохладным.

Майор, не выпуская трубки изо рта, вытирал платком лоснящуюся толстую шею. И полковник уже намеревался было закончить их беседу словами: «Ну, хорошо, значит, все ясно...» однако майор снова заговорил:

— Я могу рассказать вам одну историю — не знаю, известна ли она вам, полковник,— которая довольно ярко иллюстрирует способность к сопротивлению, а также ожесточенность наших врагов... Это случилось вскоре после того, как я приехал сюда, полный иллюзий и наивных представлений, убежденный, что мы ведем войну, соблюдая все положенные нормы. Я командовал операцией по очистке территории противника. Несколько отдельных очагов сопротивления мы уничтожили и вот наконец добрались до последнего. Через некоторое время ответный огонь прекратился, так как все партизаны были перебиты... — Он усмехнулся. — Все, кроме одного. Из ямы сначала поднялась белая тряпка на палке, а затем показалась фигура партизана, державшего палку. Желтолицый, хилый, в одной черной набедренной повязке. Я крикнул, чтобы он поднял руки вверх и сделал два шага вперед. Заморыш повиновался. Из предосторожности я приказал, чтобы он снял повязку. Он подчинился и стоял перед нами совершенно голый с поднятыми руками. Никакого огнестрельного или холодного оружия у него не было. И все равно двое моих солдат подошли к нему очень осторожно, держа автоматы наготове... Они были от него в трех шагах, когда я увидел огненную вспышку и услышал взрыв. Солдаты упали ранеными, а сам туземец был разорван на куски...

Майор сделал выразительную паузу.

— Позднее, осматривая труп, мы поняли, что произошло. Партизан зажал ручную гранату между ногами, предварительно сорвав с нее предохранитель...

— Фанатики! — воскликнул полковник.— Однажды я стал невольным свидетелем одного из этих... как они называются?.. ритуальных самоубийств. Я стоял на тротуаре в самом центре города и увидел, как бонза сел посредине улицы, скрестил ноги, вылил себе на голову и на тело канистру бензина и зажег спичку... Все это произошло так быстро, что я не успел помешать осуществлению его безумной затеи. Тело бонзы вспыхнуло, как факел, и горело, пока не рухнуло на асфальт, точно обуглившаяся деревянная статуя. Сегодня утром точно таким же образом покончила с собой буддистская студентка, совсем еще молоденькая девушка... Кто поймет этих варваров?

Майор уселся на стуле поудобнее и сказал:

— Все это напомнило мне одну из самых страшных сцен, виденных мною в детстве. Однажды в моем родном городе человек десять белых схватили негра, связали его по рукам и ногам и бросили в костер, заранее разведенный на пустыре. Возвращаясь из школы, я увидел, что происходит, и остался стоять, охваченный ужасом и все же не в силах отвести взгляда от костра... Возможно, во мне проснулось извращенное любопытство, свойственное детям. Негр — он не был бонзой и не собирался совершать ритуального самоубийства — орал от отчаяния и боли. Когда же наконец появился полицейский, кстати сказать, с весьма подозрительным опозданием, негр, страшно обожженный, был уже мертв. Я помню, мне кто-то объяснял, этого чернокожего наказали за то, что он совершил «сексуальное покушение» — никогда не забуду этого выражения — на белую женщину. Мне тогда было, должно быть, лет девять-десять... И еще одна фраза, связанная с этим страшным эпизодом, врезалась мне в память. Хозяин ближайшего бара со смехом произнес, обращаясь к одной даме, которая, как и он, присутствовала при сожжении негра: «Не правда ли, запах жареного козла очень неприятен?» С того дня я стал питать отвращение к жареному мясу... и питаю его по сей день.

— Зачем вы мне про это рассказываете?

— Просто по ассоциации.

Полковник взглянул на своего подчиненного с неприязнью, но ничего не сказал. Потом, не желая продолжать разговор о проблемах родной страны, он пробормотал:

— Люди тут словно сотворены из совсем другого материала...

— Не все, полковник. Среди туземцев многие мыслят по вполне западному образцу, исполнены духа прагматизма. Я имею в виду политических деятелей и военных, жиреющих за счет нищеты своего народа... и... к чему скрывать?.. за счет нашей союзнической «щедрости». Они обогащаются с помощью черного рынка, проституции и торговли наркотиками. Некоторые из них щеголяют генеральскими звездами и наградами — люди на вид весьма почтенные, которым мы с вами отдаем честь...

— Будем реалистами, майор. Сейчас время сражаться, а не рассуждать об этических проблемах. Хороши или плохи эти люди, но они — наши союзники.

— К несчастью.

— Уж не хотите ли вы сказать, что, по вашему мнению, нам следовало бы помогать другой стороне?

— Конечно нет. Я отнюдь не считаю, что альтернативой должен непременно быть коммунизм.

— Кроме того, нам, как солдатам, не положено критиковать реше-

ния правительства, наше дело — сражаться, сражаться как можно лучше, чтобы выиграть войну.

Майор уставился на своего начальника выпученными глазами. «Мне и в голову не приходило,— подумал он,— что земля моей родины могла взрастить такой цветок — идеальный солдат, человек, для которого мундир стал второй кожей».

— Выиграть войну? — переспросил он, хотя и понимал, что разумнее было бы прекратить дискуссию. Но фарисейство полковника было красным плащом, способным разъярить даже самого кроткого быка.— А, собственно, для чего ее выигрывать?

— Вы прекрасно знаете. Для того, чтобы остановить наступление коммунизма и установить господство демократии в этой части Азии.

— Ах, если бы дело обстояло столь просто! — пробормотал майор. — Я не верю, что эта война сводится всего лишь к простому столкновению между коммунизмом и нашей демократией.

— Повторяю, что мы, как солдаты, обязаны сражаться, пока не победим, а не рассуждать! — почти выкрикнул полковник, будто отдавая приказ.

Майора передернуло, он заерзал на стуле. Какая муха укусила полковника? Что на него так действует? Жара? Ответственность за этот загадочный город, где враги на каждом шагу подкладывают мины? Усталость, бессонница?.. Он явно болен — и физически, и психически.

Майор оценивающе посмотрел на своего начальника. Полковник был высок и строен, атлетически сложен — узкие бедра, широкие плечи. Коротко подстриженные белокурые и уже седеющие волосы гармонировали с цветом мундира и глаз, отливающих металлом и придающих его внешности что-то хищное. Крупное волевое лицо портили только слишком узкие и бледные губы.

— Поймите меня правильно, майор. Не думайте, будто мне **нравится** эта война, в которую мы так или иначе вовлечены. Для человека с моим характером это слишком неопределенная и вялая война. Иногда я просто тоскую по иной войне — большой, настоящей.

Он поглядел на потолок и продолжал, как в бреду:

— Вот когда я служил в Африке... Разумеется, днем пустыня превращалась в сущий ад и от жары можно было сойти с ума. Горячие ветры, казалось, дули из жерла вулкана, а песок, который они вздымали, как наждачная бумага, скреб нам по нервам. Однако ночи были прохладными, даже холодными и действовали на нашу усталость и солнечные ожоги как целительный бальзам. Мы видели звезды в чистом небе. И там не было ни этой проклятой тропической растительности, ни москитов, ни грязи... Кроме того,— и это самое важное! — мы имели возможность видеть врага в лицо. Там танк шел против танка, человек против человека, как некогда рыцари на турнире. Характер местности исключал самую возможность засады. Здесь же мы завязли в затяжной, безликой войне, в которой мы сражаемся с невидимым противником... Находиться под прицелом и не иметь возможности ответить огнем — вот что приводит меня в исступление. Эта война настолько отвратительна, что она еще никого у нас не вдохновила сложить про нее хотя бы песню...

А майор слышал только голос полковника, смысл же слов до его сознания не доходил — он думал о своем: «его проблема» — не мелка ли, не смешна ли она?.. Что подумал бы этот доблестный воин, если бы он рассказал ему о себе, о своих бедах, о своей семейной драме, такой ничтожной? Он мог бы это сделать кратко, не изменяя интонаций, без театральных эффектов... «Знаете что, полковник? — хотел было он сказать.— Иногда я даже думаю, что эта грязная, отвратительная и нелепая война раздражает меня меньше, чем та обстановка, которую мне при-

шлось выносить в моем собственном доме до того, как меня прислали сюда. Почему? Да потому, что этот толстый и с виду спокойный человек, который сейчас сидит перед вами, был духовно выхолощен эгоистичной и властолюбивой матерью, сумевшей разрушить его семейный очаг. Да, моя жена потребовала развода, потому что не могла выносить интриг и даже простого присутствия свекрови. Представьте себе даму шестидесяти трех лет, вдову, твердо убежденную, что нет ничего достаточно достойного ее единственного и дорогого сыночка. Я не дал согласия на развод. Не только потому, что я католик — кстати сказать, неважнецкий католик,— но еще и потому, что любил и до сих пор люблю жену и детей, которых она взяла с собой. Да, мы все-таки разъехались. День, когда жена покинула мой дом, был для моей матери чем-то вроде национального праздника. Ей хотелось, чтобы я подал в суд на жену за то, что та от меня ушла, и чтобы я потребовал возвращения детей. Я отказался так поступить. В конце концов старуха удовлетворилась создавшимся положением. Потому что добилась главного: осталась одна со своим сыночком. Честное слово, полковник, был момент, когда я боялся, что возненавижу родную мать, и, может быть, я ее действительно ненавижу... но как бы то ни было, я возненавидел себя. В отместку — только кому? Я искал успокоения черт знает в чем. Женщины, алкоголь, жратва... и все это без удержу. Мне грозило увольнение из армии. Потом... потом меня послали сюда. Разрядкой в моих семейных трудностях это не было, но все же дало мне передышку. И вот я здесь. Моя одержимая материнской любовью родительница пустила в ход все свое влияние вдовы сенатора, чтобы ее сыночка не отправили на «грязную войну», хотя и считала — как и многие другие матери, когда речь идет о чужих сыновьях,— что здесь проходят границы демократии, которые наши храбрые солдаты обязаны защищать любой ценой. Вот и все, полковник...»

А полковник показал на окно и спросил:

— Не думаете ли вы, майор, что вот сейчас, несмотря на всю нашу бдительность, на одном из этих деревьев прячется партизан и целится в моего лучшего офицера?

Майор насмешливо улыбнулся.

— Полковник, вероятно, говоря «мой лучший офицер», вы имели в виду не меня. До этого мне далеко! Хотя такой случай уже был: однажды в меня стреляли с крыши пагоды. Стрелявший промахнулся на какие-то миллиметры... Видно, меня спас мой ангел-хранитель. И вот сейчас я снова на линии прицела вашего воображаемого партизана.

Полковник, словно не заметив сарказма, продолжал:

— Как-то на днях я видел рядом нашего пехотинца, широкоплечего рыжего парня ростом чуть не в два метра, с лицом нордического воина, и щуплого туземца-партизана, рахитичного юнца. Контраст был разительный. И подумать только, эти людишки смеют противостоять крупнейшей военной и экономической державе, которую когда-либо знавал мир!

— Между тем,— заметил майор,— нам следует честно признать, пока что мы войну не выигрываем...

— Ну, положим, наши неудачи и затруднения носят лишь временный характер. Рано или поздно мы уничтожим противника. Надо только, чтобы нам было в принципе разрешено напасть на самый очаг заразы, размозжить головы гидры. Мы должны вырвать зло с корнем. А зло находится вот здесь!

Он подошел к одной из карт и указал точку на ней. Это была столица северной части разделенной страны.

— Победить противника с такими союзниками, как эти? — спросил майор, поднявшись и выколачивая трубку о каблук ботинка над корзиной для бумаг.— Вы ведь знаете, что, за исключением нескольких отборных

частей, национальные войска сражаются плохо — они трусливы, у них нет ни стойкости, ни опыта. И к тому же они бесчестны — грабят и истязают жителей деревень, которые доверены их защите.

Теперь он стоял рядом со своим начальником и тоже глядел на карту, по которой тянулась длинная извилистая красная линия дороги.

— Я уже давно пришел к убеждению, что нам следовало бы выполнять эту миссию одним, без помощников,— сказал полковник, показав по карте не только на страну, в которой они находились, но и на соседние государства.

— Оружие и всяческое снаряжение нам доставляют сюда на больших судах или на самолетах, в любом количестве и без каких-либо затруднений. А каждую пару мин, выпускаемую противником из минометов, доставляет по этой невероятной коммуникационной линии о д и н человечек — нечто фантастическое! По этой дороге с севера идут тысячи человек, причем многие из них, босые и полуголые, проходят более тысячи километров по пересеченной местности... по горам, через джунгли, над пропастями... И кажется, что, подобно муравью, каждый человечек способен нести груз, превышающий вес его собственного тела... Они берут с собой скудный паек риса, пьют воду, встречающуюся по пути, чистую или грязную... Иногда их жалят змеи, скорпионы, пауки... на них нападают дикие звери... их валит с ног дизентерия. И сверх всего — огонь наших самолетов. Этот трагический переход длится целых три месяца! Невероятно! Многие по дороге умирают. Но большинство доносит груз.— Он повернулся к майору.— Теперь скажите мне, что движет этими людьми?

— Возможно, любовь к родине. Или ненависть к белым.

— Неужели они не понимают, что мы хотим им только добра?

— Я далеко не уверен, что их устраивает то спасение, которое мы им предлагаем. Мы...

— Вы заговорили языком политиканов-либералов, которые не одобряют нашего участия в этой войне.

— Иногда я думаю, что напрасно выбрал военную карьеру; возможно, мне следовало бы заняться политикой, подобно отцу или деду. В этом случае я, возможно, был бы сегодня сенатором, расхаживал бы в ковбойской шляпе и, представляя в конгрессе наш Юг, произносил напыщенные и пустые речи...

— Не понимаю, майор, как после такого невыносимо жаркого и душного дня вы еще способны шутить!

Майор вспомнил свою мать. В его ушах зазвучал ее интеллигентный, но кислый голос: «Твоя жена сорит деньгами. Платья, туфли, украшения. Каждые два года — новая машина. Военнослужащий — не миллионер. Ты должен принять какие-то меры, сын мой. Нельзя быть таким уступчивым».

В эту минуту вошел один из адъютантов.

— Будут какие-нибудь приказания, полковник?

— Нет, спасибо. Скажите остальным, что они могут отдыхать. Я задержусь еще на несколько минут. Все бумаги подписаны. После восьми я буду у себя в отеле. Если возникнет что-либо срочное, можете меня вызвать.

— Слушаюсь, полковник.

Адъютант взял со стола бумаги и, прежде чем уйти, зажег лампу.

Майор замигал. Жена тогда тоже включила свет. Перед этим они лежали рядом в темной комнате, и он несколько раз пытался ее обнять. Она уклонялась от его ласк, ссылаясь на обычный в этих случаях предлог — на мигрень. Но он-то знал истинную причину ее отказа. А когда она зажгла лампу, то села на постели, обхватив руками колени. «Ну,

прошу тебя...» — прошептал он. «Не настаивай, пожалуйста. Мы не можем продолжать эту комедию. Твоей матери удалось совершенно тебя изменить. Ты думаешь, я не чувствую, что ты стал другим?» — «Глупости, моя дорогая. Я тебя люблю, как и в первый день». — «Ты любишь свою мать. А чего можно ожидать от матери, которая сохраняет у себя в доме комнату сына, ничего в ней не меняя, хотя он уже более десяти лет женат? Значит, она твердо надеется, что в один прекрасный день сын вернется в ее дом...»

Образы прошлого угасли. Майор заставил себя сосредоточиться на словах собеседника, который говорил:

— ...например, эти религиозные распри. Когда я прохожу мимо развалин Культурного центра, кровь во мне закипает... Вас еще тогда здесь не было. Это случилось года три назад во время первого восстания буддистов. Толпа разъяренных фанатиков ворвалась в Центр и подожгла его. Есть ли в этом какой-либо смысл?

— Ну, возможно, я, как католик, лучше вас могу понять этих людей и их мотивы, пусть даже нелепые и на первый взгляд необъяснимые...

Полковник, иронически улыбнувшись, взглянул на собеседника.

— Почему же католику легче понять азиатов?.. Хотя вы и считаете дурным вкусом обсуждать религиозные вопросы, не могу не сказать, что католическое меньшинство здесь, возможно, обладает множеством похвальных качеств, но только не терпимостью.

— С этим я согласен.

— Архиепископ города — старейший член семьи, к которой принадлежал и покойный президент, а он, несомненно, был косвенным виновником буддистского мятежа. Он смотрел сквозь пальцы на произвол и религиозную нетерпимость своего преосвященного родственника, который вторгался в храмы и пагоды и хватал там бонз. Он даже поощрял все это. Дошло до того, что тот запретил праздновать день рождения Будды...

— И наше правительство в какой-то степени приняло сторону буддистов, открыв генералам этой страны, которые только и мечтали свергнуть своего президента, зеленую улицу.

— Чтобы свергнуть — да, но не для того, чтобы убить.

— Как бы там ни было, что дали принесение в жертву этого человека и смена правительства? После этого были сформированы и затем свергнуты семь или восемь кабинетов. И сейчас снова буддисты разожгли мятеж, куда более грозный, чем ранее. Мятеж чуть было не вызвал раскол между силами Юга, а раскол этот оказался бы весьма на руку коммунистам...

Полковник взял кувшин, поднес его ко рту и выпил остаток чая, уже успевшего стать теплым.

— Чертов клубок!

— Ну, полковник, для вас самое худшее уже позади. И через какую-нибудь пару дней вы передадите неблагодарную задачу поддержания мира и порядка в этом городе какому-нибудь туземному генералу.

— А эти взрывы? Мое самолюбие солдата и человека требует, чтобы вместе с городом я передал властям Юга и бандитов, подложивших бомбы!

— Вы, кажется, расцениваете эти террористические акты как направленные против вас лично, не так ли?

Полковник уставился на него тяжелым, мрачным взглядом.

— Несомненно, майор, несомненно!

Свет заходящего солнца окрашивал в оранжевый цвет фасад отеля «Старый Свет», впрочем, еще называвшегося по-французски «Hôtel du Vieux Monde», расположенного в центре города на правом берегу реки,

и расцвечивал золотом его окна. Это темно-желтое здание производило впечатление некоторой громоздкости. Шесть этажей, ворота с греческим фронтоном возле главного входа, ярко-зеленые жалюзи его двухсот пятидесяти окон поблекли от времени и дождей и приобрели бледную окраску нефрита. На центральном балконе второго этажа, сменяя друг друга, в свое время поочередно развевались флаги трех стран-завоевательниц. Теперь здесь висел четвертый флаг — флаг заокеанских союзников, настолько поникший в неподвижном воздухе, что казалось, будто он приспущен в знак траура по какому-нибудь высокопоставленному покойнику.

Вестибюль был просторный, со множеством окон, и все, что в нем находилось — кресла, диваны, столы, столики, ковры и картины,— все было безликим и стандартным. Тут и там, однако, виднелись большие вазы и латунные пепельницы и повсюду по углам стояли причудливые растения. Одно, больше всего возбуждавшее любопытство иностранцев, в темноте фосфоресцировало призрачным зеленым светом. В этом растении они усматривали некий символ этой загадочной древней страны.

Под потолком сонно вращались большие старомодные вентиляторы на длинных стержнях и с лопастями, похожие на самолетные пропеллеры. В отеле было четыре лифта с небольшими металлическими кабинами. Лифты работали как в добрые старые времена—«belle époque»,*— поднимались и спускались плавно, но медленно. Большая мраморная лестница вела из вестибюля на второй этаж, где находились гостиные, бальный зал и бар. Между 1910 и 1930 годами здесь по вечерам собиралась немногочисленная европейская колония города, чтобы провести время среди себе подобных и поразвлечься. Колония жила особняком от местного общества, замкнутого, неприступного и надменного, насчитывавшего среди своих членов немало потомков древних императоров и сановников. В этих залах играли в карты, танцевали, здесь возникали и отсюда распространялись сплетни. Под этими сводами завязывались многие флирты, заканчивавшиеся адюльтерами в номерах того же отеля. Одна гостиная славилась тем, что в ней висела колоссальная копия «Коронации Наполеона» кисти Давида. Картина эта находилась там и сейчас, хотя уже сильно нуждалась в реставрации: во время войны за независимость в 1954 году шальная пуля продырявила лоб императору. Бар был отделан панелями из орехового дерева. Специальностью этого бара был весьма популярный в начале столетия напиток, который носил название «радуга»: он состоял из нескольких слоев разноцветных ликеров, и настоящие знатоки умели пить их, не смешав. В течение многих лет по субботам в бальном зале трое бледных, грустных неудачников — пианист, скрипач и виолончелист — наигрывали мелодии из опер и оперетт.

Примерно год назад армия союзной заокеанской державы реквизировала у местных властей «Hôtel du Vieux Monde», чтобы поселить в нем своих офицеров, как холостых, так и женатых, если те приехали сюда с женами. Здание теперь находилось в ведении интендантства союзной армии и среди офицеров этой армии стало известно под кодовым названием «АОС». Из прежнего штата в отеле остались двое европейцев (метрдотель и шеф-повар), а также значительное число туземных служащих — после того как их подвергли строгой проверке. Новые хозяева отеля начали с того, что установили в вестибюле автоматы, продающие сигареты, безалкогольные напитки и жевательную резинку. По слухам, в ближайшее время в здании предполагалось смонтировать новую мощную установку для кондиционирования воздуха.

---

* Прекрасная эпоха *(франц.)*.

У главного входа вооруженные часовые проверяли документы у всех входящих, даже военнослужащих. А гражданские лица подвергались тщательному обыску.

В тот вечер ночной портье, как обычно, пришел в отель за несколько секунд до того, как пробило семь. Перекинувшись парой слов с дневным дежурным, он сел за свой столик в вестибюле.

Это был пожилой туземец, высокий, худой, сутулый, обритый наголо. Кожа туго обтягивала скулы, придавая ему сходство с отжившей мумией, в глубине запавших глазниц которой блестят глаза тридцатилетнего человека. Лиловато-красные губы — цвета лежалого мяса — раздвигались в механической улыбке всякий раз, когда мимо проходил какой-нибудь белый. Туземец держался услужливо и почтительно и пользовался большой популярностью у иностранных офицеров. «Дед, где здесь можно хорошо поесть?» И портье водил узловатым пальцем по плану города, показывая рестораны, заслуживавшие, по его мнению, рекомендации. «Послушай, старина, а где бы мне найти красивую и чистую девчонку, которая пожелала бы утешить ночью одинокого солдата?» И портье вытаскивал из кармана книжечку в красной обложке, шамкая из-за плохо пригнанной искусственной челюсти, и диктовал номера телефонов, зачитывая все данные о девушке, соответственно телефонному номеру. Он умел объясняться на двух иностранных языках и прекрасно знал диалекты своей страны. Занимался астрологией и гаданием и, по слухам, был замечательным медиумом. Его часто звали к умирающим: он зажигал курительные палочки, впадал в транс и ожидал, чтобы духи его предков подсказали ему, как нужно лечить больного.

Ночной портье начал перебирать карточки, оставленные для него дневным дежурным. Личные карточки офицеров, которые собирались уехать из отеля в ближайшие сутки.

Он понемногу научился узнавать этих иностранных солдат и отличать одних от других, хотя и считал, что все они почти на одно лицо. Вон офицер из триста четырнадцатого номера сидит в вестибюле в кресле и читает газету. А кто этот рыжий, только что сунувший монету в щель автомата с сигаретами? Да, капитан из триста тридцатого...

А! Вот вошел полковник, и часовые вытянулись, отдавая ему честь. Портье снял ключ и с почтительной улыбкой подал полковнику, который взял его с рассеянным видом.

— Не угодно ли вам чего-нибудь, господин полковник?

Тот отрицательно покачал головой и направился к лифту. Портье смотрел ему вслед. Этот белый заметно меняется с каждым днем: морщины на его лице проступают все резче. Наверно, тело или душу этого белого подтачивает какой-то недуг.

Он снова взял карточки и задержался, изучая сведения о лейтенанте из четыреста тридцать пятого номера. Тридцать лет. Психологическая война. Чем-то он отличается от всех других. Смуглая кожа, темные вьющиеся волосы. Африканская кровь? Пожалуй. Его замкнутость и обращение с ним товарищей подтверждают такое предположение. И, по-видимому, лейтенант принадлежал к тем, кто достиг предела... Но как бы там ни было, срок его службы кончился, а он остался цел и невредим... во всяком случае физически. Менее чем через сутки он уже будет у себя дома с родными. Лучше вернуться домой живым в пассажирском самолете, чем мертвым в гробу, покрытом флагом. Ему повезло!

Он перевернул карточку лейтенанта, прочел и перечел дату его рождения, наморщил лоб, закрыл глаза и на несколько секунд погрузился в астрологические расчеты. Четыреста тридцать пятый номер родился в год буйвола... Плохо, плохо. «Завтрашний день не принесет ему

ничего хорошего»,— пробормотал он. Лейтенанту грозит какая-то страшная опасность. Может быть, она подстерегает его на обратном пути через океан? Не следует ли предупредить этого человека о грозящей беде?

Он колебался, рассеянно постукивая карточкой по ногтю большого пальца левой руки. Потом бросил карточку на стол и подошел к термометру у двери ресторана. Столбик ртути поднялся почти до 38 градусов.

Лейтенант из четыреста тридцать пятого номера пристально смотрел на вентилятор, свешивающийся с середины потолка, но эти лопасти, вращавшиеся в регулярном, гипнотизирующем ритме, отражаясь в его неподвижных зрачках, вызывали в памяти воспоминание о девушке, сидевшей на земле в саду и пылавшей как факел...

Он уже некоторое время лежал на кровати совершенно раздетый, пытаясь преодолеть оцепенение, пригвоздившее его к простыням, влажным не только от его пота, но также от вечерней сырости, которая, казалось, проникала через окно вместе с уличным шумом. Надо было подняться, принять душ, одеться... Он пригласил своего друга, учительницу, на ужин. «В «Райской птичке», в половине восьмого», — условились они. Потом он пойдет проститься к К. в дом свиданий, где вот уже полгода он обычно проводил с ней по часу два раза в неделю. Однако сейчас он чувствовал себя оцепеневшим, как в кошмаре, когда рассудок остается ясным —быть может, даже слишком ясным, до такой степени ясным, что становится больно, словно в мозг вонзили ледяной стилет,— но тело отказывается подчиниться приказам мозга. Он прижимал левую ладонь к груди и чувствовал, как между ними образуется липкий слой пота. Хотел поднять руку, чтобы взглянуть, который час, но она осталась неподвижной, будто принадлежала кому-то другому. Почувствовал учащенное биение сердца. Что с ним творится? Может быть, он болен? Вчера врач, подробно его осматривавший, сказал, что у него все в полном порядке. Прекрасная электрокардиограмма. В легких все в порядке. Рефлексы нормальные... Тем не менее он никогда в жизни не чувствовал себя так прескверно: голова налита свинцом, дышать трудно. Должно быть, все дело в низком атмосферном давлении, во влажности... К тому же весь день его преследовала ужасающая сцена, свидетелем которой он был утром. Лейтенант закрыл глаза и сразу же увидел в багровой темноте век буддистскую студентку, охваченную пламенем. Этот образ все время возникал перед ним. Как будто девушка вновь и вновь повторяла свое жестокое самопожертвование где-то в самой глубине его существа.

Он вышел рано утром, чтобы поискать на базаре подарки для жены и сына... и колечко с бирюзой для К. Сыну он купил (как обрадуется мальчик!) туземную шляпу — на свет было видно стихотворение, написанное тушью на маленьком листке бумаги, вложенном между двумя слоями бамбуковой соломки. Жене он купил терракотовую статуэтку и еще длинные шелковые штаны и синюю ао заи... Пакеты с подарками для жены и сына обременяли его руки, но маленький футляр с кольцом, который положил в нагрудный карман, обременял его душу угрызениями совести. Обманывать себя было бесполезно. Он любил К. и стыдился этого — ведь К. была проституткой, собственностью какого-нибудь сводника, который эксплуатирует ее и сотни ей подобных, словно они машины. И все-таки ему будет нелегко расстаться с ней навсегда.

Погруженный в эти мысли, он вошел в крепость. Ему хотелось в последний раз взглянуть на сады На мгновение он остановился перед пагодой, облицованной ярко-красными плитками, полюбовался ее стройным изяществом, чем-то напомнившим ему фигурку К. И тут он услышал

женский смех, а затем увидел студентку, выходящую из храма. Почти девочку. Она была в белом одеянии, разрезанном по бокам от пояса книзу, и штанах из черного шелка. Длинные черные волосы падали ей на плечи. Что она несет в руках? Возможно, сумку с книгами... Нет. Железную банку. Она дошла до середины площадки, села на землю, скрестив ноги, открыла банку, подняла ее над головой и вылила ее содержимое себе на волосы, плечи, торс, руки и ноги. Его удивила эта странная церемония. А когда он внезапно понял, что сейчас произойдет, было уже поздно. Студентка зажгла спичку, и над ее телом взвился столб пламени и густого дыма: она запылала, как тряпичная кукла. Парализованный ужасом, он застыл на месте, хотел, но не мог отвести взор от этого человеческого факела.

Лейтенанту наконец удалось шевельнуть рукой и поднести ее к глазам. Однако разглядеть положение стрелок на часах он не сумел.

...Ему девять лет. Теплая августовская ночь. Вокруг пламени свечи кружит бабочка. Мальчик инстинктивно понимает, что сейчас произойдет, в голове у него мелькает мысль спасти насекомое, но руки его не делают нужного движения. Почему? Потому что ему в то же время хотелось увидеть то, что должно было произойти. Он смотрит на бабочку, хочет, чтобы она подлетела ближе к пламени, а когда это случилось и, вспыхнув, она упала на подсвечник, он почувствовал странное удовлетворение, смешанное со страданием и угрызениями совести.

Лейтенант скрестил руки на груди и стал анализировать утреннюю сцену, болезненно ее смакуя (он отдавал себе отчет в том, насколько это болезненно). Мог он или не мог помешать самоубийству? Он находился от девушки в каких-нибудь двадцати шагах. Возможно, успел бы... Сейчас ему как будто припомнилось, что запах бензина он почувствовал за две-три секунды до того, как студентка зажгла спичку... (Или это лишь искаженное воспоминание, возникшее, чтобы усугубить ощущение вины? Возможно и почти вероятно, что у него появилось подсознательное предчувствие трагедии.)

Он вытянул руки и вздохнул, сердясь на себя. На самом деле все произошло не так. Ему незачем сейчас бичевать и упрекать себя. Он перевернулся на кровати, попробовал забыть самоубийцу, попробовал заставить себя думать о жене, о сыне, о К., о предстоящем возвращении домой. Попытался вызвать воспоминания о семейном уюте. Тщетно! Он с отвращением чувствовал запах горелого мяса, который разносился ветром, пока огонь пожирал девушку. Вокруг самоубийцы собралась кучка прохожих — мужчины, женщины, даже дети. Ему почудилось в них равнодушие (или это была безысходность отчаяния?). От полуобугленного тела поднимался черный дым. Безмятежная пагода среди деревьев. Солнце у горизонта, похожее на огромный красный плод. Цветущий гибискус. Как могли сочетаться в одной и той же картине красота и ужас, жизнь и смерть?

Он снова перевернулся на кровати. Почувствовал кислый запах собственного пота. Голова болела все сильнее. Если бы удалось найти предлог, чтоб отменить этот ужин... Он восхищался учительницей, умной и мужественной женщиной, которая открыла в городе бесплатный интернат для девочек-сирот. Она была образованна и очень начитана. Ему нравилось проводить с ней время, но сегодня не хотелось разговаривать ни с кем. Даже с самим собой. К.— другое дело, ведь она не говорит на его языке, а он — на ее...

Весь вечер он пытался заставить себя уложить чемоданы, но это ему так и не удалось. Со вчерашнего дня его угнетало предчувствие, что эти приготовления окажутся бесполезными, потому что в ближайшие сутки должно произойти что-то, что помешает ему уехать... Однако он был

доволен тем, что срок его службы кончился. Ему хотелось как можно скорее уехать подальше от этой дьявольской страны, которая действовала на нервы, от этого жаркого и душного климата, а главное — от этой жестокой войны. Ему чудилось, что он весь в грязи, потому что в какой-то мере он причастен к насилию и кровопролитию, свидетелем которых был. Иногда ему по целым дням казалось, что он весь пропитан трупным запахом, проникшим в его одежду, кожу и — самое худшее — в сознание.

И опять он стоял перед пагодой и глядел на бабочку-самоубийцу. Девушка и бабочка — ао заи и крылья — исполнили каждая на свой лад короткий мрачный танец. Он вспомнил сейчас (или это игра его воображения?), что студентка, выливая бензин на свое хрупкое тело, улыбалась и продолжала улыбаться, пока не чиркнула спичкой, как будто все это было просто детской забавой.

Он вспомнил день, когда его послали наладить дружественные контакты с населением деревни, которая в течение нескольких недель находилась в руках противника. Ему было предписано собрать местных старейшин, поговорить с ними через переводчика и убедить их сотрудничать с правительством Юга. По пути в эту деревню джип, который он вел, был обстрелян партизанами-коммунистами, прятавшимися за деревьями, и ему пришлось спешно покинуть машину, чтобы укрыться от выстрелов, а его спутники уничтожали горстку стрелков одного за другим.

Белый сержант, командовавший операцией по очистке местности от партизан, сказал, что неподалеку в пещере еще прячется несколько «желтых обезьян» и наиболее целесообразным будет «подпалить» их с помощью огнемета — уж тогда они повыскакивают наружу. Лейтенант вспомнил бледных, худых, как скелеты, людей, которые в горящей одежде выбегали из пещеры, с пронзительным криком бросались на землю и катались по траве, стараясь сбить огонь, который пожирал их...

И теперь перед его глазами вновь стояли эти живые факелы, красная пагода, деревья, солнце — как пожар в небе, буддистская студентка, бабочка... Внезапно он в мыслях перенесся на многие годы назад... мальчиком снова смотрел в щели жалюзи на большой огненный крест, который пылал в их саду. Среди деревьев, словно призраки, двигались белые тени в высоких остроконечных капюшонах. Сердце у него бешено билось. Ему уже доводилось слышать об этом тайном обществе, преследовавшем людей с темной кожей. Он знал о нем много страшного. Обычно негров раздевали донага, мазали дегтем, а затем обваливали в перьях. Ему были известны другие случаи, еще более ужасные — когда людей избивали, пытали, вешали... Огненный крест в саду... «Пойди сюда, сынок, это ничего. Мы к этому привыкли». Весь дрожа, он позволил взять себя за руку и отвести от окна. «Мама, они не подожгут наш дом?» Она грустно улыбнулась. «Нет. Они просто хотят нас напугать. Иди спать. Помолись и попроси бога, чтобы он не позволял им так нас ненавидеть».

Позднее он понял смысл огненного креста. Это было предупреждение, знак протеста против того, что в их доме жила белая женщина — жена негра. Да, такова была беспощадная действительность: его мать — чистокровная белая, отец — негр. Нестерпимое сочетание. Белые не могли с этим примириться. Да и негры не могли считать своей эту женщину с белой кожей и голубыми глазами. Вот почему им приходилось жить в условиях двойной сегрегации, вот почему они кочевали из города в город, как цыгане...

И перед глазами лейтенанта возник печальный образ отца — грустного человека с мягким взглядом, бархатным голосом, высокого,

но немного сутулого. Отец прекрасно знал библию. Иногда священник-негр приглашал его вести занятия в воскресной школе. Он был столяром и обрабатывал дерево с любовью. В его мастерской стоял смешанный запах опилок и человеческого пота. И как был отвратителен этот запах!

Лейтенант уголком простыни вытер пот с лица. Ему было лет четырнадцать, когда он вдруг обнаружил, что не только стыдится отца, но и не любит его так, как должен был бы любить. Даже сейчас, по прошествии стольких лет он не мог с нежностью вспоминать о тех временах, когда они с отцом ходили по воскресеньям гулять в парк... Был октябрь. Осень зажгла листья кленов красным огнем, и хлопотливые белки запасались провиантом на зиму. Отец рассказывал о разных птицах и растениях, встреченных по пути, называл их. Однако от этих прогулок в его памяти ясно сохранилось чувство стеснения, вызванное одним лишь соседством этого большого черного тела, одним лишь прикосновением к этой черной руке с розовой ладонью... Его мучал стыд, когда он думал, что его белая мать, учительница, вышла замуж за чернокожего и спала с ним в одной постели... Когда он стал юношей, то не раз старался понять этот странный брак. Он знал, что матери пришлось порвать не только со своей семьей, которая возмущенно воспротивилась ее намерению, но и с друзьями, с прошлым,— короче говоря, со всем миром белых. Но он, сын, не был в состоянии постигнуть природу этой могучей страсти. Он готов был признать, что отца нельзя было назвать некрасивым, убеждал себя, что он много знает и что он отличный столяр. И все-таки иногда с горечью думал, что его матери всего важнее черный цвет кожи. Он отгонял от себя эту мучительную мысль и однако не мог свыкнуться с тем, что оставалось для него постоянно кровоточащей раной. Ему так отчаянно хотелось быть белым! И он мог бы сойти за белого! Пусть у него была смуглая кожа, но он унаследовал от матери европейский тип лица. Не раз он стоял перед зеркалом, в тревоге выискивая в своей наружности что-нибудь негритянское.

Он перевернулся на другой бок. В его воображении студентка снова подняла банку над головой, словно умащивая волосы благовониями. Да, это было похоже на ритуальный танец. Возможно, он просто не хотел знать, что она собирается сделать... Ведь девушку можно было спасти! Стоило подбежать к ней, вырвать у нее из рук банку с бензином. Тут он вспомнил, что у нее было даже две банки. Сначала она опорожнила одну, потом другую... Да, их было две! Но если их было две, то у него имелось больше времени, чтобы понять, что произойдет. (Правда, девушка могла и помешать тому, чтобы ее спасли.) Поблизости проходили и другие люди. Хоть кто-то из них должен был заметить, что происходит, но никто не сделал ни малейшей попытки вмешаться. Во имя чего юное создание погубило себя? В знак протеста против правительства? Но что понимает в политике семнадцатилетняя девчонка? Может ли психически нормальный человек совершить подобный поступок? Но кто сегодня психически нормален? И нормален ли я сам?

Как бы там ни было, сейчас уже поздно задавать себе такие вопросы. И снова лейтенант устремил пристальный взгляд на лопасти вентилятора... Колеса парохода, его гудок наигрывают старинные мелодии Юга... Это произошло в маленьком городке на берегу большой реки, в воздухе пахло патокой и сыростью. Они жили в негритянском гетто. Пароход подходил к деревянной пристани, вот-вот собираясь причалить. Облокотившаяся на борт девушка в синем платье взглянула на него и крикнула: «Эй, мальчик! Держи!» Она бросила ему монетку, монетка упала на доски причала возле тюков с хлопком и осталась блестеть там под утренним солнцем. Он удержался, не бросился ее поднимать (а ведь

это — жареная кукуруза, засахаренный миндаль, мороженое). Белые путешественники обычно бросали монеты на причал, чтобы увидеть, как черные ребятишки дерутся из-за них. Но он не хочет быть негром, он — не негр! Его мать — белая, и у него такие же светлые волосы, как у девушки в синем. «Эй, ты! Подбери монету! Она твоя!» Поблизости не было других мальчишек. Он отвернулся, уши у него покраснели, он с притворным равнодушием отошел, насвистывая. Затем стал наблюдать за пароходом, который отчалил от пристани и отправился дальше вниз по реке, но синее пятно у борта виднелось еще долго...

Кладбище, где был похоронен его отец, находилось на вершине холма, между стволами платанов и магнолий виднелась река. Лейтенант вспомнил скромную могилу, и этот образ вызвал к жизни факты и чувства, которые ему хотелось бы забыть навсегда. Он вскочил с кровати и принялся расхаживать по комнате, стараясь убежать от собственного прошлого.

Тщетно! Тщетно! Никогда ему не забыть, что он не раз предавал отца, отрекался от него. Это было бесчестно, признавал он теперь. И в его памяти всплыл один из самых мучительных дней его юности. С утра по городку пополз слух, подтвержденный затем вечерними газетами, что какой-то негр напал на белого, ограбил и ранил его, а полиции так и не удалось поймать виновного. На улицах негритянского квартала появились кучки белых с дубинками и кастетами. Ему было около семнадцати лет — он шел, опустив голову, по тротуару рядом с отцом, как вдруг увидел, что перед ними возникли фигуры трех рослых белых. Раздался крик: «Держи негра!» Он в панике бросился бежать, бросив отца. Мимо его уха просвистел камень... На углу он оглянулся и с облегчением обнаружил, что за ним никто не гонится. И в это мгновение он увидел, что трое неизвестных избивают, пинают его отца, который, упав на землю, скорчился, прикрывая голову руками...

Даже теперь при одном воспоминании о своей трусости лейтенант ощутил то же мучительное чувство, которое терзало его весь тот далекий вечер, когда он бесцельно бродил по окрестностям городка. Домой он вернулся совсем поздно, когда наконец вмешалась полиция и в негритянском квартале снова воцарилось спокойствие. Он долго стоял на улице, не решаясь войти. В конце концов холодный ветер оказался сильнее, чем стыд, и он постучался в отцовскую дверь. Увидев его, мать вскрикнула и заплакала. «Сынок! Сынок!» Она уже думала, что его линчевали. Она ощупывала сына, с тревогой расспрашивая его. Не ранен ли он? Где пробыл до поздней ночи? Не голоден ли? Ах, какие у него ледяные щеки! Он бормотал в ответ что-то невразумительное. «Зайди к отцу. Сегодня вечером злые люди чуть не убили его — они избили его палками, топтали. Посиди с ним немного, а потом приходи ужинать». Он со страхом вошел в спальню. Отец лежал на кровати в темноте, как большой черный медведь, зализывающий в берлоге свои раны. «Сынок, мы показались им подозрительными...» В его голосе звучало страдание. Он подошел к кровати, радуясь темноте, которая делала эту встречу менее тяжелой. Он почувствовал, как шершавая отцовская рука сжимает его руку. Услышал, как отец прошептал: «Мать не знает, что ты был со мной, когда они на меня напали. Не говори ей ничего... Обещаешь?»

В ту ночь ему не удалось заснуть. Он лежал под одеялом с открытыми глазами, слушая стоны и вздохи отца, доносившиеся из соседней комнаты. Вероятно, уже светало, когда отец сказал: «Господи, дай мне силы вынести это униженье». Потом раздался голос матери: «Спи, дорогой, спи». Короткое молчание. «Наш брак — непростительная ошибка. Я принес тебе только вечную тревогу, позор».— Глупости!

Ты знаешь, как я тебя люблю. Ничего не будет. После того, что случилось, я думаю, нам не стоит оставаться здесь... Мы уедем в какой-нибудь другой город. Мир велик». Отец вздохнул: «Боже милосердный, опять?» И он разразился рыданиями. Потом сказал с тоской: «Сын меня не любит. Он стыдится меня. Но я его не осуждаю. Трудно быть негром в этой стране... в любой части света». Снова молчание. Затем глухой голос отца: «Лучше бы эти люди убили меня!» — «Не кощунствуй!» — «Когда я умру, вам станет легче жить...» — «Постарайся заснуть, тебе нужно выспаться. Бог велик. И он ведает, что творит». Небольшая пауза. Снова приглушенный голос: «Порой сомневаюсь...»

Лейтенант взял металлический кувшин с водой, стоявший на тумбочке, и отпил из него. Затем направился в ванную.

В дверях ванной он вдруг остановился... Еще один день из прошлого... Мать ушла в школу, где она преподавала в начальных классах. В доме царила тишина. Он пошел в ванную, открыл дверь и увидел, что отец висит на подтяжках, привязанных к потолочной балке. Труп покачивался, как огромное чучело с высунутым языком, посиневшими губами, серым лицом и вылезшими из орбит глазами... У него закружилась голова, ноги подкосились, и он упал без сознания...

Лейтенант встал под душ и открыл кран. Вода была теплой. Он почувствовал, что продолжает потеть даже под душем. Густо намылившись, он с силой себя растер. Но едва он кончил вытираться, как ощутил, что пот снова течет у него по телу. Перед зеркалом он провел под мышками палочкой, устраняющей запах. Мысль, что запах его тела может выдать его расовую принадлежность, приводила его в ужас.

В воздухе пахло мылом — приятный, навевающий воспоминания аромат... Воспоминания — о чем? О магнолиях в цвету на кладбище в тот день, когда хоронили его отца... Черные люди в черных костюмах вокруг могилы. Черная земля. Голубое небо. Священник, его громкий и торжественный голос: «О боже, помилуй и прими в лоно свое бедного грешника, у него не хватило мужества вынести превратности и жестокости мира. Помолимся, братья!»

Лейтенант посмотрелся в зеркало и не обнаружил в своем лице никаких отцовских черт. Разве что выражение глаз? Или рот?

...Когда присутствовавшие на похоронах разошлись, мать взяла его за руку и они направились к воротам кладбища совсем одни. Она молча вытирала слезы платком. Он шел, погруженный в тяжкие мысли, и чуть было рассеянно не наступил на желтую розу. Послышалась веселая музыка. На кладбище входила другая похоронная процессия. Похоронная? Впереди шел джаз-банд, которым дирижировал потный негр, одетый во все белое. Он вертелся, улыбаясь, держа в руках трехцветный штандарт. Тромбоны, кларнеты, тарелки, большие и малые барабаны. Медные инструменты, сверкая на солнце, играли победный марш. Они, казалось, бросали вызов смерти. Даже те, кто нес гроб, двигались в ритм музыки, пританцовывая. На лицах родственников покойного горело возбуждение. Процессия совершала танцевальные па между могилами. И тогда его вдруг охватила безумная радость жизни. Такого чувства он еще никогда не испытывал. Казалось, он пробудился от долгого кошмара. Одна-единственная мысль билась в его мозгу: «Теперь, когда «он» мертв, мы с матерью сможем жить, как белые. Мы ведь белые!»

Лейтенант вернулся в спальню и начал медленно одеваться. Воспоминания — неизлечимые язвы памяти... Он взглянул на часы. У него оставалось в запасе еще двадцать минут, он придет в ресторан точно к назначенному времени. Тут его взгляд остановился на листке, лежавшем на письменном столе. Он взял листок, сел, зажег лампу. Это было

письмо от жены, которое он получил накануне. Лейтенант прочел его еще раз: «Мой дорогой! Ты не представляешь, как мы обрадовались — наш сын, я и все твои друзья,— когда узнали, что через неделю ты будешь с нами и останешься дома навсегда! Этот последний год был для меня годом невыносимых страданий, и теперь могу тебе признаться, что я все время жила в страхе, все время ожидала получить одно из этих ужасных писем, в которых президент с прискорбием сообщает и т. д... Ну, ты знаешь. Но главное — ты жив, жив! И...»

Лейтенант пропустил несколько строк, отыскивая место, которое его больше всего взволновало в этом письме: «Я хочу рассказать тебе о том, что произошло с нашим сыном, только ты не волнуйся — ничего серьезного не случилось. Но раз уж ты его увидишь с забинтованной головой, я не хочу, чтобы ты напрасно тревожился. Как тебе известно, наш мальчик в этом году пошел в недавно интегрированную школу, и вот два дня назад несколько взрослых белых — отцы и матери учеников, не согласные с интеграцией,— подкараулили негритянских детей при выходе из школы, чтобы освистать их и забросать камнями. Один камень попал нашему мальчику в голову, но клянусь тебе, что повреждение пустяковое: рассечена кожа, и доктор наложил всего два шва. Конечно, все это очень грустно, и я пишу тебе сейчас только потому, что отложи я этот рассказ до нашей встречи, я, наверное, расплакалась бы и не смогла говорить...»

Лейтенант с раздражением разорвал письмо и бросил клочки в корзину под столом.

Когда через несколько минут он в вестибюле подошел к ночному портье, чтобы отдать ему ключ от номера, то с удивлением заметил, что тот не улыбнулся ему, как обычно.

— А! Господин лейтенант!..— воскликнул портье, держа в руке картонный четырехугольник.— Я вот смотрю... на вашу карточку...— Он говорил отрывисто, выпуская фразы, как пулеметные очереди разной продолжительности.— Вы родились... в год буйвола... весьма любопытно!

Лейтенант положил ключ на столик и направился к двери, но старик остановил его:

— Один совет... вы позволите, господин лейтенант? Один совет... Завтра... для господина офицера неблагоприятный день лунного месяца... До полуночи... сегодня, да... очень хороший. Но завтра... много опасностей, возможно, несчастий... возможно.

— Завтра я, дед, возвращаюсь к себе на родину,— пробормотал лейтенант, и тут же ему показалось, что он сказал неправду.

— Вам не следовало бы... неблагоприятный день... Вернитесь в отель... в полночь... лягте спокойно... ногами к югу... Очень спокойно... Завтра неблагоприятный день...

Лейтенант взглянул на портье. Он понимал, что это загадочное предупреждение — вздор, и все-таки в душе принимал его полностью.

— Хорошо...— буркнул он, чтобы кончить разговор. Он сунул руку в карман брюк, нашел монету в двадцать пять центов и торопливо положил ее на столик, словно оплачивая совет, который был ему неприятен. Портье покосился на монету, но не поблагодарил.

Уже в дверях лейтенанту показалось, что у него на груди слова туземца вытатуированы, как дурное предзнаменование.

До «Райской птички» идти было недалеко, но влажная духота улиц сразу его утомила, и лейтенант подумал, что в ресторане с кондиционированным воздухом дышаться будет легче.

Он и его гостья сидели за столиком в углу и пили мартини в ожидании заказанных блюд. Сегодня он испытывал легкое стеснение. До сих пор учительница всегда одевалась строго и просто и была настолько лишена кокетства, что прежде он держался с ней, как со своим коллегой, на равной ноге, а вернее, как с бесполым существом.

Он познакомился с ней несколько месяцев назад в деревне, которую южные союзники только что отбили у противника. Его послали туда с отрядом, чтобы объяснить местным крестьянам новые порядки, при которых им теперь предстоит жить. Учительница должна была позаботиться об осиротевших детях, и, кроме того, ей предстояло служить переводчицей, так как она бегло говорила на туземном языке. Она вышла из джипа, одетая в зелено-оливковую форму, в посеревшей от дорожной пыли мужской шляпе. В зубах зажата сигарета. (Прямо какой-то сержант! — подумал он тогда.)

Сейчас же перед ним была женщина — элегантное вечернее платье делало ее загар красивым. Она немного подкрасила губы. Впервые лейтенант заметил (и несколько удивился), что эта сорокалетняя учительница еще может нравиться. Черты ее лица чеканной строгостью напоминали изображения на античных монетах. И только сейчас он обнаружил красоту этих синих, фиалковых глаз, которые так хорошо гармонировали с ее бронзово-каштановыми волосами.

Она вынула из сумочки сигарету и прикурила от пламени красной свечи на столе. И тут он тоже впервые обратил внимание на ее руки, выразительные, как человеческое лицо, сильные, но не грубые.

Она некоторое время смотрела на него молча, изучающе, и ему стало немного не по себе. Чтобы скрыть волнение, огляделся вокруг. Зал был отделан в красных тонах (по азиатскому поверию — счастливый цвет), стены обтянуты алой парчой с вышитыми золотом пагодами и деревьями.

Этот багряный тон, погруженный в полумрак интерьер вызвали у лейтенанта новые воспоминания о далеких днях детства — тот день, когда он побывал в политехническом музее одного из самых больших городов своей страны. Они спустились внутрь выполненного в натуральную величину макета угольной шахты, где было темно, совсем как в настоящей. Он вспомнил лицо матери в тусклом свете шахтерской лампочки. Во время спуска его охватило приятное чувство, в глубине которого прятался холодок страха, будто мороженое под слоем теплого крема. И пока подъемник спускался, он взял мать за руку, черпая успокоение в ее ласковой прохладе. В «шахте» слышался записанный на пластинке голос, объясняющий, как работают автоматы, представлявшие шахтеров, которые добывали в штольнях уголь и отвозили его затем к подъемнику в вагонетках... В ресторане кроме голосов немногих посетителей раздавалась негромкая нежная мелодия — и он почувствовал, что в этой атмосфере тихой безмятежности его головная боль понемногу утихает. Он взял бокал и медленно провел им по лбу, чтобы насладиться прикосновением ледяного стекла.

— Мне нравится здесь,— тихо сказал он.

Она посмотрела по сторонам, повернула голову, чтобы поглядеть на потолок, ее лоб сморщился, и он заметил, что кожа у нее уже чуть увядшая, особенно под подбородком. Но от этого она не показалась ему ни более старой, ни менее привлекательной, и он не жалел, что пришел.

— Мне этот ресторан больше нравится таким, каким он был раньше, когда здесь не играла музыка. Только тишина... приглушенные голоса... и звон ножей и вилок о тарелки. Вы, я хочу сказать — ваши соотечественники,— изобрели, индустриализировали, навязали миру привычку жить под приятное музыкальное сопровождение, от чего все становится похожим на кинофильм, то есть на вымысел,— она выпустила струйку

дыма и отпила глоток мартини.— Когда я посетила вашу страну... я уже, кажется, рассказывала вам, около года читала лекции в одном из университетов Запада... Или я не говорила? ...Так вот, когда я была в вашей стране, лейтенант, я узнала, что все мелодии, звучащие в магазинах, в больницах, в залах ожидания и в фойе кинотеатров, записаны на магнитофонных пленках фирмой, которая снабжает ими своих «подписчиков» и время от времени заменяет кассеты другими, с «новым зарядом». Мне рассказывали, что музыка выбирается по своему, если так можно выразиться, наркотическому качеству, то есть мелодии должны быть нежными и способными слиться с тишиной... Это своего рода звуковая мимикрия. Мелодия, которая могла бы взволновать слушателя или заставить его размышлять, отвергается. На мой взгляд, это порождается слишком уж прагматической манерой оценивать музыку, которая, по моему мнению, представляет собой высшую форму художественного выражения.

Она снова посмотрела по сторонам и закончила:

— Вот почему, лейтенант, я предпочла бы, чтобы это место оставалось тихим, как... храм.

Лейтенанту нравилось, как эта иностранка говорила на его родном языке — свободно и естественно, хотя и с заметным акцентом, полным грассирующих «р». Она сохраняла и интонацию своего родного языка, а потому у него создавалось странное впечатление, будто он слышит знакомую мелодию, но исполняемую в тоне, отличном от того, к какому он привык.

Она улыбнулась.

— Ну, я могу подтвердить, что мы едим с удовольствием, а вот вы, в сущности, неисправимые пуритане, видите в еде плотский грех. Говорить о еде — для вас это дурной вкус. Ваши соотечественники едят прагматически, подсчитывая, что им необходимо какое-то количество калорий, витаминов и минеральных солей. И в глубине души они нас презирают (причем в этом презрении есть немного зависти), потому что мы теряем слишком много времени за столом.

Уже опьянев от коктейля, он развел руками:

— О! Вы преувеличиваете!

— Ну, уж если говорить о преувеличениях, то — исключая, разумеется, нацистское варварство — была ли в этом веке более «преувеличенная» и нелепая война, чем та, в которую вы ввязались и которую вы не можете выиграть... и не хотите проиграть?

— Ну, как солдат... — начал было он, но она его перебила.

— Я знаю, что вы не профессиональный солдат, а штатский в военной форме. Если вы мне скажете, что согласны с этим безумным геноцидом, я вам просто не поверю.

Он посмотрел ей в глаза.

— Вот уж не думал, что вы нас так не любите.

— Кто это вам сказал? Для меня естественно любить людей, страны, вещи... хотя у меня и есть личные причины относиться к жизни несколько сдержанно. Но в ваших согражданах есть то, что меня иногда раздражает. Это... своего рода простодушие, рискованная игра в юношескую невинность, смешанная... с фарисейством.

Он скривил губы в недоверчивой усмешке и отпил еще глоток мартини. Она продолжала:

— На мой взгляд, вы, возможно, сами того не замечая, превратились в современных инквизиторов, которые хотят силой навязать «еретикам» свое спасение и свой рай.

— Вы имеете в виду эту войну?

— Да, а также и тот род мира, который ваша страна навязывает

так называемым слаборазвитым странам,— полицейский, колониальный, скажем, римский мир... А что касается этой войны, то вы, по-моему, ведете себя как неуклюжий добрый самаритянин, который ранит и даже убивает человека, думая его спасти...

Он слушал ее и улыбался. Легкое опьянение делало его неуязвимым для таких нападок.

— Подумайте хорошенько...— настойчиво сказала она, гася сигарету о дно пепельницы с изображением алой летучей мыши (еще одного национального символа счастья).— Согласно политическому вероисповеданию вашего правительства, лейтенант, этой азиатской стране грозила и грозит смертельная опасность оказаться в когтях красного дьявола. И вот вы явились сюда в роли современных добрых самаритян, вооруженные самыми страшными орудиями уничтожения... и мне кажется, что для вас самое важное — это не столько оросить маслом и вином раны подвергшегося нападению, как в евангельской притче, сколько уничтожить нападающего, хотя бы ценой жизни его жертвы.

Лейтенант слегка пожал плечами, взял маслину из бокала, сунул в рот и принялся разжевывать.

— Я не стану обсуждать, есть ли у нас право находиться здесь и оставаться здесь дольше,— сказал он,— но раз уж мы тут, мы не можем допустить, чтобы нас убивали, чтобы победили... Мы воюем с невидимым врагом — он повсюду вокруг нас, и в то же время... его нигде нет. Он нападает ночью и исчезает днем. Вы знаете, какую хитрость применяют в последнее время партизаны для маскировки? Это невероятно... Они завязывают оружие и боеприпасы в пластмассовые мешки и в буквальном смысле слова зарываются в тину болот и речек, в грязь на рисовых полях и проводят в таком положении несколько часов, а иногда и целый день, дыша через соломинку или тростинку... В этом районе, как вам известно, есть много пещер, в которых туземцы укрывались лет двенадцать назад во время войны за освобождение. И они прячутся там, как кроты, как мыши, как броненосцы... Однажды я побывал в таком подземном убежище — у входа они иногда держат ядовитых змей... Мы там нашли оружие, боеприпасы, радиопередатчик, карты района и почти тонну риса... А кроме того, бамбуковые копья с отравленными наконечниками... Это жестокий и беспощадный враг, и никогда нельзя предвидеть, откуда он появится.

Она кивнула.

— Да, я об этом много слышала. Однако вернемся к вашей миссии спасителей, к вашей миссии представителей хваленой западной цивилизации...

— Я этого никогда не утверждал.

— Однако печать и официальное общественное мнение в вашей стране как будто придерживаются именно этой версии. Вы ведете войну выжженной земли, тотальную войну. Бросаете фосфорные бомбы в лесные заросли, чтобы обнаружить скрывающегося там противника. Это химическое оружие заодно уничтожает фруктовые сады, посевы, скот, домашних животных и в буквальном смысле поражает землю. А самое страшное — напалмовые бомбы, которые иногда стирают с земли целые деревни, испепеляя безоружных людей, ни в чем не повинных, не понимающих толком, что происходит... Конечно, я рассуждаю, как рассуждают штатские и незадачливые пацифисты. Глазам и уму военного открывается иная картина, и дело сводится к стратегии, тактике, баллистике, логике, геополитике... откуда мне знать, к чему еще! Но я не могу не думать при этом о человеческих жизнях.

Он смотрел на учительницу и слушал ее, ошеломленный жаром, с которым она говорила. Ее ноздри раздувались. Слегка наклонившись

вперед, она обвиняла. И лейтенант чувствовал всю серьезность, силу и истинность ее слов.

— Вы говорите так,— возразил он,— будто мы — убийцы. Значит, по-вашему, коммунисты уважают человеческую жизнь?

— Может быть, и нет. Но я ненавижу любое насилие, во имя чего бы оно ни совершалось.

После короткой паузы (он не нашелся, что ей ответить) она продолжала:

— Послушайте, друг мой! Неужели вы думали, что человек вроде меня, не принадлежащий к «избранной нации», может смотреть на всю эту бойню, на эти безумные разрушения глазами геополитика, ссылаясь на пресловутую «историческую точку зрения»? Мы думаем о собственной шкуре, о собственных нервах и нашем нутре, о собственных страхах. Мы не можем забыть о наших жизнях и о жизнях тех, кто нас окружает, будь то свои или чужие. Я видела жертвы некоторых видов вашего химического оружия — они корчатся в мучительной агонии, их рвет так, что выворачивает наизнанку... Простите меня, я понимаю, здесь неподходящее место, чтобы говорить о таких вещах. Некоторые слепнут. И вот я задаю себе вопрос: не действовали ли бы вы иначе, если бы вели обыкновенную войну против таких же белых, как и вы сами? Вы хотите оправдать применение химического оружия тем, что вы истребляете других — «азиатов», «недочеловеков»? Конечно, штабной стратег способен рассматривать этих туземцев просто как подопытных животных... — Она умолкла, закурила новую сигарету и продолжала: — Не далее как на прошлой неделе я помогала ухаживать за семилетним мальчиком, у которого все тело было сплошной ожог. Его напалмировали! Вот вам неологизм, от которого меня бросает в дрожь... Напалмировать! — Она горько улыбнулась. — Какой-нибудь историк или филолог, сидя в уютном кабинете с кондиционированным воздухом, скажет, что войны имеют и свою положительную сторону: они убыстряют прогресс и обогащают язык неологизмами.

Замолчав, она допила все, что еще оставалось в бокале. Лейтенанту вновь стало жарко. По спине у него стекла струйка пота. И внезапно его охватила тоска. Он вспомнил о К. Через час с небольшим он будет держать ее в объятьях в последний раз. И опять перед ним возникла девушка, покончившая с собой.

— В общем, лейтенант,— сказала учительница, чуть улыбнувшись,— возможно, зная, что у буддистов и конфуцианцев нет ада, вы решили доставить им на дом образчик собственного христианского ада...

Лейтенант хотел было задать вопрос, неожиданно пришедший ему в голову, но заколебался, опасаясь обидеть ее. В конце концов он решился:

— Ваши соотечественники были лучше нас, когда оккупировали эту страну?

— Конечно нет! Мы были колонизаторами наихудшего типа: эгоистами, тщеславными, алчными и беспринципными. Мы принесли сюда среди прочего один из символов нашей прославленной цивилизации — гильотину... В последние годы оккупации тут было больше тюрем, чем школ. Нашего окончательного поражения в 1954 году надо было не только ждать, но желать во имя человеческого достоинства...

В эту минуту лейтенант заметил морского пехотинца — очень темного негра, который с веселым видом вошел в зал, ведя под руку туземную девушку, и сел с нею за столик. Лейтенант нахмурился, увидев, что к негру подходит метрдотель. Он представил себе, как тот шепнет посетителю на ухо: «Очень сожалею, но в этом ресторане мы не обслу-

живаем цветных». Однако метрдотель, почтительно наклонившись к клиенту, записал в блокнот его заказ.

Лейтенант снова сосредоточил свое внимание на том, что ему говорила учительница.

— ...в течение двух тысячелетий полуостров оккупировала так называемая Небесная империя. И этот народ научился переносить лишения и ждать — ждать мужественно и терпеливо. Он словно мыслит в масштабах не веков, а вечности. В конце концов захватчики ушли, а позднее явились мы и оставались здесь почти сто лет... не считая интерлюдии во время второй мировой войны, когда эти земли были оккупированы еще одними азиатами, энергичными и настойчивыми, умеющими сочетать учтивые поклоны с жестокостью...

— И вот теперь,— докончил он,— всем странам этого полуострова грозит опасность попасть под господство коммунистов. Скажите откровенно, вы считаете это выходом из положения?

— Конечно нет, мой дорогой. Но существует один простой факт, который ваше правительство, по-видимому, никак не может себе уяснить. Главное не в коммунизме этих людей, а в их национализме. Они хотят сами управлять своей страной и жить свободно.

— Значит, вы считаете, что этот народ достаточно созрел для свободы?

— Речь идет не о том, созрел он или нет. Каждый человек имеет естественное право на свободу. И в конце концов, кому дано решать, созрел данный народ или не созрел и имеет ли он право на свободу? Вам? Почему вам? Только потому, что вы сильны экономически, сильны и в военном отношении? Или потому, что вы исполнители божественной воли на земле?

Покосившись на алую летучую мышь на пепельнице, лейтенант возразил:

— На мой взгляд, суеверный и невежественный народ никогда не сможет иметь подлинную демократию. Он отказывается от врачей и лекарств, которые мы ему предлагаем, предпочитая обращаться за помощью к своим колдунам. Он живет, уповая на духов своих предков, и ждет от них чудодейственного исцеления всех своих недугов, как телесных, так и душевных. Он слепо верит вызывателям духов, гадальщикам и астрологам...

— Ну, положим, когда я жила в вашей стране, лейтенант, я однажды прочла в статистическом журнале, сколько вы ежегодно тратите на гадалок, ясновидящих, хиромантов, нумерологов и астрологов...

Он улыбнулся. Он впервые обсуждал проблемы такого рода. Прежде их разговоры ограничивались обсуждением практических вопросов, связанных со школами, с санитарными учреждениями, с техникой аудиовизуального обучения и т. п.

Официант принес заказанные ими блюда. Он поставил на стол керамическую миску с латуком и помидорами. Учительница начала перемешивать масло, уксус, перец ловкими и умелыми движениями. Лейтенант следил за ее руками почти с восхищением. Ему захотелось узнать что-нибудь о прошлом этой незаурядной женщины. Кто она? Вдова? Разведенная? Незамужняя?

Вино им подал сам метрдотель. А когда официант поставил перед учительницей тарелку с жареной телятиной, в ноздри лейтенанта ударил запах горелого мяса и в памяти возник образ студентки, охваченной пламенем. Ему стоило большого усилия проглотить ломтик помидора. (Он сидел за столом у себя дома. Ему было двенадцать лет. Отец, указывая на глубокую деревянную миску, сказал: «Латук, сынок, принадлежит к однолетним растениям, а этот, что мы сейчас едим, относится

к виду, известному под названием «sativa». А латинское название этого томата — Lycopersicon esculentum, его родина — Южная Америка». Он взглянул на мать, ожидая, что та кивком подтвердит слова отца.)

— А вы так ничего и не съедите, лейтенант?

— Я не хочу, спасибо,— он чуть было не рассказал ей, как утром ощущал запах горелого человеческого мяса. Но удержался.

И тут он увидел низенького человечка, вид которого вызывал у него гадливое чувство, словно он глядел на змею или слизняка. Человечек был одет в спортивную рубашку самой яркой расцветки. Это был «владелец» К. Встав в дверях, тот смотрел по сторонам, потирая руки и отыскивая глазами свободное место. Метрдотель услужливо проводил его к центральному столику. И тут лейтенант с отвращением вспомнил неприятный разговор, который несколько месяцев назад был у него с этим торговцем живым товаром. Тот тогда говорил примерно так: «Господин офицер, вы хотите оставить девочку исключительно для себя? Нереально! Всего вашего жалованья, даже утроенного, не хватит, чтобы откупить такую монополию. Ведь этот цветок — один из самых драгоценных. На нее большой спрос. Ее посещают даже люди с положением, очень видные особы. Простите меня, господин офицер, но я вынужден вам отказать». А сейчас этот мерзавец сидел за столом, все время потирая руки, с этой своей постоянной глупой улыбкой на круглом, жирном лице, кожа которого, розовато-смуглая и глянцевитая, напоминала лейтенанту шкурку новорожденного крысенка. Туземец наклонил голову, здороваясь с ним, но лейтенант, делая вид, что не заметил его, опустил глаза и начал ковырять вилкой в своем салате.

— Удивительно,— сказала учительница,— как вы не умеете выбирать себе союзников.

— Но согласитесь, что зато нас очень часто выбирают себе в союзники другие. Возьмем хотя бы данный случай. Вначале мы прибыли сюда как военные и экономические советники по приглашению национального правительства. Позднее мы стали союзниками в войне. И именно потому, что нас пригласили.

— Лейтенант, я все равно не поверю, что вы и в самом деле так наивны! Ваша страна повторяет эту же ошибку во многих частях мира, то есть всегда покровительствует не тем, кому следовало бы. Но мы не будем больше говорить об этом.

— Не кажется ли вам, что самый факт пребывания здесь наших парней, переносящих всяческие трудности и подвергающихся множеству опасностей, уже несет в себе нечто положительное? Не значит ли это, что они верят в принципы? Однажды я видел — мне не рассказали, я сам видел,— как наш солдат, рискуя собственной жизнью, спасал туземного младенца, оставшегося в горящей хижине. Солдат получил ожоги первой степени, но ребенка спас.

— Вполне возможно, что ваши бравые морские пехотинцы искренне верят, будто они отстаивают справедливость и демократию. Промывание мозгов в странах, подобных вашей, происходит мягко, медленно и незаметно. Оно началось более столетия назад и постепенно создало именно этот образ мышления и чувств, подготовив людей даже к признанию «оправданного геноцида» и «священных войн». Убивают во имя бога, во имя родины и во имя демократии — богини с тысячью ликов, подлинного лица которой никто никогда не видал.

Он пытался возразить, но она не дала ему ничего сказать.

— Я восхищаюсь вашими солдатами. Да, восхищаюсь, что тут такого? Они — великолепные образчики человеческой породы. Их храбрость и самоотверженность в бою меня, несомненно, растрогали бы,

если бы не их нелепость и никчемность. Если вспомнить, что они вскормлены на жирном молоке среди полного комфорта, в обществе, достигшем высочайшего жизненного уровня, что развивает эгоизм и гедонизм, то остается только удивляться, каким образом вашим ребятам вообще удалось сохранить мужество и какие-то боевые качества. Впрочем, лейтенант, не забывайте, что нацисты тоже были отменными вояками — наглыми и исполнительными.

— Вот вы снова сравниваете нас с нацистами! Это несправедливо.

— Пусть так... Однако вдумайтесь в то, что я вам сейчас скажу, лейтенант. Если в один прекрасный день меня убьет пулей, то какая мне разница, выпущена ли эта пуля злобным нацистом или атлетически сложенным богобоязненным морским пехотинцем, умиленно плачущим над яблочным пирогом, вспоминая те, которыми его кормила мамочка? Я-то все равно буду непоправимо мертвой.

— Значит, для вас не существует никаких принципов? — спросил он.

— Конечно существуют. И мой главный принцип заключается в том, что я не согласна ни с какой социальной, экономической и политической системой, если в центре ее внимания не стоит человеческая личность, ее благополучие, ее свобода и ее достоинство. Беда в том, что мы, кроме того, являемся свидетелями войны метафор, псевдонимов и эвфемизмов. Многие ваши солдаты, возможно, даже искренне считают, что они здесь убивают, умирают и переносят всевозможные тяготы только во имя демократии и безопасности своей родины... Но нужно ли напоминать вам, лейтенант, что есть еще «группы элиты», которых влекут минеральные и растительные богатства этой части света? Бокситы, железо, вольфрам, каучук, нефть, сизаль, рис, чай...

Лейтенант беспомощно развел руками.

— Будем честны,— продолжала учительница.— Ваша страна и ей подобные страны по-настоящему не заинтересованы в сохранении мира. На самом деле они добиваются военной гегемонии в опасной игре за мировое господство. Они хотят расширить свои рынки и прибрать к рукам побольше источников естественных богатств и сырья. Для этого им нужны солдаты, оружие, лозунги. И вот здесь на сцену выступает милитаристская пропаганда, которая умеет извлекать максимум пользы из переиначивания слов.

— Значит, вы считаете, что война с нацизмом не была справедливой и необходимой?

— Непосредственно и конкретно это была больших масштабов «полицейская акция», бесспорно оправданная и не терпевшая никаких отлагательств. Она была направлена против страны, загипнотизированной лидером-параноиком, который стремился любой ценой завоевать и поработить остальной мир. Однако проанализируйте глубже истоки нацизма и ужасной войны, которую он развязал, и вы обнаружите исконную борьбу интересов и соперничество между нациями, а также экономическими и финансовыми группировками. Капиталистические державы вдохновили и даже вооружили нацистов в надежде на то, что те нападут на родину коммунизма и уничтожат ее.

— Значит, вы не верите в возможность незыблемого мира?

— Нет, пока будет функционировать машина, которая находится здесь. И к тому же, мой друг, я страстно желаю мира, но не мира атомного кладбища.

Она ела с аппетитом, которому он даже позавидовал. Вдруг темнокожий морской пехотинец расхохотался, и лейтенант помрачнел. Он не мог припомнить, чтобы его отец когда-нибудь вот так беспечно хохотал. Его отец жил в мрачном безмолвии. И вот теперь, глядя на руки учительницы, он нашел — совершенно неожиданно,— что они чем-то

похожи на руки его отца, которые также были очень красивы. Он много раз стоял и наблюдал, как тот вытачивал или вырезал из дерева какую-нибудь вещичку. Отец делал это с любовью, и его пальцы двигались в своеобразном ритме, словно в такт музыке.

Он снова невольно взглянул на сутенера, который, почти уткнув лицо в миску, ел рис с такой жадностью, что его чавканье разносилось по всему залу.

На мгновение лейтенант попытался представить себе, что произойдет через час в комнате, где его будет ждать К. И увидел, как она медленно раздевается, снимает серьги, не переставая все время улыбаться. Он потрогал карман, где хранился футляр с кольцом. Он слышал голос учительницы, но смысл ее слов не доходил до его сознания. Но вот что-то заставило его вслушаться:

— ...вам известно о скандале с опиумом, в котором была замешана жена видного генерала, члена правительства Юга? Разумеется, дело было замято... И уж если говорить об опиуме, то понятно, почему в этой стране, вечно придавленной пятой завоевателя, несчастные люди ищут утешения в наркотиках. Но объясните мне, лейтенант, почему в вашей стране, где есть богатство, комфорт, развлечения, где имеется много возможностей добиться успеха, число наркоманов из года в год фантастически растет?

Он посмотрел на нее почти враждебно.

— Не знаю. Вы же всегда знаете все лучше всех, вы — сливки человеческой культуры, вот вы и должны найти ответ на это... и на все остальное.

Она рассмеялась. Темнокожий морской пехотинец оглянулся на них. Сутенер улыбнулся, как будто и он участвовал в разговоре.

— Я, кажется, вас обидела, лейтенант?

Он уже раскаивался в том, что сказал.

— Простите. Я был груб.

— Пустяки! У меня носорожья шкура. Иначе бы я не выжила здесь. Но мы говорим о народе, который интересует меня в эмоциональном плане. В какой-то мере это мой народ. Я умру здесь, буду здесь похоронена, и мой прах удобрит клочок здешней земли. Надеюсь, из моей груди вырастет пальма. Нет! Огненное дерево. Или гранатовое. Короче говоря, плодовое дерево или дерево с прекрасными цветами, которые могли бы в один прекрасный день подарить кому-нибудь вдохновение. Быть может, поэт из вашей страны, которому осточертеют электронно-вычислительные машины, придет посидеть в тени этого дерева, чтобы написать поэму о вечных дарах природы. Нет, лейтенант, пусть на меня подействовало вино, но я не считаю, что мир погиб. Я надеюсь, мой друг, глубоко надеюсь. Я хорошо знаю и положительные качества вашего народа. Еще вина, лейтенант?

Он не ответил. Голова у него уже кружилась, а он не хотел быть пьяным, когда встретится с К. Учительница снова наполнила свою рюмку, отпила глоток и затем сказала:

— Если мы вспомним хроническое состояние нищеты, голод и болезни, на которые столько времени была обречена эта нация, то придется признать, что трудно найти более мужественных и стойких людей. Их относительная отсталость вызвана определенными обстоятельствами, она не присуща их натуре.

— Но я же этого не отрицаю! Надеюсь, вы не считаете меня расистом? — добавил он, проверяя, сознает ли она, что находится в обществе мулата. И пришел к выводу, что, если даже она об этом и знает, то во всяком случае умеет скрыть свою осведомленность.

В наступившей тишине послышался голос темнокожего морского пехотинца и смех куколки — его спутницы.

— Вы когда-нибудь слышали о Карле фон Клаузевице? — спросила учительница.

Лейтенант наморщил лоб, словно бы припоминая, а она продолжала:

— Это был прусский генерал, который в середине прошлого века писал о военной стратегии. Он был сторонником тотальной войны — считал, что противнику следует наносить удары всюду, где можно... не только по его армии, но и по его гражданскому населению, территории, имуществу и так далее. Это ему принадлежит утверждение, что война является продолжением политики. Так вот, я хочу внести поправку — простите меня за самонадеянность — в этот знаменитый афоризм. Я считаю, что война является продолжением торговли между нациями. Дипломатия, орудие внешней политики, представляет собой лишь хрупкий и формальный бумажный мост, перекинутый через узкую реку недолгих междуцарствий мира. Иногда это просто шпионаж. Иногда — менуэт, предшествующий гекатомбе...

Лейтенант задумался: ему вдруг вспомнились картины ужасов, свидетелем которых ему пришлось стать за последний год.

— Допустим, что так,— тихо сказал он.— Но где же выход?

Она пожала плечами.

— В прошлом веке Ницше убил бога, и, как кто-то потом иронически написал, в конце концов бог убил Ницше. Теперь, в наши дни, бог, по-видимому, вновь подвергается опасности лишиться жизни...

— Если бы техника сумела убить бога,— перебил он,— то человечество ненадолго пережило бы погребение своего создателя.

Он замолчал, отломил кусок хлеба и с трудом проглотил его — корка даже оцарапала ему горло. Сутенер по-прежнему поглядывал на него и улыбался. Учительница снова заговорила:

— Вера в существование бога не мешала людям на протяжении тысячелетий истреблять друг друга в жестоких войнах. Мне кажется, важно не бога бояться, а важно, чтобы люди любили друг друга или хотя бы не ненавидели до такой степени, чтобы прибегать к насилию для разрешения проблемы сосуществования.

Она закурила новую сигарету. Лейтенант заметил, что в пепельнице лежат уже три окурка, выкуренные до половины. Учительница выпустила клуб дыма.

И тогда офицер, который никогда в жизни не курил, вспомнил суровые предостережения их приходского священника, обличавшего вред курения. В детстве и юности он почему-то всегда связывал сигареты с проститутками, с накрашенными негритянками, щеголяющими в ярких платьях.

В зал вошло пятеро солдат — женщин с ними не было, и они, видимо, явились сюда из какого-то бара. Учительница обернулась на их громкие голоса. Один из солдат подмигнул ей и сделал приветственный жест. Она улыбнулась. Затем, когда улыбка на ее лице погасла и оно снова стало серьезным, она сказала своему собеседнику:

— Люди всегда считают себя созданными по образу и подобию божьему, носителями хотя бы одной божественной частицы.

— В этой иллюзии был воспитан и я.

— Вы католик или протестант?

— Баптист.

— А!.. Но... как я уже говорила, люди считают, что на них возложена некая миссия. Словно в тайнике своего существа они хранят закрытую и запечатанную книгу божьих заповедей, полный текст кото-

рых никто никогда из первых рук не получал. И вот... скажем, в этом одержимом веке книгу решили открыть, и оказалось, что в ней одни чистые страницы. После этого, уже не ссылаясь на то, чего хочет бог, люди вознамерились сами управлять своими судьбами. И начали задавать себе мучительные вопросы. Стоит ли быть добрым? Имеет ли нравственность абсолютную ценность? И самое главное: способны ли люди сами себя спасти? Если бог мертв... или пребывает скрытым и предан забвению... кто же тогда всевышний судия? И в результате, лейтенант, мы лишились наших моральных ценностей, мы не умеем отличать добро от зла, нравственное от безнравственного. Сегодня поговаривают даже о «ситуативной этике», которая, в сущности, представляет собой удобнейшую индульгенцию.

— Но кем эта индульгенция подписана?

— В данной войне, мой друг, вашим военным министерством.

Он засмеялся. Официант подошел с меню, чтобы они выбрали десерт. Они заказали мороженое — ванильное и шоколадное. Затем в течение нескольких минут разговаривали о пустяках: о жаре, о фильме, который она видела несколько месяцев назад, о цветах в ее саду.

— Вы же ничего не ели,— заметила она, взглянув на тарелку лейтенанта, где лежал почти нетронутый салат.

— Мне не хочется есть.

— Вас что-то тревожит?

— Немного.

— Что-то, о чем вы не можете мне рассказать? Ну, я не буду касаться ваших личных дел.

— Нет, пожалуйста! Я сам уже давно хочу задать вам нескромный вопрос, но... не осмеливаюсь.

— Спрашивайте. О чем мы будем говорить в этот вечер, не имеет большого значения. Ведь, скорее всего, мы больше никогда не увидимся.

— Хорошо, я спрошу. Почему вы живете в этой стране? Здесь же ад, а вы продолжаете тут жить. Если вы не можете или не должны отвечать, я пойму ваше молчание и мы поговорим о чем-нибудь другом.

Его собеседница, по-видимому, на миг заколебалась.

— Вам в самом деле интересна моя история? — Она бросила сигарету в пепельницу и тут же закурила другую.— Вам я расскажу ее... в немногих словах. Мои родители приехали сюда вскоре после свадьбы. Я родилась и выросла здесь. Мой отец владел чайной плантацией в окрестностях города. Он был человеком недюжинным, много читал, увлекался живописью; он прекрасно ладил с туземцами, они его любили. Моя мать была отличная хозяйка, и мы все трое жили очень счастливо. Мне исполнилось тринадцать лет, когда началась вторая мировая война, и восемнадцать, когда полуостров захватили трудолюбивые и энергичные желтокожие человечки, обожавшие своего императора. Ну, хорошо, лейтенант, я буду краткой. Кончилось тем, что всех троих отправили в концлагерь. Мать умерла от дизентерии, и захватчики нашли предлог, чтобы уничтожить моего отца...— Она поглядела с вызовом на лейтенанта и после паузы, чуть понизив голос, добавила:— А меня изнасиловали отвратительные сопящие солдаты с черными блестящими волосами. Это было страшно. Я чуть не сошла с ума. Я хотела умереть... Нет, нет, не надо выражать мне сочувствия, лейтенант. С тех пор прошло больше двадцати лет. Я осталась жить.

Он был растерян и смущен. А она продолжала:

— Ну, хорошо. Представителям Красного Креста удалось спасти, что от меня осталось. Меня посадили на пароход, отправлявшийся на родину моих родителей, которая как-никак была и моей родиной.. Я поселилась у дяди, у брата моего отца.

Лейтенант, опустив глаза, ерзал на стуле, вертел ложку, покашливал.

— Я вижу, вы шокированы, друг мой. Пожалуйста, не принимайте мою судьбу слишком близко к сердцу, но и не считайте меня циничной. А вообще, быть может, вас возмутила не моя история сама по себе, а то, что я ее рассказала так откровенно? Я считаю, что, в сущности, мы боимся слов больше, чем того, что эти слова обозначают, и в результате возникает глубочайшее взаимное непонимание. Подумайте хорошенько, ведь тень розы не красивее самой розы, тень бандита не так опасна и жестока, как сам бандит. На мой взгляд — разрешите мне метафору,— слова — это тени вещей, лиц, фактов и мыслей, которые они обозначают. Верность тени по отношению к предмету... я хочу сказать, что ее размер, форма, густота зависят от положения источника света, то есть от характера человека и от степени того, как он владеет своим языком. Вы поняли, что я имею в виду?

Он утвердительно кивнул.

— В таком случае позвольте мне досказать. Я была религиозной девушкой, католичкой, которая привыкла исповедоваться хотя бы раз в неделю... Когда меня привезли к дяде, я с ужасом обнаружила, что беременна. Вы представляете мое положение? Мне предстояло дать жизнь ничейному ребенку, зачатому в самую тяжелую минуту моей жизни, существу, которое я, возможно, никогда бы не смогла полюбить. Неделя прошла в адских муках, но после ужасной борьбы с совестью я все-таки решила прибегнуть к аборту, конечно, вопреки совету моего исповедника. Повторяю, мне была невыносима мысль иметь ребенка от этих зверей. Иногда в худшие минуты мне чудилось, что ребенок зачат всеми ими и поэтому родится чудовищем со многими головами. И я обратилась к врачу...

Сутенер опять улыбнулся — как будто он тоже слушал ее рассказ и все казалось ему забавным. Лейтенант еле удержался от желания схватить бутылку и запустить ее в голову этого мерзавца.

— Разумеется, — продолжала учительница, — мои злоключения на этом не кончились. С точки зрения медицинской все прошло хорошо. Но подумайте о положении католички, которая решилась на подобный грех... и которая боится признаться не потому, что она хочет скрыть свое преступление, но потому, что она не может искренне сказать священнику, что раскаивается в содеянном.— Она глубоко вздохнула. — Потому что это было именно так, лейтенант. Я не раскаивалась в том, что сделала, и, следовательно, священник не мог дать мне отпущение моего греха. Без отпущения же греха не стоило и исповедаться. Так я сама себя обрекла на то, чтобы остаться без причастия, и это было для меня тогда нескончаемой мукой. Мне пришлось долго лечиться у психиатров, и в конце концов моя религиозность постепенно сошла на нет, хотя и по сей день я верю в бога. Выздоровев, я поступила в университет. Изучала много предметов, не зная толком, к чему меня влечет. Мой дядя умер, и так как у него не было ни жены, ни детей, я оказалась его единственной наследницей: мне достались очень ценная мебель, акции, кое-какие деньги...

— Но почему вы вернулись?

Она улыбнулась, слегка пожав плечами.

— Утверждают, будто преступник всегда возвращается на место преступления. Поверьте, иногда возвращается и жертва. И все-таки... говоря серьезно, каким нелепым это ни покажется, но я испытывала тоску по этой стране, по этим людям и даже по этому климату. На родине моих родителей я чувствовала себя частичкой, выпавшей из сложного механизма, а кроме того, я боялась когда-нибудь превра-

титься в одну из тех неприкаянных душ, которые бродят по вечерам, заполняют кафе и бульвары... В пятидесятом году я возвратилась сюда. Нашу плантацию мне не вернули, но власти помнили моего отца, и я получила разрешение открыть приют для девочек-сирот, который и стал теперь главным содержанием моей жизни. А эта война, пожалуй, сделала мою работу еще более важной и нужной.

Лейтенант долго глядел на нее, не зная, восхищаться ею или жалеть ее, но пришел к заключению, что жалость для такого твердого и мужественного человека была бы равносильна оскорблению.

— А ваша жизнь... она не слишком одинока?

— Нет, она заполнена. У меня есть моя работа. Книги. И главное — дети.

— Но разве у вас нет друзей?

— Есть, но их немного, и они не близкие друзья.

— На вашем месте всякая другая женщина возненавидела бы род человеческий навсегда.

Она улыбнулась.

— Навсегда? Хорошо ли вы взвесили то, что сказали? — Она погасила о пепельницу пятую сигарету. — Было время, когда я дошла до того, что чувствовала отвращение к самой себе, словно я сама была виновна во всем... Как это вам объяснить? Будто я сама предложила себя этим плотоядным солдатишкам императора...— Она умолкла, взглянув на собеседника, и через две-три секунды продолжала:— Ну, хорошо, свою историю я закончила. Теперь рассказывайте свою. Почему вы здесь, если вы не профессиональный военный?

Он опустил голову и стал смотреть на катышек из хлебного мякиша, который катал между пальцами, как будто именно в нем таился ответ на этот вопрос.

— Потому что я трус.

— Ну, положим, лейтенант, трус не идет на войну.

— Но я бежал от другой войны.

— Какой другой войны?

— Вы еще не заметили, что я негр?

— Мне это и в голову не приходило.

— А это имеет для вас какое-нибудь значение?

— С какой стати?

— В моем родном городе у белой женщины, которую увидели с цветным мужчиной в общественном месте, будут большие неприятности...

— А! Понимаю, вы говорите о расовой войне. И все же я не вижу, каким образом ваш приезд сюда мог стать решением проблемы...

— Это было не решение, а передышка. Отсрочка...

— В чем же именно заключаются ваши трудности?

— Трудность выбора: присоединиться ли к тем, кто борется за гражданские права цветного человека в рамках закона, методами убеждения... или к тем, кто проповедует применение неграми насилия. Нейтралитета тут быть не может. Кто не выберет сознательно, в конце концов все равно невольно окажется либо на одной, либо на другой стороне.

— По-моему, вы не принадлежите к сторонникам насилия. Почему бы вам не присоединиться к первой группе?

Он ответил не сразу. Сказать ли все? Черт подери. Будь что будет, все равно он больше никогда не увидит эту женщину.

— Самое мучительное в моем положении заключается в том, что я не хочу быть негром. Я не чувствую себя негром, за исключением тех случаев, когда какое-либо слово или дискриминационная выходка

белого не напомнит мне об этом. Я знаю, что мог бы сойти за белого в любой латиноамериканской стране... Больше того: я не уважаю наших, не люблю... запах, черты лица, манеру говорить. Я стыжусь крови, которая течет в моих жилах. Трудно делать такие признания, но это то, что я чувствую, т а к о в а м о я с у щ н о с т ь. Я не верю, что в моей стране негритянская проблема будет когда-нибудь разрешена удовлетворительно. Законы об интеграции это лишь... слова, слова, слова, слова. Ненависть, презрение или отвращение, которые белые испытывают к неграм, это... наследственная болезнь, нечто вроде рака с метастазами — тут не поможет никакая операция. А насилие, с другой стороны, может только ухудшить положение негров... да и белых тоже. Я был безработным дипломированным специалистом по прикладной психологии. Мне предложили эту должность в армии, я согласился, прошел специальную тренировку... и приехал сюда.

Не поднимая глаз, все тем же тихим голосом он добавил:

— Мать у меня была белая, отец негр. Перед тем как пойти в этот ресторан, я вспомнил сцены из моего прошлого. Они терзают меня до сих пор.

Тут он вкратце рассказал историю своего детства — о своей привязанности к матери, смешанную с чувством стыда и обиды из-за того, что она вышла замуж за негра; сказал, что не мог любить отца.

Он упомянул и о том вечере, когда трусливо бежал, бросив старика отца, с которым расправились белые. Он испытывал болезненное и в то же время пьянящее удовольствие от того, что изливает свою душу, признается и вместе с тем унижает себя перед другим человеком. Так с ним было впервые в жизни.

— Я уже сказал вам, что я баптист, но иногда я завидую католикам, потому что у них есть исповедь. Иногда необходимо облегчить душу... Я ищу не отпущения грехов, а самой возможности исповедаться. Недостаточно исповедаться самому себе. Или в пустоту...

Около их столика остановился официант, ожидая распоряжений. Учительница заказала две чашки кофе.

— После той ужасной ночи, когда избитый отец мучился, не в силах сдержать стоны, он покончил с собой. Повесился в ванной. Его нашел я и потерял сознание. Я бы хотел иметь возможность сказать, что упал в обморок потому, что потерял того, кого любил. Но я должен быть честным и признать, что причиной моего обморока был испуг, потрясение, просто подлый страх. Когда я пришел в себя и с трудом поднялся с пола — у меня подгибались ноги,— тело отца уже лежало на кровати, облаченное в праздничный черный костюм. Болезненное любопытство заставило меня подойти к этой двуспальной кровати, всегда внушавшей мне ужас, потому что на ней моя мать, белая женщина, спала с негром... Лицо отца было прикрыто простыней. И я стал воображать разные вещи. Должно быть, кожа у него уже не черная, а серая. Остался ли высунутым посиневший язык? А глаза... вправил ли доктор их в орбиты?

Лейтенант протянул руку, накрыл ею на мгновение руку учительницы.

— Простите, что я рассказываю такие неприятные вещи. Но перед кем-то нужно высказаться.

— Говорите, друг мой, говорите,— сказала она, и выражение ее глаз его подбодрило.

— Так вот, я стоял рядом с трупом мужа моей матери, безучастный, не испытывая ни любви, ни просто жалости. Понимаете, на какую жестокость я оказался способен, еще совсем юный? Хуже того: я помню, что мне страстно хотелось, чтобы отца скорее увезли на кладбище.

Я думал о том, что надо окурить дом, продать его одежду... сделать так, чтобы полностью улетучился запах его пота, все следы его черноты. Разве это не жестоко? Разве не ужасно? Словно бедняга умер от чумы...

Лейтенант замолчал и отпил глоток кофе из чашечки, которую поставил перед ним официант.

— Потом были похороны... Стояло лето. На кладбище было душно от аромата цветов. Магнолии... Очень чистое небо. Я помню самые незначительные мелочи, связанные с этим часом. На крышку гроба села стрекоза. У матери на чулках были неряшливые складки. Я выучил наизусть надпись на ближайшей плите — фамилию и имя умершего, дату его рождения и дату смерти. Когда мы шли к воротам кладбища, я чуть было не наступил на желтую розу, лежавшую на земле. Я под локоть поддерживал мать. Она плакала, а я едва мог сдерживать радость, и моя радость — теперь я это чувствую еще острее — была эгоистичной, жестокой... Тут на кладбище появилась похоронная процессия, во главе которой шествовал джаз-банд... какие-то штандарты... Веселые люди пели и пританцовывали. Это был военный марш, полный бодрости, которая гармонировала с моей едва сдерживаемой радостью. Вот тогда-то мне и пришла в голову мысль, самое воспоминание о которой меня жжет: «Теперь, когда «он» мертв, мы с матерью сможем жить, как белые».

— Так оно и получилось?

Лейтенант отрицательно покачал головой.

— Нет. Мать — как я ожидал и желал — могла бы вернуться в город, где жили ее родители, могла помириться с ними и с их миром. Но она не сделала ничего подобного. Осталась на прежнем месте. В негритянском гетто, не изменив прежним друзьям и прежним привычкам.

— Я ее хорошо понимаю. Это была ее форма протеста против дискриминации. Не приходило ли вам в голову, что, поступая так, она тем самым выбрала свою позицию в расовой борьбе?

— Да, я об этом думал. И это меня тревожит, потому что сам я еще до сих пор не могу побороть нерешительность. У матери, по-видимому, было больше мужества, чем у меня. И больше человеческого достоинства.

— Где она сейчас?

— Она умерла три года назад. Похоронена на том же кладбище, рядом с мужем.

— А вы не подумали, что, попав сюда, вы можете погибнуть?

— Я решил, что это тоже могло бы явиться выходом.

Учительница закурила шестую сигарету.

— Лейтенант, вы верите в грех?

— Рассудком... нет. Но телом и той частью мозга, которая, как это ни парадоксально, кажется свободной от рассудка, я верю... и как верю! По правде говоря, я все больше погружаюсь в душевный хаос — особенно после года этой войны. У меня такое впечатление, что я утрачиваю свою личность... Я плохо переношу здешний климат, не понимаю этот народ и солгал бы, если бы сказал, что мне он нравится. Завтра я уезжаю на родину. Мне следует радоваться, а я ничего не испытываю, кроме тревоги и неуверенности. Иногда я спрашиваю себя: кто я такой? Что это за мир, куда нас привезли?.. У меня на родине не прекращаются вспышки расовой ненависти. Там, в наших городах, тоже появились партизаны — черные. А здесь мы воюем с теми, кого условно называем красными. Но, может быть, эти восстания и там и тут — эпизоды одной и той же борьбы, порожденной неизлечимой человеческой глупостью? Тридцать процентов нашей армии здесь составляют негры, и это наводит на грустные размышления. В чем тут смысл?

Он подождал, рассчитывая, что собеседница что-нибудь ответит, но она продолжала молчать, и, не выдержав затянувшейся паузы, он заговорил снова:

— Наш приходский священник как-то сказал в воскресной проповеди, что тело — вместилище души и поэтому его следует почитать. Так вот, на мой взгляд, для негра тело — это тюрьма его духа. Но у кого ключ, который мог бы освободить нас? У белых?

— Нет, не думаю. Тогда все обстояло бы очень просто. Белые вашей страны тоже живут в тюрьме, которую они сами воздвигли на фундаменте своих предрассудков. Они могли бы, в свою очередь, считать, что ключ их свободы находится в руках так называемых цветных.

— У кого же тогда ключ? Может быть, у бога? Но бог, по-видимому, соблюдает в этом вопросе полный нейтралитет. У бога нет кожи.

Она грустно улыбнулась.

— Расскажите мне о своей жене.

— Ну, во-первых, она — квартеронка...

— Кто?

— Это значит, что она на четверть негритянка.

— Как глупо! Вы же сами подыгрываете белым, оценивая людей в зависимости от того, к какой расе они принадлежат. Зачем употреблять эту нелепую и унизительную терминологию? Почему вы не сказали мне просто, что за человек ваша жена?

— Она красива, умна. Она верный друг...

— Тогда что же ошибочного в вашем браке? Или вы ее разлюбили?

Лейтенант залпом выпил кофе, точно рюмку крепкого спиртного, чтобы собраться с духом. Странно: ему было легче признаться этой иностранке в своем отношении к отцу и к матери, чем рассказать ей о К. Словно он находился перед своей законной супругой.

— Первые месяцы тут я был совсем один. Потом однажды вечером, когда мне стало особенно тоскливо, я зашел в какой-то дансинг и увидел там девушку... туземку. Я потанцевал с ней, и через полчаса мы уже были в постели, после того как я, чуть не умерев от стыда, договорился о цене с ее хозяином, который потребовал с меня уплаты вперед. Я возненавидел этого типа с первой минуты.— Лейтенант нагнул голову и, понизив голос, добавил:— Кстати, он сейчас здесь в зале. Вон там — слева от нас, за центральным столиком...

Учительница незаметно повернулась и бросила быстрый взгляд на торговца женщинами, который в эту минуту ел ложечкой кремовую мякоть манго. Опять повернувшись к собеседнику, она прошептала:

— Я его знаю. У него хватило наглости как-то прийти ко мне домой с деловым предложением. Он всего-навсего хотел включить меня в список «девушек, пользующихся его услугами».

— Как? Не может быть!

— Почему же, лейтенант? Или, по-вашему, я уже слишком стара и некрасива?

— Какая скотина!

— Ну,— улыбнулась она,— это же холодный реалист, не имеющий ни малейшего представления о нравственных категориях. Он пришел ко мне, полагаясь на аксиому, к сожалению, вполне действенную, что никто или, вернее, мало кто в мире откажется от возможности заработать побольше. Он узнал, что я живу одна, без мужчины, и на этом построил свои расчеты. Знаете, что он мне сказал? Что среди его клиентов есть люди с самыми разными вкусами. Одни предпочитают невинных девочек, другие — девушек от пятнадцати до двадцати лет, но иногда к нему обращаются почтенные люди, которых интересуют зрелые жен-

щины вроде меня. А бывают и клиенты, которым нравятся только мальчики.

— И вы не выкинули этого подлеца из дома, не отхлестали его по щекам?

— Нет. Если бы его предложение меня оскорбило, это значило бы, что оно отвечало какой-то моей подсознательной подавленной потребности. На мой взгляд, все это было настолько нелепо, что никак меня не задело... Прежде чем уйти, он оставил мне свою визитную карточку с фамилией и адресом «на случай, если вы передумаете». Это — столп общества, лейтенант, как и сотни других дельцов, которые торгуют проститутками и наркотиками или ведут операции на черном рынке. Они входят, как неотъемлемая часть, в сложную политико-экономическую систему, которую вы стремитесь сохранить любой ценой... Но продолжайте свою историю. Итак, вы заплатили за девушку...

— Да,— пробормотал он в некотором замешательстве.— Потом начал регулярно встречаться с ней в комнате, снимаемой на час, на верхнем этаже кафе «Каравелла». Плату берет женщина, которая работает на эту собаку. Я обязан пить вино по непомерным ценам. Все это очень грязно. Но всего хуже то, что... что... я не знаю, как вам объяснить...

Учительница помогла ему закончить фразу:

— Хуже всего то, что эти случайные встречи стали чем-то другим. Эта девушка затронула ваши чувства, не правда ли?

— Да.

— Как ее зовут?

— Я так и не научился правильно выговаривать два ее имени. Первое звучит как буква алфавита — «К». Так я ее и называю. Любопытно, потому что в детстве буква «К» ассоциировалась у меня с названием тайного общества, которое на юге моей страны преследует негров. Его члены носят белые балахоны, прячут лицо и голову под высоким коническим капюшоном — как инквизиторы на иллюстрациях в исторических книгах и журналах... Да, инквизиторы, те, кто сжигал еретиков. Долгое время слово «еретик» ассоциировалось у меня с фигурой моей матери — после той ночи, когда члены этого общества зажгли огненный крест на лужайке против нашего дома. Я боялся, что они сожгут и мою мать...— Он замолчал, погрузившись в воспоминания.— Буква «К» всегда была для меня мрачной буквой. Теперь же она символизирует женщину, пробудившую во мне... привязанность. Не смешно ли?

— Значит, страшная ассоциация для вас исчезла?

— Не думаю. У меня есть предчувствие, что рано или поздно я буду как-то наказан за эту девушку. Может быть, слова — только тени, но зато какой силой эти тени обладают! Какой магией!

— Согласна. Но мы должны защищаться от всякого слова, от всякого оборота речи, которые искажают для нас мир, отторгают нас от людей, от самых корней жизни.

— Но как? Как от них защищаться?

— Очень просто. Повторите одно слово много раз подряд, пока оно не потеряет своего смысла. Когда «К» перестанет означать призраки вашего детства и даже не будет больше символизировать ваши «греховные» отношения с этой девочкой... она все так же будет ждать вас (безымянная, это не важно!) на верхнем этаже кафе «Каравелла». Если, с другой стороны, вы не преодолеете страха, который вам внушают инициалы или название чудовищного тайного общества, то откуда у вас возьмется мужество бороться с ним в реальном плане? Ведь именно с помощью слов, символов и метафор нас гипнотизируют демагоги, нами управляют диктаторы.

Она покачала головой, рассматривая в наступившем молчании свое искаженное отражение в ложечке.

— И почему именно отношения с К. превратились для вас в проблему? Она ведь вас любит?

— Как ни странно, я не знаю. Я боялся спрашивать ее об этом. Но если бы и спросил, то она, наверно, ответила бы мне вежливой профессиональной ложью. К тому же нам трудно между собой объясняться. Я знаю лишь около десятка слов, фраз ее языка. А она моего — и того меньше. И все же мы как-то понимаем друг друга... а когда не понимаем, то прибегаем к помощи жестов. Но вот что меня мучит: полюбив...

— Договаривайте без боязни, полюбив проститутку. Считайте это слово не эпитетом, а простым обозначением профессии.

— Пусть так. Но, полюбив ее, я изменяю жене. С другой стороны, меня мучает, а иногда прямо-таки бесит сознание, что К. достается самая ничтожная доля того, что я плачу за нее субъекту, который ее эксплуатирует. И еще одно мне мучительно. мысль о том, что я у К. не один, что таких, как я, у нее много. Вот и сегодня К., должно быть, уже отдавала свое тело многим другим.

— Это ревность или сострадание?

— Наверно, и то, и другое.

— Если бы вы твердо знали, что испытываете к этой бедной девочке именно сострадание, а не ревность, я бы могла надеяться на ваше спасение, лейтенант. Только не спрашивайте, что именно я понимаю под с п а с е н и е м.

— Я узнал, что во время войны пятьдесят четвертого года, когда К. было двенадцать лет — всего двенадцать! — ее изнасиловал солдат из вашей страны, белый наемник... В тот день, когда мне это рассказали, я был так потрясен, что даже не мог к ней прикоснуться.

— А вы подумали об аналогии, которая существует между К. и этой страной? Сегодня насильники не вы ли?

— Прошу вас, не терзайте меня еще больше!

Она примирительно протянула к нему руку через стол и быстро коснулась его руки.

— Хорошо,— сказала она.— Но взглянем на факты. Завтра вы возвращаетесь домой. Это означает конец вашей связи с К. Об остальном позаботится время.

Он помотал головой, словно стараясь отогнать назойливую муху. Потом внезапно схватил рюмку и залпом допил оставшееся в ней вино.

— Странно, но меня с утра томит предчувствие, что я отсюда не уеду... потому что со мной случится что-то страшное.

— Выкиньте это из головы! Уж не заразились ли вы суеверием от местных жителей?

Наступила пауза. Лейтенант посмотрел на свои часы. Учительница угадала смысл этого взгляда:

— У вас с ней назначена встреча сегодня вечером?

Он чуть было не солгал, что нет.

— Да, через пятнадцать минут. Я должен с ней попрощаться.

Лейтенант знаком подозвал официанта и, когда тот подошел, попросил счет. Он взглянул на учительницу.

— Не знаю, как мне вас благодарить...

Она прервала его движением руки.

— Благодарить не за что... Мы обменялись признаниями. Может быть, чем-то помогли друг другу.

Затем она добавила совсем другим тоном:

— Моя машина у дверей ресторана. Хотите, я вас подвезу?

— Нет, спасибо. Я пойду пешком.

— Понимаю. Пойдете в обществе своих призраков... Но, пожалуйста, не принимайте близко к сердцу то, что они вам нашептывают. Поверьте, наша память далеко не всегда наш друг.

Он расплатился, и они пошли к выходу. Проходя мимо сутенера, который при его приближении выпрямился и улыбнулся, возможно, ожидая ответной улыбки, лейтенант почувствовал слепое бешенство, желание раздавить червяка. (Мальчик — сырой сад, грязь, слизняк, слизь на подошве ноги.) Учительница мягко взяла его под руку:

— Что бы ни было, лейтенант, помните одно: нам надо научиться жить в мире с самими собой и со своим прошлым. И мы должны — почему бы нет? — включить самих себя в число тех, кого нам следует простить...

У дверей «Райской птички» после долгого прощального рукопожатия учительница поднялась на цыпочки и поцеловала его в щеку.

Выйдя из ресторана на улицу, лейтенант почувствовал себя так, словно после купания в свежей прохладной воде он сразу погрузился в горячее густое масло. Бремя ночи легло на его тело и душу. Высокие пальмы, тянувшиеся вдоль набережной канала, были неподвижны. В небе тускло блестела круглая желтая луна, подобно недремлющему оку. Издалека — за десять километров?.. за двадцать?..— доносился грохот орудий.

Лейтенант медленно пошел по направлению к «Каравелле». По его лицу и телу стекали струйки пота, промачивая одежду. От канала тянуло запахом воды, гнилого дерева и тошнотворно приторным ароматом цветов. Лейтенант увидел себя шестнадцатилетним мальчиком — он неловко и вместе с тем гордо вручает учителю тетрадку с сочинением, в котором сравнивает полную луну с сияющим лотосом, плавающим в голубом озере неба... Теперь он был сыт лотосами по горло. С первого же дня в этой стране символический цветок лотоса преследовал его повсюду. Рисунки, вышивки, лепные украшения, воспроизводящие форму лотоса. Цветы лотоса в вазах. Лотосы во рвах крепости. Лотосы в садовых прудах. Он ел семена лотоса с рисом. Город иногда казался ему грязной потаскухой, которая душится эссенцией лотоса.

Лейтенант шел и думал о женщине, с которой только что расстался. Что означал ее прощальный поцелуй? Нежность сестры? Или, может быть, сострадание?.. В нежность поверить он не мог, сострадание отвергал. Он хотел любви, но не сострадания. Как бы там ни было, учительница стала прошлым. Они больше никогда не встретятся! Сейчас он идет на свидание с К. в последний раз... Потом К. тоже останется лишь образом в хранилище его памяти. И этот образ постепенно начнет блекнуть, размываемый водами времени. Жизнь — очень странная вещь...

Он прошел мимо открытого окна и увидел в комнате алтарь, на котором курились благовония. Он почувствовал этот липкий запах и вспомнил день, когда в юности из любопытства заглянул в единственную католическую церковь их города и остался до конца богослужения, очарованный обрядом, пышным облачением священника, органной музыкой, сверканием дарохранительницы, тайной причастия — тело и кровь Христовы,— а потом вернулся домой, ощущая себя бесконечно виновным, потому что он предал собственную религию, томясь желанием преклонить колени перед своим священником и покаяться и в этом грехе, и во многих других, которые его мучили... но он с горечью вспомнил, что его церковь не признает таинства исповеди.

У него снова заболела голова, теперь глухая боль сдавила обручем весь череп. Он нащупал в нагрудном кармане пакет с аспирином. Надо будет проглотить пару таблеток, как только он поднимется в ком-

нату, где его ждет К. В другом кармане он потрогал футляр с кольцом... Бирюза. Глаза учительницы. Ему было ее бесконечно жаль. Как все это печально, грязно и бессмысленно! «Нам надо научиться жить в мире с самими собой и со своим прошлым». Она поцеловала его в щеку... хотя и знала, что у него в жилах течет негритянская кровь. «Слова — только тени». Возможно. Но слова могут ранить. Слова иногда могут убить.

Уличные фонари горели тускло. Прохожие на тротуарах казались фигурами из сна. По набережной изредка проезжал автомобиль или велорикша. Луна следила за ним, как неумолимое око, лишенное век.

На углу стояли три морских пехотинца-негра. Один из них воскликнул:

— Чертова страна! Чего бы я только не дал, чтобы оказаться сейчас дома!

«Даже цветные,— подумал он, переходя улицу,— не могут жить долго вдали от родины, хотя она их отвергает. Черные певцы, черные писатели, другие черные представители интеллигенции его родины посещают Европу, где к ним обычно относятся как к людям и принимают повсюду. Они даже спят с белыми женщинами. Они говорят и пишут о своей родине с горечью и ожесточением и все-таки в конце концов возвращаются туда, потому что не могут вынести разлуки со своей страной, хотя там их считают гражданами третьего сорта — ко второму сорту относятся породистые собаки и кошки»... И впервые за весь день лейтенанту остро захотелось вернуться домой, бежать от этого азиатского кошмара, снова насладиться комфортом, машинами, хорошо организованным бытом в стране, где он родился. Он подумал о жене и почувствовал угрызения совести. Он представил себе, как сын идет сейчас рядом с ней и голова у него перевязана окровавленными бинтами...— Куда ты идешь, папа? — Иду спать с потаскухой. Выслушай, мальчик, то, что я тебе скажу. Твой отец — предатель. Я предал собственного отца. Я предал свою мать. Я предал свою расу. Теперь я еще раз предам свою жену, твою мать. Уходи отсюда! Может быть, сегодня проститутка от меня забеременеет. Значит, я предам и тебя тоже. (Как можно думать, будто ты ощущаешь то, чего в действительности совсем не ощущаешь?)... Он потел все сильнее. Вытащив платок, он несколько раз провел им по лицу. Дойдя до угла площади, он увидел светящуюся надпись — «Кафе «Каравелла» — из синих и красных лампочек. Лейтенант остановился, внезапно осознав всю дикость создавшейся ситуации. Он в этом месте, в этот час... Идет к проститутке... Местной. Сколько раз в юности он с восторгом рассматривал на цветных иллюстрациях изящные фигурки — стройные, гибкие, в черных одеждах, с лицами, наполовину прикрытыми коническими шляпами... Кто я? — спросил он себя. У него в кармане были документы с его фамилией и номером. Номер до известной степени важнее, чем фамилия. Недалек тот день, когда все люди станут лишь номерами в огромной счетно-вычислительной машине. И эта машина претворится тогда в бога новой эры.

Не раз, когда он бывал с К., он воображал, что его ударяет ножом в спину враг, незаметно пробравшийся в комнату. Он представлял, как, забрав его документы, они бросают его труп в глухом переулке или в реку... Тот, кто нашел бы его, увидел бы только — это человек. А его соотечественник добавил бы: чернокожий. Его труп положили бы в морге в холодильник до опознания. Но если бы и удалось установить его фамилию или номер, это все равно не возвратило бы ему жизнь. Ведь удостоверение личности — всего лишь комбинация букв, знаков или цифр.

Он снова вспомнил учительницу. Тени... Он произнес потихоньку собственную фамилию — много, много раз, пока комбинация слогов не утратила смысла. Он проделал то же с названием этого города и этой

страны. Потом медленно — чувствуя, как сжимается горло,— пошел через площадь к кафе.

Издали все еще доносился грохот канонады.

Он вошел в кафе, где за столиками и у стойки пили солдаты и штатские, почти все в обществе туземных женщин. Из музыкального автомата вырывались резкие звуки электрических гитар и гортанные голоса нестройного квартета, который, как показалось лейтенанту, повторял с отчаянной настойчивостью одну и ту же фразу из трех слов. (Сколько из находящихся здесь мужчин уже спали с К.?)

Он подошел к кассе. Мадам улыбнулась ему, показав гнилые зубы. Эта одетая в черный халат толстуха, с густо накрашенным лицом, начала лысеть — в глаза сразу бросились прогалины в ее напомаженных волосах.

— А! Господин лейтенант! Добрый вечер. Девочка уже наверху и ожидает вас,— она взглянула на стенные часы.— Вы пришли на три минуты позже. Ваш час кончается ровно в десять. Каждая минута сверх этого времени оплачивается отдельно.

— Сколько с меня следует? — спросил он, избегая смотреть ей в глаза.

— А? Она мне сказала, что вы завтра уезжаете, это правда?

— Правда.

— Навсегда?

— Да.

— Но тогда этот вечер совершенно особенный. Я положила на лед большую бутылку шампанского. Только, пожалуйста, не разбивайте бокалы, хорошо? Хозяин этого не любит. Вчера наверху один солдат, выпив, разбил бокал. А клиент, который пользовался комнатой после него, порезался. В постели остался осколок...

— Хорошо! Хорошо! Скажите, сколько я должен заплатить.

— Посмотрим...— Как обычно, она принялась ловко и быстро щелкать костяшками счетов, а он нетерпеливо ждал.— Вот и готово, господин лейтенант! Совершенные пустяки... Тут все — комната, вино и девушка.

Он увидел, что итог заметно выше обычного, но заплатил, не споря, и прибавил чаевые для мадам, которая, поклонившись, воскликнула:

— Желаю вам, господин офицер, на этот вечер всю мощь белого тигра!

Она взяла поднос с бутылкой шампанского и бокалами и пошла наверх. Он последовал за ней. Узкая лестница пахла плесенью, ступеньки под их ногами скрипели. Комната находилась над главным залом кафе.

— Уходите! — приказал лейтенант.— Оставьте поднос на столе и убирайтесь.

Он вошел в комнату только после того, как мадам ушла.

К. в платье цвета чайной розы стояла у окна и смотрела на улицу. Когда лейтенант вошел, она повернула голову, улыбнулась и пошла к нему навстречу с протянутыми руками. Он взял ее за руки и поцеловал их. (Сколько мужчин уже прикасались к этим пальцам сегодня?) Прижав ее к груди, он почувствовал всю ее хрупкость и миниатюрность, и это его растрогало. Он принялся целовать ее волосы, уши, шею, подбородок и наконец — самым долгим поцелуем — поцеловал в губы. И тут же, вздрогнув от отвращения, подумал, что, по сути, целует рты сотен незнакомых мужчин. Эти губы принадлежали всем. Всякий мог их купить за определенную цену. Он снова крепко обнял девушку. (Не пахнет ли от меня плохо? Не вызываю ли я у нее отвращение? И вызывают ли отвращение другие?) Несколько мгновений они стояли обнявшись. Лей-

тенант обводил прощальным взглядом маленькую комнатку: кое-где порванные обои — нарциссы на фоне желтых листьев,— выцветшие зеленые занавески, ветхий ковер, маленький шкаф с зеркалом на дверце, столик с клеенчатой скатертью в розовую клетку... и железная кровать, при виде которой он всегда вспоминал кровать своих родителей. На все это падал тусклый свет электрической лампочки, не защищенной абажуром и запыленной, которая свисала на проводе с середины потолка.

Он заметил, что постель была застелена наспех, покрывало заправлено небрежно. Простыня, наверно, осталась та же. Значит, они лягут в постель, пропахшую потом и грязью других тел. (Белых? Черных? Желтых?) Вполне возможно, что и час назад на этой постели лежала именно К...

— Как ты себя чувствуешь? — вполголоса спросил он девушку.

— Хорошо,— ответила она. И, подняв лицо, спросила: — Завтра?

— Завтра. В полдень.

— Как жаль. Бесконечно жаль.

Была ли искренней печаль, которую он увидел на ее лице, или только притворством, простым движением мышц, предварительно разученным перед зеркалом? Он не мог забыть профессии К., а правила этой профессии требовали внушать мужчине если не уверенность, что он у нее единственный, то хотя бы иллюзию, что он самый любимый. Он знал, что она родилась на том берегу реки, среди рисовых полей и что ее родители — крестьяне. Тут многих крестьянских девушек нищета вынуждала продавать свое тело. Они переселялись в город. Некоторые становились содержанками у белых офицеров. Однако «хозяин» К. считал, что ему выгоднее торговать ею в розницу.

Лейтенант выпустил девушку из объятий, вытащил из кармана маленький футляр и открыл его.

— Тебе.

К. взяла кольцо и, улыбаясь, как девочка, которой подарили желанную игрушку, надела его на палец. Она прошептала:

— Красиво! — И добавила, подняв глаза.— Спасибо!

Это, видно, исчерпало ее запас слов. Ее глаза похожи на две темные луны, подумал он. На выпуклый лоб падает черная блестящая челка. Лицо почти треугольное, с широкими скулами, нос курносый. Верхняя губа вздернута и чуть-чуть похожа на крышу пагоды.

Он подошел к столу, налил вино в бокалы, один протянул К., и они в течение некоторого времени молча пили. Шампанское как будто настоящее, решил он, запив две таблетки аспирина. (Какой процент с этой бутылки получает К.?) Он снова отпил, на этот раз побольше, и тут же подумал, что от шампанского у него вряд ли пройдет голова. Показав на кольцо, он спросил:

— Он... этот человек... понимаешь? — сомкнув большие и указательные пальцы, он прижал их к глазам, изображая очки.— Он не отберет у тебя это кольцо?

К. недоуменно открыла глаза, показывая, что не поняла его. Лейтенант повторил вопрос, выразив его другими словами и сопровождая иной мимикой. К. пожала плечами и, поставив бокал на стол, несколько раз постучала ногтем указательного пальца по циферблату своих часов.

— Время...

Еще одно необходимое слово из языка белых мужчин, которые покупали час любви. К. повернулась, ушла в ванную и закрыла за собою дверь. Лейтенант расстегнул рубашку, снял ее и бросил на стул. Потом сдернул покрывало с кровати и начал, расхаживая по комнате, вытирать им шею, спину и грудь. Все, что он видел, слышал и ощущал сквозь головную боль и головокружение, слагалось в смутный кошмар. Далекая

канонада, звуки музыкального автомата внизу, смех и возгласы солдат, повизгивания женщин...

Он бросил покрывало на пол, опустился на стул и стал следить взглядом за тараканом, который полз вверх. Ему вспомнился вечер в этой же самой комнате во время сезона дождей. Обнявшись, они лежали на постели и прислушивались к барабанной дроби капель по железной крыше. Уже две недели свинцовые небеса низвергали на землю потоки воды. Он ездил по окрестным деревням, вяз в трясине, в жирной глине, липнувшей к ботинкам, к мундиру, к коже... Ему казалось, что все разбухло от дождя — земля, деревья, дома, люди. Да и вражеские партизаны вырастали, словно грибы, вылезающие из влажной земли. В городе стены домов сочились водой, всюду пахло чем-то заплесневелым. Простыни на постелях были влажные. И все время жара, москиты и ощущение, будто мир вот-вот растворится под дождем и даже мозг у людей размягчится, превратившись в водянистую кашицу...

Несколько минут спустя из ванной вышла К., совершенно нагая. У нее были узкие бедра подростка и маленькая грудь. Погасив верхнюю лампу, она зажгла лампочку на тумбочке и села на кровати, скрестив ноги. Перед его глазами вновь возник образ студентки, объятой пламенем. К. невозмутимо смотрела на него и ждала. Ее тело, казалось, излучало свет. Она была похожа на статуэтку из темной бронзы. (Как-то, в такой же вечер, он вдруг с улыбкой заметил, что ее пупок похож на крошечный стилизованный цветок лотоса.) Но сегодня он глядел на нее и сам удивлялся тому, что не испытывает никакого желания. Он представил себе К.— двенадцатилетней в отцовской лачуге среди рисовых полей. Огромный белый наемник повалил ее... потом бросил лишившуюся чувств девочку среди развалин спаленной деревни, а сам ушел убивать дальше и насиловать в других деревнях, и самолеты этой армии ландскнехтов продолжали безжалостно сыпать бомбы на эту землю и этих людей.

К. улыбалась и ждала.

— Иди! — шепнула она.

Он не ответил и не сделал никакого движения, словно его загипнотизировали или заколдовали. «Такая маленькая,— думал он,— такая хрупкая. Как только у нее хватает сил выносить подобную жизнь?» От горьких мыслей на его глазах навернулись слезы. Когда ее молодость останется позади и она потеряет привлекательность, хозяин выбросит ее, как выбрасывают старую, ненужную зубную щетку. Мало-помалу К. превратится в дешевую портовую проститутку. И в конце концов, старая, беззубая, больная вернется на рисовые поля, чтобы там умереть... А где в тот день буду я? Уж лучше ей, подобно буддистской студентке, предать себя теперь же очистительному пламени. Прежде чем наступит старость, дряхлость и полный распад.

К голове прилила кровь. Не надо было пить. Но теперь уже поздно об этом жалеть. К., по-прежнему улыбаясь ему, снова показала на часики, напоминая, что время проходит.

Он нерешительно встал, несколько раз прошелся по комнате, сел на край кровати и погладил девушку по волосам. Потом притянул к себе ее головку и ласково поцеловал в губы, совсем слегка, словно боясь причинить ей боль. В его поцелуе была нежность, а не страсть. Мысль о близости с ней вдруг вызвала в нем ужас, парализовала его. Она — двенадцатилетняя девочка. Его младшая сестренка... К., заметив его нерешительность, попыталась его обнять, но он отстранил ее, воскликнув «нет!» почти со злобой. Потом он пошел в ванную, разделся, быстро принял душ, пользуясь ручным распылителем, чем-то напоминавшим телефонную трубку, вытерся, вернулся в комнату и лег рядом с К.

— Болен? — спросила она.

Он резко мотнул головой. Ему не было стыдно своей временной слабости, наоборот, она давала ему ощущение чистоты, до известной степени вознаграждавшей. Он поглаживал плечи девушки, ее кожа казалась нежной, как лепестки магнолии. (Кладбище, могила отца, джаз-банд, чулки матери.) Он слегка щекотал ее, и К. смеялась. (А этот смех? Значит ли он, что ей приятно прикосновение его рук, или она смеется потому, что ее обучили, как должна вести себя женщина, когда она волнуется и пытается скрыть это, объяснив, что в таких случаях следует негромко смеяться, словно все это не более как шутка?) Он подумал, что сегодня его последняя ночь с К., и по его щекам поползли слезы (или это только пот?) и сердце болезненно сжалось. Да! Жизнь пошлая — «повесть, которую пересказал дурак!» * Его виски по-прежнему стискивал обруч головной боли, продолжалась дальняя канонада, внизу стонали электрические гитары, а здесь, в комнате, таракан дополз уже до потолка. Рядом со своей огромной ступней мулата он видел крошечную ножку К. с розовыми ноготками — стрекоза с радужными крылышками на гробе его отца, чулки, повисшие складками на ногах матери, и надпись на надгробной плите, навеки врезавшаяся в его память... И была роза, упавшая посреди дороги, и учительница сказала, что сострадание могло бы его спасти... Внезапно его жена и сын оказались тоже тут, в комнате, около постели, и оба смотрели на него и на К., и на голове сына багровели бинты, и молчание обоих было обвинением, но — странно! — его это не тревожило, и его рука снова погладила лицо К. ...Он начал потихоньку говорить ей о своей большой любви — слова, полные нежности, которые она не могла понять, а поэтому только смеялась, тихонько смеялась, она, эта девочка, некогда обесчещенная грубым наемником... и жизнь была нелепой, и он — всего лишь безымянный персонаж в кошмаре бога... Его тело охватила сильная усталость, он закрыл глаза, а К. ласково гладила его по голове, вытирала пот с лица кончиком простыни... И она начала напевать ему потихоньку песню, мелодию которой он не мог уловить, монотонную протяжную мелодию — он когда-то ее слышал, ее играл на флейте один рыбак... Грустная-грустная... Он пытался следовать за этой мелодией, но она улетала от него, как дикая птица... райская птичка, преследуемая, раненая, уничтоженная желтыми солдатами, которые сопели, отдавая честь своему императору, а огромная гитара наполняла мир своими приводящими в безумие стонами, и все потемнело в конце концов и было хорошо отдохнуть, уснуть, не просыпаться больше...

В отеле «Старый Свет» выделялись три освещенных центральных окна шестого этажа. Это были окна апартаментов полковника. Одетый в легкую пижаму, он расхаживал по комнатам, в каждой зажигая лампы, будто кого-то или чего-то искал. Он уже несколько раз пытался заснуть, но это ему не удавалось. Его томила страшная усталость, и вместе с тем он был возбужден, как будто принял изрядную дозу декседрина. Зайдя в ванную, он промыл глаза и по рассеянности вторично вычистил зубы и прополоскал горло водой с зубным элексиром. Поглядев в зеркало, он даже не сразу узнал себя. Потом он вернулся в спальню и погасил все лампы. Температура кондиционированного воздуха в номере не поднималась выше шестидесяти градусов по Фаренгейту.

Полковник лег на бок, скрестив руки на груди, закрыл глаза и стал придумывать, что бы такое сделать, чтобы заснуть. Он вспомнил,

* Шекспир. «Макбет», V акт.

что в этом случае полагается считать воображаемых овец. Ерунда! Лучше он представит себе, что сидит за рулем автомобиля, который на огромной скорости мчится по бесконечному шоссе, стрелой уходящему вдаль, и не отрывает глаз от белой осевой линии, разделяющей дорогу посередине... Ему вспомнилась сюрреалистская картина, которую он видел в каком-то музее — бескрайняя голая равнина, покрытая параллельными полосами, уходящими к горизонту... Бесполезно! Уже больше суток он не смыкает глаз — и все же никак не удается заснуть! Полковник повернулся, выбирая более удобное положение. Как это делают йоги?.. Он лег на спину, вытянул руки вдоль туловища и слегка раздвинул ноги. Полное расслабление мышц... Расслабление всего тела... Он старался лежать как можно спокойнее, но его мозг казался раскаленным вертящимся шаром и не давал передышки телу. Полковник снова вскочил с постели, взял металлическую флягу, открыл ее, сделал несколько глотков и почувствовал, как ледяная вода заскользила по пищеводу в желудок. Прислушался к далекому грохоту канонады. Где же это стреляют? Нелепо, что иногда приходится стрелять вслепую, просто в том направлении, где предположительно может находиться противник. Они сейчас, наверно, попрятались в свои норы. И все же окончательно уничтожить коммунистов можно только с помощью тактики выжженной земли. А войну надо выиграть, чего бы это ни стоило!

Усевшись на кровати, он провел рукой по лбу. Ему страстно захотелось снова принять непосредственное участие в военных действиях. Ну, ничего, еще несколько дней — и он вырвется из этой бюрократической тюрьмы. Тем не менее его продолжала угнетать мысль, что партия пластиковых бомб, спрятанных где-то здесь, в этом проклятом городе, до сих не обнаружена и не схвачены террористы, устроившие взрывы в отеле и в кинотеатре.

Он снова лег. Его мозг превратился в экран телевизора, на котором мелькали кадры сумасбродного фильма, смонтированного из кусков самых разных картин — драм, комедий, кинохроники. Все было бессвязно, безумно, нелепо, но выключить телевизор он был не в состоянии... Сумасшествие, подумал он, по-видимому, сводится к постоянному смятению, к возбуждению, возведенным в высшую степень.

Он зажег лампочку у изголовья и посмотрел на ручные часы. Без четверти десять. Если он не заснет и на этот раз, голова разорвется, как граната. С чем бы это сравнить? Он был не в состоянии сосредоточиться, мысли разлетались во все стороны шрапнелью, вместе с мусором, накопившимся в памяти. Вот если бы его почтенный отец мог увидеть все это! Если бы сцены прошлого, его самые затаенные чувства и мысли могли обрести зримость, а старик сидел бы вот тут в углу в кресле и наблюдал бы, разинув рот, атомизацию его мозга — он, наверно, тотчас же скончался бы от горя при виде мерзостей противозакония и грехов, что таились в сознании и в подсознании его единственного сына... В различных эпизодах отец увидел бы образ, который сын много раз прогонял, но который настойчиво возникал у него в воображении, иногда туманный, иногда более четкий: отец мертвый лежит в гробу, на груди у него распятие... Менялся вид гроба, обстановка, причина смерти, но покойник был всегда одинаков — все то же лицо воскового цвета, торжественное и надменное даже после смерти... Сколько раз перед ним появлялся под самыми различными масками этот образ мертвого отца!

Полковник снова закрыл глаза и попробовал думать о любимой женщине. Что она делает сейчас? Возможно, изнывает от наслаждения в объятиях другого мужчины... Мысль эта была ему неприятна, но осуждать любовницу он не мог. Ведь они расстались, не обменявшись клят-

вами во взаимной верности. Он только намекнул ей, что, может быть, не вернется — будет убит в бою. А если и вернется, то все к той же неразрешимой семейной дилемме.

Странно, что человек, способный мужественно, с открытой грудью встретить врага, вооруженного автоматом, в то же время остается трусом, не смеющим прорвать бумажные и словесные решетки своей социальной тюрьмы... И подло примиряется с ними, чтобы и дальше играть прежнюю незавидную роль в пошлой комедии, скрывая свое полученное от природы лицо под привычными личинами. Но каково это подлинное его лицо, с которым в один прекрасный день он должен будет предстать перед богом? Только действительно ли он верит в бога? Страшный суд или бог — не всего ли навсего одна из выдумок его преосвященства господина епископа, его отца?

Полковник перевернулся на другой бок и увидел на ночном столике около лампочки письмо жены, полученное два дня назад, которое у него до сих пор не хватило духа распечатать. Он ненавидел этот четкий почерк, этот стиль письма (у всех женщин, кончавших тот же колледж, что и его жена, был совершенно одинаковый почерк), эти мелкие домашние происшествия, которые она описывала с раздражающей обстоятельностью (хождения за покупками, благотворительные чаепития, пересказ содержания фильмов). Но особенно неприятна была ему неизменная формула в конце письма — она его нежно целует.

Он снова вообразил длинную ленту асфальта, разделенную посередине белой полоской. Потом начал сочинять в уме письмо дочери: «Девочка моя! Вот я тут, у себя в номере, мучаюсь от бессонницы и думаю о тебе. На улице жарища, как в геенне огненной, так выразился бы твой дед. Издалека доносится грохот орудий. Не беспокойся, это просто наши солдаты палят по противнику-призраку. Сегодня у меня выдался очень тяжелый день и я смертельно устал, но несмотря на это никак не могу уснуть... Если бы ты была со мной, любовь моя... (Теперь письмо адресовалось уже любовнице.) Бывают минуты, когда мне так остро тебя недостает, что я очень страдаю. Временами мне кажется, что люди всех наций земли обезумели, однако я считаю, что наш долг — сохранить здравый рассудок, чтобы восстановить порядок в мире и не допустить окончательного воцарения хаоса... Знаешь, какая странная вещь? Однажды в самый разгар сражения — поверишь ли — я подумал о тебе. Невидимые партизаны, забравшись на деревья, начали в нас стрелять и убили моего солдата. Очередью из автомата я срезал одного из этих стрелков... Не пугайся, деточка (он опять писал дочери),— это единственный человек, которого я убил в этой войне своими руками. Он упал с дерева, как гнилой плод. (Два последних слова он мысленно смягчил.) Мальчишка лет семнадцати, не больше. Почти твой ровесник! Вот тут-то я невольно вспомнил тебя, и мне стало страшно. Он был худ, в лохмотьях, на ногах нечто вроде сандалий из кусков старых автомобильных камер... Не мы затеяли эту ужасную войну, но мы должны воевать в полную силу и обязательно победить. Ведь мы — обладатели всего самого лучшего в мире. И я всегда молю бога быть нам заступником и опорой, дабы мы могли использовать наше могущество и наше богатство не только ради собственной пользы, но также ради счастья и благополучия всего рода человеческого. Я знаю, что повсюду в мире нас осуждают. Называют империалистами, колонизаторами, угнетателями. В нашей собственной стране кроме огромной массы равнодушных, ничем не интересующихся людей есть и «ястребы», которые одобряют применение нашей военной мощи для сдерживания коммунистической экспансии в Азии и в остальном мире, но есть и «голуби», которые — сознательно или бессознательно — служат интересам международного

коммунизма, не отдавая себе отчета, что в тот день когда мир будет коммунизирован, первыми жертвами окажутся они же, эти самые «голуби». Дочурка моя, при одной мысли, что тебе когда-нибудь придется жить в условиях тоталитарного режима, меня охватывает неописуемый ужас. Наши храбрые солдаты и твой родной отец находятся здесь, сражаясь за то, чтобы ты и твои дети могли наслаждаться долгим и нерушимым миром, справедливостью и свободой; могли бы жить в обществе, где каждый волен выбирать себе религию, книги, которые он хочет читать, и профессию, к которой чувствует призвание... в обществе, где каждый говорит то, что думает, без опасения быть посаженным в тюрьму или отправленным в ссылку. Помни только об одном: здесь мы переносим страдания, рискуем своей жизнью и даже лишаемся ее во имя нашей демократии!..»

Он резко приподнялся на кровати, открыл склянку со снотворным, вынул таблетку, положил в рот и, перед тем как проглотить, разжевал ее. Таблетка оказалась горькой. Канонада на мгновение затихла.

Он снова лег и вновь принялся за воображаемое письмо, опять обращаясь к любовнице: «Как я уже упомянул, в разгар боя я подумал о тебе. Когда я подошел к убитому мною коммунисту, он лежал на спине под деревом. Его глаза, черные, как твои, были широко раскрыты и неподвижны... И, как ни невероятно, в эту минуту передо мной возник твой образ. Почему? Наверно, причиной была его поза: убитый лежал на траве; его волосы были скрыты ее стеблями, ноги слегка раскинуты. Я вспомнил тот наш вечер в лесу (помнишь?), когда мы лежали в траве под буком и ты боялась, как бы кто-нибудь нас не увидел. Припоминаешь? А на нас с любопытством смотрела белка, притаившись на ветке, и ты засмеялась... Дочурка, помолись за меня, попроси бога, чтобы он простил прегрешения твоего отца и твои собственные, а главное — верь моей любви...»

На том же этаже в шестьсот первом номере майор, сидя за столом, писал письмо своей бывшей жене. «Милая, хотя я и знаю, что ты из упрямства не будешь отвечать на мои письма, тем не менее снова пишу, так как моя любовь к тебе и к нашим детям сильнее, значительно сильнее моего самолюбия. Меня могут убить в любой момент. Пожалуйста, пойми меня правильно. Я отнюдь не собираюсь таким способом играть на твоих чувствах и даже не прошу сострадания, вовсе нет! Ты меня знаешь. Я способен быть кем угодно, но только не трагиком. Трагедия — не для толстяков. Наш удел — фарс. Но все заключается в том, что наша страна по горло завязла в самой сюрреалистской из войн. На прошлой неделе убили одного из моих лучших сержантов: он проезжал на джипе по дороге, и вот надо же, шальная пуля, вылетевшая неизвестно откуда, попала ему в голову. Все произошло настолько беззвучно, что шофер только через несколько минут заметил, что везет труп. Он подумал, что его спутник уснул (мы здесь спим, когда удается...). Так вот, завтра может настать и мой черед, худой я или толстый, трагик или комик. Нет ничего невозможного и в том, что, последовав примеру здешних священнослужителей в одеяниях тыквенного цвета, я вылью на себя банку бензина (можешь быть уверена, что я, как истый патриот, воспользуюсь хорошо очищенным бензином, добытым из священных недр нашего родного штата, из скважин, которые приносят твоему отцу столь солидные дивиденды), щелкну зажигалкой (тоже нашего национального производства) и — черт побери! — превращусь в то, что поэты именуют огнедышащим вулканом. Я убежден, что из меня получится отличный факел, так как жира во мне более чем достаточно. Так и вижу, как мое бедное тело обугливается посреди одной

из этих улиц под равнодушными взглядами туземцев. (Будь добра, в этом случае вместе с другими моими вещами востребуй и мои золотые зубы.) Но говоря серьезно, на этой войне со мной действительно может произойти что-нибудь ужасное, не исключая даже и того, что я вернусь с нее целым и невредимым. Послушай. Я тебя люблю. Иногда я боюсь возненавидеть собственную мать (я должен был написать — «святую мать», но не могу, это было бы иронией) за все то, что она сделала, чтобы нас разлучить. И еще одно: не буду отрицать, что иногда провожу время в постели с туземными проститутками. Они изящны, как цветы, чистоплотны, любезны и хорошо обучены доставлять удовольствие мужчинам, как штатским, так и военным, как худым, так и толстым. Но дело в том, что по-настоящему я люблю только одну тебя. Я был бы рад, если бы ты не была столь робка и написала мне пару строк, подав хотя бы надежду, что в один прекрасный день мы, возможно, сумеем снова жить вместе, с нашими детьми. Не наказывай меня за преступление, которого я не совершал. Конечно, я не считаю себя ни в чем не виноватым. В наши дни невинных нет — даже если исключить первородный грех, этот образ, неизменно производящий большой литературный эффект».

Майор прислушался к далекому глухому грому канонады. Затем набил трубку, закурил и в течение нескольких секунд задумчиво пускал клубы дыма, поглядывая на стоявший перед ним портрет жены и двух детей. Потом продолжил письмо: «Сегодня у меня был ужасный день. Мы вели поиски партии пластиковых бомб, которая недавно была тайно доставлена в город, и пытались найти террористов, подложивших бомбы в отеле и в кинотеатре — в результате этих взрывов погибло много людей. Я умираю от усталости, но все-таки не захотел ложиться, не поговорив немножко с тобой. Мне нужно выспаться, чтобы завтра выдержать еще один трудный день. А хуже всего то, что меня могут разбудить посреди ночи, так как где-то взорвется новая бомба или будет задержан какой-то подозрительный субъект... У нас сегодня стояла такая ужасная жара, что казалось, будто город погружен в огромный котел, наполненный расплавленным свинцом. У меня в номере имеется штуковина для кондиционирования воздуха, и она обеспечивает слабую пародию на весну. Это лучше, чем ничего. Мне очень грустно, моя дорогая. Не смейся надо мной. Я пишу тебе только чистую правду. Одиночество тяготит мне душу. Или желудок? Иногда я забавляюсь тем, что слушаю, как урчит у меня в животе,— эти мотивы несколько более мелодичны, чем музыка туземцев. Но переменим тему: каждое воскресенье хожу в церковь и молюсь со всем рвением, на какое только способен при подобной жаре. Здешний священник — плохой проповедник, но добрая душа. Он нравится мне больше, чем наш капеллан, невероятнейший формалист. Я рассказываю доброму старичку мои прегрешения, от чего он скоро устает и дает мне отпущение так быстро, что у меня возникает легкое недоверие. На днях я размышлял о католицизме — это упругая религия, своего рода духовная нуга,— как бы мы от нее ни отходили, глядь — а она нас уже опять затянула и поглотила. Причем нас всегда встречают упитанным тельцом и с ярмом, совсем как в евангельской притче. Мой почерк по мере того, как я пишу это письмо, ухудшается, и я не уверен, что ты все разберешь... Впрочем, это не имеет значения, так как все равно письмо никогда не попадет в твои руки! Таким образом я могу излить тебе свою душу и свое чрево в этой своеобразной исповеди невидимой священнослужительнице, аминь, аминь, аминь...»

Майор перечел письмо, судорожно, хрипло засмеялся и порвал его в клочья. Он пошел в ванную, слыша сохранившийся в памяти голос

матери, видя перед собой ее образ, и решил, что жена должна была возненавидеть его потому, что он так похож на старуху. Вот где корень зла! Открыв склянку, он достал из нее большую содовую таблетку, бросил в стакан с водой и подождал, чтобы таблетка растворилась. Затем он выпил стакан до дна и вернулся в спальню. Хотел было помолиться. Нет! Напрасная трата времени! Богу и без того известно, что он ему скажет и о чем попросит. Если бы не было известно, то бог не был бы богом. А если бы бог не был богом, то ничто в мире не имело бы смысла.

Он растянулся на кровати и погасил лампочку на ночном столике, затем с закрытыми глазами стал слушать жужжание кондиционера, канонаду и протяжные жалобные стоны в собственном животе, напоминавшие ему сирену пожарных машин его детства, мчавшихся на полной скорости к месту пожара. Где? Где? И тут он вскочил на подножку одной из машин и помчался красными зигзагами по переулкам и улицам прошлого в темные лабиринты сна.

С детства лейтенант мечтал стать капитаном речного парохода. И вот теперь он стоит на мостике, гордясь своей формой, но в то же время его томит непонятный страх... Нелегко вести пароход по темной реке в непроглядную ночь так, чтобы не столкнуться с другими судами или не сесть на мель... Он напряженно застыл, вглядываясь в темноту, а до него смутно доносятся голоса и смех пассажиров, развлекающихся в салоне... Накрашенные проститутки, шулера, как в старых романах... Накрахмаленные манишки и кружевные манжеты, крапленая карта, спрятанная в рукаве сюртука... маленький револьвер с перламутровой рукояткой... Пианола играет без остановки... Непристойно взвизгивают женщины... Темная огромная река, и страх, и подозрение, что море недалеко и все они в этом море погибнут... Он знал, что приходский священник разыскивает его по всему судну, хочет отвести обратно в воскресную школу, так как мальчику нельзя оставаться в этом притоне безнравственности, пропахшем спиртом, табаком и женщинами... Какая жара! Колеса парохода — это и колеса мельницы из сказки, которую он почти забыл... И он старался разглядеть карту и смотрел на компас, но не сумел ничего разобрать: все кругом окутано густым туманом... впрочем, было не так уж темно, чтобы он не мог различить силуэт человека у руля... Он попробовал сделать шаг, хотел спуститься в салон, но не смог шевельнуться, был парализован, бессилен, и тут вдруг вспомнил, что его собственная мать развлекается там внизу, лицо у нее накрашено, как и у остальных женщин, и она расхаживает от стола к столу — пианола! пианола! пианола! — предлагая свои поцелуи игрокам, которые платят ей за это и награждают шлепками по заду, и вот сейчас он заметил, что все шулера — негры... или их кожа кажется темной из-за тусклого света? Если бы сдвинуть один из этих рычагов... передать команду в машинное отделение, чтобы пароход остановился... Взял он курс на сушу и плыл сейчас по сухой реке, по неровным камням мостовой... мимо домов, высящихся по обеим сторонам,— вертятся колеса, звучит пианола! пианола! — а он опасается, что борта его парохода разрушат жалкие домишки бедных плотников... Но вот они снова идут полным ходом по реке, и вдруг он со страхом обнаруживает, что у руля стоит разложившийся труп его отца... Господи! Трупный смрад заразит весь корабль, шокирует пассажиров и на борту произойдет мятеж, и капитан будет повешен, ибо все узнают, что пароходом управляет труп, и он ведет всех их к морю, к смерти, в ад... Но как объяснить, что его отец находится в то же время и в трюме, распиливая и строгая доски, чтобы сделать из них гробы для всех, кто находится на борту, и для него самого? Он хотел убежать с капитанского мостика, но какая-то жен-

щина — мать, учительница? — хлопала его легонько по лицу, хлопала по лицу...

Лейтенант проснулся. К. трогала его за щеку тонкими пальчиками. Она была уже совершенно одета и шептала ему:

— Время! Время!

Он поднялся оглушенный и, как лунатик, стал собирать свою одежду. Потом прошел в ванную, поглядел в зеркало над умывальником, стараясь узнать самого себя, открыл кран и, набрав в пригоршни воды, смочил волосы, щеки, шею. Он начал торопливо вытираться полотенцем, а в его памяти скрещивались расплывающиеся и ускользающие образы сна — пароход, большая река его детства, улицы, лицо матери... или учительницы?

Он услышал голос К.

— Время! Время! Время!

Стеклянный звон сигнала тревоги. Он кончил одеваться, подошел к ней, обнял, поцеловал в щеки, в глаза, в губы, шепча между поцелуями нежные слова, не думая о том, что она их не понимает. Потом открыл сумочку девушки и сунул в нее несколько зеленоватых банкнот своей страны, говоря:

— Это тебе, слышишь? Тебе! Не для того человека!

К. кивнула несколько раз, показывая, что поняла. Ее глаза заволок (ему хотелось в это верить) туман грусти. Она подняла руку, показала кольцо и прошептала:

— Большое спасибо.

В дверь постучали. Лейтенант пошел открыть. Это была мадам, которая объявила:

— Простите, господин офицер, но ваше время кончилось.

— Я покупаю еще час! — воскликнул он, нетерпеливым жестом сунув руку в карман брюк.

Старуха покачала головой.

— Весьма сожалею. Но у девочки свидание с другим клиентом. Он уже там, внизу, ждет ее с нетерпением. Этот клиент весьма...

— Я не хочу знать, кто он! — оборвал ее лейтенант с негодованием.— Хорошо. Я прошу только полминуты. Можете идти!

Он захлопнул дверь перед самым носом сводницы. Повернулся к К., и, когда увидел, что она стоит посреди комнаты покорная и беспомощная, как вещь, как безвольное существо, ему стало так жаль ее, что на его глазах навернулись слезы, на этот раз — настоящие.

Он долго обнимал ее в трепетном молчании. Потом он выпустил ее из объятий, повернулся и, словно бы убегая от кого-то или от чего-то, бросился к двери, распахнул ее, стремительно спустился по лестнице, быстро, ни на кого не глядя, прошел через зал кафе и оказался на тротуаре. Высоко в небе сияла луна, ожидавшая его, как ангел-хранитель; она утратила свой желтоватый оттенок и теперь походила на диск светящегося льда. Лейтенант пересек улицу, с трудом дыша. На противоположном тротуаре он обернулся и взглянул на еще освещенное окно только что покинутой им комнаты, надеясь различить силуэт К. Но он никого не увидел, и это еще больше усилило его печаль. Он пошел дальше, к центру площади, думая, как непохоже было это поспешное и прозаическое расставание на то прощание, которое рисовалось его воображению, когда он шел на их последнее свидание.

Лейтенант миновал площадь и уже собирался свернуть на набережную канала, когда внезапно оглушительный взрыв, предшествуемый краткой вспышкой света, разорвал ночь сверху донизу. Лейтенант бросился на землю ничком и остался лежать. (Бомбежка? Пластиковая

бомба?) Его сердце отчаянно колотилось, и он, вонзив ногти в землю, инстинктивно пытался зарыться в нее. Он чувствовал боль и шум в ушах, как будто от грохота у него лопнули барабанные перепонки. На какой-то миг он утратил способность мыслить. Он не знал, сколько минут пролежал, распростертый на газоне, кусая пучки травы, набившейся ему в рот. Словно само время было разнесено вдребезги ужасным взрывом. И в пустой тишине, которая воцарилась в ночи, он скорее ощущал, чем слышал, глухое биение своей взбудораженной крови. Мало-помалу он приподнялся, потом встал на колени, поматывая головой, и наконец поднялся на ноги. Обернувшись, он увидел, что кафе «Каравелла» охвачено огнем. И только тогда он понял, что произошло. Он подумал о К. и кинулся назад, к горящему зданию. Он уже был на тротуаре напротив кафе, когда кто-то крепко схватил его за руку. Солдат военной полиции. Солдат что-то говорил, но он ничего не понимал. Солдат оттеснил его назад, заставив сесть на скамейку. (Спокойно, лейтенант! Спокойно!) На багровом фоне пожара мелькали человеческие силуэты. У тротуара перед кафе остановился джип, и из него выскочило пятеро солдат с белыми дубинками. Лейтенант увидел, как они натянули веревку, отгораживая широкое пространство перед зданием, и услышал вдалеке завывание сирены. Через несколько минут примчалась первая пожарная машина, за нею — машина «скорой помощи».

Он смотрел на пылающий дом и с тоской думал о К. Со всех сторон сбегались любопытные. В домах вокруг площади засветились окна.

Пожарные лихорадочно работали, стараясь потушить огонь и не допустить, чтобы загорелись соседние дома. Лейтенант слышал приглушенные голоса и треск пламени. Внезапно снова раздался грохот. Это обрушился верхний этаж кафе. Лейтенант уперся локтями в колени, закрыл лицо руками и зарыдал.

Примерно через час пожарные вытащили из развалин кафе несколько тел. Тех, кто еще подавал признаки жизни, санитарная машина отвезла в госпиталь. Трупы же положили на асфальт мостовой. Собрав все силы, лейтенант подошел к одному из солдат военной полиции, назвал себя, прошел через оцепление и стал бродить наугад между телами. Почти все они были страшно изуродованы и обожжены, а некоторые совсем обуглились. Под подошвами его ботинок хрустели осколки стекла. Он почувствовал под ногой что-то мягкое и вздрогнул от ужаса, увидев, что наступил на человеческую руку, оторванную от тела. Над намокшей золой поднимался пар, смешиваясь с запахом горелого мяса и материи.

Лейтенант замер на месте, внезапно забыв, что он ищет и почему находится тут, возле этих мертвецов, среди пожарных и санитаров Красного Креста. Он слышал негромкие голоса, краткие распоряжения. «Сержант, сюда, скорей! Этот еще жив!». «Принесите носилки!» «Плазму, быстро!» Он увидел, как поднимали тело и вносили в санитарную машину, которая сразу же срывалась и неслась по улице на полной скорости под завывание сирены.

«Господи, почему я здесь?» Он поднес руку к влажному, горячему лбу. Кто-то из солдат направил на него луч своего электрического фонарика.

— Вам нехорошо, лейтенант?

Он поднял руку, замахал, словно отгоняя свет, и пробормотал:

— Нет, ничего, ничего.

Солдат отошел, а лейтенант еще несколько минут ошеломленно стоял там же. И вдруг, закрыв глаза, он явственно увидел фигуру студентки, которая утром погибла в пламени... Ах, да! К.! Он

огляделся. На асфальте лежало еще четыре-пять трупов. Он осмотрел их один за другим. Потом заметил около канавы тело женщины. Оно обгорело, но грудь и голова почти не были тронуты огнем. Лейтенант опустился возле на колени. Он узнал лицо К. Ее глаза были широко открыты. Он закрыл их дрожащими пальцами. Потом взял ее за руку и увидел на пальце кольцо с бирюзой. Он затрясся от беззвучных рыданий. Кто-то тронул его за плечо. Он услышал голос:

— Вы знаете эту девушку?

Он на мгновение заколебался:

— Н-нет.

— Вы уверены? Нам нужно опознать все тела.

— Не знаю... — пробормотал лейтенант, едва справившись с дрожью в голосе.

— А кого же вы тогда ищете?

— Одного человека...

— Мужчину или женщину?

— Мужчину.

— Как его зовут?

— Не помню...

Короткое молчание. Потом тот же голос сказал громче:

— Эй, вы там! Заберите этот труп в морг для опознания.

Два человека подняли тело К., словно тряпичную куклу, и бросили, как какую-то вещь — варвары! — в кузов грузовика. Лейтенант следил за красными огоньками задних фонарей удалявшейся машины, пока они не скрылись из вида. Потом выпрямился и пошел к центру площади, полностью утратив способность мыслить. Он бросился на траву и остался лежать на спине, глядя на луну, все еще задыхаясь, чувствуя, что по щекам у него текут слезы и пот. Если бы он мог заснуть и забыть все это! Он закрыл глаза. И тотчас увидел мертвое лицо К., лежащей у канавы: страшный ожог на шее, спаленные волосы... Он тщетно пытался стереть и забыть это видение. Когда солдаты подняли тело К. — да, теперь он вспомнил эту жуткую подробность, — ноги девушки, сломанные, сплетшиеся, болтались из стороны в сторону, и казалось, что они вот-вот оторвутся от туловища...

Который сейчас час? (Время! Время! — говорила К., указывая пальцем на свои часики.) Почему он только что от нее отрекся, не сказал, что знает ее? Он предал бедную девочку, как предал отца, мать, жену, сына и самого себя. Он перевернулся и уткнул лицо в траву. Что он все-таки знал о К.? Она была для него всего лишь буквой, знаком. Если будут допрашивать грязного человечишку, который торговал ее телом, тот тоже не признается, что знал ее. И она останется лежать безымянной в холодильнике морга. Бедная К.! Бедная К.!

Он медленно поднялся и несколько секунд не мог решить, что ему делать. Оказавшись под фонарем, поднес циферблат часов к глазам. Он не сразу разобрал положение стрелок. Одиннадцать пятьдесят. Он вспомнил, что с одиннадцати начинается комендантский час. Он огляделся, стараясь сообразить, в каком направлении находится отель. И вспомнил слова ночного портье: «Завтра неблагоприятный день».

Лейтенант снова зашагал по набережной, теперь совершенно безлюдной. Он вспомнил жену и сына, и внезапно ему захотелось оказаться с ними, вернуться домой, забыть навсегда эту страну и эту войну.

На набережной появился автомобиль. Лучи фар задрожали, нерешительные и колеблющиеся, как затравленные зайцы. Несколько секунд спустя джип остановился у тротуара рядом с ним.

Раздался голос:

— Садитесь, лейтенант!

Он послушался. Это была военная машина. Он уселся на заднем сиденье рядом с коренастым человеком, курившим трубку. Это был майор, которого он знал в лицо, хотя ему никогда не приходилось иметь с ним дело. Джип резко рванулся с места.

— Лейтенант, — спросил толстяк, не выпуская трубки изо рта, — вы верите в удачу?

Он не нашелся, что ответить. Но майор и не ждал ответа.

— Это удача, что мы вас нашли, — во всяком случае для нас. Не знаю, как для вас...

— Вы разыскивали меня?

— Вас хочет видеть полковник.

— Зачем?

— Будет лучше, если скажет вам это он сам.

Джип на полной скорости несся по пустынным и тихим улицам. Лейтенант уставился в затылок шофера-негра, рядом с которым сидел белокурый сержант. Оба были в белых фуражках, на левой руке — белая повязка с буквами MP*.

— Неприятный взрыв, не так ли, лейтенант? — сказал майор небрежным тоном.

— Ужасный.

— Вы были неподалеку от кафе, когда оно взлетело на воздух?

— Да. На площади.

— А перед тем были в «Каравелле»?

Лейтенант, поколебавшись, все-таки ответил:

— Да.

— И сколько времени вы там провели?

— Около часа.

Он внезапно насторожился, как животное, почуявшее опасность. Они его в чем-то подозревают? Несомненно. Негр всегда виновен до тех пор, пока не сумеет доказать обратного, что бывает отнюдь не легко. Он ждал, чтобы майор снова заговорил. Но тот продолжал молча курить и искоса поглядывал на своего соседа. Он был знаком с его анкетой. Великолепный экземпляр полукровки. В нем есть что-то кошачье. Наверно, пользуется успехом у женщин. Многие белые женщины моей страны охотно легли бы с ним в постель, но они предпочтут скорее умереть, чем признаться в этом. Красивое лицо! Эти темные глаза куда более выразительны, чем, например, светлые и жесткие глаза полковника или этих прославленных северных богов двухметрового роста и с бицепсами борцов. (Он улыбнулся собственным мыслям.) Правительству следовало бы допускать и даже поощрять известную долю смешанных браков в стране, чтобы нарушить однообразие так называемой белой расы, педантичной, вправленной в жесткие рамки предрассудков, — ее представители изобретают машины, похожие на человеческое тело, лишь бы не пользоваться собственным телом...

Майор протянул руку и тихонько хлопнул лейтенанта по колену:

— Не беспокойтесь, друг мой. Полковник хочет только поручить вам одно задание.

— Но... срок моей службы кончился. Я завтра возвращаюсь домой.

— Официально ваш срок истекает через десять часов и пять минут. Завтра в полдень, даю вам слово, вы будете на борту самолета, который и доставит вас на родину.

Джип остановился около штаба, между входной дверью и окружав-

---

* MP — Military Police — военная полиция *(англ.)*.

шей дом длинной и высокой оградой из колючей проволоки стояли часовые. Майор крикнул одному из них:

— Все в порядке, сержант! Пропустите.

Минуту спустя майор ввел лейтенанта в кабинет коменданта.

— Вот он! — бодро воскликнул майор еще на пороге.

Полковник стоял у письменного стола. Лейтенант вытянулся и отдал ему честь. Тот ограничился тем, что устремил на него тусклый и суровый взгляд. Потом повернулся к майору:

— Я хочу переговорить с лейтенантом наедине.

Майор вышел, закрыв за собою дверь. Полковник принялся расхаживать по комнате, заложив руки за спину и рассеянно опустив голову, словно забыв о присутствии другого офицера.

«Не предложил даже сесть,— подумал лейтенант,— а я едва держусь на ногах... Но что ему от меня нужно? Почему он молчит? К чему вся эта комедия?»

Полковник в свою очередь искоса наблюдал за ним. Он с трудом различал черты его лица, так ему хотелось спать. Он не успел подремать и полчаса... Его разбудили из-за этого проклятого взрыва. Он знал, что в жилах этого человека течет негритянская кровь: половина на половину. Его лицо, однако, не показалось ему неприятным. Он подошел к столу и порылся в бумагах.

— Чувствуйте себя свободно, лейтенант. У меня здесь ваш послужной список... Ваша работа, я вижу, получила довольно высокую оценку... Но я вас вызвал не для того, чтобы похвалить, а для того, чтобы дать вам одно важное поручение.

Он снова замолчал. Лейтенант с тревогой ждал, чувствуя, что в горле у него пересохло.

— Вы должны знать, что кафе «Каравелла» взлетело на воздух менее двух часов назад...

— Да, полковник.

— Есть у вас подозрение, кто подложил бомбу?

— Нет, полковник.

— Так вот, нам это известно.

Пот заливал лейтенанту глаза, и теперь он видел собеседника сквозь пелену влаги. И молча ждал, что скажет полковник.

— Через двадцать минут после взрыва наша полиция схватила двух террористов в тот момент, когда они закладывали бомбу внутри пагоды. Оба бросились бежать, и наши люди открыли по ним огонь и ранили обоих. Один был ранен смертельно и во время допроса с гордостью заявил, что взрыв в кафе устроили они с товарищем. Его откровенность объяснялась тем, что он видел, как его приятель упал в нескольких шагах от него, и полагал, что тот убит. Зная, что его рана смертельна, он счел возможным сказать правду.

Полковник замолчал и поднес руку ко рту, скрывая зевок.

— Теперь самое главное, лейтенант. Этот террорист добровольно признался, что они с товарищем спрятали еще одну адскую машину в каком-то здании и она должна взорваться через пять часов! А когда один из наших офицеров спросил его «где?», бандит торжествующе улыбнулся и ничего не сказал.

Полковник подошел к окну, рассчитывая, что там будет легче дышать,— ночь была тихой и мучительно душной. Снова взглянув на лейтенанта, он добавил:

— Этот человек умер несколько минут спустя. Но его приятель был ранен легко в ногу и сейчас находится в нашем госпитале.

— Понимаю, полковник.

— Так вот. Через несколько минут пленный будет в вашем распоряжении в подвале этого здания...

— В моем распоряжении? — повторил лейтенант, не желая понимать намек полковника.

Тот взглянул на свои часы. Затем снова уставился на лейтенанта.

— Я поручаю вам допросить раненого и узнать, где спрятана адская машина.

— Почему вы поручаете это именно мне? — спросил лейтенант.

— Обязан ли я обосновывать приказания, которые отдаю своим подчиненным?

— Нет, полковник.

— Конечно. Но вам я все же объясню. Почти все офицеры вашей части, как вам известно, находятся сейчас вне города, выполняя специальные задания в разных населенных пунктах этого района... А мы не можем терять времени. Если сегодня ночью взорвется еще одна бомба, нашему престижу будет нанесен страшный удар, так как народ станет считать наших врагов вездесущими и всемогущими, а нас — просто-напросто... бессильными.

Лейтенант растерянно смотрел в окно. Луна, как перезрелый плод, повисла на ветке дерева в саду. Вдали снова грохотала канонада.

— Я не слишком верю методам, которые применяете вы, психологи. И не питаю особого доверия к эффективности электронно-вычислительных машин, которые истолковывают ответы допрашиваемых военнопленных. Но в любом случае сейчас у нас нет времени прибегать к машинам. Все зависит только от вас. Но учтите одно: если вы потерпите неудачу, если за три часа — слышите, максимум за т р и ч а с а — вы не сумеете вырвать у пленного признание, вы будете повинны в смерти и увечьях десятков, а возможно, и сотен ни в чем не повинных людей — детей, женщин, стариков...

Лейтенант был оглушен. Все это походило на кошмар.

— Три часа...— пробормотал он.

— Напомню вам, что, согласно признанию умершего террориста, вторая бомба должна взорваться в четыре часа утра. Нам нужно точно узнать ее местонахождение за час до этого срока. По меньшей мере...

— Но, полковник, вы же знаете, что люди этого типа, как правило, ничего не говорят.

— Заставьте своего пленного заговорить.

— Но он, наверно, фанатик!

— Будьте также фанатиком.

Лейтенант почувствовал, что он загнан в ловушку.

— Хорошо... сначала я использую все методы убеждения. Если они не дадут результата, то прибегну к «сыворотке истины».

Полковник покачал головой.

— Не думаю, чтобы это дало положительные результаты. Мне известны некоторые случаи... Пленный только отупеет и начнет молоть вздор.

— Но тогда... какие же другие средства мне остаются?

— Вы сами их определите в ходе допроса. Важно одно: узнать, где находится вторая бомба. Подумайте о жизнях, которые она погубит, если вам не удастся добиться успеха.

Страшная мысль пронзила мозг лейтенанта.

— Вы считаете, полковник, что я должен руководствоваться принципом — цель оправдывает средства?

— Это философская проблема. К данному случаю она не имеет никакого отношения.

— Скорее это этическая проблема.

— А данная война вам представляется этичной? Этично подкладывать бомбы в церкви, отели, кинотеатры, колледжи? Отвечайте!

— Конечно нет...

Лейтенант почувствовал шум в ушах, словно он внезапно очутился на большой высоте.

— В каких пределах я должен соблюдать международные законы, защищающие права военнопленных? — спросил он, едва слыша собственный голос.

— Кто вам сказал, что в данном случае речь идет о военнопленном? Этот человек — террорист, убийца. Он — соучастник убийства десятков человек, погибших в кафе «Каравелла». Любой суд присяжных в нашей стране приговорил бы этого преступника к электрическому стулу.

— Но как бы то ни было, его сначала судили бы, он имел бы право на защиту.

— Смешно! Ведь речь идет не о том, чтобы выяснить, виновен он или нет. Только что мне позвонили из госпиталя, доложили: пленный на предварительном допросе повторил, что взрыв в «Каравелле» устроил он, и подтвердил существование второй бомбы, но отказался сказать, где она находится.

— Следовательно, я могу истолковать ваши слова так, что, если обычные методы допроса не дадут результата, я уполномочен применить...— он замолчал, не решившись произнести зловещее слово.

— Лейтенант, наша армия в принципе не применяет пыток. Но лично я, учтите, как человек, а не как солдат, не поколебался бы вырвать внутренности у этого бандита, если бы это оказалось необходимым для того, чтобы добиться признания, которое нам надо получить как можно скорее. Вспомните, что вы не профессиональный солдат и через несколько дней, вернее, через несколько часов будете окончательно уволены из нашей армии. Подумайте хорошенько об этом и не забывайте, что жизнь многих людей, которые сейчас мирно спят, ценнее в глазах бога и людей, чем хорошее самочувствие, благополучие и даже так называемые «права» преступника. Речь идет не об этике, а о простой арифметике...

— Да, но...

— Что еще, лейтенант?

— Я до сих пор все же не знаю, в каких границах могу...

— Руководствуйтесь собственными критериями.

— Я еще солдат. Я выполняю приказания начальства.

— Ну, хорошо. Я повторяю свое приказание. Узнайте максимум через два часа, где находится вторая бомба.

— Через два или через три?

— Я передумал. Через д в а!

Лейтенант понял, что полковник готовит ему западню. Он даже вспотел. Ему было трудно дышать, все тело болело, шум в ушах не прекращался. Он глядел на полковника, как загипнотизированный.

— Майор лично руководит поисками по всему городу. Более пятисот наших людей пытаются обнаружить местонахождение второй бомбы. Их удача будет и вашей, лейтенант, потому что, если они найдут то, что ищут, в течение ближайших двух часов, вы будете свободны от вашего задания...— он поколебался долю секунды и добавил: — Конечно, задания не из приятных.

Зазвонил телефон. Лейтенант вздрогнул. Полковник быстро взял трубку и поднес к уху.

— Да... Полковник слушает... Что? А! Хорошо. Лейтенант спустится через минуту.— Он повесил трубку.— Лейтенант, пленный ожидает

вас в одной из камер в подвале. Майор проводит вас туда. Запомните, что я вам скажу. Этот допрос будет произведен в строжайшей тайне. Надеюсь, никто из местных властей и, в особенности, ни один военный корреспондент, наш или иностранный, не пронюхает о том, что произойдет в подвале этого здания.

— Слушаюсь, полковник.

— Значит, все ясно. Для этого допроса в ваше распоряжение поступают наш лучший переводчик и сержант, который дома служил в полиции и имеет практику... в этом... в этих вещах. Два часа, не забудьте, два часа. А теперь можете идти.

Лейтенант вытянулся, отдал честь и направился к двери. Он уже взялся за ручку, когда вновь услышал голос своего начальника:

— Помните, меня интересуют только результаты, а не методы, лейтенант. Если вы добьетесь того, что нам надо, обещаю не расспрашивать о методах.

После того как лейтенант вышел, полковник уставился на дверь, испытывая раздражение, не то неловкость от всего, что он только что сказал и сделал. Он тяжело опустился на диван, закрыл глаза и через несколько секунд погрузился в глубокий сон.

В коридоре лейтенанта ждал майор.

— Вашего человека только что привезли,— сообщил майор.— Вы уже получили от полковника приказания, не так ли?

Лейтенант кивнул.

— Вы знали, чего хочет от меня полковник?

— Разумеется.

— И что вы думаете обо всем этом?

— На вас возложена тяжелая и неблагодарная задача. Вам придется действовать в очень жестких рамках.

— Полковник практически уполномочил меня применить в крайнем случае даже пытки... Но он был осторожен и сделал это неофициально. Если я потерплю неудачу, умрут невинные люди, а на меня падет ответственность за их гибель. Если же я буду пытать пленного, я покрою себя бесчестьем.

Майор улыбнулся:

— Не кажется ли вам, что на данном этапе событий мы все так или иначе уже несколько обесчещены?

— Армия — это своего рода мистическое тело. Я же всего только личность. Через несколько часов я перестаю быть военнослужащим. А кроме того, я навсегда и непоправимо — негр. Полковник подготовил прекрасное алиби для себя и для армии. Я попал в западню...

— Не будьте таким пессимистом. Возможно, наши солдаты найдут бомбу не позже, чем через полчаса...

— В таком огромном городе?

— В мире все случается — даже хорошее...

Отеческим жестом он взял лейтенанта под локоть и повел его к лестнице.

Теперь они шагали по узкому каменному коридору подвала, освещенному желтоватым светом тусклых и редких электрических лампочек без абажуров, которые через определенные промежутки свисали со сводчатого потолка. У лейтенанта было такое ощущение, что он попал в катакомбы. По обеим сторонам тянулись двери камер, в которых в эпоху последних европейских завоевателей содержались преступники, ожидавшие суда.

Навстречу им вышел офицер. Он нес в руке черный чемоданчик.

Это был капитан медицинской службы — лейтенант за последние пять месяцев не раз встречался с ним в деревнях этой и других провинций. Они были соседями по номерам в «Старом Свете».

— Пленный готов для допроса,— произнес капитан слегка гнусавым голосом.— Пуля попала в левое бедро, он потерял много крови, но рана не тяжелая.

— Сколько ему лет? — поинтересовался лейтенант.

— Девятнадцать.

— Такой молодой?

Майор пожал плечами:

— Иногда у меня создается невеселое впечатление, что мы воюем против армии детей и подростков.

Все трое молча зашагали дальше по коридору к камере, где должен был состояться допрос. Покусывая мундштук погасшей трубки, майор думал о том, что идет сейчас между двумя невротиками — их можно распознать невооруженным глазом. Справа от него беспокойный кентавр, наполовину негр, наполовину белый, вечный пленник своей кожи, и из его поведения нетрудно сделать вывод, что он страстно хотел бы сойти за белого... Слева от него еврей, бледный и взволнованный, как приговоренный к смерти, которого на рассвете тюремщики волокут на электрический стул... Впрочем, внутренние часы этого мятущегося интеллигента, казалось, постоянно отбивают роковой час его собственной жизни.

Они остановились у двери предпоследней камеры.

— Ну, хорошо,— сказал майор,— тут я покидаю вас. Мне надо вернуться к себе в кабинет и ждать там, чем кончатся recherche de la bombe perdue *,— улыбнулся он, глядя на врача, который, по его мнению, мог уловить скрытый каламбур.— Доктор, не удаляйтесь слишком далеко, вы можете тут понадобиться. Пентатол натрия у вас с собой? Отлично. Лейтенант, как только добьетесь признания, немедленно позвоните мне, чтобы наш специальный отряд успел ее обезвредить.— Он взглянул на часы.— Двенадцать тридцать пять. Желаю успеха, ребята!

Майор повернулся и ушел тем же путем. Он не сомневался, что допрос окажется безрезультатным. Пустая формальность! Он знал, какого рода людям противник поручает террористические акты. Врожденным самоубийцам. Он не сомневался, что не пройдет и трех часов, как где-нибудь в городе взорвется еще одна бомба, ранит и искалечит людей, разрушит здания. И она будет не последней. Трагическая пантомима будет продолжаться.

Он подумал о жене и матери и представил их рядом с собой. Не похож ли он на сандвич — толстый кусок уже подпорченной ветчины между двумя ломтями домашнего хлеба?

Лейтенант вошел в камеру. К прежнему запаху сырости и плесени тут прибавилось новое зловоние: запах человеческого пота, смешанный с запахом сигарного дыма.

Пленник сидел на стуле в углу камеры, освещенной так же скудно, как и коридор.

Туземец был таким щуплым и маленьким, что у лейтенанта создалось неприятное впечатление, будто перед ним — пятнадцатилетний мальчик.

— Это и есть террорист? — спросил он у стоящего посреди камеры

* Поиски утраченной бомбы *(франц.)*; перефразировка названия романа французского писателя Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» («A la recherche du temps perdu»).

могучего детины, физиономию которого еще не успел разглядеть. Хрипловатый голос ответил с типичной южной ленивой оттяжкой:

— Так же точно, как дважды два четыре.

— Но ведь он еще совсем ребенок!

— Не заблуждайтесь. Эти ребятишки — как скорпионы: маленькие, но ядовитые. Вот погодите, сами убедитесь.

Лейтенант подошел к юноше и принялся рассматривать его, испытывая стеснение, которое его совершенно обезоруживало. Пленник был бос и обнажен до пояса. На нем остались только испачканные брюки серовато-черного цвета. Их левая штанина была сверху разрезана. Левая ляжка была забинтована. Покрытые синяками руки были такими же худыми, как и ноги. Под лимонно-желтой кожей, блестевшей от пота, четко выступали ребра и лопатки. Следы сажи чернели на щеках, как неразборчивые письмена. Лейтенант продолжал рассматривать пленника с завороженным интересом, который сам не сумел бы себе объяснить. На горле юноши подергивалась сонная артерия. (В его памяти всплыл образ из его университетских лет. Профессор на лекции объясняет: «Синестезия — это специальный термин, обозначающий нашу физическую чувственность, то есть совокупность ощущений, исходящих от наших мышц, кишечника, суставов, сухожилий и других частей нашего тела».)

Он почти видел, как бьется сердце пленника. Он избегал смотреть в глаза юноше. Но на какой-то миг взаимного узнавания их взгляды встретились, и лейтенант, смутившись, увидел свое отражение в зрачках К., которые смотрели на него с лица маленького партизана. К. и ее убийца были похожи — не столько чертами лица, сколько всем обликом. Это было своего рода фамильное сходство.

Пленник слегка улыбнулся, и лейтенант смутился еще больше. Это была не высокомерная улыбка вызова или презрения и даже не гримаса безразличия — в этом еле заметном движении губ было что-то трогательное. Зашифрованная весть? Знак, что он инстинктивно узнал в смуглом иностранном солдате тайного союзника? Мог ли туземец сразу интуитивно почувствовать его расовую принадлежность? Или это всего лишь неуверенная детская улыбка, смесь обморочного страха, робкой надежды и чуть ли не раскаяния, с которым ученик, только что набедокуривший в классе, прикидывает, нельзя ли смягчить учителя, который намерен его наказать? И террорист действительно похож на мальчишку, поставленного в наказание в угол перед всем классом?

— Мы теряем время. Двенадцать сорок пять!

Лейтенант повернулся к тому, кто сказал это. Сержант был почти двухметрового роста и атлетически сложен. Его голова была обрита наголо. От него разило потом.

Только сейчас лейтенант заметил, что позади него стоит врач, а в углу камеры прислонился к стене еще один человек — бледный, худой, в очках, как и остальные, одетый в военную форму.

На грубо сколоченном столе он увидел выключенную лампу с рефлектором, кувшин с жидкостью медового цвета, в которой плавали кубики льда, магнитофон и пепельницу. В пепельнице лежала недавно потухшая сигара с обкусанным и еще блестящим от слюны концом. Этот стол и пять стульев составляли всю обстановку камеры, стены и пол которой были сложены из тесаного камня. Несомненно, именно здесь, подумал лейтенант, пытали своих пленников те, другие.

Он огляделся, испытывая головокружение, не зная, с чего начинать. Голова у него продолжала глухо болеть. Тщетно поискал глазами окно. Становилось все более жарко и душно. Бледный человек в очках подошел и представился:

— Я переводчик.

Он назвал полностью свое имя, должность и часть, где он служит, а потом спросил:

— Не следовало ли бы посадить пленного ближе к столу?

— Хорошая мысль.

Сержант шагнул к пленнику, схватил стул, на котором тот сидел, поднял его и буквально швырнул на пол около стола. Туземец испустил стон, закусил губу, и его глаза затуманились. Вероятно, он ударился раной о ножку стола, решил лейтенант. Головная боль притупила в нем способность возмущаться.

— Что дальше, лейтенант? — спросил детина.

Его антипатия к сержанту возрастала с каждой минутой. Он повернулся к врачу, словно за помощью, но тот, не взглянув на него, пробормотал:

— Прошу меня извинить. У меня имеются веские причины не любить... э... подобные вещи. Я буду в коридоре, если понадоблюсь.

Лейтенант кивнул. Капитан направился к двери, но, прежде чем выйти, повернулся и сказал так, чтобы все слышали:

— Я хочу еще раз предупредить вас, лейтенант, что у арестованного больное сердце.

Сержант саркастически усмехнулся:

— Вы уверены, что у этого клопа и впрямь есть сердце?

Врач молча повернулся к нему спиной и вышел, ничего больше не сказав.

Они расположились за столом вчетвером, словно для дружеской партии в бридж. Сержант зажег лампу и направил сильный свет на пленника, который, ослепленный, заморгал. Лейтенант налил в стакан холодного чая и жадно выпил его.

— Я считаю это ненужным,— сказал он.— От лампы тут просто станет еще жарче.

— Лейтенант, я не знаю, насколько вы опытны в ведении допросов. Но мы в полиции направляем на таких типов свет еще поярче, чем этот. Уверяю вас, это дает хорошие результаты...

Пленник сидел, полузакрыв глаза. Лейтенант заметил, что артерия у него на шее запульсировала быстрее.

— Можно закурить? — спросил сержант. И, не дожидаясь разрешения, взял в зубы окурок сигары, чиркнул спичкой, закурил, затянулся и выпустил клуб дыма. Пленник с интересом следил за голубыми кольцами, поднимавшимися в спертом воздухе. Переводчик вытащил из кармана сигарету и тоже закурил. Пленник поглядел на него, а затем перевел взгляд на лейтенанта, словно ожидая, что и он последует примеру остальных.

Вокруг стола сидело четыре человека. И лейтенант никак не мог осмыслить, зачем они собрались здесь. Что общего между этими четырьмя людьми, что объединило их, как представителей одного и того же биологического вида? Желание выжить и получить удовольствие от жизни? Страх смерти? Способность любить, ненавидеть... и тосковать? Стремление к власти и самоутверждению? Или любовь к свободе? Но что такое свобода? Кто из них четверых по-настоящему свободен? Возможно, как раз этот желтый, рахитичный, полуголый мальчишка, который, если и не смог выбрать сам свой образ жизни, то во всяком случае оказался достаточно свободен и мужествен, чтобы самому выбрать свою смерть! И, отбрасывая все прочее, не глупо ли, не абсурдно ли было стечение обстоятельств, которое соединило здесь их четверых?

Лейтенанту казалось, будто его голова все больше распухает, болит все сильнее, становится все более похожей на сосуд, полный мно-

жества отголосков. Его глаза перебегали от запястья к запястью, от часов к часам. Двенадцать пятьдесят.

Маленький пленник продолжал улыбаться и наблюдать за этими тремя большими людьми.

— Мы теряем время,— прорычал сержант, крепко прикусив кончик сигары.

Лейтенант повернулся к переводчику:

— Хорошо, начнем допрос.

Он говорил и в то же время видел себя со стороны, словно какого-то чужого человека, в существование которого ему не удавалось полностью поверить.

— Мой план таков: я задам ему ряд вопросов, в том числе несколько ничего не значащих, и внезапно, неожиданно брошу главный вопрос: «Где бомба?»

— Пустая трата времени! — грубо перебил сержант.

Лейтенант посмотрел на него в упор, и у него возникло желание ударить наглеца по физиономии.

— Нет ли у вас, случайно,— спросил он,— волшебного заклинания, которым можно вырвать у этого мальчишки необходимые нам сведения?

Детина прищурился, и его рот скривился в жестокой усмешке.

— Эх, лейтенант! Конечно есть! И это заклинание, насколько я помню, еще ни разу меня не подвело.— Он наклонился к лейтенанту.— После того как ваша «психология» провалится, я применю свой метод. Он прост. И стар, как мир.

Лейтенант посмотрел на переводчика. Он мог бы поклясться, что пот, сбегавший по этому бледному лицу, был ледяным. Перед ним был солдат, выполняющий свой долг, стараясь при этом не запятнать свою душу. Еще один нейтралист.

Сержант ткнул пальцем в пленника, почти его коснувшись.

— Не обманывайтесь его невинным видом. Я хорошо знаю этих бандитов.

Он с ненавистью посмотрел на пленника, который продолжал невозмутимо улыбаться, совсем как каменный сановник на площади у музея. Лейтенант задержал взгляд на бицепсе сержанта, украшенном татуировкой, изображавшей голую женщину с широкими бедрами и пышной грудью.

Пленник положил ладони на край стола. Они были маленькие, ногти — с черной каемкой.

Лейтенант старался вызвать в себе ненависть к пленнику и этим облегчить допрос. Он твердил себе: вот эти с виду невинные руки подложили в кафе «Каравелла» бомбу, убившую К. Он — убийца женщины, которую я любил. Но этого не может быть! Ведь сам пленник в известной мере — тоже К. С другой стороны, разве не имел он права взорвать, растерзать людей, которые продавали и покупали тело его сестры, даже если возмездие не щадило и самой жертвы?

Несколько минут лейтенант и переводчик уговаривались о вопросах, которые надо задать пленнику. Бледный человек делал заметки в блокноте.

Все трое следили за маленьким партизаном, который не сводил глаз с лейтенанта, вопросительно подняв одну бровь. Переводчик включил магнитофон, зажегся зеленый глазок. Он нажал на клавишу, и кассеты начали вращаться. Пленник смотрел на аппарат, который его интересовал и как будто забавлял. Допрос начался.

Он длился несколько минут под аккомпанемент нетерпеливых вздохов сержанта, который, раздевшись до пояса, то и дело вытирая рубаш-

кой потный торс, расхаживал по камере из угла в угол, как зверь в клетке.

— Подтверждает ли пленный, что он подложил бомбу, которая разрушила кафе «Каравелла»?

— Да.

— Помогал ли он подложить вторую бомбу в другой части города?

— Помогал.

— Зачем?

— Получил приказания.

— От кого?

— От руководителя.

— Кто руководитель?

— Не могу сказать.

— Почему?

— Приказ.

— Где вторая бомба?

Улыбка. Молчание. Пленник нерешительно протягивает руку и гладит микрофон кончиками пальцев.

— Как тебя зовут?

— У меня нет имени.

Услышав перевод этой последней фразы, сержант снова рявкнул: «Мы даром теряем время!» Лейтенант смотрел на пленника, как завороженный. Фанатизм этого мальчика, думал он, лишил его даже имени.

— Где ты живешь?

— Там...

— В горах?

— Нет.

— На рисовых полях?

— Нет.

— Где же тогда?

— Где надо.

— Где вторая бомба?

Улыбка и молчание.

— Ты провел последнюю ночь на каком-нибудь сампане?

— Да.

— Где?

— В одном месте на реке.

— Той, которая протекает через город?

— Да.

— Где вторая бомба?

— Не могу сказать.

— Кем был твой убитый товарищ?

— Моим братом.

— Как его звали?

— Не могу сказать.

— Почему?

— Приказ.

— В котором часу взорвется вторая бомба?

— Не знаю.

— Твой брат заявил, что вторая бомба взорвется в четыре утра. Это правда?

— Если он так сказал, значит правда.

— Ты знаешь, что этот взрыв может вызвать смерть десятков невинных людей?

— Знаю.

— И это тебе безразлично?

— Больше половины моих родственников погибло, сгорев заживо в деревне, которую разбомбили самолеты белых людей.

— Ты точно помнишь место, где помогал брату спрятать вторую бомбу?

— Да.

— Где?

— Не могу сказать.

— Ты знаешь, что мы можем передать тебя властям Юга и ты наверняка будешь расстрелян?

— Знаю.

— Ты не боишься умереть?

— Я знал, что умру, когда пошел выполнять задание.

— Где вторая бомба?

— Никогда не скажу.

— А если тебе обещают свободу в обмен на признание?

— Даже и тогда.

Сержант бросился к магнитофону, выключил его и, нагло взглянув на лейтенанта, воскликнул:

— Этот хлюпик — никакой не сверхчеловек. Может, в лучшем случае сверхкрыса! Но я сумею вырвать у него признание за пять минут, не дольше!

Лицо пленника поплыло перед глазами лейтенанта. Казалось, оно реяло в дымном воздухе, нереальное, призрачное... К., сидящая на постели. Обнаженная бронзовая статуэтка. Они пришли сюда надругаться над пленником, как зверь-наемник надругался над двенадцатилетней К. И он будет покорно присутствовать при этом (или убежит — как убежал, когда трое белых напали на его отца?). Он смотрел на сонную артерию юноши, которая продолжала резко пульсировать.

Допрос продолжался уже более получаса, но никаких результатов еще не дал.

Сержант обратился к переводчику:

— Спросите эту крысу, не испугается ли он, что я раздавлю его грязную мошонку.

Переводчик заколебался, но, заметив, что лейтенант как будто улыбается, перевел вопрос сержанта. Пленник улыбнулся и пожал плечами.

Сержант взглянул на свои часы:

— Час двадцать!

Лейтенант выпрямился.

— Попробуем пентатол. Позовите доктора.

Сержант возмущенно взмахнул руками, открыв белокурые влажные волосы под мышками.

— Господи боже ты мой! Опять зря тратить время на ерунду! Да ведь если пентатол ничего не даст, нам придется ждать черт знает сколько, пока он снова будет способен отвечать на вопросы!

Лейтенант стиснул зубы:

— Я вам отдал приказание, сержант. Выполняйте.

Детина бросил на него взгляд, в котором смешались затаенная злоба и презрение, и вышел из камеры. Несколько секунд спустя он вернулся с врачом.

— Попробуем пентатол, доктор,— сказал лейтенант.

Пленник посмотрел на вошедшего врача с некоторым испугом. Врач открыл чемоданчик и стал молча готовить шприц и иглу. Он отломил конец ампулы, ввел в нее иглу и наполнил шприц.

— Подержите, пожалуйста, его руку,— попросил он, ни к кому не обращаясь.

Лейтенант исполнил его просьбу, испытывая непонятное желание коснуться кожи пленника.

Врач провел ваткой со спиртом по сгибу смугло-желтого локтя.

— У него тонкие вены... — пробормотал он. — Но вот тут одна подходящая...— он вонзил в нее иглу и стал потихоньку нажимать на поршень. Пленник с любопытством разглядывал свою руку, но время от времени поднимал голову и смотрел на лейтенанта, словно спрашивая, что происходит.

Теперь лейтенант ощущал биение сердца партизана вплотную возле своего бока. Между ним и пленником словно возникла какая-то связь. Он снова вспомнил К. Внезапно ему стало невыносимо жаль и ее, и пленника, и себя и неудержимо захотелось разрыдаться. Сержант ждал, скрестив руки на груди.

Врач поднялся.

— Я не уверен, что пентатол заставит его сказать то, что вам нужно. Я наблюдал много подобных случаев. Иногда пациенту удается держать себя под контролем и говорить только то, что он хочет, хотя он и засыпает. В других случаях они начинают фантазировать. Ну, увидим.— Он спрятал шприц в карман и повернулся к лейтенанту.— Если будет что-нибудь новое, я в коридоре.

Врач вышел. Переводчик пожаловался на жару и разделся до пояса. Сержант закурил сигарету. Лейтенант сжал в ладонях голову пленника и посмотрел ему прямо в глаза, которые уже затуманились. Юноша улыбался. Казалось, он погрузился в блаженство нирваны.

Сержант посмотрел на часы. Половина второго. Он почесал грудь, на которой были вытатуированы якорь и женские имена под цветущими ветками.

Через несколько секунд голова туземца откинулась назад. Лейтенант подхватил ее и вспомнил, как его сын, в раннем детстве, как-то ночью в давнюю зиму уснул у него на руках. На лимонном лице продолжала играть улыбка. Губы пленника задвигались, он что-то шептал. Лейтенант вопросительно посмотрел на переводчика, и тот поспешно включил магнитофон.

— Теперь, пожалуйста, тише! — переводчик громко спросил на туземном языке: — Где вторая бомба?

Он приблизил микрофон ко рту пленника — тот начал произносить отдельные слова, отрывочные фразы. Переводчик записывал и время от времени морщился — по-видимому, для того, чтобы показать, что он ничего не понимает. Вращались кассеты. Лейтенант смотрел на запачканные глиной, слипшиеся волосы пленника. Он держал в руках голову сына, сын только что был ранен белыми, когда выходил из школы... у мальчика шла кровь из раны. Его кровь...

Пленник как будто оживился, и лейтенанту показалось, что он начал говорить более четко. Однако на лице переводчика отражалась только досада.

Пленник продолжал медленно говорить. Его губы почти целовали микрофон. Сержант нетерпеливо поглядывал на часы.

Наконец террорист умолк, закрыл глаза и уснул.

— Что он сказал? — спросил лейтенант, глядя на переводчика.

Тот перемотал ленту, потом, нажимая на различные клавиши, наладил воспроизведение и начал переводить запинающуюся речь пленника, записанную магнитофоном.

— Вторая бомба? А! Вторая бомба... Где же мы, в самом деле, оставили вторую бомбу? Вторая бомба? А! Брат отнял у меня голубку, которую подарил мне дед. (Здесь послышался голос переводчика: «Не то! Я хочу знать, где вторая бомба. Ты помнишь первую?») **Помню пер-**

вую. Она была белая. («Не то! Вторая бомба. Первая взорвалась несколько часов назад в кафе «Каравелла». Помнишь?») **А! Вторая бомба? Мы спрятали вторую бомбу... вторую бомбу в сердце большого лотоса... большого лотоса посередине озера... В четыре часа лотос взорвется... бум! И все лотосы мира... миллионы... миллионы... взлетят на воздух... с рыбами всех вод... и рыбы упадут мертвыми на землю... и сгниют... и ветер развеет их смрад... и все белые убегут, преследуемые смрадом мертвых рыб... А! Но в сентябре подует юго-восточный муссон и принесет обильные дожди... и мир снова станет чистым... и снова засияет солнце... А! Оно засияет на сотни лунных лет... и тогда у всех будет рыба и рис... и чай... а! В один прекрасный день Будда спустится с неба в золотом самолете и лотосы вырастут снова во всех водах... И брат отдаст мне голубку, которую подарил мне дед...**

Сержант вскочил и рявкнул:

— Грязная крыса!

В сознании лейтенанта его крик отозвался воплем «грязный негр!». Сержант схватил пленника за плечи и начал яростно его трясти — голова несчастного выскользнула из рук лейтенанта и закачалась из стороны в сторону, словно шея у него была резиновая.

— Лейтенант, до взрыва бомбы остается меньше двух часов. Надо разбудить эту собаку и продолжить допрос. Я же говорил вам, что мы попусту теряем время!

Офицер взглянул на переводчика:

— Позовите доктора. Быстро!

Сержант исступленно бил пленника по лицу. Щеки лейтенанта пылали. Его охватило страстное желание пристрелить этого зверя.

На диване в служебном кабинете мертвым сном спал полковник. Он сильно храпел, иногда постанывал, как будто его мучил кошмар.

На том же этаже того же самого здания майор, сидя за своим столом, говорил по телефону:

— Ничего нового?— Пауза.— Где? В университете? Маловероятно, но мы не можем не проверить. В особенности в спальнях. Да, скажите, чтобы мне позвонили, если что-нибудь найдут...

Он повесил трубку. Веки у него отяжелели. Налитые кровью глаза болели. Он провел ладонью по щеке снизу вверх и почувствовал шершавую щетину.

Взяв карандаш, майор бесцельно чертил по лежавшему перед ним листу бумаги с фамилиями местных видных людей, чьи дома он распорядился тщательно обыскать.

Несколько минут назад адъютант доложил ему, что допрос прервали, так как пленник заснул.

В пентатол майор не верил. По правде говоря, он вообще перестал во что-либо верить. А тут побаливал живот. (Должно быть, проклятая рыба, которую он съел за обедом.) Не хватает еще пищевого отравления! В таких случаях опаснее всего как раз испорченная рыба. Иногда от нее даже умирают. Он знает такие примеры. Во всяком случае, смерть положила бы конец его затруднениям. Гнилая рыба разрешила бы семейную драму, распутала бы клубок этических и эмоциональных проблем. А если он случайно выживет, то сможет написать трагикомедию под названием «Иокаста * и испорченная рыба».

Он составил список мест, которые следовало осмотреть. Храмы и пагоды. Кинотеатры. (Чепуха! В четыре утра все кино пусты.) Отели. Все отели уже тщательно обысканы — вестибюли, номера, коридоры,

* В древнегреческой мифологии мать Эдипа, на которой он женился, не зная, что он — ее сын.

подвалы... Госпитали подвергнуты «особой обработке». Дом архиепископа также. Но как можно найти за такое короткое время бомбу, спрятанную в городе со стотысячным населением? Вначале он хотел было посоветовать полковнику объявить всеобщую тревогу — но отказался от этой мысли, потому что такая мера могла лишь вызвать панику и обострить положение.

Он набил трубку и закурил, уставившись на телефон. Через несколько секунд черный аппарат расплылся и исчез, и майор уже ничего не видел, кроме образов и мыслей, беспорядочно проносившихся у него в голове.

«Что я здесь делаю? Я — робот. Толстый робот. Нажимают кнопку, и я принимаюсь ходить, как заводной солдатик. Раз-два! Раз-два! Нажимают другую кнопку, и я повторяю приказы, которые мне дали. Нет! Право же, я примерный ребенок. Я люблю свою маму. Люблю свою родину. (Он потихоньку пропел фальцетом две первые строки национального гимна.) Я хороший бойскаут и перевожу под руку старушек через улицу. Каждый день я совершаю какое-нибудь доброе дело. Какое доброе дело я совершил сегодня? Передал рахитичного туземца троим силачам, чтобы они вырвали у него его секрет. Я пай-мальчик. Если в один прекрасный день я срублю вишневое дерево и меня спросят, кто это сделал, я положу руку на сердце и отвечу: «Это сделал я. Хороший мальчик никогда не лжет!» Дайте мне свободу или дайте мне смерть. Но что такое смерть? «Умереть, уснуть. А если спать и видеть сны?..» * Кто знает? В сущности, все мы актеры. Мы одновременно играем несколько разных ролей. Одни делают это плохо, другие — хорошо. В сущности, все мы обманщики. Поэт сказал, что жизнь не что иное, как летний сон. Летний сон — дерьмо! Возможно, было бы лучше объявить всеобщую тревогу. Да исполнится воля господня! С высоты своего престола он смеется над этой комедией. Быть может, никакой бомбы и нет. Умерший террорист просто подшутил над нами. Это его последняя шутка. Вторая бомба вполне может оказаться мистификацией. Но я пай-мальчик. Существуют лишь два цвета: черный и белый. Мы на стороне белого цвета, они — черного. Кто утверждает, что существуют оттенки,— наивный простак. Или сумасшедший. Или враг бога, родины, семьи. (Он широко зевнул.) Но я примерный бойскаут. Мы — нация бойскаутов. Мы помогаем миру перейти улицу нищеты и слаборазвитости и подняться на тротуар, вдоль которого выстроились ослепительные магазины, продающие наши радиоприемники, наши кондиционеры, наши телевизоры, наши автомобили... Там же находятся кинотеатры, где идут наши фильмы, в которых блистают наши герои, цвет человечества...»

Он встал. Вторая бомба могла быть последней насмешкой смелого партизана. Еще одна удача среди многих удач, жертвой которых стало его правительство с того дня, как его солдаты впервые ступили на эту проклятую землю.

Он подошел к окну и стал смотреть в сад. Воздух оставался неподвижным и душным. Он подумал о жене и детях, на этот раз без нежности.

Лейтенант, переводчик и сержант сидели за столом, а врач пытался привести пленника в чувство.

Сержант быстро взглянул на часы и заметил:

— У нас остается немногим больше часа.— Пристально посмотрев на лейтенанта, он добавил сквозь зубы: — Ровно в четыре где-то в городе взорвется бомба. Женщины, дети и старики будут разорваны в кло-

* В. Шекспир. «Гамлет», III акт.

чья... Десять, двенадцать, двадцать, тридцать, пятьдесят человеческих жизней... Кто знает — сколько? Подумайте хорошенько, лейтенант, эти жизни в ваших руках. Чего вы ждете?

Лейтенант ничего не ответил. Он не знал, что делать. Ясно было одно: сержант добивался от него разрешения применить пытки... Мне нужны результаты, сказал полковник. Я не стану задавать вопросов. Это вопрос чистой арифметики... Лейтенант дышал с трудом, как будто его грудь и горло были сжаты стальным обручем. По его телу струился пот. Сержант, не отрываясь, смотрел на него. Переводчик поигрывал шариковой ручкой, время от времени что-то записывая в блокноте. Скорчившийся на стуле пленник, казалось, стал еще меньше.

Как поступить? Недавно майор прислал адъютанта спросить, как продвигается допрос, и адъютант сказал, что поиски бомбы до сих пор не дали никакого результата. Что делать, боже мой?

— До взрыва остается всего шестьдесят минут... — немного погодя сказал сержант.— Вы, лейтенант, станете причиной смерти многих людей...

Пленник смотрел на лейтенанта. Тот смотрел на пленника. Они словно гипнотизировали друг друга. Он убийца, думал лейтенант, он убил К. Если я позволю сержанту применить пытку, это же еще не означает, что он обязательно умрет. И все же это чудовищно!

— Остается пятьдесят восемь минут...

Переводчик протянул руку, взял кувшин, вылил в стакан оставшийся чай и выпил его. Лейтенант продолжал смотреть на пленника, которого врач заставил подняться и подвел к столу.

— Он уже настолько пришел в себя, что его можно снова допрашивать, — сказал врач угрюмо.— Но не забывайте, сердце у него слабое.

— Ладно, доктор,— резко прервал его сержант.— Это уж наше дело.

Обугленные трупы на асфальте. Остекленевшие глаза К., ее наполовину обгоревшее тело. Буддистская студентка, охваченная пламенем. Его родной отец, избитый на улице тремя людьми, похожими на сержанта... Пленник смотрел на него — лейтенант это чувствовал — и, казалось, ожидал от него слова, жеста, чего-нибудь...

И тикают в комнате трое часов, их стрелки неумолимо приближаются к часу взрыва! Ведь бомба может быть спрятана в доме его друга — учительницы. Или в сиротском приюте, которым она заведует. Он представил себе искалеченные, изуродованные, разорванные на куски, превращенные в кровавое месиво тела детей.

— Пятьдесят минут...— сказал сержант, вытирая рубашкой голову, шею, грудь. Зловонный запах его пота душил лейтенанта, проникал ему в ноздри, в рот. Камера напоминала раскаленную духовку.

— Ну, решайтесь же, лейтенант. Достаточно одного вашего слова. Скажите его прежде, чем будет слишком поздно.

Сержант схватил его руку и сжимал ее со все возрастающей силой, будто хотел начать пытку с него.

— У вас не хватает духа?

Лейтенант взглянул ему прямо в лицо и, резким движением вырвав руку, хрипло сказал:

— На то, чтобы набить вам морду, сержант, у меня духу хватит.

Тот только рассмеялся.

— Вот это больше похоже на дело! Но сейчас речь идет не обо мне. «Приласкаем» немного эту крысу, чтобы узнать, где бомба. Будьте же мужчиной!

Лейтенант выпрямился, избегая смотреть на пленника. И крикнул:

— Хорошо! Примените... свой метод!

Лицо сержанта просияло. Он резко встал, отбросив стул.

— Отлично, лейтенант! Позднее, если хотите, можете набить мне физиономию. Но сейчас — займемся желтым героем.

Лейтенант был оглушен.

— Только это звучит слишком неопределенно. Так не годится, — продолжал сержант.— Мне нужен ваш четкий зафиксированный приказ.

Он повернулся к переводчику и, показывая на магнитофон, распорядился:

— Ну-ка, запустите эту машину.

Переводчик включил магнитофон на запись. Снова вспыхнул зеленый глазок и начали вращаться кассеты. Сержант взял микрофон и поднес его ко рту своего начальника.

— Ожидаю ваших приказаний, лейтенант.

Лейтенант колебался. Ему вспомнилось слово «камикадзе». Подростком, читая сообщения с фронтов второй мировой войны, он долго ходил под впечатлением трагических подвигов желтокожих летчиков, которые пикировали с бомбами прямо на вражеские крейсеры и погибали, принося себя в жертву. И сейчас ему пришлось стать духовным «камикадзе». Он крикнул:

— В случае необходимости можете применить физическое воздействие, чтобы вырвать у пленного признание, которое спасет от смерти невинных людей...

Он повернулся к сержанту спиной, но тот не был удовлетворен:

— Нет, лейтенант, все должно быть официально. Назовите свою фамилию и подтвердите приказание.

Лейтенант прокричал то, чего от него требовали. Назвал свою фамилию, должность, указал свой номер и повторил:

— Если будет необходимо, можете пытать задержанного! Под мою полную ответственность!

Он весь дрожал. Это крикнул не он. А другой, неизвестный, самозванец, адский двойник. Почему он это сделал? Он же ненавидит всякое насилие. Ему симпатичен пленник. Он любил К. Он ненавидит сержанта и ему подобных. Но он — «камикадзе». Он только что подписал себе смертный приговор. Отступать теперь поздно.

Сержант выключил магнитофон и отошел от стола.

Лейтенант бросился вон из камеры, хлопнув дверью, и принялся расхаживать взад и вперед по пустому коридору. И тут же до него донесся из камеры вопль смертельно раненного зверя. Он прислонился к стене, заткнул уши...

Еще несколько мгновений он слышал душераздирающие крики пленника, перемежавшиеся рявканьем сержанта. Потом наступила глубокая тишина и длилась... сколько времени? Две минуты? Три? Пять? Десять?

В глубине коридора появилась бегущая фигура. Это был капитан медицинской службы, он кричал:

— Прервите допрос! Бомбу нашли!

Лейтенант тупо посмотрел на него, не понимая смысла этих слов. Потом они оба бросились к двери в камеру, и врач торопливо сообщил:

— Сестра пленного обратилась к одному из наших офицеров и добровольно призналась во всем, чтобы спасти ему жизнь... Бомба была подложена в здание училища... на том берегу реки. Ее разрядили несколько минут назад...

Он открыл дверь камеры и вошел. Лейтенант последовал за ним, как автомат. Они не сразу увидели пленника. Переводчик, зеленоватая бледность которого усилилась, согнувшись, стоял в углу, — его рвало прямо на пол.

Сержант сидел у стола, вытирал голову рубашкой и смотрел на то, что лежало на полу. Это был пленник. Он лежал совершенно голый, раскинув ноги и руки, словно бы распятый. На бинтах на левом бедре багровело большое пятно крови.

Лейтенант переводил взгляд с сержанта на переводчика и обратно, не в силах произнести ни слова. Врач опустился на колени около пленника и попытался нащупать пульс. Потом проверил реакцию зрачков. Вынул стетоскоп и прижал к груди туземца, стараясь расслышать биение сердца. Через несколько мгновений он поднял голову и сказал:

— Он умер.

Лейтенант ощутил комок в горле. Сердце тоскливо сжалось. По спине заструился холодный пот. Хорошо ли он расслышал слова врача?

Сержант равнодушно посмотрел на труп.

— Вы уверены, доктор?

— Абсолютно.

Врач осматривал пах пленника.

— Я вижу на теле следы пытки, — пробормотал он.

Сержант поднял магнитофонную кассету, которую держал в руке, и сказал:

— Я выполнял приказание лейтенанта. Вот доказательство.

Врач спросил переводчика:

— Пленный что-нибудь сказал?

Бледный человек вытер рот тыльной стороной руки и отрицательно покачал головой:

— Нет. И вообще я умываю руки. Я присутствовал только как переводчик. И его я даже пальцем не тронул.

Сержант подошел к врачу и положил на его плечо тяжелую ладонь.

— Послушайте, доктор. А нужно ли упоминать, что парень был... был подвергнут пытке? Никто не станет задавать вам вопросов. Никто вообще не узнает, что был допрос. Подумайте хорошенько, доктор. Разве этот мальчишка не мог умереть просто от сердечного припадка? Никому не известно, кто он. У него нет имени. Он — никто.

Врач выпрямился и резко сказал:

— В заключении о смерти я напишу правду.

Сержант схватил его за руку, но врач рывком высвободил ее.

— Не дотрагивайтесь до меня,— закричал он.— И не рассчитывайте меня запугать!

Сержант побагровел, его глаза горели бешенством.

У лейтенанта не хватало мужества посмотреть в лицо врага. Он вышел из камеры и пошел, побежал по коридору, стремясь поскорее вырваться на чистый воздух.

*

Город показался ему той же камерой, только большего размера. Та же гнетущая духота, тот же вонючий, тяжелый воздух, то же ощущение безысходности.

Несколько минут он шагал куда глаза глядят по пустынным улицам, пошатываясь под бременем собственного тела, не способный ясно мыслить.

Остановился на углу и почувствовал, что у него пропала память. Как его зовут? Он забыл собственное имя. У него не было прошлого.. Где он находится? Он не знал.

Лейтенант растерянно посмотрел по сторонам. Он тяжело опустился на край тротуара под уличным фонарем, уперся локтями в колени, втиснул подбородок в ладони и начал лихорадочно припоминать, кто он такой.

Издалека доносился приглушенный грохот, похожий на гром. Гроза. Хорошо бы, чтобы скорее пошел дождь — дождь, который хлестал бы с неба потоками, залил бы город, промыл бы этот воздух, а вода унесла бы, умчала его тело... куда? В море. Он увидел мальчика на берегу большой реки; колесный пароход у причала, на котором громоздились тюки хлопка... Ему смутно вспомнилось его детство и место, где он родился... Название этого места отдалось в его голове, как название города древней, погибшей цивилизации Востока, связанной в его представлении с пирамидами... с мумиями... с портье отеля...

Его озарял свет фонаря. Он долго смотрел на свои ботинки, на брюки из зелено-оливковой ткани. Военная форма. Да, он солдат. Он вытащил из кармана свои документы и принялся их рассматривать. Они показались ему написанными на иностранном языке. Он понял, что у него есть номер... Наконец увидел свое имя, фамилию и начал негромко произносить их, повторять много раз, отыскивая в них свою личность, свое прошлое... Потом, прислонившись к фонарю, он разразился конвульсивными детскими рыданиями, и по его лицу крупными каплями покатились слезы, смешиваясь с потом. Он улегся на спину, ощущая теплое прикосновение асфальта. Высоко в небе стояла луна. Ах, если бы он мог прижаться лицом к луне, освежиться ее ледяным прикосновением... Он закрыл глаза ноющими веками. И понемногу начал вновь обретать свою личность — призрак за призраком, ужас за ужасом, У него была надежда — вскоре она, правда, рассеялась,— что все происшедшее в камере, откуда он бежал, было бредовым видением.

Снова на его душу легло бремя ответственности за смерть человека. Он все еще ощущал едкий запах сержанта-палача, который заставил его произнести смертный приговор пленнику... Сержант забрал себе магнитофонную пленку, на которой записаны произнесенные им страшные слова.

Лейтенант медленно поднялся. Он узнал город, увидел знакомые здания и понял, где находится. Он посмотрел на часы: три пятьдесят пять. Какого дня? Тут он вспомнил, что менее, чем через десять часов, войдет в самолет, который доставит его обратно на родину. Теперь он, возможно, уедет не как свободный человек, а как арестованный, как обвиняемый в убийстве.

Он прошел до берега реки. Увидел тусклые огни на сампанах. Услышал голоса, кашель, стоны. Где-то недалеко мяукала кошка. Лейтенант присел на корточки у самой воды, намочил платок и медленно провел им по лбу и по щекам.

Несколько секунд он прислушивался к далекой канонаде, а потом выпрямился и, свернув к базарной площади, в конце концов вышел на широкую набережную.

Ему вспомнился магнитофон, зеленый глазок, вращающиеся кассеты. И его память превратилась в магнитофонную ленту, запечатлевшую не только голоса, но и зрительные образы и запахи этих ужасных часов, проведенных им в камере. Он вспомнил пленника — лежавший на каменных плитах мертвец с раскинутыми ногами... Господи! Как мог он допустить этот ужас? И к тому же — ненужный! Ведь в ту минуту, когда сержант пытал пленника, саперы уже обезвредили бомбу.

И тогда он почувствовал невыносимое одиночество. Ему захотелось человеческого, дружеского присутствия. Но чьего? Чьего? Перед его глазами промелькнули разные лица... Учительница! Он заметил, что находится недалеко от ее дома. Всего три-четыре квартала. Да, он мог бы пойти к учительнице. Но в этот час? А! Она поймет, когда он расскажет ей все. Ему необходимо рассказать, поделиться бременем, давящим его сердце.

Он увидел колокольню, силуэт креста на фоне неба. И в нем родилась надежда. Он знал священника этой церкви — они как-то обменялись десятком слов. Ему показалось тогда, что старик говорит на его языке довольно свободно. Вот кому он мог исповедаться! А почему бы и нет? Он обрадовался. Да, выход найден: исповедь. Отпущение грехов. Умиротворение. Не спуская глаз с креста на колокольне, он ускорил шаг.

Незатейливый белый домик священника был рядом с церковью. Лейтенант пошел через сад, нечаянно наступая на цветы (кладбище, роза на дороге, стрекоза, солнце), и постучал в дверь, сначала тихо, потом сильнее. Он подождал, но, не услышав никакого ответа, подошел к окну и постучал по жалюзи. В конце концов он услышал покашливанье и дребезжащий голос:

— Кто там?

Лейтенант трижды повторил свое имя и на языке священника попытался объяснить, кто он такой.

— Что вам угодно?

— Я хочу исповедаться.

— В глухую ночь?

— Ради бога, падре! Будьте милосердны. Мне необходима ваша помощь.

— Хорошо. Я сейчас выйду.

Лейтенант сел на ступеньку под дверью. Он вспомнил баптистского священника времен своего детства. Что бы сказал тот, если бы увидел, как он у дверей католического священника молит принять его исповедь? Это потрясло бы и его родителей.

Воздух был напоен благоуханием жасмина, который рос около церкви. Дверь открылась, и на пороге возник темный силуэт священника. Лейтенант поднялся и отступил на несколько шагов, в полосу лунного света, словно для того, чтобы старику было легче его узнать. Священник подошел и несколько секунд вглядывался в него.

— Я вас знаю?

— Боюсь, вы меня не помните... но не так давно мы с вами разговаривали в одной деревне...

— Вы регулярно посещаете церковь?

— Нет.

Священник молча смотрел на него. Это был низенький хилый старичок с серебряными волосами.

— Но вы по крайней мере католик?

— Нет, я баптист.

— Не понимаю... разве вы только что не сказали, что хотите исповедаться?

— Да, падре, хочу. Мне это необходимо. Умоляю вас не отказывать мне в этой милости.

Они пошли через маленький дворик к церкви. Священник зашел в ризницу, чтобы взять кое-что, и все так же молча открыл дверь в церковь. Внутри лунный свет, струившийся в узкие стрельчатые окна, создавал прозрачные сумерки, но священник зажег большую центральную люстру, и лейтенанту стало еще более не по себе. Священник на миг преклонил колено перед главным алтарем и прошел в исповедальню.

— Опуститесь на колени, сын мой,— сказал он, и голос отозвался в пустой церкви странным эхом.

Лейтенант повиновался, испытывая стыд и смущение, почти как в тот далекий день, когда он мальчиком присутствовал на католическом богослужении, спрятавшись за колонной в церкви.

— Теперь откройте мне, что вас гнетет,— проговорил священник тихим голосом, почти шепотом. Ноздри лейтенанта уловили запах чеснока.

— Падре, я виновен в смерти человека.

— Вы хотите сказать, что... убили кого-то?

— Да, косвенно...

— Когда это случилось?

Лейтенант ответил не сразу, стараясь сообразить, когда все это произошло.

— Немногим более получаса назад... или, возможно, час... не могу сказать точно.

Он стал излагать свою историю, начиная со встречи с К. в комнате «Каравеллы».

— Пожалуйста,— попросил священник,— говорите медленнее и отчетливее. Я недостаточно хорошо знаю ваш язык.

Лейтенант стоял на коленях с закрытыми глазами, держась обеими руками за лоб. Вдруг он смолк, словно забыв, о чем рассказывал. До него донесся звук приглушенного зевка священника. Он чувствовал за своей спиной присутствие статуй святых, которые следили за ним из своих ниш, как соглядатаи.

— Падре, я ищу облегчения в исповеди.

Он рассказал священнику о своем прошлом, о своей судьбе негра, об угрызениях совести. Когда он опять замолчал, священник спросил:

— Вам кажется, что вы согласились на то, чтобы пленника пытали, из мести? Вы хотели наказать человека, ответственного за смерть... женщины, которую вы любили?

— Нет, падре! С той минуты, как я увидел этого бедного мальчика, я испытывал к нему только жалость, я отождествил себя с ним, будто он был моим братом. Я не питал к нему ненависти... Кто был охвачен ненавистью, так это зверь-сержант. И я не могу понять, не могу себе простить, что уступил его настояниям. Я спрашиваю себя, был ли у меня страх перед ним, физический страх? Нет, не думаю... Было другое, худшее... Что-то вроде духовного страха, если можно так выразиться. Мне казалось, что я слышу, как он думает: «Этот негр — малодушный трус...» А с другой стороны...

Он замолчал. Ему показалось, что священник заснул. Но он тут же услышал его голос:

— Продолжайте.

— С другой стороны, я не хотел, чтобы потом меня мучали угрызения совести, потому что я не попытался спасти жизнь невинных людей... Мой начальник не оставил мне выбора. Он не допускал и мысли, что я могу потерпеть неудачу. Обещал не задавать вопросов... Скажите мне, падре, скажите, действительно ли я хотел спасти эти жизни или просто боялся не угодить белому полковнику?.. Я в смятении... не знаю...

— Вы добились нужного признания?

Лейтенант покачал головой.

— Нет. Он выдержал все пытки. И открывал рот, только чтобы кричать от боли. И самое глупое, самое нелепое — то, что его смерть оказалась ненужной. Его сестра добровольно сообщила, где он спрятал бомбу... Она должна была взорваться в училище... не помню, в какой части города... Видите ли, падре, когда я разрешил применение пытки, я думал этой ценой спасти чьи-то жизни... Или я ошибался? Ради бога, просветите меня. Я убийца?

— Не мне судить.

— Повинен ли я в смертном грехе?

Священник кашлянул и в течение нескольких секунд хранил молчание. Потом, говоря медленно, выбирая слова, он зашептал:

— Сын мой... все люди смертны. Тем, кого взрыв бомбы мог лишить жизни, рано или поздно все равно придется умереть. Ваше намерение спасти их от физического уничтожения, лейтенант, было очень похвальным, никто не станет это оспаривать...— Он снова замолчал, опять закашлялся. Ему, казалось, было все труднее подбирать слова.— Я думаю о принципах, которыми руководствовался ваш начальник. На первый взгляд, они верны. Но... но божья арифметика отлична от арифметики людей. Начать с того, что души не имеют ни номеров, ни имен в архиве Всемогущего. Люди обладают разумом... достоинством, честностью, а вы, сын мой, не проявили уважения к этому господнему созданию... позволив, чтобы его пытали, унизили... обращались с ним как с бездушной тварью... Ранив пленника, вы ранили и бога.

— Но я раскаиваюсь, падре!

— Истинно ли вы раскаиваетесь, глубоко сокрушаетесь или говорите это лишь потому, что стремитесь получить от меня отпущение грехов и облегчить невыносимое бремя вины?

— Клянусь, клянусь богом, что раскаиваюсь! — с жаром воскликнул лейтенант со всей искренностью.

— Не кричите. У бога хороший слух.

И наступила тишина, скорее она была внезапной пустотой. Чесночное дыхание священника. Жесткость скамеечки под коленями. Усталость. Упадок духа, ощущение, что ничто в мире не имеет смысла.

— У бога должно также быть и хорошее зрение...— сказал лейтенант...— Но иногда я подозреваю, что он потерял память.

— Не кощунствуйте, сын мой.

Лейтенант начал чувствовать в священнике врага. Хуже того, чужого человека, равнодушного к его судьбе. Чужой белый человек с голубыми глазами, с сильным акцентом. Между ними не могло быть ничего общего.

Его охватило нелепое желание обличить священника, его бога, его религию.

— Падре... Бог, наверно, белый и расист.

— Замолчите! Относитесь с уважением к храму.— В голосе священника прозвучала затаенная злоба.— Вам более подобало бы смирение. Вы пришли сюда получить облегчение и прощение и в то же время говорите глупости и кощунствуете.

Лейтенант встал.

— Я не нуждаюсь в вашем прощении. Ни в прощении вашей церкви. Ни в прощении вашего бога.

Он бросился к дверям и несколько секунд спустя уже снова шагал по улице. С неба за ним следила луна, как кроткое, но неумолимое око бога, от которого он только что отрекся.

Через пять минут он сидел в гостиной учительницы. Он проходил мимо ее дома и, увидев два освещенных окна, постучался в дверь, повинуясь внезапному порыву. Увидев его в такой час и в таком состоянии, она как будто нисколько не удивилась и сразу же пригласила его войти. Сейчас он не осмеливался взглянуть ей в глаза, слова застревали у него в горле. Опустив голову, он тупо рассматривал рисунок ковра, смутно напоминавший ему — как это память удерживает такие мелочи! — цветную гравюру в энциклопедии, которую он просматривал много лет назад, когда писал домашнее сочинение об искусстве тканья ковров. Учительница поверх белой пижамы накинула ао зан из голубого газа.

На ногах домашние туфли. Какое он имел право нарушить покой этой женщины?

— Извините меня. Я проходил мимо... И мне нестерпимо захотелось еще раз повидаться с вами.

— Хорошо. Не надо ничего объяснять. Будьте как дома.

Она села рядом с диваном в кресло, на подлокотнике которого лежала закрытая книга, заложенная ножом из слоновой кости, и легонько провела пальцами по ее корешку.

— Мне не спалось, и я решила почитать. Должно быть, из-за жары, ночной духоты...

На столике перед диваном жужжал небольшой вентилятор, но от него не было почти никакого толку. Не поднимая глаз, лейтенант начал рассказывать о событиях этих последних четырех часов — подробно, не спеша, не пропуская ни одной мелочи. И он чувствовал — то, что он рассказывает ей, не похоже на то, что он совсем недавно поведал священнику.

Учительница слушала его молча. И когда в его рассказе наступила пауза, она, все еще не проронив ни слова, задумчиво закурила сигарету.

— Скажите,— умоляюще настаивал он. — Скажите совершенно откровенно, не боясь причинить мне боли, что вы думаете обо всем этом? Я в полной растерянности. То я чувствую себя грешником, преступником, который пытал и убил человека, то...

Он замолчал, не зная, что сказать дальше.

— Преступник, грешник... Это юридические и богословские определения. И законы, и богословие придуманы людьми. Мы снова вязнем в словах. Вся беда в том, что нам никогда не освободиться от их тирании. Ни от нашей личной мифологии. Я предпочитаю сказать — и с полной искренностью,— что вы прежде всего жертва сложного стечения обстоятельств. И нужно покончить с этим стечением обстоятельств и начать все на новой основе. Это работа, которая потребует веков, но кто-то, где-то, когда-то должен ее начать... И еще я думаю, что вы сейчас не в том состоянии, чтобы правильно оценить все случившееся с вами.

Он поднял голову и прищурил глаза, как будто его ослеплял свет. Учительница встала и погасила люстру, оставив зажженным только торшер, освещавший непосредственно ее кресло. Потом вышла из комнаты и через мгновение вернулась со сложенным полотенцем и подносом, на котором стояли кувшин холодного лимонада и металлическое ведерко с кубиками льда.

— Вам, наверно, хочется пить.

Она подала ему большой стакан прохладительного напитка, который он жадно выпил до дна. Учительница указала на диван.

— Теперь ложитесь. Положите голову на подушку. Можете не снимать ботинки. Ноги — на газету.

Ему понадобилось несколько секунд, чтобы понять это приглашение... или приказание? Потом он лег, как она велела.

— Постарайтесь успокоиться. Попытайтесь не думать больше о том, что вас терзает. По крайней мере до конца этой ночи.

Она взяла полотенце и, став на колени около дивана, начала вытирать ему лоб и щеки. Он закрыл глаза. Затем почувствовал прикосновение кубика льда, которым она проводила по его щекам. Она словно опустила кусочек луны на его кожу. Такая хорошая. Его единственный друг...

— Голова болит?

— Немного.

— Вот аспирин.

Он открыл глаза, положил таблетку в рот, приподнялся и приблизил губы к стакану, который протянула ему учительница. Отпил глоток лимонада, а она подложила руку под его шею, чтобы поддержать его голову так, как делала мать, когда он в детстве болел.

Он опять вытянулся на диване и закрыл глаза. Она снова опустила луну на его щеку. Ему стало легче и спокойнее. В его памяти промелькнул образ жены — точно фотография незнакомой женщины на странице небрежно перелистываемого журнала... От рук учительницы исходил тонкий аромат; совсем как дыхание рая... Но какое у него право злоупотреблять ее добротой?

— Мне очень неловко, что я пришел сюда в такой час,— пробормотал он, не открывая глаз. Ему было легче говорить, не глядя на нее.

— Не думайте об этом. Друзья не просят друг у друга прощенья. Иначе они не друзья.

— Вы так добры, так... так...

— Пожалуйста, не идеализируйте меня. Не пытайтесь меня убедить, что я хорошая. Вовсе нет. Иногда мне даже кажется, что я слишком сурова. Но если бы я не была такой, то не выжила бы. Будьте тоже суровым, особенно сейчас, когда вы больше чем когда-либо нуждаетесь в себе самом.

— Я знаю, знаю. Но я совсем растерян. Скажите откровенно, вы считаете меня преступником?

— Вы чувствуете в себе желание убивать? Мысль о пытке террориста доставляет вам хоть малейшее удовольствие?

— Нет, наоборот.

— Тогда успокойтесь. И научитесь жить, не ища одобрения у других. Удовлетворяйтесь собственным мнением.

— Я уверен, что не одобряю сделанного.

— Хорошо. Но учитывая состояние, в каком вы находитесь, я полагаю, вы должны перенести рассмотрение своего дела на другой день. Послушайте... Я думаю об одной стороне вопроса, о которой вы, возможно, не подумали.

— О какой же?

— Слушайте внимательно. Если бы пленник остался в живых, его неизбежно выдали бы местным властям и он был бы расстрелян за свое преступление — за то, что он подложил бомбу в училище... и за взрыв в кафе «Каравелла».

Она помолчала.

— Вспомните о других бомбах,— продолжала она,— о бомбах, в миллионы раз более мощных, чем эта бомбочка, которая, вероятно, была кустарного производства...

Лейтенант открыл глаза и посмотрел на нее.

— О каких бомбах?

— В настоящее время крупнейшие города как восточного, так и западного полушарий могут быть в любую минуту полностью разрушены. Во вражеском арсенале для каждого из них есть свои бомбы с написанными на них названиями этих городов. Достаточно кому-нибудь нажать кнопку...

— Понимаю...

— Глава государства на совещании кабинета министров и руководителей генерального штаба армии может преспокойно решить, что его специалистам пора нажать на эту страшную кнопку и устроить гекатомбу. И тогда взлетит на воздух все — школы, церкви, больницы, музеи, мосты, сады... И возможно, это будет началом гибели человечества.

Он задумался... Учительница снова вытерла ему лицо полотенцем.

— Я хочу сказать, что как будто никого эта страшная перспектива

особенно не тревожит... пропорционально шуму, который поднимается из-за бомб, взорвавшихся здесь в нынешнюю ночь и в предшествующие ночи. О, конечно, я отнюдь не оправдываю террор, каковы бы ни были его мотивы и цели... Я лишь напоминаю, что мы живем в условиях всеобщего и постоянного террора и что наши жизнь и смерть зависят от кучки «террористов», выступающих под самыми различными масками... Защитников западной цивилизации... культуры... христианской веры... свободы... и так далее... Если бы взорвались большие бомбы, то ответственные за это не стали бы считаться преступниками просто потому, что не осталось бы ни судей, ни трибуналов, чтобы привлечь их к ответственности и судить. Потому что все было бы уничтожено, включая богословие, философию, идеологию... и экономические и политические интересы, вдохновившие этот роковой нажим кнопки...

Лейтенант почувствовал себя лучше, хотя голова еще была тяжелой. Он попросил учительницу погасить свет, и она охотно исполнила его просьбу.

— Честное слово, он понравился мне с первого взгляда,— пробормотал лейтенант.— Словно он был одной со мной крови, мой младший брат. Я чувствовал к нему такую симпатию, что когда его... пытали, то я в коридоре — не видя этого — испытывал боль в своем собственном теле... Я знал, какой пытке его подвергает сержант... Мне кажется, я даже закричал.

— Вы почувствовали себя физически кастрированным, сержант сначала кастрировал вас духовно, а потом и физически?

— Я вновь трусливо уступил белому, смирился перед ним... Я ведь вам рассказывал о моем детстве, о том, как на моего отца напали трое хулиганов? Пожалуйста, скажите, что вы думаете обо всем этом?

— То, что я думаю — или уже не думаю,— не должно иметь для вас никакого значения. Мы расстанемся с вами через несколько часов, и, наверно, навсегда. Главное то, что вы сами думаете о себе.

Лейтенант перевернулся на живот.

— Врач намерен открыть всю правду... Возможно, я буду предан военному суду. Или мной займутся гражданские власти, когда вернусь к себе на родину.

Он вскочил, раза два прошелся по комнате, вновь охваченный гнетущей тревогой, а потом опять бросился ничком на диван. Учительница села рядом с ним.

— Я сильно в этом сомневаюсь. Кому-нибудь из военных корреспондентов известно об этом допросе?

— Не думаю. Но так или иначе слух о нем скоро проникнет в печать... и, тогда, конечно, поднимется шум.

— Разве полковник не обещал вам, что не будет задавать вопросов? Разве майор не дал вам честное слово, что сегодня до полудня вы уже будете на борту самолета, который доставит вас домой?

Лейтенант пожал плечами.

— Если на них будет оказан нажим, оба прежде всего постараются спасти честь армии и свою собственную. И они не поколеблются принести меня в жертву. У меня нет свидетелей, которые бы слышали, что говорили мне эти два офицера. А сержант хранит у себя магнитофонную ленту, на которой записаны компрометирующие меня слова.

Вместо ответа учительница сделала то, чего он никак не ожидал,— она положила его голову себе на колени. Он смутился и некоторое время чувствовал себя скованно. А она продолжала говорить как ни в чем не бывало:

— Пока никакие ваши слова и никакие поступки не могут изменить положения. Важно сохранить хладнокровие и мужество, держать нервы

под контролем. Солнце каждый день приносит нам новый свет. Постарайтесь заснуть, потом примите душ, уложите вещи, дождитесь часа отъезда... и уезжайте!

— На другой фронт?

— Куда бы ни было. Рано или поздно вам придется определить свою позицию. В наше время нейтралитет невозможен. Нет больше в мире убежищ, ни физических, ни психологических. Наступил час, когда надо брать на себя обязательства.

— А если меня отдадут под суд, как виновного в смерти пленника?

— Боритесь. Защищайтесь.

— Но разве в моей стране негр может надеяться на беспристрастный суд?!

— Как бы там ни было, защищайтесь, боритесь, боритесь! Если вы не станете бороться, значит, вы внутренне считаете, что заслуживаете наказания, а в таком случае даже единодушное оправдание всеми трибуналами мира не освободит вас от сознания вины. Но даже если вы чувствуете себя виновным, все равно, защищайтесь, сопротивляйтесь. У вас впереди еще вся жизнь, весь мир! У вас хватит времени, чтобы разделаться с призраками и окончательно возмужать.

Наступило молчание. И тогда — намеренно или просто машинально? — учительница стала гладить его по волосам. Ее палец коснулся уха, пощекотав его. И тут он осознал, что его голова покоится на коленях женщины. В его теле проснулось чувство, которое уже не было страданием. Он тяжело задышал. Он боялся и вместе с тем ждал, чтобы она заметила, что с ним происходит, хотя все это и казалось ему глупым и бессмысленным. Встать, броситься к двери и уйти навсегда... Но вместо этого он еще сильнее прижался головой к ее теплым коленям. Он почувствовал, как она вся вдруг напряглась, и уже ждал, что она даст ему пощечину — да, он подлец и заслуживает, чтобы она отхлестала его по щекам,— но ее пальцы только с силой сжали его ухо... Господи! Господи! Не допусти, чтобы это случилось... Но его рука, подчиняясь слепой силе, с которой он не мог и уже не хотел совладать, скользнула по ее телу... и через мгновение он, задыхаясь, молча повалил ее на диван и стал судорожно срывать с нее одежду... В этом неистовом порыве он словно обретал спасение, освобождение, вечную жизнь...

Она обеими руками уперлась ему в грудь и оттолкнула его. Он грузно свалился на пол и остался лежать, тяжело дыша, закрыв лицо руками. Потом поднялся, подошел к окну и стал вглядываться в ночной мрак, ничего не видя.

— Простите... — пробормотал он. — Я не знаю, как... как это произошло.

За его спиной раздался спокойный голос.

— Пожалуйста, не говорите ничего. Не пытайтесь объяснять.

— Но я...— настаивал он, не имея мужества повернуться.

— Теперь вы можете уйти,— сказала она твердо, но без злобы.— Больше я ничего не могу для вас сделать. Ничего.

Он пошел к двери, не смея оглянуться.

Входя в вестибюль отеля, он ожидал, что часовые у центрального входа задержат его, но они ограничились тем, что равнодушно взглянули на его документы. Стрелки настенных часов над дверью ресторана показывали четыре часа пятьдесят минут.

Лейтенант подошел к столику портье и, глядя мимо старика, попросил ключ от номера.

— А! Господин лейтенант! — воскликнул портье, расплываясь в улыбке.— Что с вами? Вы очень бледны... Устали, наверно? Послушай-

тесь моего совета... Прилягте... ногами к югу... спокойненько. Ведь сегодня неблагоприятный день.

Лейтенант взял ключ, вошел в лифт и не сразу сумел увидеть кнопку с цифрой пять и нажать на нее. Кабина поползла вверх.

На пятом этаже уходящий вдаль коридор напомнил ему «катакомбы» с такой силой, что он даже зашатался и прислонился к стене, чтобы не упасть.

Потом пошел к своему номеру. Щель под дверью номера капитана медицинской службы светилась. Лейтенант остановился. И после некоторых колебаний постучал. Изнутри донесся голос:

— Войдите!

Он вошел. Врач сидел за письменным столом, склонившись над книгой. На нем были только пижамные брюки. По его веснушчатой очень белой спине с крупными порами стекал пот.

— Садитесь, лейтенант,— сказал он, не поворачивая головы и не отрывая глаз от книги.

Лейтенант сел.

— Вы знали, что я приду?

— Я был почти в этом уверен...

Конечно, он меня узнал по запаху пота, с досадой подумал лейтенант.

— Видимо, час неподходящий...

— Для врача нет неподходящих часов.

В тоне этих слов лейтенант уловил враждебность. Он поглядел на профиль капитана, который все еще не повернулся к нему.

Крупная голова, олимпийский лоб, рыжие курчавые волосы, очки на крючковатом носу. Типичный еврейский интеллигент, подумал он. Он не мог не признаться себе, что испытывает определенную неприязнь к евреям. Он пытался совладать с этим нелепым предрассудком, корни его антисемитизма уходили в далекое детство, в вымыслы и религиозный фольклор. В памяти отдавались эхом голоса из давнего прошлого: «Мошенник-еврей, хозяин этой лавчонки, надул меня». «Опять явился еврей-ростовщик». «Проклятое племя! Христа распяли!»

Врач закрыл книгу.

— Чем могу служить?

Вопрос, который должен был содержать в себе предложение помощи, был уже отказом в ней — с такой интонацией он был задан.

— Откровенно говоря.., я и сам не знаю, почему постучал к вам.

Врач повернулся к нему, и они молча посмотрели друг на друга.

— Думаю, доктор, вы отлично представляете себе мое состояние после... после того, что произошло.

Врач встал, вытащил сигарету из пачки, лежавшей на письменном столе, сунул ее в рот и закурил.

— Надеюсь, вы пришли не за тем, чтобы просить меня не упоминать в своем рапорте, что пленного пытали.

Лейтенант отрицательно покачал головой.

— Даже если бы я захотел сделать вид, что ничего не видел,— продолжал врач,— а я не хочу, заметьте это, не хочу лгать... правда все равно вышла бы наружу, так как сейчас, как раз когда мы с вами разговариваем, труп пленного подвергается вскрытию.

— У меня нет права о чем-либо просить вас, доктор. Вы сделаете то, что вам подскажет совесть. Но я бы хотел... хотел, по крайней мере, чтобы вы знали о том, как все это произошло.

— Я все знаю. Я долго говорил с переводчиком. У меня нет оснований сомневаться в его правдивости.

— Я все же хочу вам сказать... что я вовсе не убийца.

— Все мы тут убийцы, вольно или невольно.

Лейтенант, опустив голову, разглядывал босые ноги врача — белорозовые с крупными темными ногтями, с мозолью на одном из больших пальцев.

— Я отдал это приказание в минуту раздражения... смятения... отчаяния. Я думал о людях, которые погибнут при взрыве... о детях, — сфантазировал он,— да, особенно о детях. Я меня есть сын... Я вынужден был выбирать — если мое душевное состояние позволяло мне размышлять,— погубить ли себя, приказав пытать человека, или до конца жизни испытывать угрызения совести, потому что я не сумел предотвратить убийство стольких людей.

— И по иронии судьбы, бомбу нашли только потому, что с рисовых полей добровольно пришла девочка и сказала, где ее нужно искать, сказала, чтобы спасти жизнь брата... который в эту минуту, вероятно, был уже мертв?

Лейтенант вскочил, вне себя от гнева.

— Но я же не давал приказания убивать этого человека! Я согласился только на то, чтобы сержант применил... свой метод.

— Я вас предупреждал, что у пленного больное сердце.

Они обменялись злобными взглядами.

— А что сделали бы на моем месте вы? Отвечайте! Отвечайте же!

— Я бы вообще отказался допрашивать террориста.

— Но это же был приказ! У меня не было выбора. Меня арестовали бы, если бы я не подчинился...

— А разве это не было бы для вас лучше?

Лейтенант снова сел. В его памяти кружился хоровод образов. К.... Учительница... Пленник... Утренняя самоубийца... Ему казалось, что он уничтожил, пытал, осквернил их всех. Возможно, он действительно заслуживал осуждения. Но он был не в состоянии ясно мыслить... Лучше бы пойти к себе в номер, лечь, постараться забыться, заснуть... Или пустить себе пулю в лоб и сразу покончить со всем!

Он продолжал смотреть на ступни доктора, которые сейчас двигались по направлению к нему. «Господи,— подумал лейтенант, — сделай так, чтобы этот человек не положил мне руку на плечо, потому что я не вынесу его прикосновения». Тот, однако, ограничился тем, что показал ему свое левое запястье с вытатуированными цифрами — 12345.

— Я меньше, чем кто-либо в мире, способен примириться с пытками или оправдывать их применение, хотя бы в принципе, — сказал врач. — Вы знаете мою историю?

— Нет. Откуда мне ее знать?

— Но вам известно, что я еврей?

Лейтенант смутился, будто тот спросил: «Вам известно, что я прокаженный?»

— Ну так вот. Когда мне было четырнадцать лет, меня и всех моих близких отправили в концлагерь — мою мать, отца, старшего брата и еще младшего братишку, которому было всего два года...

— Я думаю, мне незачем говорить вам, что я негр. Мы тоже знаем, что такое гетто.

— Ах, лейтенант. Не сравнивайте... Наша участь в тысячу раз хуже — возможно, это самый страшный и безумный кошмар истории. Уже несколько тысячелетий, как мы служим человечеству козлами отпущения.

«Я пришел сюда не для того, чтобы обсуждать еврейскую проблему»,— подумал лейтенант, заерзав на стуле; голова у него снова начала разбаливаться. Врач расхаживал перед ним по комнате и говорил, откинув голову, словно читая лекцию.

— Никогда не забуду, как охранники собрали в огороженном дворе всех мальчиков в возрасте от двенадцати до пятнадцати лет и заставили нас выстроиться на перекличку совершенно голыми. Они хохотали, о, как они хохотали! Мы дрожали от холода и страха, а эти свиньи были в теплых шинелях, в сапогах, в перчатках.

Врач подошел к окну и посмотрел наружу. Только тут лейтенант заметил, что канонада смолкла. Он взглянул на свои часы и подумал: «Скоро рассвет».

— Но это было лишь начало,— продолжал врач.— Худшее оказалось впереди. В этом лагере нас было несколько тысяч... Мы жили как животные, голодали, зябли в грязи и зловонии... Лейтенант, многие ли получили, как я, «привилегию» познать в четырнадцать лет,— заметьте, в четырнадцать лет!— все низости, грубости и подлости, на какие способен человек?— Он выбросил сигарету за окно.— Таково было мое духовное воспитание. Отец и мать молились, уповая на бога. Они никогда не впадали в отчаяние. Но не у всех хватало на это сил. Заключенные сходили с ума. Как-то на моих глазах человек бросился на колючую проволоку, по которой проходил ток высокого напряжения. Это был далеко не единственный самоубийца. Многие гибли на каторжных работах или как подопытные животные в псевдонаучных экспериментах...

«Зачем мне выслушивать все это?» — спрашивал себя лейтенант. Он хотел встать и уйти, но какая-то странная сила пригвоздила его к стулу.

— Начальником лагеря был полковник с артистическими наклонностями и мрачным юмором. Он выяснил, кто умеет играть на музыкальных инструментах, и приказал организовать из них оркестр... Скрипки, мандолины, аккордеоны, гитары... Он заставлял музыкантов играть, когда осужденных вели в газовые камеры. И эти нацистские звери хохотали над такими трагическими процессиями! Я видел, как под звуки марша — как смогу я когда-либо забыть эту мелодию? — моя мать с младшим братишкой на руках под гоготанье палачей шла в камеру смерти вместе с другими совершенно обнаженными женщинами... Несколько дней спустя мой отец вместе с другими заключенными копал общий ров, где им предстояло быть похороненными. Мы все были обязаны присутствовать при этой церемонии. Осужденных построили на краю рва и всех расстреляли, каждого выстрелом в затылок. Я хотел было зажмурить глаза... но не зажмурил. Отец повернул голову, и я понял, что он ищет в толпе меня. Однако он меня не увидел. Я хотел что-нибудь ему крикнуть, но голос замер у меня в гортани. Я увидел, как один из этих зверей всадил ему пулю в затылок и он упал...

— Довольно! Хватит!

— Нет, лейтенант, я хочу, чтобы вы поняли, почему я не могу мириться с насилием. В нашем лагере я часто видел, как людей подвергали унижениям, пыткам. Мой брат был одним из них. И однажды нацистский боров, угрожая штыком, заставил раввина, почтенного старца, вытереть бородой и вылизать языком нечистоты в уборной. Вы когда-нибудь видели по-настоящему униженного человека, видели или нет?

— Конечно видел! Я ведь уже сказал вам, что я негр. Мальчиком я видел, как трое белых напали на улице на моего отца и избили его. На следующий день он повесился. Вы, евреи, не единственные, кто терпит страдания в мире!

Как будто не услышав этих слов, врач сел, взял новую сигарету и закурил.

— Я спасся чудом. Старик, взявший меня под свою опеку, после того как мои родители погибли, спрятал меня, когда нас искали, чтобы отправить в камеру смерти. Несколько дней спустя пришли союзные

войска, я был освобожден из лагеря вместе со всеми, кто выжил, и впоследствии отправлен в вашу страну, лейтенант, где у меня оказался родственник, взявший меня к себе. Понадобились многие годы психиатрического лечения, чтобы я смог снова стать нормальным человеком... если только я нормален... или если только в этом мире можно быть нормальным. Потом я начал читать статьи и книги о зверствах в нацистских концлагерях... Рассматривал лица на фотографиях того лагеря, где я находился в заключении, в безумной надежде увидеть лица матери, отца, моих братьев и свое собственное. Так я подогревал ненависть, которая стала смыслом всей моей жизни. Я возненавидел народ, который нас пытал... его язык, его культуру... все! Потом я пришел к заключению, что жить с такой ненавистью и сохранить душевное равновесие — невозможно. Я искал также утешения в религии. Раввин, который меня наставлял, советовал мне простить, забыть... Но простить и забыть — это не зависит от нашей воли. И прощение, я убежден, не то слово...

Он встал, прошел в ванную, через несколько секунд вернулся оттуда с мокрым полотенцем и принялся вытирать себе грудь.

— Я кончил медицинский факультет, избрал профессию, которая сама по себе является отрицанием убийства. Принял гражданство страны, давшей мне приют. Я не женился. Я боялся иметь детей, потому что они были бы евреями, подобно мне, и потому что я не мог забыть тех детей, которых я видел в лагере... худых, как скелеты, посиневших от холода или мертвых, искалеченных жертв «опытов» сумасшедшего врача.

«Почему я не могу взглянуть ему в лицо? — спрашивал себя лейтенант.— Почему так упорно, с таким напряжением гляжу на его ноги?»

— Со временем все эти мрачные воспоминания понемногу развеялись. Я много раз пытался простить, как мне советовал раввин. Но беда в том, что я еще не сумел простить себя самого за то, что выжил. Эта мысль меня мучила и мучит до сих пор. Почему бог из всех членов моей семьи пощадил именно меня? Мой отец был хорошим человеком. Моя мать была святой. Мой старший брат был намного умнее и лучше меня. Мой младший братишка — невинное дитя. Почему бог сохранил меня? Или он уготовил мне особую миссию? Если так, то какую?

Лейтенанту хотелось крикнуть: «Спросите у бога! Ведь вы его сами выдумали!» Но он продолжал молчать.

— Если вы спросите, почему я добровольно пошел в армию и попросил, чтобы меня послали сюда, то я ответил бы вам — но это была бы только часть правды,— что я хочу помочь другим жить, хочу лечить их раны, облегчить их страдания, невзирая на расу, религиозные убеждения или политические взгляды. Но в глубине души я подозреваю, что на самом деле хочу подвергнуть себя опасности погибнуть в сражении. Видите, лейтенант, я хочу дать богу еще одну возможность проверить — действительно ли он хотел пощадить именно меня.

— Все, что вы рассказали, произошло более двадцати лет назад.

Врач бросил полотенце на пол. Не обращая внимания на то, что его прервали, он продолжал:

— Вы недавно изложили свое отношение к проблеме средств и целей. Я не согласен с принципом, будто цель оправдывает средства. Бешеный пес, нацистский фюрер исповедовал этот принцип, провозгласив священной целью защиту арийской расы, что было мифом, ложью. Подумайте о миллионах людей, которые погибли, лишились свободы, стали жертвами зверств и несправедливости...

Лейтенант встал.

— Я пришел сюда не для того, чтобы рассуждать о политике или философии.

— Зачем же тогда вы пришли?

— Не знаю. И не хочу знать.

— Но подождите, лейтенант, ведь вы же должны через несколько часов отправиться обратно на родину. Наши дороги разойдутся, и это произойдет здесь, сейчас. Мне хотелось бы докончить. В этой подвальной камере перед нами был живой человек, с плотью, костями, кровью, нервами... обладавший душой. Закономерно ли было приказать пытать его, чтобы спасти... абстракцию? Да, лейтенант, диктатор, о котором я упомянул, любил ссылаться на эту двойную абстракцию, так называемое будущее человечество. Кто те люди, которых бомба должна была уничтожить? В тот момент, когда пленный был в вашей власти, лейтенант, они оставались абстракцией, гипотезой. И кто вам гарантировал реальное существование второй бомбы? Она могла быть просто мстительной выдумкой умирающего террориста.

— Но ведь она оказалась реальностью.

— Это ничего не меняет.

Лейтенант посмотрел на врача в упор и почувствовал, что ненавидит его.

— Вы намерены выместить на мне то зло, которое вам причинили нацисты.

— Какая нелепость! Вы ничего не поняли.

— Теперь козел отпущения — я.

Янтарные глаза человека с татуированным запястьем уставились на него. Лейтенант снова заговорил:

— Дело в том, что вы, еврей моей страны, не отличаетесь от белых христиан: вы тоже ненавидите и дискриминируете негров!

— А негры, в свою очередь, не выносят нас! Стоило мне вас увидеть, как я сразу же почувствовал в вас антисемита.

Они глядели друг на друга с ненавистью. И тут зазвонил телефон. Лейтенант вздрогнул. («Наверно, ищут меня».) Врач подошел к столу и взял трубку.

— Алло! Да, это я. Что случилось? — Он слушал, нахмурившись. Голос, доносившийся с другого конца провода, походил на жужжание пчелы в спичечной коробке. Слушая, врач поглядывал на лейтенанта. — Сколько? Какое несчастье! Да, я буду готов через несколько минут.

Он повесил трубку. Его лицо стало бледным и встревоженным.

— Это меня ищут? — спросил лейтенант.

Какую-то долю секунды врач колебался. Потом сказал:

— Случилась ужасная вещь... Самолеты нашего военно-морского флота по ошибке сбросили бомбы с напалмом на дружественную деревню, где стояли наши солдаты... Меня срочно вызывают в центральный госпиталь.

Словно внезапно проснувшись, он развязал тесемки пижамных брюк, сбросил их и начал поспешно одеваться. Лейтенант продолжал стоять посреди комнаты в полной растерянности. Верно ли он понял слова врача?

— Это случилось около часа назад. Мне сообщили, что потери тяжелы... Какое несчастье! По меньшей мере три десятка убитых и, возможно, более восьмидесяти раненых... Так мне сказали.

Лейтенант растерянно слушал.

— Начинают поступать первые раненые,— продолжал капитан, надевая пилотку.— Джип должен быть уже внизу, он доставит меня в госпиталь. Пошли!

Они вышли из номера.

— Почему вы смеетесь?— удивился врач, останавливаясь у дверцы лифта и нажимая на кнопку вызова.

— Потому что это фарс, трагический фарс! — воскликнул лейтенант.— Три десятка убитых, более восьмидесяти раненых...

Они вошли в кабинку лифта. Начался медленный спуск.

— Адмирал, конечно, пошлет генералу извинения,— пробормотал лейтенант,— скажет, что он глубоко сожалеет о том, что случилось... и что причиною всему была «ошибка в расчетах». И все останется по-прежнему. Завтра эти же летчики получат ордена за другие такие же подвиги, поскольку жертвами окажутся уже не наши храбрые ребята, а «азиатские крысы».

Не слушая его, врач открыл дверцу лифта и быстрым шагом прошел через вестибюль. Лейтенант пошел за ним, сам не зная зачем. Около тротуара стоял джип с солдатом медицинской службы за рулем. Врач вскочил в машину и спросил:

— Хотите поехать в госпиталь, лейтенант?

Лейтенант покорно влез в машину и сел на заднее сиденье. Джип сорвался с места, его сирена взвыла. У лейтенанта было такое ощущение, что этот резкий звук пробивает ему голову, как стилет. Он заткнул уши. И подумал: «Теперь я буду предан военному суду. Или передан гражданским властям. Как преступник. Командование считает своим долгом сообщить, что сегодня на рассвете наши самолеты из-за досадной ошибки в расчетах и так далее... и так далее... и так далее...»

Горизонт начинал светлеть. На улицах уже виднелись мужчины и женщины, ехавшие на работу на велосипедах. Джип завывал, как смертельно раненный зверь. Лейтенант посмотрел на небо и снова увидел луну, побледневшую, как и весь небосвод.

Джип остановился у дверей госпиталя. К ним то и дело подъезжали машины, вокруг сновали солдаты. Раздавались команды. Когда лейтенант очнулся, он стоял в одиночестве на ступеньке у входа. Врач исчез. Из санитарной машины, остановившейся около тротуара, два человека вытаскивали носилки с раненым. Лейтенант поднялся за ними по лестнице и вошел в госпиталь. В освещенном коридоре ему открылось ужасное зрелище... Сожженный напалмом солдат утратил всякое сходство с человеком — он был похож на ободранное животное с ярко-красной кожей, как у лангуста, только что вынутого из кипящего котла... Бесформенные щеки, уже гноящиеся раны...

Лейтенант прислонился к стене. Голова у него кружилась, глаза заволокло туманом. Он стоял, а мимо несли и несли носилки с кусками обгоревшего мяса. Раненые стонали.

Он вышел на улицу, не ощущая ничего, кроме мучительной тошноты. Спустился по ступенькам, зацепился за носилки, столкнулся с каким-то солдатом и зашагал навстречу рассвету. Жара по-прежнему была тяжелой, гнетущей, неумолимой. Мимо него на велосипедах проехали две туземные девушки, и до него донеслись их юные мелодичные голоса. Он остановился — ему показалось, что кто-то произнес его имя. Потом опять пошел, сам не зная куда. Он бродил по переулкам и улочкам, а голова у него словно распухала и делалась все больше и больше... Наконец он вышел на широкую улицу, обсаженную высокими деревьями, за которыми виднелась река с медленно плывущими джонками и сампанами.

Из-за угла появился джип и медленно подъехал к нему. Свет фар на мгновение ослепил его. (Бабочка — студентка-самоубийца — огненный крест.) Машина остановилась около тротуара в пяти метрах от того места, где стоял лейтенант. Из джипа выскочил солдат военной полиции с автоматом и быстро подошел к нему.

— Будьте добры,— сказал он, — ваши документы!

Но лейтенант услышал фразу, подсказанную ему больной памятью, старинную страшную фразу, венец несправедливости и угроз: «Держи негра!..» «Держи негра!..» «Держи негра!»

В его груди вспыхнула ярость. Ну, нет! На этот раз — нет!

Он бросился на солдата, вырвал у него автомат и пинком в живот свалил на землю. Отпрыгнув назад, он закричал:

— Беги, отец, беги!

Потом спустил предохранитель, прицелился в фары и нажал на спусковой крючок — глаза чудовища погасли. Охваченный яростной, бурлящей радостью человека, перед которым внезапно распахнулись врата свободы, он поднял автомат и взял на прицел белые тени в капюшонах, скользившие среди деревьев его сада... Скорее, пока они не успели зажечь огненный крест! Автоматная очередь прошила ему грудь слева направо, пригвоздив на несколько секунд к стене за его спиной. Он выпустил из рук оружие, ноги у него подкосились, он согнулся пополам, изо рта хлынула кровь — лейтенант упал ничком и вытянулся, прижавшись щекой к плитам тротуара... И последними образами, отразившимися в его зрачках, но уже не осмысленными потухающим сознанием, были два черных военных ботинка, меж которых мерцал огонек сампана, пересекавшего реку.

Сержант наклонился над упавшим, приподнял его за плечи, перевернул лицом кверху, а затем навел на него свой электрический фонарик.

— Ты его знаешь?— спросил он солдата, который только теперь с трудом поднялся на ноги, держась руками за живот.

— Нет,— ответил солдат, едва переводя дух.— Вызовем санитарную машину?

— Нет времени. Отвезем его в госпиталь на джипе. Быстро!

Сержант взял неизвестного под мышки, солдат — за ноги. И они положили его на заднее сиденье машины. Второй солдат, стрелявший в лейтенанта, уставился на лужу крови, оставшуюся на тротуаре. Он был негром.

— Ну, ты идешь или нет? — крикнул сержант.

Солдат влез в джип и примостился рядом с товарищем, сидевшим за рулем. Машина тронулась. Сержант пощупал пульс лейтенанта, а потом приложил ладонь к его груди.

— Жив еще? — спросил солдат за рулем.

— Не думаю,— ответил сержант, вытирая платком выпачканные кровью пальцы.

— Что с ним произошло? Я ведь только спросил у него документы.

— Одному богу известно! Он умер и уже никому ничего не скажет.

Негр сидел, опустив голову, и бормотал:

— Ведь надо же было именно мне... именно мне...

Товарищ хлопнул его по колену и попытался утешить:

— Если бы ты не выстрелил в него, то мы все были бы уже на том свете с брюхом, полным свинца... И погибло бы еще много людей. Когда он поднял автомат, по улице шли люди — мужчины, женщины, — ехали велосипедисты... Была бы страшная бойня...

— Но почему я... именно я? Разве ты не видишь, он — мой брат по расе?

Губы негра задрожали, на глаза навернулись слезы и покатились по темным щекам.

Уже рассвело, когда в госпиталь приехал полковник в сопровождении майора. Они прошли в маленькую палату, где на железной койке лежало накрытое простыней тело лейтенанта.

Майор откинул простыню с лица покойника — смерть почти стерла смуглоту с его кожи. Полковник долго смотрел на труп, а потом пробормотал:

— Слабовольный невротик! Не могу понять, зачем сюда посылают таких людей. Я никогда особенно не верил в психологические проверки... Этот человек едва не убил четверых отличных солдат, не считая гражданских лиц, в которых могли угодить шальные пули из его автомата...

Майор мрачно подумал, что его больше волнуют потерянные души, чем какие-то шальные пули. Взглянув на труп, он сказал:

— Бедняга! Его срок службы кончился. Завтра утром он мог бы быть уже дома...

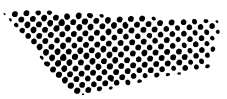
И тогда незаметно вошедшая женщина, которую они никогда прежде не видели, с глубокой нежностью устремила взгляд синих, скорее фиалковых глаз на лицо умершего и прошептала:

— Он уже дома.

Из-за гор показалось солнце, и старик, накануне вечером поймавший в бамбуковую западню голубку, вышел из хижины и принялся разжигать костер из хвороста, чтобы вскипятить воду для утреннего чая.

Попыхивая глиняной трубкой, он опустился на корточки возле железного чайника и с удовлетворением оглядел неподвижную птицу в клетке, а она, похоже, смотрела на него. Сейчас он снова поставит западню с голубкой в качестве приманки и будет ждать, пока в ловушку не попадут другие голуби. Он может прождать хоть весь день. И еще много дней. Впереди у него много времени. Или нет вовсе — но для него это, в сущности, одно и то же. Старик подумал о двух внуках, погибших ночью: когда-нибудь, где-нибудь он снова встретится с ними. Тут он вспомнил, как давным-давно подарил одному из них голубку — тогда мальчик был еще совсем маленьким. При этом воспоминании его беззубый рот расплылся в улыбке — печальной и гордой. Потом он начал мечтать: вот он идет по дороге на базар, а в корзине у него голуби...

Он услышал гул в небе, почувствовал порывы ветра, которые волновали побеги риса и рябили воду на полях, выпрямился и, высоко подняв голову, с прежней улыбкой посмотрел на военные вертолеты, торопливо улетавшие к горам, совсем как жирные дикие утки в зеленом оперении.



КИЛКО УАРАК-КА

■

Перевод с кечуа Ю. ЗУБРИЦКОГО

Встреча

(Из поэмы «Победный хайли * великому Ленину»)

А теперь, ама́ута** Ленин,
Я вхожу в твой Дом Покоя;
Я колени преклоняю,
Приближаясь к Мавзолею.

Ты живой! Я встретил взгляд твой,
Что весь мир обозревает.
Я твои слова услышал
О величье Коммунизма.

Не иссякли силы сердца,
Сокрушающие злобу.
Сердце ленинское бьется
Пульсом всей планеты нашей.

---

* Один из древнейших жанров поэзии индейцев-кечуа, ведущий начало со времен инков.

** Учитель, мудрец — почетный титул хранителей знания у древних инков.

Килко Уарак-Ка — под этим индейским именем, означающим на языке кечуа «Килко Праща», известен народный поэт индейцев-кечуа, потомков перуанских инков, профессор университета в Куско (Перу), доктор филологических наук Андрес Аленкастре. Его перу принадлежит ряд поэтических сборников и трудов в области филологии. В 1951 году ему была присуждена первая премия на всекечуанском конкурсе поэтов, проходившем в Боливии.

Здесь мы публикуем фрагмент поэмы о Ленине, написанной Килко Уарак-Ка в прошлом году и полученной от автора в рукописи.

Не угас великий разум,
Он и ныне светит ярко
Всем, кто зло уничтожает,
Всем, кто радость приближает.

Отдыхай, отец, спокойно,
Ты немало потрудился,
Твой костер в сердцах мильонов
Ярким солнцем разгорелся.

Пусть и дальше он пылает,
И твоих врагов жестоких
Пусть он в пепел превращает
Под победные напевы.

Ты не ждал похвал, амаута,
Ты не жаждал поклоненья,
Ты не верил льстивым людям,
Ты не ведал сладкой фальши.

Но мои слова — от сердца,
От моей души индейской:
Ты уснул — но ты навеки
Стал вождем народа инков!

Я хочу, чтоб жил ты, апу *!
Кровь мою возьми, амаута!
Я помочь стараюсь людям
Постигать твое ученье.

Есть одна звезда на небе,
Над Ульяновском сияя,
Родилась она с тобою,
Чтоб светить отныне вечно.

---

* Один из почетных титулов вождей.

МАХДУМ МОХИУДДИН

■

Перевод с урду С. СЕВЕРЦЕВА

Звезды

Уходите, скройтесь, тучи, уходите...

Для кого, мерцая, звезды, вы во тьме ночной поете?
То сверкая, то мигая, что за вести людям шлете?
Уходите, скройтесь, тучи, уходите...

Пусть прекрасна эта полночь — вся в жемчужинах горящих,
Мне-то что? Ведь я — безумец, я — позор для звезд всезрящих.
Уходите, скройтесь, тучи, уходите...

Наш дремотный городишко — что от сна его пробудит?
Тихий край — каких событий очевидцем вскоре будет?
Уходите, скройтесь, тучи, уходите...

Вы раджам подобны, звезды, я ж — дикарь, несущий бурю,
Жизнь моя — в жестоких распрях, ваша — в ласковой лазури.
Уходите, скройтесь, тучи, уходите...

Или встаньте, небо скройте, сдвиньте грозные морщины,
Влагой жизни окропите губы жаждущей равнины,— а потом
Уходите, скройтесь, тучи, уходите...

С Махдумом Мохиуддином, известным индийским поэтом, советский читатель почти незнаком. Видный деятель Ассоциации прогрессивных писателей Индии со времени ее создания в 1936 г., один из руководителей крестьянского восстания 1948 г. в Телингане, депутат Законодательного собрания штата Андхра Прадеш — таковы основные вехи деятельности писателя-коммуниста, жизнь которого оборвалась летом 1968 г. Поэт написал сравнительно немного— при жизни вышло всего три сборника его стихов, но яркая революционно-романтическая лирика Махдума Мохиуддина принесла поэту признание. Прошлой осенью — уже посмертно — Махдум Мохиуддин был удостоен премии имени Джавахарлала Неру за 1969 г.

Дым

Где райских садов опустилось на землю подножье,
Где облаком к людям сошло милосердие божье,
Где ночью был пир, где безумная роскошь цвела,
Где пэри, блистая, душою собранья была,
Там скрытая правда впервые открылась мне ночью,
Глаза мои грешные вот что узрели воочью:
По крови народной ладьи властолюбья плывут,
И дыбится дым,— это труп справедливости жгут.

Тишина

Ни голоса друга,
Ни звука шагов в темноте,
Ни шорохов близких,
Ни дальнего плеска прибоя,
Ни шума тревоги,
Ни легкого прикосновенья,
Ни теплого вздоха из чьей-то груди —
Тишина...
И если в такой тишине
Даже смутного шелеста нет,
Ни жаркой, текучей жемчужины —
Чьей-то слезинки,
Ни трепета сердца живого —
Лишь мрак и молчанье,
Каким одиноким, тревожным становится путь!
Как хочется,
Чтобы хоть чье-то лицо промелькнуло,
Чтоб молния по небесам полоснула!

Гагарину

Прими наш привет, о посланец Земли, о бесстрашный орел,—
Крылом дерзновенья порвав тяготенья извечные звенья,
Ты волю обрел
И в небо взлетел, и нежданная весть о полете твоем
В просторе звенит бесконечном — над Млечным Путем,
Прими наш привет, о потрясший небесные сферы,
Дыханьем земным потревоживший кудри Венеры,
Заставивший звезды впервые застыть в изумленье —
Услышать груди человеческой сердцебиенье.
Прими наш привет, о посланец Земли! По-орлиному смел,
Порвать ты сумел тяготенья извечные звенья
И в небо взлетел!

Грядущее

Близится,
Близится,
Близится
Гул приглушенный, из тьмы долетевшие шорохи,
Чьи-то шаги и слова, словно искры, затлевшие в порохе,
Отзвуки криков и кличей, колеблющих черные пологи.
Слышится,
Слышится,
Слышится
Над крепостями, дворцами, темницами, тронами,
Над золотыми венцами, империями потрясенными
Громоподобное «нет», повторяемое миллионами.
Ширится,
Ширится,
Ширится
Ветер весенний, свободную жизнь возвещающий,
Пламя знамен раздувающий, стены дворцов сотрясающий,
Ветер надежды, и правды, и радости всепобеждающей.
Движется,
Движется,
Движется
На корабле долгожданного братства плывущее,
Жизни у смелых берущее, счастье рабам раздающее,
Победоносное, к солнцу зовущее — наше Грядущее!
Близится,
Близится,
Близится...

■

МУЛУД ФЕРАУН

Дни Кабилии

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ

Перевод с французского Н. СВЕТОВИДОВОЙ
Иллюстрации Шарля Брути

«...Алжирская война подходит к концу. Мир тем, что погибли. Мир тем, что будут жить. Хватит террора. Да здравствует свобода!» Этим восклицанием, этим столь редким для Мулуда Фераун восклицательным знаком заканчивалась рукопись его «Дневника», отосланная издателю в феврале 1962 года.

А 15 марта около полудня группа вооруженных людей в штатском ворвалась в здание, где он, учитель, и несколько его коллег обсуждали планы своей работы. Всех шестерых вывели на улицу. Всех шестерых расстреляли в упор из автоматов. Последним упал Мулуд Фераун, сраженный десятью пулями. «ОАС целилась в самое сердце нашей надежды»,— сказал, узнав о гибели Мулуда Фераун, алжирский писатель Жан Амруш.

Хоронили Мулуда Фераун утром 18 марта, а вечером того же дня Франция и Алжир подписали в Эвиане соглашение о прекращении огня. Огня, не смолкавшего семь с половиной лет и погубившего полтора миллиона алжирцев. В том числе и Мулуда Фераун, который был и остается самым значительным писателем арабского Магриба.

Он родился в 1913 году в деревне Тизи-Хибель, одной из сотен горных деревушек,— то шапками, отороченными зеленой каймой кактусов, восседают они на макушках Атласских гор, то прячутся в гранитных ущельях, а все вместе зовутся Большой Кабилией. Он был сыном бедного крестьянина, который умудрился, еле-еле сводя концы с концами, дать Мулуду образование. Мулуд блестяще окончил коллеж в главном городе Большой Кабилии — Тизи-Узу, а потом и педагогическое училище в пригороде алжирской столицы — Бузареа. Учительствовал в кабильских сельских школах, а в 1957 году, спасаясь от травли колониальной администрации, перекочевал в город Алжир. Но так и не прижился в столице и все жаловался близким, что не может он жить без корней, оставшихся там, в Кабилии.

Писать Мулуд Фераун начал лишь тогда, когда глубоко осмыслил историческую судьбу своего народа и свое место в его борьбе. Огромное влияние на его формирование как писателя оказала, вспоминает его друг, французский писатель Эммануэль Роблес, великая русская литература, которую он узнал еще в годы учебы и перед которой преклонялся всю жизнь. Он досконально знал французскую литературу, любил американцев — Дос Пассоса, Фолкнера, зачитывался Хемингуэем.

Первый роман Фераун «Сын бедняка» возвестил о ярком даровании никому дотоле не известного алжирского учителя. В герое этого автобиографического романа, сыне бедняка — автопортрете самого Фераун,— соотечественники узнавали самих себя, свою боль и свои надежды. Это было в 1950 году.

Родина, лишенная слова. Народ, ищущий свой путь и избирающий борьбу. Мечта человека, ненавидящего ненависть и переполненного любовью ко всем униженным и оскорбленным и обращенным в рабство. Мечта о «мире сердец, невозможном мире сердец». Эта мечта Мулуда Фераун и стала его главной темой.

После «Сына бедняка» он пишет и публикует в 1953 году роман «Земля и кровь». Потом, уже в 1957 году, в самый разгар освободительной битвы Алжира, вышел роман «Дорога, ведущая в гору». В его «Дневнике 1957—1962 годов» есть много размышлений о причинах и возможном исходе поединка Франции и Алжира — Франции,

великую культуру которой Мулуд Фераун считал и своей культурой, и Алжира, растоптанного Францией. Он никогда не опускался до «расизма наизнанку». Умел различать две Франции. Мулуд Фераун верил во всепобеждающую силу просвещения, в неистребимую силу разума, знания, культуры. И именно поэтому гневно отвергал колониализм с его, как он написал однажды, «бронетанковой цивилизацией».

Открывать книги Мулуда Ферауна — это всегда радость. Потому что они распахивают перед нами двери в новый, неизвестный нам раньше мир. И где мы сразу, повинуясь нашему умному и доброму гиду, оказываемся в гостях у очень близких людей.

«Дни Кабилии» были изданы через несколько лет после гибели писателя. Очерки Мулуда Ферауна, которые, пожалуй, можно и даже лучше назвать поэтическими новеллами — о его деревне, о его земляках, о его Кабилии,— сопровождаются рисунками его друга и спутника в скитаниях художника Шарля Брути. Это удивительный лирический дуэт. Один вполголоса, доверительно, с улыбкой, как своим, рассказывает. О старухе с вязанкой хвороста. Не его ли это мать? О беглеце, вернувшемся в родную деревню после долгой и безрадостной жизни на чужбине. Не сам ли он это? О рынке, о площади, о празднике... А другой почти небрежно, скупыми жестами-штрихами показывает. Смотрите, мол, как выглядит то, о чем с вами говорит Мулуд. И образ литературный полностью совпадает с образом рисованным.

ЦОППИ

Моя деревня

Я не из тех, кто терпеть не может свою деревню. Хотя у меня множество причин не слишком-то ею гордиться. Ей известно, что я много путешествовал и долго жил где-то еще, но она привыкла к моим возвращениям. Она так часто меня теряла и без конца обретала вновь, что перестала обращать на меня внимание. Она не боится меня, и этим все сказано. Каждый раз деревня принимает меня запросто, с самым обычным выражением лица, точно так же, как она встречает других своих детей, тех, кто покинул ее утром, а вечером возвращается с полей. Это трогательный знак доверия, я очень его ценю.

Те, кто, возвращаясь в деревню, плохо говорит о ней, делают это в какой-то степени с досады. Они сердятся на нее за то, что она так некрасива, и она их понимает, не сомневайтесь: еще бы, ведь перед их глазами она предстает гораздо более безобразной, потому что они вернулись издалека, после долгого отсутствия и в голове у них еще теснятся прекрасные образы. Но на самом-то деле, что бы там ни говорили, они ее любят, и очень. И в конце концов начинают видеть ее такой, какая она есть, находя в ней все новые и новые прелести, но с этого момента они сливаются с ней в одно целое. Они уже не новенькие. И тогда другие начинают считать их безобразными, те, что в свою очередь очень скоро станут походить на всех остальных. Неизменный свидетель бесконечного кочевья своих эмигрирующих детей, наша деревня посмеивается над нетерпеливыми притязаниями, непреодолимым препятствием стоит она на пути долго вынашиваемых надежд, и те угасают сами собой, а деревня стоит как стояла.

Если она сурово встречает вновь прибывших, так это потому, что те приносят с собой нездоровый городской воздух. Мне кажется, я угадал главное, но она не может оценить меня по заслугам, ей думается, что об этом и так все знают, только делают вид, будто не замечают. Этим-то и объясняется ее чрезмерная обидчивость. Так и кажется, что она вот-вот скажет своим блудным детям, всем без разбора:

«Нечего щеголять своим роскошным костюмом и чемоданом, мой милый. Помни, что костюм этот очень скоро утратит все свои складки. Это я беру на себя. На нем появятся масляные пятна, слой невидимой пыли, и он потеряет свой блеск. А я еще и моли добавлю. И недалек тот день, когда ты наденешь его в поле, на пахоту. А там сам знаешь, что его ждет! Чемодан? Да стоит ли говорить об этом! Я-то знаю, куда он отпра-

вится, твой чемодан. На полати, я не ошиблась? Мне нечего беспокоиться. Времени пройдет немало, так что он порядком прокоптится. В один прекрасный день ты его вытащишь, снова собравшись в дорогу. И не будешь знать, куда деваться с ним от стыда в поезде и на пароходе».

Когда люди, являющиеся прямиком из Парижа, отпускают такси, которое они наняли, чтобы произвести должное впечатление на женщин, двери во всех домах приоткрываются и невидимые взоры следуют за ними по пятам. И кажется, будто у деревни появились сотни глаз или будто сама она превратилась в одно небывалых размеров око, которое насмешливо поглядывает на вас, тысячекратно повторяя ваше отражение.

«Так мои улицы вам кажутся узкими и грязными? А я и не скрываю этого. Вас-то я видела совсем крохотными, помнится, вы были очень довольны, барахтаясь на этих улицах, как грязные утята. Ступайте-ка лучше дальше! Это ваша джемаа *. Разумеется, она кажется вам смешной и ненужной. Что верно, то верно, это не площадь Звезды! А знаете, как я себе представляю вас на площади Звезды? Похожими на этого вот боязливого котенка, который пробирается мимо вашей джемаа, заполненной бездельниками. Что, и хижина для вас стала тесновата? А вы забыли, что она ваша и что каждый уголок ее — это ваше прошлое, связанное с вашим именем, с вашими далекими надеждами, вы забыли, что она свидетель ваших наивных мечтаний, вашей глупости, ваших страданий? Да будьте же наконец скромнее! Увидите, вам здесь понравится, уж поверьте мне...»

Так вот! Я подобных речей никогда не слышу, они ко мне не относятся. Не то чтобы деревня меня как-то выделяла или уважала, считала не таким, как другие. Просто ей надоело надо мной насмехаться, я так часто возвращаюсь! И даже если вдруг ей почему-либо чудилось презрение в моем взгляде, она лишь пожимала плечами. И только.

«А! Ты опять тут? Ну что за церемонии! Ты мне нисколько не мешаешь... Ступай-ка скорехонько к себе. Это в самом конце, вон там, в квартале Аит-Флан, на самой длинной и самой узкой улочке, где дома похожи на клетки с деревянными решетками, потому что каждый решил там отгородиться от других решеткой из кольев. Знаю, знаю, тебе кажется, что тут нечем гордиться. Ничего, косись сколько угодно на мою

* Собрание общины и площадь, где оно происходит *(арабск.)*.

агуду *; да-да, ты прав, она порядочно разрослась. Ты увидишь и ограду, за которой прятался дом вашей престарелой соседки: прошлой зимой ограда рухнула, но ее кое-как залатали тростником. Не беспокойся, на улицах грязи хватает, хватит и на то, чтобы запачкать твои начищенные ботинки и даже брюки. Впрочем, не только грязи. Когда ты придешь посидеть на плитах джемаа...»

Она бормочет мне эти незлые колкости таким дружеским тоном, что каждый раз ухитряется смутить меня. Тогда она замолкает на полуслове и оставляет меня в покое. Но я стараюсь скрыть свое смущение и насмешливо отвечаю ей:

«Что за вздор ты несешь, старая! Я успел заметить, что и ты стремишься не отстать от времени. Дорогу-то, что ведет на кладбище, починили. Это неплохо. Ее выложили камнем и расширили. Признайся, ты немножко гордишься ею. Да и гараж теперь есть, в прошлом году его не было. А рядом — маслобойня и мельница, которая тарахтит, словно мотоцикл. Мне рассказывали, что в булочной есть тестомесилка. Итак, ты решила механизироваться и уже зазналась! Тебя беспокоят отбросы? Вообще-то говоря, отбросов везде хватает. А в городе еще больше, чем здесь. Только там они скрыты. Ничего не видно, зато отравы гораздо больше. Воздух там и впрямь нездоровый, что уж тут говорить. Так что утешься, старая!

Наши усилия тщетны, никогда нам не удастся полностью изменить твой вид. Очень может быть, что мы уродуем тебя своим стремлением к подражательству. Земля — это само здоровье, скромность и чистота, она все равно что бедная крестьянка из хорошей семьи. Чтобы изменить твое лицо, пришлось бы смести тебя, уничтожить, перенести твой пепел в другое место и попытаться вновь построить на этом пепле. Но тогда ты перестала бы существовать, а мы — любить тебя.

Так зачем же сердиться и так неприветливо встречать нас? Разве существует лучшее доказательство сыновней привязанности, чем наши упрямые возвращения? Ты сомневаешься в том, что мы дорожим тобой? Напрасно, мы связаны с тобой, а ты с нами крепко-накрепко, и никто из нас не в силах отречься друг от друга.

Те, кто забыл тебя — ты же знаешь,— не могли ничего поделать, им оставалось только забыть тебя, им повезло, так что это простительно. Им даже случается сомневаться в твоем существовании, и такое сомнение для них — благо. Если бы ты видела, как хорошо им живется в цивилизованном мире, ты бы робко отступила назад, тебе бы захотелось провалиться сквозь землю. Они делают тебе честь!

Но приходят трудные дни: долги, болезнь, нищета, старость — всего не предугадаешь,— и добрые люди, да-да, те самые, говорят себе, что час возвращения, видно, пробил. К ним возвращается память, они прекрасно припоминают все, что тебя касается. Сердце их тает. И с того момента, как ты становишься нужна им, они снова начинают любить тебя. Потом в один прекрасный день они возвращаются назад, чтобы занять свое место, которое ты верно для них хранила. Хотя часто этим местом оказывается всего-навсего продолговатая яма — там, в конце путешествия, там, куда ведет проезжая дорога и где все мы кончим в один прекрасный день. Безымянная могила, которая смешается со всеми остальными и так же, как все остальные, оденется ранней весной покровом ломкого ковыля и белых маргариток».

* Свалка, помойка *(арабск.)*.

Джемаа Аит-Флана

Джемаа принадлежит мужчинам Всем мужчинам. Это их неотъемлемое достояние. Чаще всего на вид она неказиста, но ей и горя мало. Она довольствуется своим именем. И раз уж ее называют джемаа, она преспокойно может располагаться у самого входа или в центре, а то и в любом углу деревни и состоять из грубо сколоченных мостков или просто сливаться с улицей; ничто не может умалить ее достоинств. У нее своя история, свое особое значение, свой круг посетителей.

У тех, кто живет наверху, есть своя джемаа — Тажемаит-у-фелла; а у тех, кто живет внизу, своя — Тажемаит-буада. Промежуточный квартал располагает собственной джемаа, которую называют как придется. Таким образом, есть наша джемаа, ваша джемаа и их джемаа. И так испокон веков.

Само собой, наша джемаа самая лучшая. И уж поверьте, к другим я отношусь несколько свысока. Это вопрос принципа. Надо любить то, что тебе дано!

У мужчин есть дома и поля, но так как этого мало, у всех у них есть еще и джемаа. Это как раз то, что необходимо им для полноты счастья. Джемаа принадлежит отнюдь не всему кварталу. Каждый воображает себя единственным ее хозяином. Когда кто-нибудь произносит вслух «наша джемаа», про себя-то он обязательно думает: «моя джемаа». Эта мысль утешает его, помогает ему мириться и с домом, слишком тесным, и с узеньким двориком. С небрежным видом опускается он на каменные плиты, потягивается, дремлет там после обеда или болтает. Вокруг него рассаживаются люди из его харубы *. Для праздных людей место на скамьях всегда найдется. Теснiться не приходится. Если же случается, как, например, в праздник, что на скамьях полным-полно, что ж! Обществу всякий рад, да и глазу приятно. Ну, а предположим,

* Харуба — квартал в кабильской деревне, населенный семьями, ведущими свой род от одного предка.

что среди собравшихся окажутся враги, люди, недолюбливающие друг друга? Они постараются не соприкасаться, вот и все. Джемаа принадлежит всем вместе и каждому в отдельности.

Возле самой широкой скамьи лежит наполовину вросший в землю большой красный валун. Кто-то притащил его сюда с реки. Когда я появился на свет, он уже был здесь. Он и теперь здесь. Феллахи приходят сюда точить свои топоры, школьники трут об него карандаши, а пастухи — старые притупившиеся ножи.

Он — мой, этот огромный точильный камень. Совсем недавно я вновь повстречался с ним. Казалось, он ждал меня, и, проходя мимо, я кинул на него взгляд собственника. Мне захотелось присесть возле него: в руках я как раз держал садовый нож. Неужели не осталось ничего, кроме этого камня, чтобы, как бывало, приветить меня? Да, я и забыл сказать, что скамьи были отделаны заново, плиты уложены по-иному, одним словом, джемаа принарядилась. Стала не той. И я почувствовал себя гостем. Зато красный валун остался на месте. Мы тотчас узнали друг друга.

Образ прежней джемаа я сохранил нетронутым. Она не слишком отличалась от той, которую можно увидеть теперь. Но я предпочитаю тот, прежний образ моей джемаа. В конце концов это естественно. Раньше только одна скамья была покрыта плитами. То было почетное место, особое предпочтение ему отдавали амин * и ростовщик — лица исключительной важности, причем оба из нашей карубы. Амину охотно уступали место. Он был дипломатом, и люди нашего квартала гордились им. Он заслуживал всяческого уважения. Это всеми признавалось. Что же касается другого, то его должников узнавали по их услужливому рвению при одном его появлении. Он был грузным и тучным. Усаживаясь, он занимал целую плиту. Мало того, окружающие должны были немного отодвинуться: он не любил никого касаться. Но так как никто до конца не был уверен, что сможет обойтись без его услуг, неприязнь к нему проявлялась не слишком открыто, и все делали вид, будто слушают его речи. Впрочем, он был хитер и хорошо знал людей, угадывая их тайные мысли. Когда его должники, играя с ним в шашки на досках, выдолбленных в плитах, проигрывали ему всякий раз ради приличия, он насмешливо торжествовал и всем своим видом, казалось, говорил: «Да, ты правильно делаешь, что проигрываешь».

За исключением амина и ростовщика, жители квартала садились где придется, им было все равно. Хотя, надо сказать, у старого Уссады была своя скамья. Уссада был слепым и неизвестно почему любил эту скамью. Постоянно встречая там старика, люди стали говорить: «Скамья Уссады». Так и повелось. Старика этого и я помнил уже довольно смутно. А последующие поколения, которые вовсе в глаза его не видели, продолжают говорить попросту, не проявляя ни малейшего любопытства: «Скамья Уссады».

Должен признаться, у меня не было постоянных связей с нашей Тажемаит. Мне думалось, что одно это может оправдать мое равнодушие по отношению к ней и, уж во всяком случае, объяснить мою инстинктивную привязанность к образу прежней джемаа, такой, какой она была во времена моей юности. И что ж! Я ошибся. Наша джемаа и в самом деле изменилась. Я был прав, разочаровавшись в ней. Все это мне высказал как-то ветеран нашего квартала. Он был недоволен, ветеран. И сразу понял, что я готов его слушать. Я застал его в тот момент, когда он разгонял мальчишек, которые с криками перескакивали со скамьи на скамью, ловко уклоняясь от его ударов, доставшихся каменным плитам.

---

* Староста *(арабск.)*.

— Попробуй только тронь нас, злой Хемадуш,— выкрикнул самый храбрый из них.

Они вспорхнули, точно воробьи, а он обернулся ко мне:

— Видишь! Они никого не боятся. Хозяевами себя чувствуют.

— Не сердись, баба́ Хемед. Джемаа принадлежит всем, а ребятишки любят поиграть.

— Да-да, конечно. Смешно на меня смотреть, я знаю. Ребят теперь перестали воспитывать. Они командуют отцом, матерью, да и в школе тоже. Я маюсь с ними, а никому это не надо. Верно, тоска по прошлому. Ребятишки смеются надо мной, молодежь меня презирает. Да и я их тоже не жалую. Пока жив буду, я им спуску не дам.

— Раньше было гораздо лучше.

— А кто виноват? О! Это не их вина. Виноваты мы, мужчины. Думаешь, эта распущенность кого-нибудь трогает? Все делают вид, будто ничего не замечают. Мы забыли уроки отцов.

— Времена меняются.

— Еще бы им не меняться, когда мы на все рукой махнули. Разве я не знаю, что джемаа принадлежит всем? Всем мужчинам. Только мужчин-то больше нет. Значит, и джемаа не будет.

— Логично.

— Логично? Когда приходишь на джемаа, надо уметь вести себя по-мужски, уметь поддержать мужской разговор и ни перед кем не опускать глаз, будь то брат, друг или недруг. Сюда приходят послушать старших или поучить молодежь. Приходят себя показать и места своего на скамье не уступить. Нет ничего прекраснее, чем джемаа в полном сборе, словно большая единая семья, сильная, полная решимости. Раньше джемаа была именно такой. И когда соседи подсылали своего соглядатая — посмотреть, что да как, мы говорили ему «добро пожаловать», чтобы подчеркнуть, что он не у себя. Тот весь съеживался и, побыв из вежливости минутку, возвращался восвояси сам не свой. Джемаа — это честь харубы. Место, где произносятся веские слова и вершатся мужественные поступки.

— Знаешь, баба Хемед, свой первый мужественный поступок я действительно совершил на джемаа.

— А! Вот видишь.

— Да-да, мне было два года. Меня принес туда на руках отец. Был там и Мох-Саид — да упокоит бог его душу,— который стриг всем бороды. Я плакал, и он протянул мне ножницы, чтобы отвлечь меня.

— И что же?

— А вот что! Ножницы-то до сих пор у меня. Тому уж тридцать пять лет. Я не хотел их отдавать, а потом и он забыл о них. Эту историю мне рассказал отец.

— Да ты шутишь. Что ж, я понимаю. Нет, раньше ребятишек не прогоняли. Они ведь тоже мужчины. Только они смирно сидели рядом со старшими и слушали, и для отцов это было приятное зрелище. А не то отправлялись на кладбище или пустырь, чтобы всласть поразмять себе кости. Они знали, что джемаа — это для серьезных людей. Не станешь же ты говорить, будто ничего этого не помнишь, это ты-то!

Конечно, помню. Я был очень послушным мальчуганом и часами просиживал рядом с какими-нибудь двумя детинами, слушая их разговоры. Я старался не упустить момента особого наплыва народа; обычно нас собиралось несколько человек, мы бросали наши игры, чтобы послушать мужчин. Нам было по одиннадцати, двенадцати, тринадцати лет. Как правило, джемаа заполнялась по вечерам. Возвращаясь с полей, феллахи приходили туда коротать остаток дня, предоставив женщинам хозяйничать в доме, готовить ужин. Собрания эти длились до темноты, а иногда продолжались и при свете луны. Просто непостижи-

мо, сколько я всего узнавал, слушая разговоры мужчин. Призывая на помощь свои смутные познания по географии, я с ранних лет странствовал по всей Европе и даже дальше: Париж, север, юг, восток, запад, Германия, Англия, Америка. Надо было всюду побывать, следуя за рассказчиком на шахту, на завод, в тюрьму, в лагерь интернированных, в деревню, на митинг, в бистро, на ярмарку, потасовку, в публичный дом. Надо было сопровождать его за границу, в казарму, на битву, на фронт, словно героя какого-то невидимого романа, который непременно выпутается из любого трудного положения и не испугается ни опасности, ни выдумки, ни лжи. Потом речь заходила о наших делах, это было, конечно, более близко и понятно и поучительно для молодежи.

Родители наши не подвергали ни малейшему сомнению значительность и важность тех познаний, которые ребятишки приобретали, присутствуя на мудрых собраниях джемаа. Это и в самом деле было очень полезно. Все слушалось с жадностью, всему верилось, и в конце концов все познавалось. Наше детское воображение могло странствовать в каких-то неопределенных мирах, и мы раздумывали о своем возможном будущем серьезно, как взрослые. Каменные плиты были твердыми, не ватными. И уроки, полученные нами там, были жестокими уроками, грубыми, неприкрашенными. Рядом с ними нравоучительные беседы школьного учителя выглядели бледно, словно розовая водица. Разумеется, их мы тоже любили, но они впечатляли меньше.

Иногда — или, вернее, очень часто — по какому-либо, не всегда ясному для нас, поводу два здоровенных верзилы подымались со своих скамеек, чтобы выяснить отношения на арене битвы. Захватывающие мгновения для мальчишек, которые втайне принимали ту или иную сторону. Борцы успевали обменяться несколькими тумаками, прежде чем остальные вставали, чтобы разнять их. Обычно это удавалось, но случалось и так, что потасовка становилась всеобщей, тогда все осложнялось. Ребята же не трогались с места: это было забавно, и они смотрели. Если же дело затрагивало их интересы, наиболее отважные тоже старались не отстать и кидали в кучу камень побольше. Потом все стихало. Вояк разводили по домам, и снова скамьи заполнялись степенными людьми.

Когда джемаа спокойна, вид у нее весьма почтенный. Обычно мужчины садятся на каменные плиты, прислонившись спиной к стене, подтянув колени к груди, а ноги спрятав под бурнус. Так вот и сидят, съежившись, в плену неисчислимых предрассудков, с которыми им не расстаться вовек, хотя в голове у них полная ясность, а глаза искрятся лукавством. И башмаки их, благоразумно выстроившиеся в ряд возле скамеек, свидетельствуют о стремлении к покою и братскому согласию, том самом стремлении, которое заставило усталых феллахов покинуть свой дом и прийти на джемаа. Но при малейшей тревоге бурнусы распахиваются, ноги вытягиваются, ботинки исчезают, и игра начинается.

Откровенно говоря, баба Хемед не зря сожалеет о прежней джемаа, да и я вместе с ним. Хотя молодые придерживаются другого мнения. Они решили завоевать все джемаа во всей деревне. А завоевав, лишить их былого величия, не принимать больше всерьез, наплевать на принципы.

— Этот старый филин злится на нас из-за двух своих дочерей. Соседские ребята приходят за нами сюда, а он думает, что это из-за его дочерей. Мы-то ходим к ним. И видим всех тамошних девушек! Разумеется, тем тоже это не доставляет особого удовольствия. Только хороши бы мы были, если бы старались угодить старикам. Мы прекрасно знаем, что не дает им покоя. Еще бы! Им подавай софы *, политику и, уж конечно, ревность да ненависть. Они по уши погрязли в ненависти, все эти ста-

* Враждебные кланы племени.

рики. Одно их изобретение чего стоит. Вообразите — выдумали соху! И только-то. Когда-то кто-то изобрел деревянную соху. И с той поры конец, деревянная соха — и все тут, а больше и знать ничего не желают. Так что пусть лучше помалкивают. Нам плевать на джемаа. Есть кафе. А сюда мы приходим ненадолго, да и то, чтобы позлить их. Долой прошлое — дикую вражду между детьми одной деревни! Долой старый порядок!

Что ж, я согласен. Я дорожу моими воспоминаниями, но у молодежи свои идеи, и изменить мир — это дело молодых.

Но вот на прошлой неделе пришла ко мне делегация моих юных собратьев, решивших посоветоваться со мной.

— Так вот! Мы хотим переделать нашу джемаа.

— Опять!

— Ну да, опять. Мы рассчитываем на тебя и на всех других, кто постарше нас, но достаточно еще молод.

— Ага! А старики?

— Старики? Представь себе, они недовольны. Им больше хочется подновить мечеть. Подумай только, мечеть всей деревни!

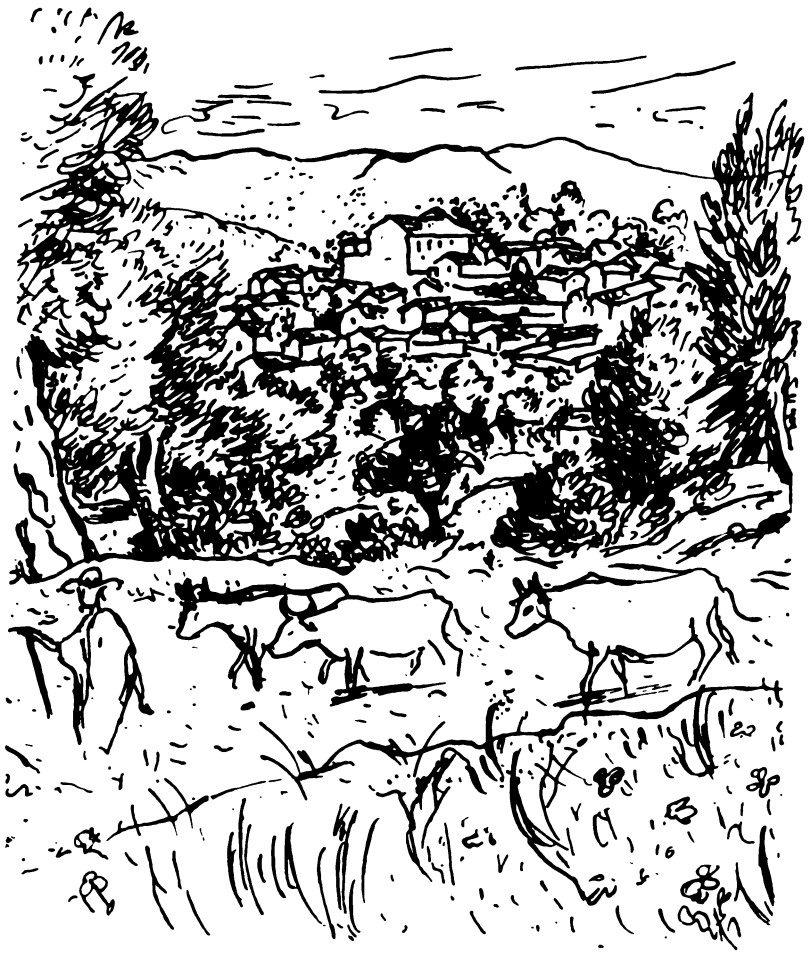
— А может, они правы. Ведь всей деревни.

— Вот именно! А нас, молодежь, интересует не деревня, а наша харуба.

— Э-э! С каких же это пор?

— Разве мы не из Аит-Флана? А ты не знаешь, что в верхней части деревни они уже перестроили свою джемаа? Смотри, это дело чести, брат. Старики нас предали, но мы должны держать факел. Из Парижа наши прислали 80 000 франков. Мы написали друзьям в Лилль, в Эльзас. Даст кто что может. Наша джемаа должна быть самой красивой.

Они ушли довольные, уверенные в том, что и для меня тоже джемаа нашего квартала много значит. А я подумал, что через месяц, когда я снова ее увижу, она будет неузнаваема. Но может быть, я все-таки отыщу там мой точильный камень — красный валун?



Тимирет

Начинается это всегда одинаково. Да и как же иначе, если кончается это тоже всегда на один манер!

Откуда ни возьмись, возникает сон. Те, кто живет наверху, утверждают, будто сон явился снизу. А те, кто живет внизу, приписывают его кому-нибудь из верхней части деревни. Но избави бог начать расследование этого дела, потому что иначе сон может совсем уйти из деревни и в отместку запрятаться куда-нибудь в соседнюю деревню.

— Да, это сущая правда. Нашим людям ничего такого не снилось. Это не мы, а наши соседи. Только будто бы и у них никакого такого сна не было. А заговорила коза. Ни с того ни с сего. Она велит всему племени — да-да, всему племени! — резать скот. Имеющий уши...

— Да никакая не коза, а новорожденный! Первое его лепетанье было вполне осмысленным. Мать напугалась и тут же к талебу *. Говорят, есть чему поучиться у младенца.

---

* Талеб — учитель *(арабск.)*.

— Быть не может! Ты говоришь, бородатый старик рассказывал об этом на верхней джемаа?

— Да. А потом пойдет дальше, в другие деревни. Не одни мы на свете.

— А бородача-то этого ты знаешь? Ты же видел его? Слышал?

— Нет. Да что я, в бога не верю, что ли! Год выдался плохой, надо понимать. И так уже корь пошла. Может, и еще что начнется. Во всяком случае, нас предупредили. Наши тамены * перед богом в ответе за зло, которое нас подстерегает.

Молва растет. Волей-неволей приходится собирать всю деревню, решать, быть или не быть очистительному тимшрету. Сказать по правде, женщины в этом деле много значат; воображение у них богатое, а о том, что и всегда-то они были вестницами не то бога, не то сатаны, и говорить нечего. Но мужчины свое дело знают. Хорошо, купим мы этих быков, раз все того желают. Нечего сеять панику.

— Нас не проведешь,— говорят старейшины.— Знаем мы эти сны суеверных старух и их выдумки, всех этих пророчествующих младенцев и вещих зверей. Они такого наговорят! Но если подумать, год и вправду выдался неважный. Жертвоприношение не повредит.

Живо собирают деньги, идут на базар и покупают быков. И тут-то выясняется, что у соседей не было ни снов, ни видений и что, напротив, это мы вынуждаем их следовать нашему примеру. Теперь уже они, ссылаясь на нас, убеждают друг друга. И, в свою очередь, покупают быков. А за ними и другие деревни. Настоящая зараза. Но зараза эта редко выходит за пределы племени. Пусть другие выпутываются, как знают! Главное, прогнать порчу от себя. Само собой. Тем хуже для тех недальновидных, кто даст ей пристанище.

Когда быков пригоняют на джемаа, ребятишки бегут смотреть на них, и взрослые не перечат. Мальчишки могут подходить, гладить скотину, приносить охапки травы. Они могут смеяться, кричать, резвиться — взрослые все понимают. А если и напускают на себя высокомерный, даже несколько презрительный вид, то в глубине души разделяют радость малышей. И с таким же нетерпением ждут завтрашнего куска мяса. Женщины возвращаются с поля или с родника все с тем же невозмутимым видом. Но как только завидят мальчишку, обязательно скажут ему бесстрастным тоном:

— Быки уже на джемаа. Беги скорее глядеть. Это все на завтра. Там есть один здоровенный с кривыми рогами, ревет во всю глотку. Он вполне подошел бы для такой большой харубы, как наша. Но дележ — это уже мужское дело. Хотя другие быки тоже ничего. Беги скорее на джемаа!

На другой день — собрание по распределению работ. Работоспособные мужчины станут мясниками, ребята отправятся за папоротником, а старейшины будут подбадривать, болтать, приставать, так что их нет-нет да и одернут. Ребятишки прежде всего идут к водопою, поить скотину. Как только они возвращаются, шейх читает фатиху ** и каждая харуба принимается за работу, расположившись вдоль большой дороги неподалеку от кладбища. Быков разделывают тут же. Когда работа заканчивается, куски мяса распределяются в зависимости от их качества и по справедливости раскладываются на длинной-предлинной дорожке из папоротника.

Но прежде чем наступит этот момент, пройдет целый день. Скоро только сказка сказывается, а дело-то, оно не скоро делается.

Надо сказать, что мясников у нас нет. Когда феллах берется за разделку бычьих туш, начинается настоящая резня, можно подумать, будто

* Тамен — старейшина, ответственный харубы *(арабск.)*.

** Фатиха — первая глава Корана.

в сокровенных глубинах его души просыпается кровавый инстинкт первобытных людей. Весь мокрый от пота, перепачканный кровью, пропитанный жиром, он впадает в транс, глаза его блестят, он говорит громким голосом, размахивает что есть мочи топором, стиснув зубы, режет длинным ножом. Усмехается, шутит, сердится. Над площадью носится ветер победы, запахи бойни возбуждают обоняние, в предвкушении лакомства ощупываются куски мяса. Хочется потрогать их все. Ребятишки переходят от одной группы к другой, пытаясь стянуть бычьи пузыри, чтобы надуть шары, трогают требуху, не остывшие еще шкуры, с ожесточением накидываются на собак, отгоняя их ударами рогов. Время идет. Несмотря на весь этот неуемный пыл, кончают поздно и, когда начинается дележ, мясо подают искромсанное, изрубленное, искалеченное — к полнейшему отчаянию таменов, которые пришли сюда, чтобы наблюдать за работой. Постепенно образуются отдельные кучки.

— А ну-ка, добавь сюда кусок печенки.

— Послушай! В этой куче не хватает.

— Эй! Да ты уже второй раз сюда подкладываешь.

Пробил час нескончаемых споров, и старейшины пускаются в сложнейшие арифметические вычисления, что всякий раз неизбежно вызывает бесконечные пререкания. Испокон веков существующая традиция требует, чтобы каждая доля состояла из двадцати кусков. Например, известно, что деревня делится на сто частей и что в общем четыре харубы получат каждая от двадцати до тридцати кучек. Пока, казалось бы, все идет гладко. После новой фатихи шейха на нескончаемой дорожке из папоротника распределяют кучи между харубами. И не просто так, на авось. Старейшины тянут жребий. Никакая бдительность с их стороны не может помешать тому, что порою доли получаются не совсем равными. Тогда они предоставляют дело случаю. И уж от этого случая зависит, какая из харуб окажется в выигрыше. Кому повезет! Каждый тамен получает отрезок дорожки, и ему остается только поладить со своими. Вот тут-то и начинаются сложности, несмотря на всю предусмотрительность и опыт, вопреки хитроумнейшим рассуждениям.

Наконец, все в сборе, все разбираются по харубам, и всем ясно, что быстрый ход дела зависит от дисциплины и порядка. Каждый намеревается держаться достойно, это да. Но ведь надо же еще и следить, неровен час... И следят все до одного. Да с таким рвением, что забывают держаться достойно, каждый спешит вставить замечание, предостеречь, дать совет, указание, начинаются крики, а потом и полная неразбериха. В какой-то степени это понятно. Когда покупаешь мясо на рынке, выбираешь то, что тебе по карману, платишь и идешь себе, не заботясь о соседях. А тут всем известно, что у соседа столько же прав, сколько у вас. Столько же, но не больше. Каждый требует только то, что ему положено. Но уж все, что положено. Никто не уступит ни косточки, ни жилочки. Тут, как говорится, не до жиру; один кусок надо разделить на десять. Причем каждый защищает этот свой кусок. В кои-то веки представился случай, неужто им не воспользоваться, черт побери!

На другой день утром старейшина с карандашом в руках ведет подсчеты. У него список. В этом списке все жители его квартала разбиты на группы по двадцать человек. Во главе каждой такой группы стоит ответственный. На соломинках тащат жребий, кому какая куча достанется. Если бы каждая семья состояла из двадцати человек, все было бы в порядке. Но посудите сами, нас, например, семеро. К нам примазали двоюродного брата, который берет на пятерых, и еще одного, тот берет на четверых, потом третьего, тот — на троих, да еще одинокую старую тетку. Ответственному представляется множество возможных решений.

— Это несложно,— говорит он,— я поделю все на двадцать частей, и тогда...

— Ты в своем уме? Только куски измельчишь. Дели на пять.

— Ну да, тебе-то хорошо — вас четверо.

— А по-моему, сделай четыре кучи и в каждой по пять кусков. Так будет правильно.

— Куда как хорошо вам на пятерых.

— Как же быть?

— А вот как, я разделю на две части: четыре и пять — девять и один — десять. Потом семь и три — десять.

— Думаешь, так проще?

Затем четверо, пятеро и одна разбираются как могут, семеро и трое — тоже.

Если заинтересованные стороны налицо, прийти к какому-то соглашению все-таки можно. Но порою ответственному приходится брать на себя заботу об отсутствующих, о тех, кто никого не прислал на дележ. И случается, что пропустят какого-нибудь беднягу или несчастную, забытую всеми старуху. Когда начинает темнеть, она, устав дожидаться своей доли, решается потребовать ее. Это может испортить ответственному весь вечер, ведь не отправишь же ее с пустыми руками. Но еще неприятнее, когда дело имеешь с человеком, который приносит и швыряет вам то, что ему прислали, считая, что его обделили. Старейшине ничего не остается, как вооружиться терпением и кротостью. Если ему удается всех успокоить, он с полным правом может сказать себе, что день прошел не зря. Впрочем, это святая истина: на дворе уже ночь.

Праздничная ночь в каждом жилище. Семья собирается вокруг очага, на котором торжественно возвышается полный котел. Все вдыхают аромат бульона, ребятишки развлекаются и дразнят друг друга в ожидании ужина, а отец с матерью обсуждают событие при бледном свете маленькой керосиновой лампы. Тоненькая струйка копоти от нее смешивается с облаком пара над очагом, в котором варится кускус *. Мысленно родители с любовью обращаются к тем, кого здесь нет, к тому, кто уехал на заработки во Францию, или к замужней дочери, которую они навестят завтра; они знают, что и мертвые свое получат, об этом позаботятся нищие, очень скоро они начнут появляться один за другим и просить «божью долю».

Тимшрет поедают за один раз. На следующий день и речи больше нет ни о снах, ни о жертвоприношениях, ни о божьей каре. Жизнь снова идет своим чередом, хотя старейшинам еще предстоит получить деньги, которые они внесли за бедняков из своей харубы. Но это уж их дело. Обычно они знают, как за это взяться. Тут не обойтись без терпения — да, и на этот раз опять, что поделаешь,— и уговоров. Бедняки поднатужатся и в конце концов отдадут деньги, полагая, что иначе и быть не может. А прежде, мне помнится, все было не так. Всякий раз, как приходилось покупать скот для жертвоприношений, обращались к добровольцам, людям милосердным и богатым. Это называлось садака **. На собраниях, где делались сборы, старики, стараясь пробудить чувство соперничества у богачей, призывали на их голову благословения, от которых у вас дух захватывало, и вы от всей души начинали сожалеть о своей бедности, а ребята, сгрудившиеся у входа в мечеть, навостряли уши, и в ответ на объявлявшуюся сумму раздавалось их оглушительное или слабое «аминь» — в зависимости от значительности пожертвования. Припертые к стенке богачи предлагали все, что могли. Нередко случалось, что человек, первым объявивший свой дар, вновь представал перед собранием, стараясь превзойти своего соперника. То-то была радость ребятишкам. Теперь богатые отступились. Общественное мнение для них —

---

* Алжирское национальное блюдо.

** Пожертвования, установленные Кораном для раздачи бедным.

ничто. А дух соперничества играет прямо противоположную роль. Тогда-то мы и порешили собирать деньги со всех. По столько-то с человека! Это по справедливости. И ничего не скажешь, ведь едят одинаково — что бедный, что богатый. Те, кому нечем заплатить сразу, отдадут потом понемногу старейшине, для них это пройдет почти незаметно. Такая постановка дела имеет свои преимущества. Не надо унижаться перед богатеями!

Однако и среди них попадаются еще хорошие люди. В этом году один такой, вернувшись из Франции, пожелал заплатить за всех неимущих. Он внес деньги за сто двадцать человек и в довершение в тот же день раздал два мешка крупы, по килограмму на бедняка. Целую неделю у нас только об этом и говорили. Да вознаградит его господь!

Когда же после праздника прогрессисты прямо заявляют, что все это была чистая глупость, мы с улыбкой соглашаемся с ними, хотя и говорим, что критику высказывать следовало бы раньше.

— Что за нелепость! — говорят прогрессисты.— Триста тысяч франков промотали за одну ночь. Если бы вы хоть умели его есть, это мясо! Бац! Все в один котел. Слопали за вечер, а на другой день — пусто.

Заметьте, что они поступили точно так же, как мы.

— Ну, а по-вашему как надо? — возражаем мы им.

— По-нашему? Да проще простого. Триста тысяч франков. Есть на что вымостить все ваши грязные, замусоренные улицы (ваши улицы!), привести в порядок родник, джемаа, отремонтировать школу. Или, к примеру, сточные канавы. Что вы скажете о сточных канавах? Можно построить общественные уборные. Вообще что-нибудь долговечное. Во всяком случае, употребить деньги с пользой. Нет, вас ничто не исправит. Вы никогда ничему не научитесь.

Не скрою, такая точка зрения весьма привлекательна. В деревне нашей столько всего надо делать. Может, и правда придется отменить тимшреты и заняться градостроительством. Всего несколько поколений, и лицо нашей деревни станет другим.

А пока что нашим вдовам и беднякам приходится затянуть потуже пояс, рассказывая внукам о тех счастливых временах, когда в деревне очень часто раздавалось мясо садака, бесплатно или почти бесплатно, и о том, как его съедали за один вечер, словно в праздник Аид.

Остается еще добавить, что градостроительство — занятие малоподходящее для феллахов. Но в этом вопросе наши прогрессисты не слишком-то сведущи.

Рынок в Тлете

Послушать некоторых, так и ни одного базарного дня нельзя пропустить.

— Раз-то в неделю, черт побери, можно себе позволить хоть чуточку отдохнуть и поразвлечься!

Поразвлечься, может быть. Но отдохнуть, это как сказать. Рынок от нас, слава богу, недалеко. Шесть километров туда и те же шесть обратно. В общем — добрых три лье. И это не считая тех километров и километров, которые оттопчешь, слоняясь часами вдоль прилавков. Так вот, есть же люди, для которых это называется отдохнуть. Хотя они куда меньше устают, занимаясь своими обычными делами. А что ж вы хотите? Отдыхать каждую неделю да еще и без всяких неудобств?

Признаться, с одной стороны, сходить на базар приятно. Да и поучительно. Вроде как вылезаешь в свет из своей скорлупы и обнаруживаешь,

как он, этот свет, велик. В деревне-то этого не видать. В деревне крутишься себе по привычке, судачишь о всяких пустяках, пререкаешься по мелочам, испытывая бесконечное почтение лишь к самому себе да еще разве к соседу. А вышел на дорогу — и конец: спесь с тебя как рукой снимет. Из всех деревень, в гору и с горы, идут к рынку люди. Каждая тропа вытряхивает на шоссе свою пачку людей. Группы эти на шоссе встречаются, идут одна вслед за другой, обгоняют друг друга.

До рынка добираются кто пешком, кто на ослах или мулах, а кто в такси, в кузове грузовика, на автобусе. Одни идут налегке, другие тащат ношу или понукают навьюченную скотину. Тот тянет телку, обмотав ей веревкой рога, этот гонит сбившихся в тесную кучу тощих овец, цокающих копытами и вздымающих облака пыли.

А сколько тут увидишь лиц, фигур, повадок, нарядов! Целый мир, очутившись в котором взираешь на себя куда более смиренно, потому как сравниваешь себя с другими без всякого снисхождения и все равно остаешься доволен принадлежащим тебе в этом мире местом. И каждый говорит себе, что он человек как человек; и каковы бы ни были его возраст, внешность и положение, всяк найдет возможность уверовать в то, что он очень даже ничего. Здесь всех, будь они из твоей деревни или из соседней, а то и из других племен, видишь как бы под другим углом. Знакомые твои вдруг преображаются, предстают пред тобой совсем в ином свете. Некоторые, кого ты считал весьма значительными, вдруг как-то съеживаются, а иные, наоборот, всем на удивленье, выигрывают, выйдя на люди. Все это приходит в голову само по себе, хотя, вообще-то говоря, ты над этим не задумываешься, просто это носится в воздухе, и ты все больше проникаешься особым, ни на что не похожим настроением забитой людьми дороги, что ведет к бурлящему народом рынку.

Деревню свою, дом, семью тут не забываешь, нет, но они как бы отодвигаются на задний план, заслоненные пестрым холстом, который и есть картина общества, в коем ты живешь.

Но на того, кто не привык к толпе, зрелище большого базара производит впечатление внушительное и вместе с тем тягостное. Внутренне ты смиренно готов на все, понимая, что ты одинок и слаб, что одиноки и слабы все эти люди, тебя толкающие, что ты ничтожная частица непостижимого, таинственного чудища, которое сгребло тебя в охапку, слепило тебе на несколько часов другую физиономию, вселило в тебя иную душу, приобщило тебя к какому-то единому целому. И первое, что тебе, конечно, вспоминается, это случай, происшедший однажды с торговцем зерном.

Здоровенный, говорят, был детина, а человек приветливый да скромный и озабоченный лишь тем, как бы получше продать свою пшеницу, а вовсе не тем, чтобы похваляться своею силой. В один прекрасный день заявился к торговцу покупатель ему под стать, хотелось ему и зерна купить, и силой заодно померяться.

— Плохое у тебя зерно,— сказал покупатель. Набрал целую горсть и принялся давить зерна пальцами, одно за другим. И превратил их в муку. А ведь то была твердая пшеница!

— Рынок велик,— ответил невозмутимый торговец,— поищи получше.

— Ладно, давай мне двойную меру.

— Что ж, я торговец. Тебе товар, мне — деньги.

Получив от покупателя всю сумму в монетах, он вернул ему их все, кроме одной.

— Я, знаешь, больше люблю, когда мне платят бумажками,— сказал он.— Забирай-ка обратно свои медяки. Разве это деньги? Гляди!

Расплющив монету между пальцами, он скатал ее в шарик и бросил тому в лицо:

— Плати, да без шума. Давай бумажки.

И он получил свое. А противник его потерял и монету стоимостью в дуро, и гордость.

Те, кто никогда не видел рынка в Тлете, как бы ни старались они вообразить его себе таким, каков он есть, все равно не смогут этого сделать, даже если мы скажем им, что это обширнейший из рынков и что на нем множество народа. Их бы провести через весь этот беспорядок, протащить сквозь немыслимую сутолоку, заставить наслушаться этого невероятного смешения криков, воплей, гама. Нет, что ни говорите, описывать можно сколько угодно, а когда сам увидишь, дело совсем другое. Наш рынок надо видеть!

В былые времена он располагался на вершине горного хребта среди вековых дубов, которые давали тень и протягивали свои бесчисленные руки, готовые принять и требуху, истекающую зеленоватой жидкостью, и кровавые куски разделанных туш — все, вплоть до связок лука и ярких, кричащих шелков. Теперь дубы почти все погибли. А выжившие так страшно искалечены, что на них никто и не смотрит: какой от них толк. Когда-то тут стояло всего лишь одно строение из известняка, в одной его половине размещалась контора сборщика налогов, куда время от времени заглядывали хакем * и жандармы, а в другой — приемная кади **, к которому ходили ростовщики, глашатай, старики и сироты. Вокруг же разбросаны были глинобитные, а то и просто из веток хибарки, на несколько базарных часов в них располагались торговцы пряностями и тканями. Теперь у подножия хребта вытянулась проезжая дорога. И рынок переселился прямо на нее. Уже наметилась здесь в общих чертах прямая улица, обрамленная по обеим сторонам домами с балконами, которые рано или поздно сомкнутся над мостовой. Вершина с ее обветшалым домиком да с четырьмя чахнущими дубами пуста. Теперь там только ослов и мулов привязывают к толстому, похожему на застывшего удава стальному тросу, лениво обвившемуся вокруг дубов.

По вторникам под каждым из дубов восседает, царя над вьюками, мешками и корзинами, кузнец: наковальня меж ног, стопка подков под рукой. Коли день хороший, мулы и ослики, весело пофыркивая и взбрыкивая, обнюхивают друг друга, секретничают о чем-то. В дождь опускают тоскливо уши и принимают на себя ливень с каким-то стоическим пессимизмом. В жару мирно спят, стоя, растопырив уши, полузакрыв глаза; в отяжелевшей голове их проносятся смутные сны, а длинные их хвосты, что раскачиваются туда-сюда, словно маятники, с полной очевидностью свидетельствуют о глупости хозяев, вместо того чтобы отгонять от них мух.

Кузнецы, живущие среди своих клиентов, отлично знают их нравы и повадки. Стоит им только глянуть, и они уже чуют, что эта вот скотинка артачиться не станет. С ней все пойдет как надо. Подручный хватает ногу, сгибает ее в колене. Врачеватель в мгновение ока отдирает старую подкову, отбрасывает клещи, берет резак, укорачивает копыто, примеряет к нему новую подкову и прибивает ее сильными ударами, решительно и точно. И уже через четверть часа он отпускает клиента, тот тащится, прихрамывая, совершенно одуревший, зато обутый в обновку на целый сезон. Однако попадаются и не столь сговорчивые, тогда приходится мобилизовывать зрителей, чтобы они держали строптивую животину, пока кузнец невозмутимо делает свое дело, словно выполняет священный долг,— не уступать же прихотям упрямого мула.

А в общем, если смотреть издалека, на вершине горного хребта не увидишь ничего интересного. Базар-то весь там, внизу — подвижное бе-

---

* Муниципальный чиновник *(арабск.)*.

** Духовное лицо у мусульман, выполняющее обязанности судьи.

лое пятно в обрамлении зелени. Что-то большое и живое. И воздух полнится неумолчным гулом, который чуть-чуть похож на звон блуждающего роя, только это гуденье глубже, объемнее, загадочнее того, пчелиного.

Случается, в праздник, а то и просто в день большого базара тяглового скота совсем не видать, а на гребень горы поднимаются мясники, и силуэты их, склоненные над трепещущими жертвами, вырисовываются на вершине, подобно черным ангелам, страшным и жестоким. Над ними же, широко взмахивая крыльями, кружат в безумном хороводе стервятники.

Живой ковер устилает всю гору. Он щетинится, над ним повисает несмолкаемый ропот. Монотонность этого гула нарушает то трагический рев быка, которого режут, то легкомысленный выкрик осла, полагающего, что он хитрее всех на свете, то испуганное блеяние сотен ягнят, которых разлучают с их матерями-овцами, или коз, которым ничто не грозит, а то и автомобильные гудки или взрывы петард и хлопушек, что швыряют под ноги прохожим разодетые в обновки ребятишки. Иногда даже человеческому голосу (ну и глотку же надо иметь!) удается перекрыть весь этот шум-гам и даже что-то там изречь, дабы угомонить разбушевавшееся людское море.

В будни народу и шума здесь, конечно, не столько. Беспорядок больше кажущийся, чем всамделишный, просто каждому хочется устроиться поудобней. А рынок наш задуман совсем неплохо. Тут и улица со своими магазинами, и площадь, единая и неделимая, и бойня с ее мясниками. Словом, три совсем разных места, которые стоят того, чтобы их посетить каждое в отдельности.

Представьте себе пол-улицы с мостовой и тротуаром. Тротуар этот окаймлен зданиями, выстроившимися в ряд, добротными и даже, пожалуй, высокими. Это если идти со стороны горного хребта. По другую же сторону нет ничего, только изгородь и инжировые рощи, мирно спускающиеся в долину. Первый отрезок улицы принадлежит автомобилям, что стоят вдоль тротуара, и лавкам, подстерегающим прохожих. Есть там еще и кофейни с закусочными и харчевнями на втором этаже. Потом улица теряет свой тротуар и превращается в шоссе. Повыше — центральная площадь, выпуклая, словно круглая арбузная корка. Ниже по склону стоят в ряд десятки просаленных «виселиц» — это граница бойни и мясных рядов.

Лавочники восседают у себя в лавках, но дверь на улицу держат открытой. Принимают они вас с радушной улыбкой, приветствуют уже издалека. Любезностям их нет конца, и они из кожи лезут вон, чтобы показать, что знакомы со всеми на свете. Еще бы, самый верный способ завлечь клиента — это назвать его по имени. Ведь известно, как бывает лестно феллаху, когда вдруг оказывается, что его знают не только в родной деревне. Услышав, что его называют по имени, феллах уже не может не войти в лавку и из вежливости дает себя уговорить. Килограмм сахара, полкилограмма кофе, кусок мыла, спички — все это и в деревне продается. Зато здешний, рыночный лавочник сделает тебе хоть и небольшую, но скидку, да еще сколько улыбок подарит в придачу. Ну, а деревенский лавочник? А, тем хуже для него. Хотя он еще, конечно, пригодится. Для покупок в долг.

Но сам-то рынок вовсе не эти лавки, которые мало чем отличаются от наших, деревенских и даже от городских магазинчиков. Если хочешь увидеть рынок, надо побывать на площади. Феллахам здесь нравится. И прежде всего потому, что здесь деньги идут не из кармана, а в карман. Смотря по сезону, мы там торгуем то виноградом, то гранатами, то апельсинами, черешней или грушами. Попадаются среди наших фруктов и нездешние, но спрос на них невелик и купить их можно куда де-

шевле. А еще есть тут для богатых, которые пожаловали на базар с кошелками, овощи. Прямо нарасхват покупают богачи цветную капусту, морковь, зеленый горох в стручках и всякую другую ерунду. Ну и пусть их. Нам не жалко. Мы-то сюда пришли не траву покупать. А продавать ее. Лук продаем, рассаду салата, помидоров, кабачки, семечки тыквы, острый перец, семена репы... Каждый присаживается на краешек мешка или собственного бурнуса, раскладывает перед собой свой товар и глядит, как люди ходят взад-вперед. И в общем-то всегда найдется какой-нибудь покупатель, который даст себя уговорить, и худо ли, бедно ли, но за день хоть немножко, да выручишь.

Повыше овощного ряда располагаются корзинщики со своими корзинами, торговцы циновками, старьевщики, перекупщики подержанных кастрюль, мастер, продающий сделанные им решета, паяльщик и холодные сапожники. Между кустарями и торговцами шныряют ребятишки, наперебой предлагающие вам кто пару голубей, кто курицу или петуха со связанными крыльями и лапами.

По соседству с овощами жмутся друг к другу десятки баранов, построенных в две шеренги, голова к голове, и связанных одной веревкой, от шеи к шее. За баранами — козы с козлятами, быки и коровы, а поодаль — торговцы зерном перед своими горками пшеницы, ячменя, бобов и нута.

На склоне холма, что господствует над шоссе, примостились столики кофеен, там же торгуют хлебом и пончиками, а прямо напротив бойни — кожами. Кожи тут свежесодранные, все в крови и в грязи, с них еще не срезали такие жалкие и никчемные теперь рога, которые потом бросают собакам.

На площади происходит откровенное состязание продавцов и покупателей. Одним не терпится купить, другим — сбыть товар, но общее для тех и других стремление выгадать хоть что-нибудь сдерживает их великое нетерпение. Посмотришь на покупателей — праздные зеваки, да и только. На продавцов — они с полнейшим безразличием, нисколько не обижаясь, дают себя разглядывать. Но когда терпение истощится и начнется наконец торг, дремавшие доселе глаза вдруг пробуждаются к жизни, и вот уже каждый готов к бою. Распадется, рассыплется вечером рынок, опустеет площадь, продавцы и покупатели, довольные или раздосадованные, разойдутся по домам, но независимо от этого каждый утешает себя тем, что день он провел как и подобает мужчине, что, торгуясь, бился до последнего, что использовал все уловки и не поддался на чужие хитрости. Само собой, нет ничего проще, чем продать корзину винограда или купить двойную меру зерна. Это всякий может. А вот поди-ка попробуй купить корову или хотя бы барана на праздник Аид! Это куда сложнее. Ведь базар — сплошь ловушки для простаков, и после каждого базара простакам ужасно стыдно и обидно, что их провели. И всю-то неделю до следующего базарного дня они сокрушаются и сами себе внушают, что в другой раз они за себя постоят.

Зато те, кто умеет взяться за дело, до тонкостей знают все приемы, позволяющие ловко изворачиваться, не теряя при этом достоинства, давать слово и потихоньку отрекаться от него, так что никто и не заметит. Эти люди обладают талантом то расхваливать товар, то, наоборот, всяко поносить его, в зависимости от обстоятельств. Завлечь или отпугнуть покупателей. Приятелям своим такие личности не доверяют, советам их не следуют и предостерегают от них знающих людей. Это мужчины. Обмануть их нелегко, да если такое и случается, они все равно убеждают себя, что совершили отличную сделку, и ничто не может поколебать их уверенности. Рынок принадлежит мужчинам, а уж никак не женщинам! Ибо тут требуется много отваги и умения рисковать. Надо уметь, не

моргнув, прямо и откровенно смотреть людям в глаза, уметь не бояться, не краснеть, быть правдивым и искренним. Так-то. А главное — не терять своего достоинства.

Говорят, что когда-то, давным-давно, наши женщины добились того, чтобы рынок принадлежал им, и только им. Они захватили его в первый и последний раз и властвовали над ним семь дней и семь ночей. И что же! Никто из них ничего не продал, никто ничего не купил. Их разогнали. И с той поры у них только и есть что родник, к которому они ходят за водой. Там, у родника, они могут сколько душе угодно болтать пустое, отпираться от собственных слов в свое удовольствие, давать обещания и не держать их, а потом возвращаться домой, так ничего не проиграв и не выиграв. Разве мужчина может позволить себе такое? Подходит время к трем-четырем часам пополудни, и все расходятся по домам, каждый с покупками.

Надо ли говорить, что для нас главная покупка — это мясо? Приобрести пару быков, одеть все семейство да хотя бы просто запасы купить на зиму — для этого надо много денег. Так что мясо — это роскошь. Некоторые частенько себе эту роскошь позволяют. Но и другие тоже — была не была — время от времени наведываются на бойню. Для семьи такой день — великий день. Решение принимается накануне после долгих расчетов и подсчетов. О решении говорится супруге, а иногда и детям. В ожидании отца семейство достает большой котел и собирает листья артишоков.

Отец отлично знает наперед, что, когда он вернется, дети встретят его словами «добро пожаловать», как утром напутствовали его словами «да поможет тебе бог». Фразы эти преисполнены у нас глубокого смысла.

«Ты уходишь — с тобой наши пожелания удачи, возвращаешься — докажи, что ты достоин радушной встречи».

Утром — «да поможет тебе бог». Вечером — «добро пожаловать» — так у нас положено давать почувствовать хозяину дома его ответственность.

Прежде-то, уж конечно, глава семьи постыдился бы вернуться с пустыми руками или с видом одураченного человека. Мужчина на рынке умел постоять за себя и не забывал о том, что ему предстоит возвращение домой. Теперь никто об этом не думает, ни мужчины, ни женщины. Времена не те. Если мужчина недоволен тем, как идут у него дела на рынке, он отправляется скоротать день в харчевню. Напивается, других угощает, опустошает свой кошелек, пристает к людям, дает себя исколошматить и обобрать, а потом уж кое-как добирается до деревни глубокой ночью. Само собой, если случилось такое, жене лучше молчать. Да и детям тоже. Потому-то люди и сходятся на том, что все зло в харчевнях. Говорят: было бы куда лучше, если бы их вовсе не стало. Надо сказать, что предлогов для выпивки хватает. Человек серьезный и положительный заглядывает в харчевню не иначе, как чисто случайно, да и то удостоверившись прежде, что его не видит никто из приятелей. И выходит он оттуда крадучись, точно вор, закутавшись с головой в бурнус. Правда, если этот серьезный человек вдруг засидится там, то в конце концов напьется. И, как у нас говорят, «потеряет стыд». Друзья понимают его и не осуждают. Еще бы, всему виной харчевни, это они должны исчезнуть.

Многое еще можно было бы сказать о харчевнях и закусочных. Наши женщины, которые в глаза их не видели, ненавидят их по убеждению, а мужчины — из чувства долга.

Отец семейства отправляется на рынок, потому что у него там дела. И если задерживается, то не у стойки со спиртным и даже не в кофейне. А на бойне. Ведь всякому известно, что из всех торговцев самые ковар-

ные — это мясники. И что ни в коем случае нельзя доверять ни улыбкам их, ни увереньям. Какое там доверять — остерегаться надо.

Мясники, которых у нас, не знаю почему, зовут «негро», видят покупателей насквозь, еще лучше, чем бакалейщики. Им и знакомства заводить не надо, они схватывают имя на лету.

«Вот этот,— написано у них на физиономии,— судя по всему, зовется Рабахом». И ты уже слышишь: «Эй! Рабах, поди-ка, поди-ка сюда! Глянь, какая говядина, то есть что я — говядина, телятина! Чистое золото. А уж жирна, а уж нежна. Да ты ли это? Уж кто-кто, а ты-то знаешь толк в хорошем мясе. И за свои-то денежки поесть умеешь. Нет, тухлятина не для тебя. Пусть ее ест кто хочет. Почем, говоришь? А это уж как скажешь, старина. Твоя цена — моя цена. Ну, давай, давай...»

И феллах наутек. Его пугает это лоснящееся лицо, эти блестящие глаза, этот расплывающийся в улыбке рот. Он уходит. Но тут же попадает в лапы соседнего «негро». И ему ничего не остается, как искать подмогу: сначала двое, потом трое, четверо и вот уже десять покупателей окружают мясника и стараются загнать его в угол; говорят, что мясо его и гроша ломаного не стоит, издеваются над ценой, которую он запрашивает, острят, пугают и не унимаются. А если тот не поддается, делает вид, что не слышит их, отвечает невпопад, все равно не отступают. И здесь, так же как и на площади, главное в споре — терпение. Ну, да нам не привыкать. Люди у нас умеют выбрать день и час, когда можно купить подешевле. Зато мясники, в свою очередь, безошибочно определяют, кто из покупателей податлив на уговоры, а кто себе на уме и прямо-таки из рук выскальзывает, да и других, нерешительных, за собой уводит. И потому это настоящее искусство — торговать мясом: надо суметь избежать такой незадачи, когда после целого дня торговли так и остаешься с тушей быка на руках, и уметь не упустить ни одного из тех редких случаев, когда кусок вырезки можно сбыть ровно за столько оловянных монет, сколько он и в самом деле стоит. Конечно, мясники не слишком-то щепетильны, зато по части психологии они доки. На жизнь-то им надо зарабатывать. Мы все это знаем. Надо сказать, что они и сами не скрывают этого. Только вот вопрос: нажил ли хоть кто из них состояние?

«Наше ремесло чему не научит,— уверял меня как-то один из них.— Без ложной скромности скажу я тебе: мы — сила. Короли рынка! Должен тебе признаться, что у меня сердце радуется, когда я имею дело с кем-нибудь, кто может со мной потягаться, кто знает цену товару и стоит на своем, как и полагается мужчине. Случается, упрется покупатель, цепляется и все тут за свою цену и торчит перед тобой — не прогонишь. И ведь не ради корысти: он просто не может заплатить больше, это надо понимать. И мы уступаем, отчасти потому, что сочувствуем бедняге, но и потому, что он, хоть немножко, а все-таки дает нам заработать.

Как не понять, скажем, старичка, который скрюченными, дрожащими пальцами начинает развязывать узел на уголке платка. Это не от скупости. Он только что с почты: получил денежный перевод от сына, который работает во Франции. Бумажки новые, а все уже смялись. Ему хотелось бы сесть на эти деньги и высиживать их — как высиживает свои яйца наседка. А дома-то внуки. Они ждут его.

Тех, кто возвращается из Франции, мы всегда принимаем хорошо: чтобы людям пыль в глаза пустить, они не торгуются, а хороший товар от плохого отличать уже разучились. Само собой, мы этим пользуемся.

Старейшины и чиновники нас не забывают. Они считают себя умниками, и нам надо делать вид, будто мы страшно дорожим ими. Это, я тебе скажу, покупатели. Но с ними и нелегко. Наша тут не всегда берет. А когда такое случается, они предпочитают помалкивать.

Помещики крупные не частые у нас гости. Потому как, если им надо, они из своего стада козлят режут. Однако, когда они решают купить мясо на рынке, мы точно знаем, что продадим все. Раз-то в год и они не жмоты!

Не скупятся и те, у кого праздник на носу: свадьба, скажем, наречение новорожденного или рождение. В такой день и мы как бы участвуем в торжестве. Ну и слава богу, что люди нас в радости навещают.

В радости-то оно лучше. Потому что, признаться, мы ведь не каждый раз проникаемся состраданьем к угрюмому феллаху, который держит в одной руке кусок мяса, а в другой — деньги и не уходит, стоит как вкопанный, умоляя отдать за его цену. Да, что и говорить, не всегда мы хотим понять его нужду или уступить, потому что у него кто-то там болен. Мы сюда тоже не за убытком ходим!

Доход, говоришь? Какой доход от кабилов? Доход посылает бог. А мы верующие. И знай, что не найти тебе ни одного мясника, который всегда оставался бы глух к голосу людского отчаяния. А ведь мы тоже небогаты. Быков всегда в долг покупаем. Плохого много о «негро», о нас то есть, говорят. А богу-то все видно...»

Что на это скажешь? Все так и есть. Главная наша покупка — мясо, и мясники — короли рынка.

Когда вечером, вернувшись с базара, мужчины являются на джемаа, по их осанке, их сияющему или, наоборот, нарочито хмурому виду, по тому, как они произносят «салям алейкум», легко распознать тех, у кого сегодня есть мясо. Да и у соседей в тот вечер, когда оно есть, мужчины, женщины, дети — все приветливы, все улыбаются. У них тишина и покой! Разве что иногда повздорят к концу и донесется до нас эхом, что куски не совсем так поделили.

Старуха с вязанкой дров

Не знаете ее? Нет, конечно. Но хоть видите, как тяжко ей, бедняге? Как не видеть! Встречали ведь на дороге. Может, и не одну. По двое, по трое бредут они перед вами вдоль придорожной канавы, гуськом, в свою деревню, что неподалеку. Но знайте, что прежде чем они выбрались на дорогу, им пришлось долго карабкаться вверх по склону с этой тяжелой вязанкой на спине, взбираться по узким тропкам, сгибаясь в три погибели, и продвигаться, точно крабы, прижимаясь к земле, чтобы не наткнуться на мастиковое дерево, на ветви боярышника или колючие кусты. Вы встретите их и зимой, и летом, и весной, и осенью. И ноша их — это не просто вязанка хвороста на спине. Это извечная и неотступная наша забота, нести которую выпало им. И только им. Забота о дровах!

Мужчины? Они — кто во Франции, кто в поле, кто в кофейне. Им, мужчинам, есть чем заняться. А если им понадобятся дрова, они возьмутся за дело как мужчины. А не как старухи. И тогда это уже не забота и никакое не мученье. Так, забава одна: срубают дуб или ясень, пилят его, рубят, колют. Визжит пила, стучит топор, врезаясь в плоть дерева, звенит колун, вгоняя клин в бревно. А вечером потащатся с места порубки ослы, груженные поленьями, похожими то ли на свежевыпеченные хлеба, то ли на большие куски мяса, красные и лоснящиеся. Картина эта радует взор и как бы бросает вызов всяким там зимам. Нет, дрова, которые так достаются, это уже не забота. В деревне, да будет вам известно, немного найдется людей, которые могут себе позволить вот так издеваться над зимой. Это все те же, кому и голод не страшен, у кого рядом с полным амбаром-икуфаном — жердь для просушки белья так и ломится под тяжестью циновок и ковров и у кого за деревней сарай, а то и два набиты сеном. Да, не о них наша речь.

Забота о дровах — это забота всей деревни. Однако ложится она на плечи старух. И потому нас это уже никак не волнует. Не подумайте и впрямь, что у нас самих нет ни дел, ни забот. Просто каждому свое. Так-то вот.

Молодым женщинам, само собой, не пристало ходить за дровами, рубить сучья для вязанок далеко от деревни, где, может быть, и земли-то уже не наши и где их могут застать чужие. Там ходит всяк, кому не лень: охотники, пастухи, наконец, просто незнакомые люди. И уж поверьте, будь вы молодой женщиной, вы бы знали, что вам есть чего остерегаться. Нет, совсем ни к чему молодым женщинам таскаться в лес за дровами. Разве что сходят они когда-нибудь на принадлежащую их семье полосу, да и то обязательно с мужем, который и ветки нарубит, какие нужно, и вязанку свяжет и затянет, как надо, а потом отправится назад, в деревню, налегке, с одним топориком на плече, в то время как жена, согнувшись под тяжестью ноши, потащится впереди него или за ним. Картина, конечно, привычная, хотя и несколько неприглядная... Разве кто спорит? Но не торопитесь узреть в ней образ жестокого хозяина, который заставляет свою рабыню выбиваться из сил. Не со зла у нас так заведено. Муж часа два рубил дрова, а жена всего за час донесет их до дому. Вот и все. Работа распределена по справедливости и в добром согласии. Есть тут, правда, и другое. Я говорю о всяких там соображениях психологического порядка, которые завели бы нас слишком далеко. Но в двух словах я вот о чем: мужчина никогда не должен ничего носить, и жена его первая возмутилась бы, если бы он вдруг вздумал разделить с ней ее ношу.

Старуха, которую вы видите на дороге в поблекшей, вылинявшей от множества стирок одежде, предстает перед вами как само воплощение страдания. Руки ее — словно мертвые сучья, на них нет мускулов, и кожа висит дрябло, и нет, ну совсем нет в них сил тянуть за конец веревки, режущей плечо. И поясница не выдерживает тяжести. Время от времени губы ее сжимаются в глубокую горизонтальную морщину, которая пересекает все те вертикальные, что избороздили ее иссушенное годами лицо. Но ступайте за ней до самого дома! На радостях, что добрела, она с грохотом роняет тяжелое бремя. И только потом начинает причитать, поглядывая на молодую прибранную женщину, которая суетится возле очага. Еще бы снохе не палить без счету дрова в очаге. Откуда ей знать, как эти дрова достаются. Ишь, притворяется, будто и впрямь не знает. Ох, да разве у снохи есть сердце! На то она и сноха! Ну, а сын-то, сын-то как может спокойно смотреть на такое ее расточительство! И знаете, что он — и то в хорошем настроении, заметьте,— говорит матери в ответ на все ее жалобы?

— Ну, мама, зачем так надрываться? У нас же есть еще деревья, вот я срублю как-нибудь ясень...

— Опомнился, когда я уж припасла дров-то! Ну и дети нынче. До старух им теперь и дела нет. Что есть они, старые что нет их, кому они нужны.

Так их, так их. Пусть знают молодые, что дрова не с неба падают. Вот она и говорит им это, все учит.

Поклонимся же низко старухам нашим, которые избавляют нас от одной большой заботы — заботы о дровах.

У прозрачного родника

Наши девушки, совсем как в песне поется, любят ходить по воду к прозрачному роднику. А будь вы на их месте?.. У них ведь нет джемаа, как у мужчин. Зато есть родник. Там можно поболтать, развлечься и посмеяться, дожидаясь, пока наполнится амфора. Ходят они туда стайками, кому с кем приятнее и интереснее, там узнают последние новости, обмениваются самыми свежими сплетнями, становятся подружками.

Нам, мужчинам, прекрасно известно, какое место занимает родник в сердце каждой девушки нашей деревни, и рано или поздно мы узнаем обо всем, что там происходит. Если вдуматься, родник составляет такую же неотъемлемую часть нашей жизни, как кафе, джемаа и поле. Без него жизнь у нас была бы просто немыслима. Мы из тех, кто не может обойтись без воды, хотя ходить за нею порою приходится очень далеко, а летом бережно расходовать каждую ее каплю. Слов нет, на воду мы скупы и делим ее на равные для всех порции, как какое-нибудь изысканное кушанье...

Однако в задачи этого повествования вовсе не входит привлечь внимание властей к положению, которое и без того им прекрасно известно, равно как мы не намерены предаваться сложным подсчетам; людям, имеющим ванну, они могут показаться нелепыми и неуместными. Впрочем, надо сказать, что такую жизнь на протяжении веков мы сами себе создали. И потому теперь от нее никуда не денешься, не спасешься.

Знаете, что давным-давно, как рассказывают старики, кабилы не гнездились на горных макушках; жилища их стояли там и сям, по всей покрытой лесом стране. У каждого рядышком обязательно был свой источник, из которого воды можно было брать вволю. Когда же они сами себя загнали на вершины, им пришлось смириться с тем, что, коли хочешь напиться, спускайся вниз. Так что, на первый взгляд, все объясняется очень просто. За той самой водой, от которой мы бежали, теперь мы обречены ходить. Вот откуда пошла наша привязанность к роднику.

Впрочем, следует тут же уточнить, что родник — это не обязательно родник, а что угодно: ручеек, например, который ухитряется не умирать даже летом; источник, рожденный зимним снегом или питаемый вешними водами, что вылезает на божий свет где-нибудь на отвесном склоне, и мы тут же ловим его в наспех вырытую яму; ключ, укрывшийся на

дне живописного оврага в тени инжировых деревьев, вязов и виноградников; или, наконец, настоящий и вполне цивилизованный родник — прямоугольный бассейн с медными кранами, кирпичными стенами и выложенным кафелем двориком. Этот, всех нас поящий родник не так давно построил один французский мастер, которому помогали все мужчины нашей деревни под присмотром таменов и амина. Конечно, не от каждого дома деревни до родника одинаково близко. Но он редко бывает дальше, чем за два километра. И хотя нашим женщинам почти всегда приходится, возвращаясь с водой, подниматься вверх по склону, я не ошибусь, если скажу вам, что ходить за водой им по силам. Ну, скажем, так же по силам, как и все их работы изо дня в день в поле.

Что и говорить, кто же против того, чтобы доля наших хозяек со временем стала получше. Но вообще-то говоря, если бы они составили перечень желаемых улучшений, водопровод в доме оказался бы в этом перечне никак не на первом месте. Будущее — в этом нет сомнений — принесет им все те радости, о которых они мечтают. А пока у нас, как и у всех, вода, которую нам посылает сам господь бог. Ее у нас, конечно, не так чтобы залейся, да зато она бесплатная, свежая и чистая. И женщины носят нам ее в кувшинах.

Мужчины к роднику не ходят. Есть такой закон. Неписаный закон, который передается из поколения в поколение. Все дело тут в приличии или, если хотите, в человеческом достоинстве. И потому мы считаем совершенно неуместным любопытство тех людей, которые во что бы то ни стало хотят побывать у нашего родника. Ну в самом деле, посудите сами, у каждого ведь может быть что-то свое, такое сокровенное, до чего другим не должно быть никакого дела: у одного — спальня, у другого — кухня, а то и весь дом. А у нас — родник. У родника женщины чувствуют себя лучше и вольготнее, чем дома. Так вот! Мы хотим, чтобы хоть там их оставили в покое! Для нас, простых людей, живущих в этих бедных и неприютных селениях, родник — самое веселое и нарядное место, и, хотя мы делаем вид, будто нам на него наплевать, про себя мы им гордимся. И мы не знаем ничего печальнее, чем обезлюдевший родник. Нам так радостно, когда возле него толпятся и щебечут наши жены и дочери. Тут они избавлены от страха перед мужчинами и хоть ненадолго расстаются со своими заботами, робостью и унылой домашней жизнью.

Когда они кличут одна другую, чтобы вместе идти по воду, когда проходят чередой со своими амфорами, подчеркивающими гибкость их стана, у нас такое ощущение, будто вся деревня радостно отправилась на веселую прогулку: помыться, освежиться, подышать свежим воздухом, разрумяниться. Нет, мы не страшимся, что наших жен может кто-то повстречать, пусть видят, какие они у нас здоровые, сильные и красивые. А вот что касается каких бы там ни было отклонений от правил, то этого мы не любим, просто не терпим. Ибо у нас на все есть свои правила.

Так, воспитанный юноша ни за что не станет торчать возле женщин или попадаться им на дороге. А воспитанная девушка идет своим путем, не оглядываясь, и ее редко можно встретить одну. Если же молодым людям случится обменяться взглядами, что идут от сердца к сердцу, они должны радоваться этому про себя и терпеливо ждать дня, когда им снова представится случай взглянуть друг на друга; так может родиться взаимная робкая склонность, а потом, глядишь, они и изберут друг друга. Дальше уж дело родителей, и, бывает, оно улаживается к обоюдному удовлетворению. Да, и такое бывает. Мы понимаем: молодым надо хоть немножко познакомиться, прежде чем жениться.

Особый почет у родника — старым женщинам, потому как молодым обязательно надо предстать в хорошем свете. И вот наши девицы демон-

стрируют свои хорошие манеры, стараются показаться милыми да умными, в меру завистливыми и злоязычными. Женщины, достигшие разумного возраста, берут на себя заботу о том, чтобы все было благопристойно и беспорядка чтоб не было. А молоденькие ревниво следят друг за другом. Добрую-то славу нелегко заслужить, а сколько ветрениц теряют ее в один миг!

— Смотри, дочка, выбирай своих подруг,— поучает осмотрительная мать.— Будь вежливой со взрослыми, не вздумай без очереди подойти за водой. Твой отец никогда еще не платил штрафа за ссору у родника.

— Дочь моя, если тебя будет звать вон та, ответь ей, что твой кувшин уже полон. Не хочу, чтобы тебя видели с ней.

— В прошлый раз, дочка, вы шутили и так громко смеялись. И где! Возле самой джемаа. Вот Урдна и поскользнулась, поспешив.

— Да, мама. Но ведь там никого не было, только двое парней. Да и они отвернулись.

— Это значит, что они хорошо воспитаны, дочь моя. А все-таки куда лучше оставаться самой собой, быть скромной и серьезной... И не упасть, конечно, лучше, чем упасть.

Самые маленькие девочки тоже ходят к роднику. Как взрослые. У них махонькие кувшинчики, и они учатся носить их на бедре. Мама их принарядила и сказала, что они должны быть красивыми. Так, с детства, как мужчины на джемаа, каждая из них завоевывает у родника место по заслугам. Одни сразу оказываются на виду, их окружают всеобщим вниманием и относятся к ним уважительно; другие — хохотушки — умеют позабавить и потому пользуются успехом; есть и франтихи, законодательницы мод, которым все стараются подражать; попадаются и спорщицы, их лучше избегать, невыносимые зазнайки и вовсе бесцветные девицы, они непременно подберут себе ничем не примечательную подругу, с которой можно поладить. Одним словом, есть всякие — и хорошие и плохие...

Лучше всего у родника в праздник Аид, когда все радуются и наряжаются. В такие дни кувшин всего лишь предлог. Ни одна из наших красавиц не спешит его наполнить. Тут главное, чтобы все увидели и оценили твое новое платье, твои украшения или хотя бы твое столь прелестное в праздничный день личико. И поют наши дамы и танцуют беззаботно, пока мы, мужчины, справляем Аид на свой лад и совсем в другом месте.

А новобрачная! Когда она в первый раз выходит из своего нового дома после целой недели заточения (это так и называется: седьмой день), первый ее визит — к роднику. Мать сама наряжает ее для этого выхода. Подруги подкарауливают ее, каждая у своего порога, а те, что посмелее, заходят за ней в дом. Ради такого случая молодой приносят новую, еще не знавшую воды амфору. И вот уже торжественное шествие плывет по главной улице, становится все многолюднее. Из всех улочек и переулков к нему присоединяются все новые и новые женщины и девушки с кувшинами, которые не в силах усидеть дома в такой час. А уж коли молодая хороша собой, или богата, или просто у всех о ней доброе мнение, шествие превращается в целую демонстрацию платков и шалей всех цветов и оттенков, платьев и кофточек. Новобрачная — в самом центре этой процессии и уж непременно разодета во все новое. И переступает-то она как на цыпочках, точно боится поскользнуться. На поздравления, что сыплются со всех сторон, красавица отвечает, потупясь, чуть слышно, и, надо полагать, румянец заливает при этом ее щеки, густо обсыпанные рисовой пудрой. Она на седьмом небе от счастья и понимает, как ей все завидуют. Но каждый ее шажок делает короче этот самый прекрасный день ее жизни. И потому она едва переступает, ей хочется, чтобы родник был далеко, очень далеко.

Но вот она у родника. Все расступаются, давая ей дорогу. Она опускает свой новый кувшин в прозрачную глубь, и в то время, как вода, булькая, устремляется в него, она тихонько повторяет слова, которые нашептала ей на ухо мать перед самым ее выходом и которые она постереглась забыть:

О, родник моих предков!
Кому неведом вкус воды твоей?
Это вкус зерна, нас кормящего,
Зерна, взращенного славным феллахом!
Господи! Сделай так, чтобы меня любили,
Как любят люди свой родник.

Прекрасное времечко

А знаете, что сказал Си-Мехаммед? Си-Мехаммед — это шакал. Кабильский шакал. Так вот однажды его спросили, какое время года ему больше всего нравится и какому сезону сколько времени следует, по его мнению, отмерить. Он, не задумываясь, ответил.

— Зиме?

— Один день, потом другой.

— Лету?

— Год и еще год.

— Лекрифу?

— Месяц за месяцем.

Надо вам сказать, что лекриф — это сезон сбора инжира и что слово это вошло у нас в поговорку как нечто очень приятное.

Так вы поняли? Два дня зиме, два года лету и вечность для лекрифа. Таково желание Си-Мехаммеда. Весна, зелень, пение птиц и журчанье ручьев, голубое апрельское небо и праздник природы — все это его не волнует. О Си-Мехаммеде не скажешь, что он мечтатель, нет, он хит-

рец. Нам-то это известно. Зимой он жестоко страдает, да разве он один? И голодно, и холодно. Дождь, снег, ветер. Джурджура *, словно орган, втягивает в себя ледяной воздух с моря, издавая какие-то мрачные звуки. В лесах шакалу ничего не найти, так же как и бедняку в своем икуфане. Вот потому-то и шакал и бедняк терпеть не могут зимы. Два дня? Да уж никак не больше. Хотя от зимы, конечно, никуда не уйдешь, она была и будет. И ничего с этим не поделаешь. Два дня в качестве отводных клапанов, которые могут сослужить службу, отвести божий гнев. Два дня, чтобы заставить страдать несчастных. Этого вполне достаточно, так и быть, мы на них согласны. Только потом пусть нас оставят в покое.

Да и какой толк шакалу от цветов и голубого неба? Думаете, он ошибается? Очень может быть. Только ничего не поделаешь. Он знать ничего не хочет о весне; до тех пор пока его терзает голод, ему эта весна ни к чему. Но кто знает? Может, и у шакала тоже бывает своя весна во время лекрифа. Пышные цветы и душистые букеты ему заменяют золотистые гроздья и сочный инжир, ведь все это можно не только нюхать.

Свежесть утра, щебет малиновок и горихвосток, непроходимые чащи вязов, ясеней, дикой вишни, виноградных лоз, карабкающихся с дерева на дерево до самых горных вершин, их тяжелые гроздья, купающие свое отражение в неподвижных прозрачных лужах,— все это и есть весна шакала, настоящая кабильская весна.

Что же касается другой весны, весны художников и горожан, какой в ней толк? Она бесплодна, несмотря на все свое цветение. Радоваться тут нечему. Икуфаны наши ждут нового урожая. Мы пытаемся наскрести там последние крупицы зерна или ячменя, а в полях в это время только-только еще появляются первые колосья. Как продержаться такой малостью? Приходится потуже затянуть пояс и ждать, пока созреют плоды. Известное дело — на сытый желудок и жить веселее. А вот летом не так плохо. Наступает время жатвы, а там, глядишь, пойдут бобы и горох, потом поспеют сливы, груши, черешня. Одним словом, «лето — благословенное время», как сказал один поэт. И мы с ним совершенно согласны. Неважно, что от жары некуда податься и что земля покрывается трещинами под палящими лучами солнца, главное, что на солнце зреют колосья. Лето — это молотьба хлеба и сбор урожая. И снова наполняются амбары-икуфаны, лабиринты муравьев-тружеников. Лето щедро венчает год. Феллаху теперь и горя мало. В полдень он предается блаженной дреме на прохладных плитах джемаа. Утром или вечером, когда не так жарко, он спешит покончить счеты со своими деревьями и посевами. Феллах знает, что трудовой год подходит к концу, что следующий начнется лишь с первыми октябрьскими дождями, как знает и то, что год этот сразу же потянет его к ответу.

«Отправляйся пахать,— потребует он от крестьянина.— Поторапливайся, время не ждет. Берись за плуг. Надо сеять и пахать. Пахать и сеять. Заготавливай дрова, пропитание, одежду. Все, что нужно. Пошевеливайся».

Вечно у него спешка, у этого года, ему ни до чего нет дела, и в один прекрасный день, не спрашивая, успел феллах покончить все свои дела или нет, год преспокойно обрушит ему на голову скверную погоду:

«Вот тебе, получай, Мехаммед».

И Мехаммеду ничего не остается, как смириться.

Да, лето вполне заслуживает того, чтобы ему отпустили двойной срок. Мы его любим и в знак признательности даруем ему два года. Но на том нашему терпению конец. Мы от всего сердца благодарим его. Только пусть теперь посторонится! И да наступит вечный лекриф!

---

* Самая высокая гора в Кабилии.

Лекриф обладает для людей притягательной силой запретного плода. Это заставляет любить его еще больше. Дело в том, что начинается он с запрета. И вот почему.

Как только появляются первые зрелые плоды инжира, добрая весть распространяется по всей деревне.

— А! Уже? — Мух-у-эль-Хадж очень серьезен.—Настоящий инжир?

— Да. Я сам видел! А под ним листик.

— Под цветами тоже бывают листики.

— Не такие!

— Не иначе, как ты видел инжир в усадьбе «Веселая», на большом инжировом дереве, что рядом с гранатовым?

— Точно.

На следующий день другие тоже находят инжир. И так изо дня в день. А тут еще за дело принимаются ребятишки. Этого у них не отнимешь. С утра они отыскивают хорошие инжировые деревья, собираются ватагами и уходят, пустеют дома, джемаа, деревня словно вымирает. Сначала к этому относятся снисходительно. Ребенок! Что с него возьмешь? Пусть позабавится. Но очень скоро их опустошительные набеги начинают внушать беспокойство: поломанные ветки, сорванные плоды, которым еще добрую неделю надо бы дозревать, поваленные изгороди, драки...

— Пора положить этому конец! Они всюду суются, ни одного поля не пропустят, ни одного дерева. Если так дальше пойдет, не видать нам зрелого инжира. Они все пообрывают...

И старейшины во главе с марабутом * принимают решение покончить с этим. Созывается собрание, на котором присутствует весь народ. Старейшины угрожают штрафом, а марабут — проклятием. И ребятишки тут как тут, шумливые и веселые.

— Проклятие так проклятие,— говорят они,— нас этим не запугаешь. А марабут — мошенник.

— Э! А штраф?

— Так, пожалуй, и правда ничего не стащишь!

Решено: в течение двух недель никто не имеет права трогать инжир. Пусть себе спокойно дозревает! Взрослые подают пример, выполняя принятое решение. Ребятишки же ухитряются-таки проскользнуть к инжировым деревьям, стараясь никому не попадаться на глаза, и разбегаются, как только завидят мужчин. Почему-то именно в это время инжир кажется им особенно сладким.

Хотите верьте, хотите нет, но у нас положено ничего не таить. И что же вы думаете? Бывают мужчины, которые, как маленькие, едят у себя в поле тайком, в одиночку. Скандал, да и только. Да, бывают люди, которые «угощаются» вот так, втихомолку, а вечером преспокойно возвращаются домой, как ни в чем не бывало. Поравнявшись с джемаа, они с невинным видом произносят:

— Здравствуйте, добрый вечер всем!

Но нас не проведешь, мы-то знаем, что к чему!

По этому поводу у нас рассказывают ужасную историю, случившуюся с бывшим амином Тигилта — маленькой деревушки по соседству. В один прекрасный день его застали на инжировом дереве, он сидел, поглаживая спелые плоды. От стыда он, правда, не умер, но подчиненные его долго смеялись, хотя и не усмотрели в этом ничего плохого. С тех пор случай этот вошел в поговорку. Если, например, вы услышите такие слова: «Что? Наши старейшины? Все они хороши, вспомните амина из Тигилта», знайте, что за этим кроется. Но несмотря ни на что, такой порядок имеет, пожалуй, определенный смысл, и недели через две

* «Святой», проповедник.

инжировые деревья преображаются, каждое из них без утайки протягивает к вам тяжело нагруженные ветви. И тогда остается лишь звать добрых людей на чудесное пиршество, ниспосланное богом угощенье для всех, которое каждый должен отведать. Ибо, хотя любовь к собственности у нас и велика и каждый ревниво поедает в одиночку свои собственные груши, желуди или картошку, инжир — дело другое. Это дар свыше, в котором нельзя отказать бедняку.

Возле деревни есть ничейный участок. Инжировые деревья, виноградные лозы, кактусы, растущие там,— все это к услугам всех. Деревня берет на себя заботу об участке, да и пастухи приглядывают за ним. Это для бедных. Богатые и не очень богатые стыдятся туда ходить. Хотя каждый, кто хочет, может брать там, что ему надо. Но, откровенно говоря, берут только те, кто действительно нуждается. В деревне и без того инжира всем хватает. Как только снимут запрет, у нас — праздник. В домах никого не остается еще до рассвета, а в полях начинается радостная перекличка, это счастливый для нас день, первый день лекрифа! Тут уж нам ни до кого нет дела! Лишь бы и нас не трогали! Нам так хорошо! И нам ли не знать, что такое свежий инжир и виноград? Недаром мы так дружны с нашими инжировыми деревьями и виноградниками. Если бы горожане, которые покупают наши фрукты на килограммы, могли понять это, они позавидовали бы нам. Но им никогда не понять. Есть радости, которых не купишь, удовольствия, о которых никто и не подозревает, простое, спокойное счастье, которым следует наслаждаться втайне. Такие радости, наслаждение, счастье ведомы только нам, когда поутру мы отправляемся в поля, покрытые росой, собирать плоды.

В ресторане мне приходилось видеть, как люди разрезают инжир ножом, посыпают его сахарным песком и осторожно откусывают по маленькому кусочку,— смотреть тошно. Святотатство, да и только! Печальный конец для инжира! Нет, есть его можно только зараз. В крайнем случае, если вы так уж деликатны, то за два. Держать его надо за стебелек, чтобы сначала порадовать глаз, потом, без всяких там церемоний, стебелек этот надо оторвать, обтереть выступившее молоко и съесть плод целиком, в том виде, как сотворил его аллах. Ибо творение его и так совершенно. Божественное блюдо не нуждается ни в каких приправах.

Лекриф уходит. Во рту у нас еще некоторое время сохраняется нежный аромат инжира и горький, пьянящий вкус последних октябрьских соков. Деревья, облегченные, распрямляются, но без радости, вид у них изможденный, зябкий. Поля снова погружаются в молчание, на дороге не так оживленно. Си-Мехаммед бродит, безутешный, по дну оврагов в поисках последнего несчастного инжира, утратившего уже весь свой сок, затерянного средь широких пожелтелых листьев. Он уже смирился. Лекриф остался позади. И он знает, что его ждет.

БЛАС ДЕ ОТЕРО

■

Перевод с испанского ПАВЛА ГРУШКО

Героическая и скорбная

Ах, если б я родиться
в других местах сумел...
Родиться бы на Кубе.
В Сантьяго, например.

Родиться бы, родиться
в Испании родной,
в Испании, но — завтра,
в Испании иной.

Сто раз родиться снова
там, где сейчас стою:
в краю моем печальном,
в несломленном краю!

■

Конечно, жизнь похожа
на злую шутку И все же —
существует ветер, и 17-й год существует, неизгладимый.
И мы с любимой, коротавшие дни в Кастилии,
переносимся на Кавказ:
жизнь и сама не ведает, что творит,
переменчивая, с семью пятницами на неделе,
а как же иначе, жизнь — не тихая речка,

Стихи поэта-антифашиста Бласа де Отеро, хорошо известного советскому читателю, взяты из книги «Разговор об Испании», 1964 г., и из кубинского журнала «Каса де лас Американас», где во время своего пребывания на Кубе в 1967 г. он опубликовал поэтический цикл, посвященный Советскому Союзу.

отражающая в своем движении деревья и тучи
и впадающая, точно по расписанию, в Атлантику,
жизнь — это конь, норовистый, слепой от ярости,
но и прекрасный, как всякий конь,
и теперь мы с любимой крепко держим его под уздцы,
в Гаване, в Кисловодске, в Бильбао,
а ветер теребит полевые цветы, налетела гроза,
и уже мы бежим к длинному фасаду
Зимнего дворца, где жизнь сменила наряд.

1812~1945

Все просто: идет сраженье
за жизнь.

Это не просто: будущее —
или смерть.

Все просто: жизнь взошла
на редут.

Всего лишь: завтрашний день —
или смерть.

Все просто: черный провал —
или путь.

Все просто: сражение —
Бородино.

Балет (Прокофьев)

Ромео
танцует в толпе.

Тамбурин и шпага
вывели праздник на площадь.

(Хрупкий жасмин — Джульетта —
грезит в тени балкона...)

Парни и девушки
прыгают в хороводе, хохочут.

Мадонна из ниши смотрит
на ручьи из лент и гирлянд.

А в глубине —
немая черно-зеленая смерть.

Ромео
смеется — в зеленом и черном...

Плывя и сочиняя по диагонали

Писать в Испании — это отверзать уста, чтобы не молчать
о том, что творится на улице, воздвигать,
хотя бы в полслова, храмы простых истин,
забытых или проглоченных, но выстраданных в душе,
писать — это улыбаться с ножом, воткнутым в горло,
это — слова, отворяемые, словно заплесневелая калитка
на кладбище, это — альбом испанской семьи,
где ты — мальчик около матери, где сквозит то,
что тебя ждет, если ты не будешь обмениваться, как все,
цветными шариками, марками (в том числе и фальшивыми),
если не научишься писать коряво,
но шагать прямо к освещенному порогу,—
слащавый альбом, который однажды станет горчить,
если ты не похоронишь его вовремя на дне моря
и не достанешь со дна ключи от солнечных диких пляжей:
мое детство — как труп ребенка на волнах,
теперь уже поздно, и я боюсь, что словам не спасти
прошлого, хоть они и плывут саженками,
выбиваясь из сил, к другому берегу,
где ветер не валит, не топчет цветные зонты.

Напев

С последним осенним листом
мысль об Испании брезжит.

Так ли уж стар этот край,
что места нет для надежды?

Ветхий ржавый листок
ветка уже не держит.

Яростная земля,
красное семя надежды.

Полдень земли. Лазурь
в небе Испании брезжит.

■

ЖОЗЕФ КЕССЕЛЬ

Побег

РАССКАЗ

Перевод с французского МОРИСА ВАКСМАХЕРА

Шел дождь. Тюремная машина неторопливо ползла по скользкой дороге, петлявшей то вверх, то вниз среди невысоких холмов. В машине сидели Жербье и жандарм. Другой жандарм был за шофера; у жандарма, что конвоировал Жербье, были обветренные щеки крестьянина, от него разило потом.

Когда машина свернула на проселок, он сказал:

— Сделаем небольшой крюк, но ведь вы, я думаю, не спешите.

— Не спешу,— сказал с усмешкой Жербье.

Тюремная машина остановилась возле уединенной фермы. В зарешеченное окно Жербье видел кусок неба и кусок поля. Он услышал, как шофер выходит из кабины.

— Мы скоро,— сказал жандарм.— Мой приятель только возьмет какие-нибудь продукты. В это проклятое время каждый выпутывается как может.

— Что ж, это в порядке вещей,— сказал Жербье.

Жандарм покачал головой и взглянул на арестанта. Человек хорошо одет, приятный голос, приветливое лицо. Проклятые времена... Жандарму стало даже неудобно, что на таком человеке наручники; это чувство неловкости он испытывал не впервые.

— В этом лагере вам будет неплохо! — сказал жандарм.— Я, конечно, не про еду говорю. До войны от такой кормежки отказалась бы и собака. Но в остальном этот лагерь, говорят, самый лучший во Франции. Лагерь для немцев.

— Я что-то не понимаю,— сказал Жербье.

— Во время «странной войны» мы, видно, надеялись взять много пленных,— объяснил жандарм.— Подготовили для них большой лагерь. Понятное дело, ни одного немца в плен не взяли. Но лагерь оказался как нельзя кстати.

— В общем, нам здорово повезло,— заметил Жербье.

— Вот именно, мосье, вот именно! — вскричал жандарм.

Шофер снова забрался в кабину. Тюремная машина тронулась в путь. Над полями Лимузена по-прежнему шел дождь.

Жозеф Кессель — известный французский писатель, академик. Будучи участником Сопротивления, написал в 1943 г. книгу «Армия теней», откуда и взят данный рассказ

■

Жербье, без наручников, но стоя, ждал, когда комендант лагеря обратится к нему. Комендант лагеря листал личное дело Жербье. Время от времени он втыкал себе в щеку большой палец левой руки и медленно вытаскивал его обратно. На жирной и дряблой щеке несколько секунд держалась белая вмятина, потом она заполнялась кровью — медленно и с трудом, как старая, потерявшая эластичность губка. Движения пальца и щеки отмечали ритм комендантовых раздумий.

«Всегда одно и то же,— думал он.— Понятия не имеешь, кого тебе присылают и как с ним обращаться».

Он вздохнул, припомнив довоенное время, славное время, когда он был начальником тюрьмы. Тогда от него требовалось одно: соблюдать благоразумие и осторожность, подрабатывая на еде для заключенных. Остальное было предельно просто. Заключенные сами располагались по привычным категориям, и каждой из категорий соответствовали определенные правила содержания в тюрьме. Теперь все перевернулось. Лагерный рацион можно было урезывать сколько угодно, никому до этого не было дела, но мучительно трудно стало сортировать людей. Одни прибывали без суда и следствия и оставались в лагере на неопределенный срок. Другие, с ужасающим личным делом, выходили очень скоро на волю и опять занимали важные посты в департаменте, в областной префектуре, даже в Виши.

Комендант не глядел на Жербье. Он отказался от попыток составлять мнение о человеке по его лицу и одежде. Он старался угадать намерения начальства, читая между строк полицейские протоколы, которые передавали ему жандармы вместе с заключенными.

«Независимый характер, живой ум, сдержан, ироничен»,— читал комендант. И переводил: «Особо строгий режим». Но далее стояло: «Крупный инженер по строительству мостов и шоссейных дорог», и, воткнув палец в щеку, комендант говорил себе: «Режим вольный».

«Подозревается в голлистских симпатиях» — «особо строгий режим, особо строгий». Но потом: «Освобожден за отсутствием состава преступления» — «значит, есть связи... режим вольный».

Палец коменданта еще глубже вонзился в жирную щеку. Жербье показалось, что щеке больше никогда не вернуться в нормальное состояние. Но впадина понемногу исчезла. Комендант объявил не без торжественности:

— Я помещу вас в барак, предназначенный для немецких офицеров.

— Весьма польщен подобной честью,— сказал Жербье.

В первый раз тяжелый и мутный взгляд коменданта — взгляд человека, который слишком много ест,— остановился на лице нового заключенного.

Тот улыбался, но лишь слегка — тонкие губы были по-прежнему сжаты.

«Вольный режим, это ясно,— думал комендант,— но глядеть за ним надо в оба».

■

Кладовщик выдал Жербье деревянные башмаки и красную куртку грубой шерсти.

— Это было приготовлено,— начал было кладовщик,— для...

— Для немецких пленных, я знаю,— сказал Жербье.

Он снял свою одежду, натянул куртку. Выходя, оглядел с порога территорию лагеря. Вокруг голого, лишь кое-где поросшего травой плато сходились и расходились, как волны, унылые пустыри. Дождь все сочил-

ся с низкого неба. Вечерело. Ряды колючей проволоки и между ними дорожка для часовых были уже ярко освещены. Но в разномастных строениях, разбросанных там и сям, по-прежнему было темно. Жербье направился к одному из них.

■

Барак, один из самых маленьких в лагере, служил приютом для пяти красных курток.

Полковник, аптекарь и коммивояжер сидели по-турецки возле дверей и, поставив на пол перевернутый котелок, играли на нем в домино, вырезанное из кусочков картона. Двое других тихо разговаривали в глубине барака.

Армель лежал на своем матрасе, закутавшись в единственное одеяло, которое полагалось заключенным. Легрэн набросил на него еще и свое, но Армель все равно дрожал. Сегодня днем он опять потерял много крови. Его лихорадило, светлые волосы прилипли к потному лбу. Исхудавшее лицо выражало кротость, несколько ограниченную, но упорную.

— Уверяю тебя, Роже, уверяю тебя, если бы ты мог обрести веру, ты не чувствовал бы себя несчастным, потому что больше не был бы бунтарем,— пробормотал Армель.

— Но я хочу быть бунтарем, хочу,— сказал Легрэн.

Он сжал худые кулаки, и из его впалой груди вырвался хрип. Он с яростью продолжал:

— Когда тебя сюда привезли, тебе было двадцать, мне семнадцать лет. Оба были здоровы, никому не причиняли зла и хотели лишь одного — жить. Взгляни-ка, кем мы стали сегодня. И что происходит вокруг! Чтобы было такое и чтобы существовал бог — этого я понять не могу!

Армель закрыл глаза. От усталости и сгустившегося сумрака черты его словно стерлись.

— Человек может все понять, если с ним бог,— ответил он.

Армель и Легрэн попали в лагерь в числе первых. И у Легрэна больше не было на свете ни одного друга. Он готов был сделать все, что в его силах, лишь бы это бескровное ангельское лицо обрело покой. Лицо друга внушало ему нежность и жалость; то были единственные узы, связывавшие его с людьми. Но в нем жило еще одно чувство, более сильное и непреодолимое, и оно мешало ему поддаваться заклинаниям Армеля.

— Нет. Я не могу верить в бога,— сказал он.— Это слишком удобно для подлецов — расплата на том свете. Я хочу видеть справедливость здесь, на земле. Я хочу...

Шум в дверях барака помешал Легрэну договорить. Вошла еще одна куртка.

— Меня зовут Филипп Жербье,— сказал вновь прибывший.

Полковник Жарре дю Плесси, аптекарь Обер и коммивояжер Октав Боннафу поочередно представились.

— Не знаю, мосье, что вас сюда привело...— сказал полковник.

— Я тоже этого не знаю,— сказал Жербье со своей обычной усмешкой.

— Но я хотел бы, чтобы вы сразу же узнали, почему здесь оказался я,— продолжал полковник.— Я заявил в кафе, что адмирал Дарлан — олух. Да-да.

Полковник театрально выдержал паузу и уверенно заключил:

— Сегодня я могу добавить к сему, что маршал Петен — еще один олух, ибо он позволяет морякам издеваться над солдатами. Да-да!

— Вы-то, полковник, по крайней мере страдаете за идею! — воскликнул коммивояжер.— А я просто пошел по служебным делам на пло-

щадь, и надо ж было, чтобы там как раз в это время началась голлистская демонстрация.

— А со мной,— перебил аптекарь Обер,— и того хуже.— Он вдруг повернулся к Жербье:— Знаете ли вы, что такое снаряд Малера?

— Нет,— ответил Жербье.

— Вот это всеобщее невежество меня и погубило,— подхватил Обер.— Снаряд Малера, мосье, это сосуд яйцевидной формы, предназначенный для химических реакций под высоким давлением. Я занимаюсь химической экспертизой, мосье. Я не мог обойтись без снаряда Малера. На меня донесли, будто я изготовляю мины. Мне так и не удалось добиться, чтобы власти выслушали меня.

— Властей больше нет, есть только олухи! — сказал полковник.— Да-да! Они лишили меня пенсии.

Жербье понял, что ему предстоит выслушивать эти истории сотни раз. С изысканной вежливостью он спросил, какое место будет дозволено ему занять. Полковник, исполнявший обязанности старосты, указал на свободный матрас в глубине. Жербье перенес туда свой чемодан и подошел к двум другим обитателям барака. Он протянул руку Легрэну. Тот назвал себя и сказал:

— Коммунист.

— Уже? — спросил Жербье.

Легрэн густо покраснел и торопливо ответил:

— Конечно, я еще слишком молод, и потому мне не могли выдать партийный билет, но дело от этого не меняется. Меня арестовали вместе с отцом и несколькими товарищами. Их упекли в другой лагерь. Видно, здешний режим посчитали для них слишком легким. Я просил отправить меня вместе с ними, но меня оставили здесь.

— И давно это произошло? — спросил Жербье.

— Сразу после перемирия.

— Значит, вы здесь почти год,— сказал Жербье.

— Я в лагере самый старый,— сказал Роже Легрэн.

— Самый древний,— улыбаясь, поправил Жербье.

— После меня идет Армель,— продолжал Легрэн.— Вот он лежит... Учитель.

— Спит? — спросил Жербье.

— Нет, он очень болен,— прошептал Легрэн.— Проклятая дизентерия замучила.

— А в больницу? — спросил Жербье.

— Нет мест.

У их ног раздался слабый голос:

— Не все ли равно, где умирать?

— Как вы здесь оказались? — спросил Жербье, наклонившись к Армелю.

— Я заявил, что не буду учить детей ненависти к евреям и англичанам,— сказал учитель; ему тяжело было даже открыть глаза.

Жербье выпрямился. Он ничем не выдал своего волнения. Только губы слегка порозовели.

Жербье поставил свой чемодан у изголовья матраса. В бараке не было ни мебели, ни какой-либо утвари, если не считать непременной параши.

— Раньше здесь было все, что могло понадобиться немецким офицерам,— сказал полковник.— Но они так и не появились, и комендант с охраной забрали себе все мало-мальски ценное, а остальное пошло в бараки спекулянтов с черного рынка.

— Вы играете в домино? — спросил у Жербье аптекарь.

— К сожалению, нет,— ответил Жербье.

— Можем научить,— предложил коммивояжер.

— Большое спасибо, но я совершенно туп в этом отношении,— сказал Жербье.

— Тогда просим нас извинить,— заявил полковник.— Мы как раз успеем закончить партию до темноты.

Стемнело. Охранники произвели перекличку, заперли двери. В бараке стало совсем темно. Легрэн дышал тяжело, с присвистом. Учитель негромко бредил в своем углу. Жербье подумал: «Комендант лагеря не так уж глуп. Сунул меня в мешок с тремя дураками и двумя смертниками».

■

Когда наутро Роже Легрэн вышел из барака, шел дождь. Но несмотря на дождь и на пронизывающий холод — здесь, на голом плато, открытом для всех ветров, в это апрельское утро было особенно холодно,— Жербье, голый, в одних башмаках и обмотанный вокруг бедер полотенцем, занимался утренней гимнастикой. У него была матовая кожа, сухое и крепкое тело. Мускулов не было видно, но их игра, четкая и слаженная, создавала впечатление монолита, который невозможно расколоть. Легрэн с грустью смотрел на Жербье. Утренняя гимнастика... У Легрэна при первом же глубоком вдохе легкие начинали свистеть, как прохудившаяся футбольная камера... Жербье крикнул ему между двумя приседаниями:

— Уже на прогулке?

— Иду на лагерную электростанцию,— сказал Легрэн.— Я там работаю.

Жербье закончил приседания и подошел к Легрэну.

— Хорошее место? — спросил он.

Яркий румянец залил впалые щеки Легрэна. Только эта способность мгновенно краснеть и выдавала его молодость. В остальном он держался как взрослый; постоянные лишения, тюремный режим, а главное, напряженная работа ума, непрестанный бунт мыслей и чувств заострили его черты, лицо раньше времени возмужало.

— Я и корки хлеба не получаю за эту работу,— сказал Легрэн.— Но я люблю свое ремесло и не хочу терять навык. Вот и все.

Орлиный нос Жербье был в переносице очень тонок. Из-за этого глаза казались близко посаженными друг к другу. Когда Жербье глядел на кого-нибудь пристально и внимательно, как сейчас на Легрэна, рот его кривился в неизменной усмешке, на лбу обозначалась суровая складка, а глаза сливались в полоску черного пламени. Поскольку Жербье молчал, Легрэн повернулся, намереваясь продолжать путь. Жербье тихо сказал:

— До свиданья, товарищ.

Легрэн обернулся с такой стремительностью, точно его что-то обожгло.

— Вы... вы... коммунист,— пробормотал он.

— Нет, я не коммунист,— сказал Жербье.

И после короткой паузы, улыбаясь, добавил:

— Но это не мешает мне иметь товарищей.

Жербье поправил полотенце на бедрах и снова принялся за гимнастику. Красная куртка Легрэна медленно растаяла в струях дождя.

■

Во второй половине дня немного прояснилось, и Жербье обошел лагерь. Это заняло у него несколько часов. Плато было огромное, всю его площадь занимали бараки заключенных. Видно было, что лагерь расширялся беспорядочными толчками, по мере того как приказы Виши гнали на это голое плоскогорье все новые и новые толпы арестованных.

В центре высилось первоначальное ядро, подготовленное для немецких военнопленных. Строения здесь были прочные и выглядели вполне пристойно. В лучших из них разместились службы лагерной администрации. Дальше, насколько хватал глаз, шли вереницы бараков — из досок, из гофрированного железа, из просмоленного картона. Это напоминало зону нищеты и отверженности, опоясывающую большие города. Лагерю требовалось все больше и больше места.

Больше места для иностранцев. Для спекулянтов. Для франкмасонов. Для кабилов. Для противников Легиона. Для евреев. Для крестьян, уклонявшихся от поставок. Для цыган. Для рецидивистов. Для политически неблагонадежных. Для подозреваемых в неблагонадежности. Для тех, кто был правительству неугоден. Для тех, чьего влияния на народ опасались власти. Для тех, на кого поступили доносы, но не нашлось улик. Для тех, кто отбыл срок наказания, но кого не хотели выпускать на волю. Для тех, кого судьи отказывались судить и кто был наказан за свою невиновность...

Их были сотни и сотни — людей, арестованных у себя дома, на работе, на улице, в их будничном бытии и отправленных в лагерь одним росчерком чиновничьего пера, посаженных на неопределенный срок, свирепо выброшенных из жизни; так море швыряет на илистый берег обломки кораблекрушения, и потом до них уже не могут добраться лапы прибоя.

Для охраны этих людей, число которых с каждым днем возрастало, требовались другие люди, все возраставшее множество других людей. Их набирали случайно, в спешке, без всякой системы, вербовали среди безработных самого низкого пошиба, среди всякого сброда, среди прощелыг и проходимцев, среди алкоголиков и дегенератов. Они щеголяли в своих собственных отрепьях, украшенных формальными атрибутами власти: беретом и нарукавной повязкой. Платили им мало. Но эти подонки вдруг ощутили свое всемогущество. Они проявляли страшную жестокость. Они выколачивали деньги буквально изо всего: из голодного пайка заключенных, который они урезывали наполовину, из табака, из мыла, из любых хозяйственных мелочей, которые тут же перепродавали за чудовищную цену. Воздействовать на охранников можно было одним лишь способом — используя их продажность.

Во время прогулки Жербье договорился с двумя из них, что они станут его поставщиками. Он обменялся несколькими словами и с заключенными, которые валялись возле своих бараков. У него было такое чувство, что перед ним плесень, нечто вроде бурых грибов в человеческом образе. У этих голодных, ничем не занятых, небритых и немытых людей, дрожавших от холода в своих красных куртках, были тусклые и пустые глаза, безвольные вялые рты. Жербье подумал, что утрата человеческих качеств здесь довольно естественна и закономерна. Когда в лапы врага попадали настоящие борцы, их, как правило, держали в тюрьмах, в глухих каменных мешках,— или передавали гестапо. Даже и в этом лагере наверняка были люди, не утратившие решимости и не поддавшиеся разложению. Но требовалось время, чтобы обнаружить их в гуще огромной, сломленной горем толпы. Жербье вспомнил Роже Легрэна, его измученное, но непреклонное лицо, его худые мужественные плечи. А ведь его дольше, чем всех остальных, гноили в этой яме. Жербье направился к электростанции, она находилась среди центральных зданий, именовавшихся в лагере «Немецким кварталом».

По дороге Жербье увидел группу изможденных кабилов, похожих на скелеты; вытянувшись в цепочку, они катили перед собой тачки с мусором. Они шли очень медленно. Казалось, их запястья вот-вот переломятся пополам. Их головы едва держались на тощих птичьих шеях. Один из них споткнулся, тачка опрокинулась, мусор вывалился на землю. Прежде чем Жербье успел понять, в чем дело, свора обезумевших людей

кинулась подбирать смрадные отбросы. Следом подоспела другая свора. Охранники начали избивать людей — кулаками, ногами, палками, бычьими жилами. Сперва они делали это по служебной обязанности, стремясь навести порядок. Но скоро стали получать удовольствие от самого процесса избиения. Хмелея от наносимых ударов, они метили в самые уязвимые и болезненные места: в живот, поясницу, под ложечку, в пах. Били до тех пор, пока жертва не теряла сознания.

Внезапно Жербье услышал глухой и хриплый голос Легрэна:

— Я схожу с ума при мысли о том, что этих несчастных взяли в Африке, у них на родине. Пели им о Франции, о прекрасной Франции, о добром дедушке маршале. Обещали по десять франков в день; а когда они прибыли на место, на стройки, им стали платить вдвое меньше. Они спросили почему. Их отправили сюда. Мрут здесь, как мухи. А с теми, кто еще не успел умереть, происходит вот это...

Легрэну не хватило воздуха, и он закашлялся.

— За все будет уплачено сполна,— сказал Жербье.

Его усмешка обозначилась сейчас особенно резко. Люди обычно чувствовали себя неуютно, когда на лице Жербье появлялось это выражение. Но Легрэну оно внушило доверие.

■

К середине мая установилась хорошая погода. Поздняя весна вспыхнула разом и во всем своем великолепии. В лагерной траве расцвели тысячи мелких цветов. Заключенные стали греться на солнце. Среди цветов там и сям виднелись острые позвонки и худые ребра, желтела дряблая кожа, торчали тонкие руки. Жербье, который целыми днями шагал по плато, то и дело натыкался на хворых людей, словно пришибленных блеском весны. Никто не мог бы сказать, какие чувства испытывал он к этому люду — отвращение, жалость или безразличие. Он и сам этого не знал. Но когда он заметил в полдень Легрэна, который, как и все, расположился на жарком солнце, он быстро подошел к нему.

— Не делайте этого, сейчас же прикройтесь,— сказал он.

Юноша не послушался, и Жербье набросил куртку на его жалкий торс.

— Я слышал, как вы хрипите и кашляете во сне,— сказал Жербье.— У вас неладно с легкими. Солнце для вас очень опасно.

До сих пор Жербье проявлял к Легрэну не больше интереса, чем к аптекарю или к полковнику.

— Вы не похожи на врача,— удивленно сказал Легрэн.

— А я и не врач,— сказал Жербье,— но я руководил строительством линии высокого напряжения в Савойе. Там были туберкулезные санатории. Я беседовал там с врачами.

У Легрэна загорелись глаза. Он воскликнул:

— Вы электрик?

— Так же, как вы,— весело сказал Жербье.

— О нет! Я вижу, вы птица высокого полета,— сказал Легрэн.— Но все-таки мы могли бы с вами потолковать о нашей профессии.— Испугавшись своей дерзости, Легрэн тут же добавил: — Время от времени.

— Да хоть сейчас, если хотите,— сказал Жербье.

Он растянулся рядом с Легрэном и, покусывая травинки и цветочные стебли, принялся слушать его рассказ о группе, обслуживавшей электрогенератор, где он работал.

— Хотите, я вас туда проведу? — спросил в завершение Легрэн.

И Жербье увидел электростанцию — довольно примитивную, но содержавшуюся с любовью и знанием дела. Увидел он и помощника Легрэна. Это был старый инженер, австрийский еврей. Ему пришлось

бежать из Вены в Прагу и из Праги во Францию. Он был необычайно робок, старался занимать как можно меньше места. Казалось, после всех своих скитаний и передряг он теперь был вполне доволен судьбой.

■

Мнение, которое Жербье составил об этом человеке, позволило ему ощутить весь трагизм сцены, разыгравшейся несколько дней спустя.

Перед воротами концлагеря остановилась гестаповская машина. Поднялся шлагбаум. Несколько охранников в беретах и нарукавных повязках вскочили на подножки, серая машина медленно двинулась к «Немецкому кварталу». Она подъехала к электростанции, из нее вышел эсэсовский офицер и сделал охранникам знак следовать за ним внутрь здания. Был час солнечных ванн. Многие заключенные поднялись с земли и приблизились к машине. Шофер в солдатской форме курил сигару, пуская дым из ноздрей широкого курносого носа. Он не смотрел на обступивших машину людей, изможденных, полуголых, молчаливых. В тишине раздался крик, потом второй, третий. Крики слились в протяжный вопль — в вой раненого зверя. По рядам полуголых людей прошла волна паники. Но ужас заворожил их, не позволяя сдвинуться с места. Они ждали. Охранники выволокли из электростанции человека с седой головой. Старый инженер бился у них в руках и не переставая кричал. Он увидел толпу полуголых, молчаливых, бледных людей. Из горла его рвались бессвязные слова. Можно было разобрать только: «Французская территория... французское правительство... свободная зона... право убежища...»

Жербье сначала стоял в стороне от зрителей, потом, сам того не замечая, подошел к ним вплотную, прошел сквозь задний ряд, потом через следующий, дошел до переднего ряда, прошел сквозь него. Дрожащая горячая рука легла на его запястье. Тело Жербье сразу расслабилось, в глазах погасло напряжение.

— Спасибо,— сказал он Легрэну.

Жербье тяжело дышал. С жадным отвращением смотрел он, как охранники швырнули старого инженера в машину, а шофер все пускал дым из широченных ноздрей.

— Спасибо,— сказал Жербье еще раз.

Губы его скривились в обычной усмешке, в которой глаза не принимали никакого участия.

Вечером в бараке Легрэн хотел было заговорить о случившемся, но Жербье уклонился от разговора. То же самое повторилось и в последующие дни. Впрочем, учителю Армелю становилось все хуже, и мысли Легрэна были заняты теперь только умиравшим другом.

Молодой учитель умер ночью, в среду. На рассвете кабилы унесли остывшее тело. Легрэн отправился на работу. День прошел точно так же, как предыдущие дни. Когда Легрэн вернулся в барак, полковник, аптекарь и коммивояжер прервали партию в домино, стали утешать его.

— Не нужно,— сказал Легрэн.— Теперь Армелю хорошо.

Жербье ничего не сказал Легрэну. Он протянул ему пачку сигарет, купленную у охранника. Легрэн выкурил три сигареты подряд, несмотря на душивший его кашель. Стемнело. Охрана произвела перекличку, заперла двери. Полковник, коммивояжер, аптекарь заснули. Легрэн, казалось, немного успокоился. Жербье тоже уснул.

Его разбудил знакомый звук. Легрэн кашлял. Жербье больше не мог уснуть. И вдруг он понял. Легрэн заставлял себя кашлять, чтобы подавить рвавшиеся из груди рыданья. Жербье нашел в темноте руку Легрэна, шепнул:

— Я здесь, старина.

С того места, где был матрас Легрэна, несколько секунд не доносилось ни звука. «Он борется за свое достоинство»,— подумал Жербье. Он угадал. И все же Легрэн был только ребенком. Жербье вдруг почувствовал, как к нему прильнуло невесомое тело, прижались костлявые плечи. Он услышал жалобный вздох, с трудом различил слова:

— У меня больше нет никого на свете... Армель ушел. Может, он сейчас у своего бога. Он так в него верил. А мне никогда не увидеть Армеля... Я в это не верю, мосье Жербье... Простите меня... я больше не могу. У меня нет никого. Говорите со мной хоть иногда, мосье Жербье, ладно?

Тогда Жербье шепнул Легрэну в ухо:

— У нас в Сопротивлении не оставляют товарища в беде.

Легрэн умолк.

— В Сопротивлении. Ты слышишь? — продолжал Жербье.— Запомни это слово и спи. Теперь это самое прекрасное слово во французском языке. Ты не мог его знать. Когда оно родилось, ты уже томился здесь. Спи, я обещаю тебе обо всем рассказать.

■

Жербье пошел проводить Легрэна до электростанции. Шли медленно. Жербье говорил:

— Понимаешь, они прибыли на танках, с пустыми глазами. Они считали, что гусеницы танков существуют для того, чтобы дать народам новый закон. Они сделали много танков и поэтому верили, что рождены для того, чтобы написать этот новый закон. Они ненавидят свободу и разум. Истинная цель, ради которой они начали войну,— смерть человека, мыслящего и свободного. Они хотят уничтожить всех, у кого не пустые глаза. Они нашли во Франции людей с такими же вкусами, и эти люди пошли к ним на службу. Они-то и хотят сгноить в этом лагере тебя, еще не начавшего жить. Они убили Армеля. Ты видел, как они выдали немцам несчастного человека, верившего в право убежища. И при этом они заявляют в печати, что завоеватели великодушны. Гнусный Старик пытался развратить страну. «Будьте благоразумны, будьте трусливы,— проповедовал он.— Забудьте о том, что вы были горды, веселы и свободны. Покоритесь победителю, улыбайтесь ему. Он разрешит вам прозябать где-нибудь в уголке». Люди, окружавшие Старика, прикинули, что Франция доверчива и миролюбива. Что она — страна чувства меры и золотой середины. «Франция настолько цивилизовалась и изнежилась,— думали они,— что утратила дух подпольной борьбы и героической смерти. Она подчинится, она заснет. А пока она будет спать, мы сделаем так, чтобы она проснулась с пустыми глазами». И еще они думали: «Мы не боимся этих бешеных патриотов. Они разобщены. Они безоружны. А мы под защитой всех германских дивизий». И пока они услаждали себя подобными мыслями, рождалось Сопротивление.

Роже Легрэн шел, не решаясь взглянуть на Жербье. Он словно боялся спугнуть своим вмешательством чудо. Этот человек, такой сдержанный, такой скупой на слова, вдруг разразился пламенной речью... И мир вокруг Легрэна стал вдруг иным... Легрэн видел траву и лагерные бараки, видел красные куртки, видел истощенные фигуры кабилов, вышедших в очередной наряд. Но все изменило свою форму и свое назначение. Жизнь лагеря не ограничивалась больше рядами колючей проволоки. Она выплеснулась и обняла всю страну. Она озарилась и приобрела смысл. Кабилы, и Армель, и он сам вливались в великий людской поток. Легрэн почувствовал, что он постепенно избавляется от своего бунта — слепого, неистового, скованного, смутного, тупого, безысходного, от бунта, который пожирал и раздирал в кровь все его существо. Легрэн приблизился к великой тайне. Но он казался себе слишком ма-

леньким и слабым, чтобы поднять глаза на своего спутника, который срывал сейчас перед ним завесы с этой тайны.

— Как все началось, я не знаю,— говорил Жербье.— Думаю, этого не узнает никогда и никто. Но один крестьянин перерезал в поле телефонный провод. Старая женщина ударила своей клюкой немецкого солдата. Появились листовки. Рабочий на бойнях в Ла-Вийет швырнул в холодильную камеру немецкого капитана, который слишком уж рьяно принялся реквизировать мясо. Горожанин послал в противоположную сторону победителей, спросивших у него дорогу. Железнодорожники, кюре, браконьеры, банкиры помогают сотням людей, бежавших из лагерей. Фермеры укрывают английских солдат. Проститутка отказывается спать с завоевателями. Французские офицеры, солдаты, каменщики, художники прячут оружие. Ты ничего об этом не знаешь. Ты сидел в лагере. Но для того, кто ощутил это пробуждение, эту первую дрожь,— для того это стало самой волнующей вещью на свете. Сок свободы заструился по жилам французской земли. Немцы, и их прислужники, и гнусный Старик решили вырвать опасный росток с корнем. Но чем усердней его вырывали, тем упрямей он рос. Они забили до отказа тюрьмы. Понастроили лагерей. Они совсем обезумели. Посадили за решетку полковника, коммивояжера, аптекаря. И приобрели новых врагов. Они стали расстреливать. Но кровь тоже нужна упрямому растению, чтобы крепнуть и давать новые всходы. Кровь пролилась. Кровь льется. Она будет литься потоками. И растение превратится в лес.

Жербье и Легрэн обошли кругом электростанцию. Жербье еще сказал:

— Тот, кто вступает в Сопротивление, берет на прицел немца. Но в то же время он бьет и по Виши, и по Старику, и по прихвостням Старика, и по коменданту нашего лагеря, и по охранникам, которых ты видишь ежедневно за их грязной работой. Сопротивление — это все французы, которые не хотят, чтобы у Франции были мертвые, пустые глаза.

■

Жербье и Легрэн сидели на траве. Было ветрено, с холмов тянуло прохладой. Смеркалось. Жербье говорил юноше о газетах Сопротивления.

— И люди, которые их выпускают, не боятся писать все, что думают? — спросил Легрэн, и у него зардели скулы.

— Они ничего не боятся, они не признают никакого другого закона, никакого другого хозяина, кроме собственной мысли,— сказал Жербье.— Мысль в них сильнее, чем инстинкт самосохранения. Люди, выпускающие эти листки, никому не известны, но настанет день, когда поставят памятник их делам. Тот, кто добывает бумагу, рискует жизнью. Тот, кто набирает полосу, рискует жизнью. И тот, кто распространяет газету, рискует жизнью. Но ничто не может их остановить. Никто не в силах заглушить крик, который рвется из-под ротаторов, спрятанных по жалким лачугам, рвется из-под станков, укрытых в подвалах. Не думай, что эти газеты выглядят так же нарядно, как те, что продаются открыто на каждом углу. Это крохотные, жалкие листки. Бумага серая, печать плохая. Сбитые литеры, тусклые заголовки, краска смазана. Но люди делают все, что в их силах. Неделю выпускают газету в одном городе, неделю — в другом. В дело идет то, что есть под рукой. Но газета выходит. Статьи прибывают неведомыми путями. Кто-то их собирает, кто-то редактирует. Подпольные бригады верстают. Полицейские, шпики, провокаторы, шпионы мечутся, шарят, вынюхивают, выслеживают. Газета идет по дорогам Франции. Она небольшая, на вид невзрачная. Ее везут в старых, потертых чемоданах. Но каждая строчка в ней — золотой луч. Луч свободной мысли.

— Мой отец был печатник... так что я понимаю,— сказал Легрэн.— Только вряд ли их много, этих газет.

— Их очень много,— сказал Жербье.— В Сопротивлении каждая мало-мальски значительная группа выпускает свою газету, выпускает тиражом в несколько десятков тысяч. Свои газеты есть и у отдельных групп, действующих самостоятельно. Есть газеты в провинциях. Своя газета есть у врачей, у музыкантов, у студентов, у учителей, у преподавателей университетов, у художников, у писателей, у инженеров.

— А у коммунистов? — тихо спросил Легрэн.

— Ну конечно. У них — «Юманите». Как до войны.

— «Юма»,— сказал Легрэн,— «Юма»...

Его запавшие глаза светились восторгом. Он хотел сказать еще что-то, но приступ кашля заставил его замолчать.

■

Был полдень. Проглотив по котелку соленой воды, называемой обедом, заключенные валялись на солнце. Легрэн и Жербье улеглись в тени за бараком.

— В Сопротивлении люди гибнут на каждом шагу,— говорил Жербье.— Гестаповцы собирались казнить дочь одного промышленника, потому что она не захотела выдать организацию, к которой принадлежала. Отец добился свидания с ней. Он умолял ее все сказать. Она ответила бранью и *приказала* немецкому офицеру, присутствовавшему при свидании, увести отца... Один деятель христианских профсоюзов по слабости или из корысти снюхался с немцами. Жена выгнала его. А сын, совсем еще мальчик, вступил в боевую группу. Он участвовал в диверсиях, убивал часовых. Когда его арестовали, он написал матери: «Наша честь восстановлена. Я умираю как настоящий француз и настоящий христианин». Я видел это письмо... Один знаменитый ученый был арестован, гестаповцы бросили его в тюрьму Френ. Его пытали, требовали назвать имена. Он молчал... молчал... Но потом почувствовал, что силы его иссякают. Он стал бояться самого себя. Тогда он разорвал на полосы свою рубаху и повесился... В Париже, после одной дерзкой операции, стоившей немцам многих жизней, десяток людей был приговорен к смерти. Их должны были расстрелять на рассвете. Они это знали. И один из них, рабочий, начал рассказывать забавные истории. Всю ночь он *смешил* товарищей. Об этом сообщил его семье немецкий священник, который служил в тюрьме.

Легрэн потупился и нерешительно спросил:

— Скажите... мосье Жербье... а среди участников этой операции не было коммунистов?

— Все они были коммунисты,— ответил Жербье.— А один коммунист, Габриэль Пери, написал перед смертью слова, которые стали прекрасным девизом Сопротивления. «Я счастлив,— написал он.— Мы готовим поющее завтра».

Жербье положил руку на запястье Легрэна и ласково продолжал:

— Я хочу, чтобы ты понял раз навсегда. Сейчас между коммунистами и остальными французами нет больше ненависти, нет подозрений, нет вообще никаких преград. Все мы ведем одну и ту же борьбу, и враг обрушивает самые страшные удары в первую очередь на коммунистов. Мы это знаем. Мы знаем, что они смелее всех и лучше организованы. Они помогают нам, и мы помогаем им. Они любят нас, и мы любим их. Все стало очень просто.

— Говорите, мосье Жербье, говорите еще,— прошептал Легрэн.

■

Больше всего Жербье говорил по ночам.

Ночами маленький тесный барак щедро отдавал все накопленное за день тепло. Матрасы жгли спину. Мрак душил. Товарищи по заключению ворочались с боку на бок в тяжелом сне. Но Легрэн ничего не замечал, как не замечал и грозного хрипа в собственных легких, заставлявшего его время от времени хвататься обеими руками за грудь. Жербье говорил ему о бесчисленных радиоприемниках и передатчиках, спрятанных в городских квартирах и деревенских домах и позволяющих ежедневно беседовать с друзьями из свободного мира. Он рассказывал ему о работе тайных радистов, об их ловкости и терпении, о смертельном риске, которому они подвергаются, и о чудесной музыке шифрованных передач. Он рисовал перед ним огромную сеть подслушивания и наблюдения, которой Сопротивление опутывает врага, проникая в его планы и документы, пересчитывая его полки и дивизии. Жербье говорил о том, как в любое время дня и ночи, в любую погоду по всей Франции идут, едут, проскальзывают под самым носом у врага бесчисленные связные. И он рисовал перед Легрэном эту подпольную Францию, Францию потайных оружейных складов, Францию командных пунктов, чуть ли не ежедневно переезжающих с места на место. Францию безвестных командиров, Францию мужчин и женщин, без конца меняющих свое имя, одежду, лицо и кров.

— Эти люди,— говорил Жербье,— могли бы спокойно сидеть у себя дома. Ничто не принуждало их к действию. Благоразумие и здравый смысл подсказывали совсем иное: надо есть и спать под сенью немецких штыков, радоваться, видя, как процветают дела, как улыбаются жены, как растут дети. Они могли наслаждаться и материальными благами, и семейными радостями. Их совесть баюкали речи Старика из Виши. Нет, поистине, ничто не принуждало их к борьбе. Ничто, кроме собственной свободной души.

Знаешь ли ты,— говорил Жербье,— что такое жизнь подпольщика, жизнь участника Сопротивления? У него больше нет документов, а если и есть, то подложные или чужие. Нет продуктовых карточек. Он больше не может питаться даже впроголодь. Он ночует на чердаке, или у проститутки, или на полу в какой-нибудь лавке, или в чьем-то пустом амбаре, или на вокзальной скамье. Он не может повидаться с семьей, потому что она под надзором полиции. Если его жена тоже работает в Сопротивлении,— а это бывает довольно часто,— их дети остаются беспризорными. Угроза, что его в любой момент схватят, преследует его по пятам. Каждый день исчезают товарищи, их пытают, расстреливают. Бездомный, затравленный, он идет от пристанища к пристанищу, как бледная тень, как призрак своего прежнего «я».

И Жербье говорил:

— Но он никогда не одинок. Он ощущает вокруг веру и любовь всего порабощенного народа. Он находит единомышленников и помощников, находит везде. В полях и на заводах. В предместьях и замках, среди жандармов, железнодорожников, контрабандистов, торговцев и священников. У старых нотариусов и у девчонок-школьниц. Бедняк делится с ним последним куском хлеба. С ним, не имеющим даже права войти в булочную, ибо он борется за все урожаи Франции.

Так говорил Жербье. И Легрэн, на своем убогом ложе, в душной темноте, открывал для себя новую волшебную страну, населенную борцами, бесчисленными и безоружными, открывал страну людей, связанных священной дружбой, свою новую прекрасную родину. Имя ей было — Сопротивление.

■

Как-то утром, по дороге на работу, Легрэн вдруг спросил:

— Мосье Жербье, вы один из руководителей Сопротивления?

Жербье пристально и чуть ли не жестоко посмотрел на пылающее, изможденное лицо Легрэна. Он прочел на нем безграничную честность и преданность.

— Я работал в штабе одной организации,— сказал он.— Здесь никто об этом не знает. Я ехал из Парижа, меня арестовали в Тулузе, наверно, по доносу. Но никаких улик. Они даже не решились меня судить. Тогда они взяли и отправили меня сюда.

— На какой срок? — спросил Легрэн.

Жербье пожал плечами и улыбнулся.

— Уж это как им заблагорассудится,— сказал он.— Тебе-то об этом известно лучше, чем кому бы то ни было.

Легрэн остановился и потупился. Потом сказал сдавленным, но твердым голосом:

— Мосье Жербье, надо, чтобы вы отсюда ушли.— Сделал паузу, поднял голову и добавил: — Вы нужны на воле.

Жербье молчал, и Легрэн опять заговорил:

— У меня есть одна идея... я давно об этом думаю... Расскажу вам сегодня вечером.

Они расстались. Жербье купил сигарет у охранника, который был его постоянным поставщиком. Потом обошел лагерь. На его лице была обычная усмешка. А между тем он достиг цели, ради которой он опьянял своими рассказами Легрэна.

■

— Сейчас расскажу вам, какая у меня появилась идея,— прошептал Легрэн, убедившись, что полковник, коммивояжер и аптекарь крепко спят. Он помолчал, подыскивая слова. Потом сказал: — Что мешает вам бежать? Два обстоятельства — колючая проволока и часовые. Что касается проволоки, то почва здесь неровная и есть места, где человек худощавый, вроде вас, мосье Жербье, может под проволокой пролезть, она его только чуть оцарапает.

— Я знаю эти места,— сказал Жербье.

— Значит, с проволокой просто,— сказал Легрэн.— Остаются часовые. Сколько вам потребуется минут, чтобы добежать до дорожки, пролезть под проволокой и скрыться среди холмов?

— Двенадцать... Самое большее — пятнадцать,— сказал Жербье.

— Так вот, я могу сделать так, что охранники ослепнут больше чем на пятнадцать минут,— сказал Легрэн.

— Я знаю,— спокойно сказал Жербье.— Для опытного электрика не составит труда заранее подготовить маленькую аварию.

— Вы уже думали об этом,— пробормотал Легрэн.— И ни разу мне не сказали, даже не намекнули.

— Я умею приказывать, умею подчиняться приказам. Но не умею просить,— сказал Жербье.— Я ждал, когда ты сам мне это предложишь.

Жербье привстал на локте, словно пытаясь в темноте разглядеть лицо говарища. Потом сказал:

— Я часто спрашивал себя, почему, располагая этой возможностью, ты сам ею не воспользовался.

Прежде чем ответить, Легрэн долго кашлял.

— Вначале я говорил об этом с Армелем. Он был не согласен. Возможно, он слишком легко примирился со своей участью. Но в одном отношении он был прав. Он сказал, что в наших куртках, без документов, без продуктовых карточек нам далеко не уйти. Потом Армель заболел.

Я не мог его оставить. Да и сам я стал хворать. А вы — совсем другое дело. С вашими друзьями по Сопротивлению...

— Я уже установил с ними контакт через одного охранника, который продает мне сигареты,— сказал Жербье. И без всякого перехода добавил: — Через неделю, самое позднее через две, мы можем уйти.

Наступило молчание. У Легрэна так сильно стучало сердце, что Жербье слышал его стук. Юноша прошептал:

— Вы сказали «мы», мосье Жербье?

— Ну конечно,— ответил Жербье.— Разве ты думал иначе?

— Иногда мне тоже казалось, что вы собираетесь взять меня с собой. Но я не смел в это поверить,— сказал Легрэн.

Медленно, подчеркивая каждое слово, Жербье спросил:

— Значит, ты мирился с мыслью, что подготовишь мой побег, а сам останешься здесь?

— Да, я так решил,— сказал Легрэн.

— И ты бы это сделал?

— Вы нужны в Сопротивлении, мосье Жербье.

Несколько минут Жербье мучительно боролся с желанием закурить. Но он не сразу зажег спичку. Он терпеть не мог, когда люди видели волнение на его лице.

■

Приступая к новой партии в домино, полковник Жарре дю Плесси сказал своим партнерам:

— Нашего маленького коммуниста словно подменили. Уходя на работу, он теперь даже песни поет.

— Это все весна,— заверил коммивояжер.

— Дело скорее в том, что человек ко всему привыкает,— вздохнул аптекарь.— Бедный парень устроен так же, как и мы, грешные.

Все трое не питали к Легрэну никакой враждебности. Напротив, его молодость, его горе, состояние его здоровья внушали этим от природы добрым людям сочувствие к юноше. Они предлагали ему дежурить по очереди у Армеля. Но Легрэн ревниво отказывался от их услуг. Когда они получали с воли продуктовые посылки, они всегда угощали Легрэна. Но зная, что у него нет никакой надежды ответить им когда-нибудь тем же, Легрэн упорно отказывался от угощений. И привыкнув к тому, что Легрэн постоянно дичится, игроки в домино постепенно забыли об его существовании. Теперь, когда его поведение изменилось, он опять привлек к себе их внимание. Однажды вечером, когда аптекарь предложил соседям несколько плиток шоколада, присланных ему семьей, Легрэн тоже протянул руку.

— Браво! — воскликнул полковник Жарре дю Плесси.— Наш маленький коммунист понемногу приручается.

Полковник обернулся к Жербье и сказал:

— Поздравляю вас, мосье, это ваше влияние.

— Я думаю, что это скорее влияние шоколада,— ответил Жербье.

Несколько часов спустя, когда все заснули, Жербье сказал Легрэну:

— Ты выбрал не самое удачное время для того, чтобы люди начали обсуждать твой аппетит.

— Я подумал... подумал, что я мог бы скоро прислать ему что-нибудь с воли...— пробормотал юноша.

— Им могла прийти в голову та же самая мысль. Никогда не нужно считать, что люди глупее тебя,— сказал Жербье.

Они замолчали. Потом Легрэн смиренно спросил:

— Вы на меня не сердитесь, мосье Жербье?

— Да нет же, хватит об этом,— сказал Жербье.

— Тогда расскажите мне, пожалуйста, как все произойдет после того, как погаснет свет,— попросил Легрэн.

— Я тебе уже подробно все объяснял — и вчера, и позавчера,— сказал Жербье.

— Если вы не будете мне повторять снова и снова,— сказал Легрэн,— я не смогу в это поверить, я просто не засну... Нет, правда у нас будет машина?

— Да, с газогенератором,— сказал Жербье.— И я думаю, что на ней приедет Гийом.

— Бывший сержант Иностранного легиона? Которому сам черт не брат? По прозвищу Бизон? — зашептал Легрэн.

— В машине будет одежда,— продолжал Жербье.— Нас отвезут в дом одного кюре. А там будет видно.

— И друзья из Сопротивления снабдят нас фальшивыми документами? — спросил Легрэн.

— И продовольственными карточками.

— И вы познакомите меня с коммунистами, мосье Жербье? И я буду работать с ними в Сопротивлении?

— Обещаю тебе.

— Но мы с вами все равно будем видеться, мосье Жербье?

— Если ты станешь связным.

— Я хочу им стать,— сказал Легрэн.

И все последующие ночи Легрэн каждый раз просил:

— Расскажите мне про Гийома Бизона и обо всем остальном; ну, пожалуйста, мосье Жербье.

■

Купив очередную пачку сигарет, Жербье обнаружил в ней листок тонкой бумаги. Он заперся в уборной, внимательно прочел сообщение и сжег его. Потом, как обычно, обошел лагерь кругом, вдоль рядов колючей проволоки. Под вечер он сказал Легрэну:

— Все в порядке. Мы отправляемся в субботу.

— Через четыре дня,— пробормотал Легрэн.

Кровь отхлынула от его впалых щек, потом густо окрасила их румянцем и опять отлила. Он привалился к Жербье:

— Простите... У меня кружится голова. Это от счастья.

Жербье осторожно уложил его на траву. Он видел, что за последнюю неделю юноша заметно сдал. Лицо у него словно уменьшилось, а глаза стали огромными. Нос заострился и торчал, точно рыбья кость. Кадык выпирал еще больше, чем прежде.

— Ты должен успокоиться,— строго сказал Жербье,— и не выдавать своих чувств. К субботе ты должен поправиться. Как-никак нам предстоит пройти пять километров. Будешь съедать мою порцию похлебки, слышишь?

— Хорошо, мосье Жербье.

— И ты мало спишь. Завтра пойдешь к врачу и попросишь снотворного.

— Хорошо, мосье Жербье.

Наутро Легрэн ушел из барака раньше обычного, Жербье проводил его до порога.

— Еще три ночи здесь и потом — машина Бизона,— сказал Легрэн.

Он убежал. Жербье смотрел ему вслед и думал: «Молодой, выдержит».

За обедом Жербье протянул Легрэну свой котелок. Но тот покачал головой.

— Я знаю, мы договорились, но я не могу, меня тошнит.— сказал он.

— Тогда возьми мой хлеб,— сказал Жербье,— съешь его на работе.

Легрэн сунул серый ломоть в карман куртки. Движения у него были вялые, лицо тупое.

— Ты неважно выглядишь,— заметил Жербье.

Легрэн не ответил и отправился на электростанцию. Вечером он даже не попросил Жербье рассказывать ему про Бизона и прочие чудеса.

— Ты принял снотворное? — спросил Жербье.

— Принял. Думаю, я быстро засну,— сказал Легрэн.

В четверг его поведение сделалось еще более странным. Он не стал завтракать, а вечером в бараке, дожидаясь отбоя, он вместо того, чтобы поговорить с Жербье, сел смотреть, как играют в домино. Уснул он, казалось, мгновенно.

В пятницу Легрэн затеял нелепую ссору с аптекарем, назвал его грязным буржуем. Жербье тогда ничего не сказал, но ночью, в темноте и тишине барака, он с силой сжал руку Легрэна, хотя, казалось, тот уже спал, и спросил его:

— Что с тобой происходит?

— Да ничего, мосье Жербье,— сказал Легрэн.

— Нет, я прошу тебя ответить,— сказал Жербье.— Ты больше не веришь? Нервы сдают? Даю тебе слово, что с моей стороны все будет в полном порядке.

— Я это знаю, мосье Жербье.

— А с твоей?

— Работа будет чистая, могу вас уверить. Комар носу не подточит.

— Тогда в чем же дело?

— Я сам не знаю, мосье Жербье, честное слово... Голова тяжелая. Сердце ноет...

Казалось, глаза Жербье пронзают ночь, стремясь проникнуть в тайну собеседника. Но нет, в темноте его глаза были бессильны.

— Должно быть, ты слишком наглотался снотворного,— сказал наконец Жербье.

— Наверно, мосье Жербье,— сказал Легрэн.

— Завтра тебе сразу станет лучше, как только ты увидишь машину, а в ней Бизона.

— Бизона,— повторил Легрэн.

Но больше ни о чем расспрашивать не стал.

Впоследствии Жербье не раз вспоминал бессознательную и страшную жестокость этого диалога в ночи.

■

Утром в субботу, совершая свою обычную прогулку, Жербье зашел на электростанцию, где, после того как увезли старого инженера-австрийца, Легрэн работал один. Жербье с удовлетворением отметил, что Легрэн спокоен.

— Все готово,— сказал ему юноша.

Жербье внимательно осмотрел работу Легрэна. Часовой механизм, который должен был произвести короткое замыкание, был задуман и собран остроумно и ловко. Подача энергии прекратится точно в назначенный час.

— И уж будьте спокойны,— заверил его Легрэн,— этим невеждам из ночной охраны понадобится самое меньшее сорок минут, чтобы все починить.

— Никто бы не смог соорудить все это лучше. Можно считать, что мы уже на воле,— сказал Жербье.

— Спасибо, мосье Жербье,— пробормотал юноша.
Глаза у него горели.

■

В последних отблесках заката полковник, аптекарь и коммивояжер закончили партию в домино. Сумерки серым дымом расползались по территории лагеря. Но кольцо яркого и неподвижного света удерживало их внутри ограды. Дорожка для часовых между рядами металлических шипов и колючек была освещена беспощадно ярко. Дальше сумерек не было, там сразу начиналась ночь. Жербье и Легрэн стояли перед бараком и молча смотрели на освещенную прожекторами проволоку. Время от времени Жербье ощупывал у себя в кармане инструмент. Легрэн прихватил его в мастерской, чтобы взломать замок. Охранник в берете крикнул:

— Поверка!

Легрэн и Жербье вернулись в барак. Охранник пересчитал обитателей барака и запер двери. Наступила полная тьма. Каждый ощупью нашел свой матрас. Полковник, коммивояжер и аптекарь какое-то время еще обменивались замечаниями, паузы между словами все удлинялись. Жербье и Легрэн молчали. Соседи, привычно вздыхая, погружались в сон. Жербье и Легрэн молчали.

Жербье был доволен, что Легрэн молчит. Он опасался, что в эти долгие минуты ожидания юноша станет нервничать, суетиться, болтать. Часовой механизм, установленный Легрэном, должен был сработать ровно в полночь. Оставалось около получаса. Жербье выкурил несколько сигарет, потом подошел к дверям и бесшумно взломал замок. Приоткрыв одну створку, он увидел яркий свет, заливавший плато. Жербье вернулся к своему матрасу и сказал:

— Готовься, Роже, теперь недолго осталось.

Он снова услышал, как колотится сердце Легрэна.

— Мосье Жербье,— запинаясь, выговорил юноша,— я должен вам кое-что сказать.

Он с трудом перевел дыхание.

— Я не иду,— сказал он.

Несмотря на все свое самообладание, Жербье чуть было не закричал. Но взял себя в руки и заговорил тем же тоном, каким всегда беседовал с Легрэном в ночные часы.

— Боишься? — спросил он очень спокойно.

— О, мосье Жербье! — всхлипнул Легрэн.

И Жербье понял, что Легрэн ничего не боится. Понял совершенно твердо, будто видел его лицо.

— Ты считаешь, что слишком слаб, чтобы пройти такой путь? — сказал Жербье.— Если надо будет, я понесу тебя на руках.

— Я бы и сам прошел его до конца. Прошел бы гораздо дальше,— сказал Легрэн.

И Жербье почувствовал, что тот говорит правду.

— Я вам сейчас все объясню, мосье Жербье, только не перебивайте меня,— сказал Легрэн.— Мне нужно успеть вам многое сказать, а это мне трудно.

В легких у Легрэна хрипело. Он закашлялся, потом продолжал:

— Когда я пошел, как вы мне велели, за снотворным, я побывал у врача. Он хорошо отнесся ко мне. Он старик и все понимает. Это он поместил меня и Армеля в этот барак, потому что здесь хоть крыша не протекает и поэтому пол сухой. Больше он не мог ничего для нас сделать. Но поговорить с ним всегда хорошо. Он сказал, что я паршиво выгляжу. Осмотрел меня и прослушал. Я в общем-то не все понял, что он говорил... Но хорошо понял, что одно легкое у меня уже готово и со

вторым началось то же самое. Он вздыхал, оттого что я сижу здесь так долго и оттого что у меня нет никакой надежды выбраться. Тогда я у него спросил, а что было бы, если бы я оказался на воле. Он сказал, два года в санатории — и я бы, пожалуй, поправился. А иначе мне конец. Я ушел от него, точно меня по голове стукнули. Вы видели, на что я тогда был похож... И все-таки я все время думал о том, что вы мне рассказывали про Сопротивление. И только сегодня утром окончательно понял, что мне нельзя с вами идти.

Жербье считал себя человеком сильным. И он им был. Он считал, что никогда ничего не делает необдуманно. И это было правдой. Он распалил Легрэна своими рассказами для того только, чтобы сделать его своим сообщником. Но теперь, забыв обо всем, он сказал в безотчетном порыве:

— Я тебя не оставлю. Деньги у меня есть, я смогу раздобыть, если нужно, еще, поселю тебя у надежных людей, тебя будут лечить. Проживешь там, сколько нужно, до полного выздоровления.

— Не для этого я собирался бежать, мосье Жербье,— услышал он в темноте спокойный голос Легрэна.— Я хотел стать связным. Не хочу отнимать у товарищей карточки ради своего драгоценного здоровья. Не хочу быть для Сопротивления обузой. Я ведь теперь отлично знаю, что такое Сопротивление.

Жербье был не в силах что-либо ответить Легрэну, а тот продолжал:

— И все же я рад, что узнал от вас про Сопротивление. Больше я не буду чувствовать себя таким несчастным. Я понимаю, что такое жизнь, я люблю ее. Теперь я стал как Армель. У меня есть вера.

Он немного оживился, в голосе зазвучала ожесточенность:

— Но справедливость нужна мне не на том свете, мосье Жербье. Скажите друзьям — и в лагере, и на воле,— скажите, пусть они поторопятся. Я хотел бы сам увидать, как придет конец людям с пустыми глазами.

Он замолчал, никто из двоих не мог бы сказать, как долго длилось молчание. Оба не сводили глаз со щели в дверях, сквозь которую проникал свет прожекторов, освещавших колючую проволоку. И оба одновременно вскочили, когда свет погас. Мрак свободы слился с мраком тюрьмы. Жербье и Легрэн стояли в дверях.

Вопреки здравому смыслу, забыв об осторожности, Жербье сделал еще одну попытку:

— Они обнаружат причину аварии, увидят, что я бежал. Сопоставят факты и примутся за тебя.

— А что они могут еще мне сделать? — пробормотал Легрэн.

Жербье все не уходил.

— Наоборот, я буду вам полезен,— сказал юноша.— За мной придут, чтобы починить линию. Я сразу выскочу из барака, они не заметят, что вас нет, а я еще проволынюсь лишних полчаса с ремонтом. Вы с Бизоном будете уже далеко.

Жербье переступил порог.

— Подумай в последний раз,— сказал он почти умоляюще.

— Я никогда никому не был в тягость,— ответил Легрэн.— Не буду в тягость и Сопротивлению.

Жербье проскользнул в дверь и, не оборачиваясь, пошел туда, где в колючей проволоке был лаз. Он знал это место наизусть, знал наизусть, сколько шагов до него.

Легрэн аккуратно затворил дверь, прошел к своему убогому ложу, вцепился зубами в парусину матраса и молча стал ждать.

Е. КНИПОВИЧ

ЧИТАЯ ЛЕНИНА

I

Шестьдесят два года тому назад — в 1908 году — западноевропейская и русская буржуазная печать отмечала на своих страницах двадцатипятилетие со дня смерти Карла Маркса. «Пролетарий» — нелегальный орган РСДРП(б) — откликнулся на эти выступления статьей В. И. Ленина «Оценка Маркса международным либерализмом»*. В этом случае, как и во многих других, В. И. Ленин сосредоточил свое внимание прежде всего не на открыто враждебных выступлениях реакционных сил, а на том, как «почтили» память основоположника научного социализма «либеральные и «демократические» буржуазные газеты, соединяющие возможность влиять на массы читателей с правом говорить от имени официальной, казенной, титулованной профессорской науки».

Примеры, взятые В. И. Лениным,— разнообразны. Здесь «Русские ведомости» — «самая спокойная (и самая скучная), самая научная (и самая далекая от живой жизни) профессорская газета»; здесь и кадетская «Речь», где для такого случая подвизался перебежчик Изгоев — «образчик тех российских интеллигентов, которые лет в 25—30 «марксействуют», в 35—40 либеральничают, а после черносотенствуют». Здесь и «Frankfurter Zeitung» — одна из самых богатых, самых распространенных, самых «демократических» газет Германии; здесь, наконец, консервативный орган буржуазной Франции — «Journal des Débats».

Весьма любопытно, что при движении от «демократизма» к открытой реакционности увеличивается и доля истины в истолковании Маркса и марксизма. Либерально-дипломированные профессора и ренегаты действуют по методу «с одной стороны, с другой стороны». Нет, они отнюдь не отрицают заслуг, даже величия Маркса. Их задача иная — отодвинуть величие это «в глубь веков», с профессорской, «деревянной» настойчивостью воздавать Марксу должное «за прошлое, которое уже умерло, о котором можно говорить «по-мертвому».

Да, объективно констатирует профессорское крыло либералов, Маркс — «исключительная фигура», «великий в науке человек» и даже — «выдающийся руководитель пролетариата». Но ведь, при всем при том, «многие из построений Маркса разрушены научным анализом и беспощадной критикой событий» и «среди ученых почти отсутствуют последователи, верные всей его системе». Эти «обходные маневры» подчинены одной задаче. «Автор не договаривает очень немногого,— говорит Ленин,— своего желания *исправить* Маркса по-ревизионистски».

Не менее поучительна и та защита «Маркса-ученого» от «Маркса — политиканствующего тактика» и «эволюционного марксизма», признаваемого большинством («большинством филистеров?» — спрашивает Ленин),— от революционного марксизма, сыгравшего такую зловещую (с точки зрения либерала) роль в революции 1905 года. «Подумайте только,— комментирует В. И. Ленин,— договорились до диктатуры пролетариата для производства этой самой «буржуазной революции».

Гораздо менее лицемерным оказывается «цвет той разновидности идейного черносотенства, который называется европейским либерализмом». Этот отряд «истолкователей» не скрывает того, что Маркс и его наследие — это враг вполне живой и вполне современный. Более того, «цвет черносотенства» не прочь дать урок тем, кто думает, будто Маркса и марксизм можно использо-

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 16, стр. 466—470.

вать «частично» — для вполне благопристойных с точки зрения буржуазного общества целей.

«Ревизионисты думали и думают еще до сих пор,— пишет «Frankfurter Zeitung»,— что можно некоторым образом удержаться за Маркса и все же стать другой партией. Напрасная надежда. Маркса надо либо проглотить целиком, либо выбросить вовсе, а с половинчатостью тут ничего не поделаешь». «Верно, господа либералы! — комментирует эти слова Ленин,— и случается же вам иногда правду сказать!»

Еще «правее» — и сущность учения Маркса определена еще более точно. «Journal des Débats» заявляет прямо: «Он (то есть Маркс.—*Е. К.*) проповедовал рабочим классам не временные конфликты, сопровождаемые перемириями, а священную войну, войну истребления, экспроприации, войну за обетованную землю коллективизма... чудовищная утопия...»

«Хорошо пишут буржуазные газеты, когда что-нибудь настоящим образом заденет за живое,— кончает свою статью Ленин.—И веселее становится жить, когда видишь, как складывается и упрочивается идейное единство либеральных врагов пролетариата во всем мире — ибо это единство есть один из залогов объединения миллионов международного пролетариата, который завоюет себе, во что бы то ни стало, свою обетованную землю».

Об этой статье мы вспомнили не только потому, что она так же остра и современна, как и все ленинское наследие, но еще и потому, что сейчас она звучит особенно злободневно. Начиная с 1967 года — когда исполнилось 50 лет со времени Октябрьской революции и сто лет со дня выхода в свет «Капитала» Маркса — международные либералы и поборники «частичного использования» марксизма приступили к новому туру «истолкований» революционной теории и революционной практики. Тезис «Маркс и его учение принадлежат прошлому» остался неизменным. Но, естественно, совсем новый исторический этап потребовал и существенных дополнений. Основное из них—это попытка «рассечь» понятия «марксизм» и «ленинизм», произвести, по определению некоторых американских социологов, «резанадизацию» Маркса и отвергнуть все виды «постмарксистского социалистического теоретизирования».

Да, о Марксе и марксизме сегодняшние либералы говорят так, как будто история остановилась на 1883 годе, как будто Ленин, ленинизм, Октябрьская революция, первое в мире государство рабочих и крестьян и социалистический сектор мира вообще не существуют. Остается неясным только одно — зачем так пространно и так упорно говорить о том, что уже относится к отдаленному «прошлому» и «опровергнуто беспощадной критикой событий». Впрочем, не менее подозрительна и та нервическая настойчивость, с какой буржуазно-либеральные и марксиствующие социологи зарубежных стран твердят сейчас о том, что рабочий класс, пролетариат, в наши дни потерял свои революционные потенции, а то и вовсе «исчез», растворился в современном «индустриальном обществе» «равных возможностей». В №№ 10—11 журнала «Иностранная литература» за 1967 год были опубликованы материалы «круглого стола» на тему «Рабочий класс, общество, литература». Участниками разговора были социологи, философы, литературоведы разных стран, и «шкала» мнений была довольно разнообразной. Выступление одного из советских участников, О. Россиянова, было названо в журнале «Исчезла ли материя?». И в самом заглавии этом уже был дан ключ к тому точному и очень остроумному опровержению тезиса об «исчезновении пролетариата», которое содержалось в словах советского литературоведа. «Материя исчезла» — таков (взятый Лениным в кавычки) второй подзаголовок к V главе «Материализма и эмпириокритицизма» — «Новейшая революция в естествознании и философский идеализм». В этой подглавке В. И. Ленин раскрывает сущность той идеалистической спекуляции на новых открытиях в области естествознания, которой занимались некоторые философы и теоретики «махистской физики».

«Материя исчезает»,— говорит В. И. Ленин,— это значит, исчезает тот предел, до которого мы знали материю до сих пор, наше знание идет глубже, исчезают такие свойства материи, которые казались раньше абсолютно неизменными, первоначальными... и которые теперь обнаруживаются, как относительные, присущие только некоторым состояниям материи. Ибо *единственное* «свойство» материи, с признанием которого связан философский материализм, есть свойство *быть объективной реальностью*, существовать вне нашего сознания» *.

Я далека (как и О. Россиянов) от отождествления «материи» и «рабочего класса». Но некоторое право на аналогию тут есть. И каковы бы ни были новые свойства и качества рабочего класса наших дней не только в странах социализма, но и в странах капитализма,— он остается «объективной реальностью» и сохраняет свои революционные потенции, в чем эмпирически должен убедиться буржуазный социолог хотя бы в ту минуту, когда гаснет электричество, останавливается транспорт, перестают работать телефон и телеграф и происходят прочие бытовые неурядицы, связанные с тем, что якобы «исчезнувшая объективная реальность» — рабочий класс — ведет борьбу за свои интересы и права.

Я думаю, что память о «Материализме и эмпириокритицизме» родилась в сознании советского литературоведа-марксиста неслучайно. И неслучайно ряд других литературоведов Советского Союза обращаются в последние годы к тем боям, какие Ленин и

---

* В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 18, стр. 275.

Е. КНИПОВИЧ
ЧИТАЯ ЛЕНИНА

весь русский марксизм вели в период столыпинской реакции со всеми видами либерального ренегатства.

Да, «налицо» как будто полное несходство времени, обстоятельств, расстановки классовых сил. И все же «привидения возвращаются»; не только в философских, социологических, эстетических писаниях «советологов», но и в книгах некоторых «нейтралов» и «либералов» вновь и вновь возникают имена тех «известных депутатов, известных ренегатов», о которых Ленин писал в статьях «Еще один поход на демократию» и «О «Вехах».

Как не вспомнить тут о посмертной карьере Н. Бердяева, который еще при жизни стал одним из «вождей» религиозного крыла французского экзистенциализма, а после смерти был возведен некоторыми интеллектуалами в ранг «духовного отца» французской интеллигенции (за что, конечно, интеллигенция Франции никак не ответственна).

Настойчивые попытки «воскресить из мертвых» Бердяева, Льва Шестова, Розанова не только не прекращаются, но и в эту обойму входят новые имена несколько другого порядка — имена путаников, ревнзионистов, спасовавших перед политической и идейной сложностью послереволюционного (по отношению к революции 1905 года) периода, например, наиболее заметный среди русских «махистов» — А. Богданов.

И это не случайно. Положения Ленина, выдвинутые против ревизии марксизма русскими махистами, с необыкновенной точностью поражают многие философские и эстетические теории, выдвинутые путаниками, наших дней, склонными, как и «махисты», «исправлять» марксизм путем заигрывания с религией и буржуазной философией.

Признаюсь, я лично с удовольствием (не очень «гуманным») обнаружила в свое время, что Эрнст Фишер, например, уже в 1966 году писал в книге «Искусство и сосуществование» (вышедшей в ФРГ): «Конечно, коммунисты-недогматики неудобны, ибо у них есть способность, которая отсутствует у ортодоксов: они оказывают влияние на ищущих».

Как тут не вспомнить ленинского предисловия к первому изданию «Материализма и эмпириокритицизма», которое заканчивается следующими словами: «Впрочем, в «Очерках «по» философии марксизма» * есть одна фраза, похожая на правду. Это — фраза Луначарского: «может быть, мы» (т. е., очевидно, все сотрудники «Очерков») «заблуждаемся, но ищем» (стр. 161). Что первая половина этой фразы содержит абсолютную, а вторая — относительную истину, это я постараюсь со всей обстоятельностью показать в предлагаемой вниманию читателя книге. Теперь же замечу только, что если бы наши философы говорили не от имени марксизма, а от имени нескольких «ищущих» марксистов, то они проявили бы больше уважения и к себе самим и к марксизму.

Что касается до меня, то я тоже — «ищущий» в философии. Именно: в настоящих заметках я поставил себе задачей разыскать, на чем свихнулись люди, преподносящие под видом марксизма нечто невероятно сбивчивое, путаное и реакционное» *.

Мне кажется, что сегодня перед философами, литературоведами и искусствоведами Советского Союза и социалистических стран (как и перед учеными-марксистами всего мира) стоит серьезная задача — «разыскать», «на чем» и «почему» овихнулись в наши дни некоторые писатели и теоретики, в том числе и неоднократно приносившие (и приносящие) клятву верности революционной теории и революционной практике. И мне кажется также, что здесь для начала полезно было бы оглянуться назад — в то уже далекое прошлое, когда был создан «Материализм и эмпириокритицизм» и ряд других работ В. И. Ленина, поражающих сегодня не только гениальностью, но и раскаленной злободневностью.

II

Не так давно мне пришлось встречаться и беседовать с литературоведами — специалистами по русской литературе в научных учреждениях Кёльна и Дюссельдорфа, Бохума и Мюнстера. Особое понятие «советская литература» в либеральной и нейтральной славистике ФРГ, как я увидела, не всегда является обязательным. Нередко то, что создано у нас после Октября, входит в общую рубрику «Русская литература XX века».

В речах и работах моих собеседников — представителей академической науки — я не почувствовала заранее данного предубеждения против нашей культуры. Но, и это естественно для официальной, академической науки страны капитализма, в отношении ряда писателей и произведений ощущался холодок — правда, очень вежливый; другие же классики XX века представали в довольно субъективном ракурсе.

Так, Маяковский (высоко ценимый и почитаемый) был неразрывно «сращен» с Хлебниковым и, кроме того, в сущности кончался где-то около 1917 года.

Холодок — повторяю, вполне вежливый — ощущался прежде всего в отношении творчества Горького и, конечно, таких писателей наших, как, например, Фадеев. Но несколько удивляло другое: холодок этот — в данном случае менее понятный — распространялся и на творчество Александра Блока, причем не только как автора «Двенадцати», а, так сказать, «вообще». Андрей Белый вызывал горячее и всеобщее преклонение. Его, наряду с Хлебниковым, почитали как первооткрывателя новых путей развития русского литературного языка, создателя новых структур и т. д. Книги Андрея Белого переиздавались (причем научными издательствами) на русском

* В названии этого сборника Ленин всегда берет в кавычки предлог «по», так как, по его мнению, настоящее название должно было бы быть «Очерки *против* философии марксизма».

* В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 18, стр. 10—11.

языке — специально для просвещения и воспитания новых кадров славяноведения.

Андрею Белому в академических кругах ФРГ сопутствует примерно такой же успех, как Леониду Андрееву — в менее научных кругах ряда капиталистических стран. Я отнюдь не отождествляю наследие, сущность, путь этих двух русских писателей. Путь этот разделен огненной чертой. Сразу же после Октября Андрей Белый — в поэме «Христос Воскрес», в стихотворении «Голубь» — по-своему, в религиозных образах, но воспел «светом содеянный, радостный гром», «неописуемый, огненный год». Этим он, как и автор «Двенадцати», поставил себя в ту пору вне рядов буржуазной интеллигенции и сделался объектом травли — как «большевик». Реакция Леонида Андреева на великие исторические события была противоположной, и это закономерно привело его в ряды эмигрантов. И все же разное отношение в странах капитализма к заметнейшим художникам предреволюционной поры проявляется неспроста — и это еще одно, косвенное, но очень весомое доказательство того, что литературная карта 1907—1917 гг. была гораздо сложнее, чем это казалось тогда и даже чем это порою кажется сейчас.

«...Нас разделил не только 1917 год, но даже 1905, когда я еще мало видел и мало сознавал в жизни»,—писал А. Блок в неотправленном письме к Зинаиде Гиппиус в мае 1918 года. Это — справедливые слова: 1905—1907 и последующие годы реакции стали временем испытания на прочность широчайших кругов интеллигенции, в том числе не только либеральной и демократической, но и «околопартийной» и даже партийной.

Горький в докладе на I съезде ССП дал — уже ставшую хрестоматийной — «панораму» идейного разброда тех лет. И все же один из аспектов «свободы творчества», показанный Горьким, я здесь напомню: «Свобода эта выразилась в пропаганде всех консервативных идей западной буржуазии, идей, которые были пущены в обращение после Французской революции конца XVIII века и регулярно вспыхивали после 48 и 71 годов. Было заявлено, что «философия Бергсона знаменует громадный прогресс в истории человеческой мысли», что Бергсон «наполнил и углубил теорию Беркли», что «системы Канта, Лейбница, Декарта, Гегеля — мертвые системы и над ними как солнце сияют вечной красотой произведения Платона» — основоположника наиболее пагубного заблуждения из всех заблуждений мысли, отвлеченной от реальной действительности, всесторонне и непрерывно развивающейся в процессах труда, творчества».

Этот «философский аспект» общего идейного разброда был, так сказать, производным от более широкого процесса, о котором говорит Ленин во многих работах того периода и, в частности, в статье «К оценке русской революции» (1908): «И теперь, в период разгула контрреволюционных репрессий, мещанство трусливо приспособляется к новым владыкам жизни, пристраивается к новым калифам на час, отрекается от старого, старается забыть его, уверяет себя и других, что никто не думает уже теперь в России делать революцию по Марксу, никто не помышляет о «диктатуре пролетариата» *и так далее*» *.

«Приспособление» в среде интеллигенции, особенно художественной, носило (как и всегда в аналогичных случаях) характер сложный и не было однородным. Наряду с прямым «приспособлением» — сознательным или бессознательным — существовало то, что можно было бы назвать «давлением среды», и оно вело людей не только субъективно честных, но и преданных революции к «частичным» уступкам идеалистической философии, религиозным представлениям и т. д. И Горький, и Луначарский в годы реакции с величайшим гневом клеймили тех «мародеров» из числа российских литераторов, которые, по слову Воровского, вышли на добычу «в ночь после битвы», для того чтобы клеветать на революцию и революционеров и воспевать предателей — начиная с Иуды Искариота.

Но и Горький, и Луначарский отдали в ту пору дань «частичным» отступлениям от философии марксизма — богостроительству, «обожествлению высших человеческих потенций», и суровость ленинской критики объясняется тем, что марксизм-ленинизм никак не может быть использован «частично», дополнен, хотя бы в плане «сугубо теоретическом», некоторыми элементами буржуазной идеологии. И в ту пору, когда был создан «Материализм и эмпириокритицизм», философский спор был отражением сугубо политического спора и сугубо политических задач. Речь шла об «оценке», «итогах», «уроках» только что отгремевшей и побежденной русской революции.

«На русский рабочий класс,— говорил Ленин в 1908 году,— поэтому с особой силой легла задача: сохранить традиции революционной борьбы, от которой спешат отречься интеллигенция и мещанство, развить и укрепить эти традиции, внедрить их в сознание широких масс народа, донести их до следующего подъема неизбежного демократического движения.

Сами рабочие стихийно ведут именно такую линию. Они слишком страстно переживали великую октябрьскую и декабрьскую борьбу. Они слишком явно видели изменение своего положения *только* в зависимости от этой непосредственно революционной борьбы. Они говорят теперь или, по крайней мере, чувствуют все, как тот ткач, который заявил в письме в свой профессиональный орган: фабриканты отобрали наши завоевания, подмастерья опять, по-прежнему издеваются над нами, *погодите, придет опять 1905 год.*

Погодите, придет опять 1905-ый год. Вот как смотрят рабочие. Для них год борьбы

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 17, стр. 38.

Е. КНИПОВИЧ

ЧИТАЯ ЛЕНИНА

дал образец того, *что делать*. Для интеллигенции и ренегатствующего мещанства, это — «сумасшедший год», это образец того, *чего не делать*».*

И ленинская критика всех идейных шатаний и «уступок» объясняется именно тем, что какими бы «далекими от непосредственных политических задач» ни казались философские и эстетические концепции, произведения литературы и искусства, все они прямо, а чаще — сложно, опосредствованно или, пользуясь любимым выражением Ленина, «хитро», были связаны с этими двумя тенденциями практического усвоения революционного опыта.

Да, если, так сказать, вынести за скобки прямую клевету вроде «социал-демократов» — эротоманов в «Творимой легенде» Федора Сологуба или прямую проповедь предательства и провокации в многочисленных произведениях всех жанров, посвященных «небезызвестному, хотя и никем до этих пор не одобряемому, поступку Иуды из Кариота», все-таки и за «рыдающим отчаянием», которое звучит в книге Андрея Белого «Пепел», и в метаниях Леонида Андреева от «космического пессимизма» «Жизни человека» к смакованию «ужасов революции» («К звездам») и даже прямой клевете («Тьма»), то все это в разной форме и в разном опосредствовании отражает *страх* перед тем огромным и непонятным для мелкобуржуазной интеллигенции, что вошло в жизнь с революцией 1905 года: страх перед «бурей», перед «движением самих масс». И может быть, тот холодок в отношении творчества Блока, который я уловила в литературоведении ФРГ, и объясняется тем, что в самые черные годы реакции им были созданы не только образы «страшного мира», но и высокие гимны народному подвигу: «На поле Куликовом» и «Ямбы» — стихи, полные веры в победу грядущей и близкой революции. О страхе интеллигенции и мещанства не перед победой реакции, а перед теми необратимыми последствиями революции 1905 года, которые вошли в сознание народа, неоднократно говорил Ленин. «Систематическая боязнь народа и народного движения» — вот что, по словам Ленина, объясняет выход в свет (и многократное переиздание) сборника «Вехи», этой «энциклопедии либерального ренегатства».

Страх этот, так же как и неотвратимые последствия революции в сознании трудовых масс, неоднократно исследовал в своем творчестве Горький.

Диалектику, взаимосвязанность двух этих явлений он — уже в 1911 году — раскрыл в замечательном рассказе «Жалобы», весьма убедительном воплощении тезиса о том, что происходит в сознании представителей разных классов общества, когда низы уже не хотят, а верхи уже не могут жить по-старому.

«Россия переживает сейчас великий переворот»,— писал Ленин в 1908 году. И об этом перевороте, который коснулся всех классов, всех слоев русского общества, и говорят в рассказе Горького, жалуясь «ведущему» рассказа, офицер, участник японской кампании, купец, приехавший в Италию для сбыта дубовой клепки, либеральный адвокат и, наконец, урядник Крохалев — рядовой и на три четверти спившийся носитель того «неудобоносимого бремени», каким стала после революции 1905 года «государственная власть».

Основная тональность этих жалоб—недоумение и страх: у офицера — не только перед замкнутой враждебностью, но и презрением, которое он стал ощущать по отношению к себе в солдатах; у адвоката — перед тем историческим оптимизмом, той активной жаждой знания, которая пробудилась в «простонародье»: «Как будто вечером вошел в свою любимую комнату, а там сидит кто-то неизвестный, чужой и оглядывается, оценивая любимые твои вещи своею, какой-то новою оценкой». А третий «жалобщик» — умнейший старик купец — определяет все довольно точно: «Раньше, до пятого года, поглядишь на человека — насквозь виден, а теперь нет! Теперь он глаза прячет, и понять его трудненько... ненадежный народ, ежели правду сказать, ожидающий какой-то стал он, очень это неприятно в нем и опасливо». Страх в жалобах купца получает весьма убедительное, хотя и гротескное воплощение: «У меня сват председателем нашего дремовского «Союза русских людей» состоит, все как надо, знак на груди носит, а в сердце — страх. В шестом году это с ним случилось, когда пошли экспроприации, а по-нашему — грабежи; надулся он тогда шаром, побагровел, выкатил безумно глаза и так с той самой поры и — орет! Один на один в тихую минуту спросишь его:

— Кричишь?

— Кричу, сват!

— А чего кричишь?

— Боюсь!»

Думаю, что некоторое духовное родство с купеческим сватом-«черносотельником» можно обнаружить в рифмованных, беллетристических и философских воплях некоторых его современников, а также и некоторых деятелей зарубежной культуры наших дней.

И, наконец, двадцать лет спустя, в IV томе «Жизни Клима Самгина» Горький в словах большевика Кутузова как бы подвел итог шатаниям и ренегатству той поры.

«Интеллигенты, особенно — наши, более голодные, чем в Европе, смутно чувствуют трагизм грядущего, и многих пугает не опасность временных поражений пролетариата, а несчастие победы. Ильич — прав. Стократно прав. Пугает идея власти рабочего класса. И вот они прячутся в религиозно-философские дебри, в хлыстовство, в разврат, к черту. А — особенно — в примиренчество разных форм и разного рода».

Еще более актуально — по отношению к некоторым сегодняшним философским и социологическим концепциям в странах капитализма — звучит и другой вывод Кутузо-

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 17, стр. 40.

ва, в образе которого дано лучшее в литературе социалистического реализма воплощение большевика, марксиста-ленинца предреволюционной поры:

«Мне кажется, что появился новый тип русского бунтаря — бунтаря из страха перед революцией. Я таких фокусников видел. Они органически неспособны идти за «Искрой», то есть определеннее говоря, за Лениным, но они, видя рост классового сознания рабочих, понимая неизбежность революции, заставляют себя верить Бернштейну».

Наблюдение Кутузова тем более любопытно, что относится оно к дореволюционной (по отношению к революции 1905 года) поре. Герой Горького в зародыше увидел тенденцию развития «бунтарей от страха», ту тенденцию, которая после 1905 года привела, например, былых «легальных марксистов» — Булгакова и Бердяева — сначала в ряды «веховцев», а затем — религиозных философов-мракобесов.

Страх перед необратимыми последствиями революции, перед уверенностью рабочих, что «придет опять 1905 год», по справедливому мнению русских революционеров, лежал в основе того разгула реакции, того правительственного террора против восставших масс и их вожаков, каким отмечены последующие за революцией годы.

Может быть, наиболее ярко выражена эта мысль в знаменитом письме А. М. Горького Д. Айзману (уже в феврале 1907 года, из эмиграции, с Капри). Письмо это многократно приводилось в книгах советских горьковедов, и все же мне кажется, что о нем стоит снова вспомнить сейчас, думая обо всех преступлениях американского империализма в своей стране и во Вьетнаме, о снисходительном, сквозь пальцы, взгляде правящих кругов ФРГ на возрождающийся фашизм, о крови лучших, ежедневно и ежечасно льющейся в Греции, Испании, на Гаити, во многих странах Латинской Америки.

Горький в письме этом отделяет деяния «слепых», темных, одичавших выполнителей исторических преступлений от, так сказать, инициаторов этих преступлений, от тех, в чьих интересах эти преступления совершаются.

«Ужас двуличен — вернее, двойствен,— пишет Горький.— Ужасно, когда духовно слепой бьет зрячего, озлобясь на него за то, что зрячий беспокоит слепого своим тревожным отношением ко всему в жизни, своим исканием свободы, правды, красоты. Ужасно, когда возмущенное или разнузданное животное насилует, уничтожает человека.

Но рядом с этим ужасом не чувствуется ли Вами другой — ужас людей старого, отжившего мира, людей, которые смутно чувствуют — а иногда и ясно видят,— что все колеблется, все распадается, все, к чему они привыкли, на чем строили свою власть над людьми,— все это сгнивает и логически неизбежно разваливается в гнусный прах. Охваченные этим животным страхом — это они в отчаянии перед несомненной гибелью своей выпускают на все боевое и светлое хитрых змей своей лживой мысли... То, что творится в этот день жизни — более значительно и важно, чем мы думаем. Стоя на плоскости общего, мы не замечаем, что стоим в начале нового исторического процесса...»

Но узнаю тебя, начало
Высоких и мятежных дней,—

писал в 1908 году в дни самого черного разгула реакции Александр Блок. И если брать те простые, крупные линии, которые, по мудрому слову Анри Барбюса, проходят под всей сложностью и многообразием исторических событий, то придется признать, что граница в политической и идейной борьбе того, по времени далекого от нас периода лежала между двумя противоположными пониманиями основной исторической задачи — «отдалить конец старого» или «приблизить начало нового». Среди ухищрений, с помощью которых буржуазные и мелкобуржуазные интеллигенты пытались отдалить конец старого, необходимо отметить и еще один вид идеологического шарлатанства, полнее всего представленный все в том же сборнике «Вехи». В статьях высококвалифицированных буржуазных профессоров был объявлен некий крестовый поход... против «интеллигенции». Причем в качестве интеллигентов, оторванных от народа и народных интересов, были «разоблачены» — в прошлом — все наиболее крупные и бесспорные носители демократических и социалистических традиций русской культуры — такие как Белинский, Чернышевский, Добролюбов,— в настоящем же зловредными «интеллигентами» оказывались все последовательные демократы и революционеры. Не очень хитрый трюк этот был тогда же разоблачен Лениным, который в статье «О «Вехах» со всей наглядностью показал, что «под прикрытием криков против демократической «интеллигенции» *война кадетов ведется на деле против демократического движения масс*» *.

И не случайно сейчас, в наши дни, ревнители интересов «русской культуры», окопавшиеся в некоторых якобы научных учреждениях стран капитализма, усердно бьют челом этими «антиинтеллигентскими» теориями «веховцев» — нам, советским людям, советской интеллигенции. Однако нашим добром наследие «известных ренегатов, известных кадетов» и их присных мы считать не собираемся. Истинную цену этому «наследству» уже определили наши духовные отцы, подлинные интеллигенты во главе с Лениным.

Но среди тех, кто пристраивался к «калифам на час» и тем самым способствовал попыткам отдалить «конец старого», Ленин особо беспощадно разоблачал всех «улучшателей» и «модернизаторов» марксизма, всех, кто стремился в области идеологии и

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 19, стр. 171.

политики к «интеграции» и «конвергенции» несовместимых взглядов или действий.

«...за гносеологической схоластикой эмпириокритицизма нельзя не видеть борьбы партий в философии, борьбы, которая в последнем счете выражает тенденции и идеологию враждебных классов современного общества. Новейшая философия так же партийна, как и две тысячи лет тому назад. Борющимися партиями по сути дела, прикрываемой гелертерски-шарлатанскими новыми кличками или скудоумной беспартийностью, являются материализм и идеализм. Последний есть только утонченная, рафинированная форма фидеизма, который стоит во всеоружии, располагает громадными организациями и продолжает неуклонно воздействовать на массы, обращая на пользу себе малейшее шатание философской мысли. Объективная, классовая роль эмпириокритицизма всецело сводится к прислужничеству фидеистам в их борьбе против материализма вообще и против исторического материализма, в частности».*

III

«Бывают такие литературные выступления,— писал Ленин в 1911 году в статье «Наши упразднители»,— все значение которых состоит в их геростратовском характере. Самое дюжинное литературное произведение, вроде, например, известных «Предпосылок» Эд. Бернштейна, получает выдающееся политическое значение, становится манифестом внутримарксистского течения, по всей линии отходящего от марксизма»**.

Некоторые работы последних лет, такие, например, как «Реализм без берегов» Роже Гароди или «Литература и сосуществование» Эрнста Фишера, претендовали на роль манифестов этого рода. Однако в наши дни количество упразднителей марксизма-ленинизма за рубежом настолько возросло (по отношению к десятым годам нашего века) и опусы представителей течения, «по всей линии отходящего от марксизма», стали настолько обыденным явлением, что выдающегося политического значения очередной «выстрел» по марксизму уже приобрести не может. Вот почему новая книга Эрнста Фишера, написанная им совместно с Францем Мареком и озаглавленная весьма претенциозно «Что в действительности сказал Ленин»***, интересна более всего как последняя ступень эскалации той войны против марксизма, которую Фишер ведет уже достаточно давно.

Нет необходимости касаться всей книги в целом. Это — свод вольно подобранных и вольно оборванных цитат («выбор—это уже оценка», справедливо говорит о книге сам автор), соединенных не менее вольным комментарием. Монтаж («выбор») вопреки объективной истине призван поддержать основную мысль книги: Ленин-де был великим *практиком* революции, целиком погруженным в решение очередных задач каждого дня. Он не был ни теоретиком, ни ученым. Смысл этой фальсификации окончательно вскрывается в последней главе книги, озаглавленной «Ленинизм». На двенадцати страницах текста Эрнст Фишер «по-геростратовски» объявляет, что, во-первых, ленинизм вообще не существует — это выдумка догматиков, во-вторых (и этому посвящена большая часть главы), что «Материализм и эмпириокритицизм» — это не научный труд по философии, а просто текущая журнальная полемика, связанная с конкретным, злободневным поводом. И, наконец, в-третьих, что никакого материала для разговоров о литературно-эстетических взглядах Ленина вообще не существует. А что же, в частности, касается статьи «Партийная организация и партийная литература», то в ней речь идет вовсе не о литературе, а о партийной публицистике определенного времени. Конец статьи Ленина Эрнст Фишер интерпретирует еще более интересно. Сказать, что *здесь* речь идет не о художественной литературе, даже Эрнст Фишер не рискует. И, отходя в сторону, он заявляет, что действительно свободная литература, открыто связанная с пролетариатом, о будущем появлении которой говорил Ленин,— это не научное и оправдавшееся предвидение, не реальная задача, поставленная перед революционной литературой той эпохи (как полагают марксисты), а всего лишь «желанная мечта».

И все же большая часть главы «Ленинизм», как я уже говорила, занята обходными маневрами в отношении «Материализма и эмпириокритицизма». И это также понятно. Чисто эмпирически я лично уже заметила, что сторонники течения, «по всей линии отходящего от марксизма», давно кружат около основного философского труда В. И. Ленина, как коты вокруг горячей каши. Слишком точно и слишком беспощадно поставлен в этой работе вопрос об идеологах, которые, говоря словами горьковского Кутузова, «шлифуют социализм буржуазной мыслью».

Что делать! Борющимися партиями в философии и сейчас, как в 1908 году, в конечном счете остаются материализм и идеализм, а малейшая уступка последнему неизбежно ведет «марксиста»-теоретика к фидеизму. Любопытно, что именно уступка фидеизму оказалась тем звеном в общей цепи заблуждений и ошибок Эрнста Фишера, которое было первым «вытянуто» советскими литературоведами.

Поворот от марксизма начался в работах Фишера, как это обычно и бывает, не с вопросов той политической «злобы дня», к которой он относится с таким высокомерием. «Размывание» диалектического и исторического материализма первоначально коснулось только вопросов эстетики и литературоведения. Фидеизм советские литературоведы обнаруживали, так сказать, в разных опосредствованиях. Так, Д. Затонский в статье «Искусство и миф» (1965) приводил следующее высказывание из статьи Фишера «Про-

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 18, стр. 380.

** Там же, т. 20, стр. 114.

*** Ernst Fischer, Franz Marek. Was Lenin wirklich sagte. Wien—München—Zürich. Verlag Fritz Molden, 1969.

блемы действительности и современное искусство»: «...произведение искусства не сколок с природы, а новая действительность, и если это великое произведение искусства, то оно истиннее, чем сама действительность». По поводу этого положения Д. Затонский справедливо говорил, что свести всю задачу искусства к стремлению «освободиться от оков» действительного, реального, конкретного мира — это тоже догматизм, ничуть не менее ограниченный и сектантский, чем его вульгарно-социологический антипод. И по поводу этого стремления абсолютизировать некую надреальную линию искусства Д. Затонский справедливо вспоминал одно место из «Философских тетрадей» Ленина: «Познание человека не есть (respective не идет по) прямая линия, а кривая линия, бесконечно приближающаяся к ряду кругов, к спирали. Любой отрывок, обломок, кусочек этой кривой линии может быть превращен (одностороннее превращение) в самостоятельную, целую, прямую линию, которая (если за деревьями не видеть леса) ведет тогда в болото, в поповщину...»* И не менее справедлив и вывод Д. Затонского о том, что односторонняя приверженность к творческому методу Джойса, Кафки или Сэмюэля Беккета чем-то напоминает «эту опасную «прямую линию» **.

Автор этих строк натолкнулся на иелады Эрнста Фишера с марксизмом несколько раньше — в связи с той, очень в свое время нашумевшей, конференцией по творчеству Франца Кафки, которая проходила в Либице в мае 1963 года. Сейчас в кругах «либерализаторов» социализма существует мнение, что именно с этой конференции начался тот поход «за свободу мысли и творчества», который достиг своей кульминационной точки пять лет спустя. Вероятно, в этом есть и доля истины — и, как говорится, им виднее.

Во всяком случае, «реабилитации» (а точнее, «возведению на престол») Франца Кафки был на конференции придан политический смысл. Попытка вывести его творчество за пределы литературы декаданса трактовалась как восстановление справедливости в отношении жертвы периода культа личности, как «знаменне весны» и «появление первой ласточки». Думаю, однако, что речь тут шла не о «ласточке» (этот образ принадлежит одному из участников конференции — Роже Гароди) и даже не о сове Минервы, которая, как известно, вылетает только ночью, а скорее (это справедливо было замечено литературоведами ГДР) о вечернем вылете нетопыря. Развивая этот образ, можно сказать, что если «ласточка» предвещает весну, то нетопырь — летучая мышь, в данном случае, скорее предвещал осень, печальной памяти осень 1968 года. В хор тех, кто трактовал Франца Кафку как «отца новой западной литературы», вступил и Эрнст Фишер.

Поэтому, предваряя свою статью о Кафке* критической оценкой конференции в Либице, автор этих строк был вынужден коснуться ряда работ, принадлежащих Эрнсту Фишеру. В частности, кроме общего для ряда участников конференции стремления стереть грани между критикой капитализма и декадентской абсурдизацией самого существования мира и человека в работах Эрнста Фишера проявилась и та тенденция противопоставления «временного» и «вечного», которая из года в год захватывает в его книгах все более широкую территорию. Любопытно, что свои мысли в защиту фидеизма Эрнст Фишер подает как полемику с фидеизмом. Так, он справедливо утверждал тогда, что не следует, как это делает друг и душеприказчик Кафки Макс Брод, давать творчеству Кафки религиозное истолкование—это «еще более грубое упрощение, чем попытка видеть в произведении искусства только отражение жизни общества, оставляя без внимания своеобразие художника и взаимоотношение его своеобразия с общественной ситуацией, так же как и со стремлениями, надеждами, разочарованиями рода человеческого, выходящими за пределы исторического мгновения».

Так под прикрытием бесспорной первой части своего утверждения Эрнст Фишер во второй его части поставил весь поднятый им вопрос на голову. И мне пришлось тогда сказать, что разделение «временных» и «вечных» стремлений в человеческой истории впускает в окно то религиозное истолкование творчества Кафки, которое сам Фишер только что выгнал в дверь.

И чем дальше двигался Эрнст Фишер по пути отступления от марксизма, тем явственнее проявлялись в его литературоведческих эссе не только уступки фидеизму, но и все более заносчивые выпады против тех, кто на эти уступки не пойдет. Так, в книге «Дух времени и литература» он также «разымает» «вечное» и «временное» под видом полемики со сторонниками понятий «вечного» или «мифического» человека. Этот спор (точнее — видимость спора) Фишер ведет на материале творчества Фолкнера. «...Иррациональное под упорядоченным, неудержимая, нежданная, бурная страсть, потрясение внешней замкнутости... Но это отнюдь не «мифический», или «вечный», человек (как полагают некоторые комментаторы), который восстает против общественного человека; просто Фолкнер, как каждый великий писатель, знает, что человек есть нечто большее, чем придаток к станку, работник какой-нибудь профессии, принадлежность определенной социальной группы. Функция великого писателя заключается не только в том, чтобы быть летописцем определенной эпохи и современного ему

---

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 29, стр. 322.

** «Современная литература за рубежом» № 2. М., «Советский писатель», 1966, стр. 509.

* «Современная литература за рубежом» № 2, стр. 397.

** Ernst Fischer. Zeitgeist und Literatur, Wien, Europa, 1964.

Е. КНИПОВИЧ

ЧИТАЯ ЛЕНИНА

общества, но и в том, что он способен показать людей и положения, выходящие за пределы времени, в которых они существуют...»

Было бы очень плохо для мировой литературы, если бы только великие писатели видели в человеке нечто большее, чем «придаток к станку». К счастью, не только великие, но и просто большие и средние и даже малые писатели мира социализма, прогрессивного крыла литературы капиталистических стран отнюдь не сводят человека к «придатку» или «принадлежности».

Но из этого не следует, что жизнь человека в обществе делится на то, что лежит в пределах времени, и то, что выходит за его пределы, на «меньшее», которое проявляется в общественной, творческой, трудовой деятельности человека, и «большее», которое, каковы бы ни были оговорки, все-таки становится в такого рода работах представлением «вневременным», то есть в конечном счете «религиозным». «Вечность влюблена в явления времени»,— мудро говорит Блейк в «Пословицах ада». «Абсолютное» (его «частица») не может воплотиться в истории иначе, чем через относительное. И, соответственно, художник не делится на «тело» («летописец своей эпохи») и «душу» («иррациональное под упорядоченным, положения, выходящие за пределы времени, в которых они существуют»).

«Историю», «будущее», «бессмертие» те, кто не заигрывает с «боженькой», постигают только через их воплощение в явлениях времени, современности. И больше всего бывает причастен к будущему, бессмертию не тот, кто, подобно Фишеру и близким ему идеологам, пытается апеллировать к ним «через голову» современности, а тот, кто с наибольшей революционной последовательностью стремится разрешить наиболее жгучие вопросы своего времени, оказывает революционизирующее влияние на все события своей эпохи. То объявление пока еще «холодной войны» историзму, которое легко можно было усмотреть в упомянутой нами работе Фишера, вплотную придвигало его к таким одновременно практикам и идеологам декаданса наших дней, как Робб-Грийе и Эжен Ионеско, как Стивен Спендер и другие. А что касается «придатков» и «принадлежностей», то скрытое здесь объявление войны литературе социалистического реализма вскоре перешло в книгах Фишера к высказываниям, достойным самых последовательных «советологов».

Любопытно, что другой теоретик «внутримарксистского течения, по всей линии отходящего от марксизма»,— Роже Гароди, подходя к ленинскому наследию, избирает в отношении «Материализма и эмпириокритицизма» иную тактику, чем Фишер. В книге «Марксизм XX века»* он оценивает основной философский труд Ленина весьма положительно. Однако в оценке этой есть два существенных момента: первый—вся работа Ленина сведена к одной пятой главе «Новейшая революция в естествознании и философский идеализм», и второй момент — положительным оказывается лишь самый факт того, что «Ленин провел три года над разбором фундаментальных трудов современной физики». Что же касается «вывода», который якобы можно сделать из этой главы, то он прямо противоположен тому, что «действительно говорил Ленин», потому что основная линия ленинской мысли в этой главе — это защита тезиса материализма об объективном существовании и познаваемости свойств и качеств материи. Вывод же Гароди об относительности каждой стадии научного познания (без признания факта существования «абсолютного в относительном») открывает торную дорожку релятивизму и, в конечном счете, агностицизму. И как бы ни отделял Роже Гароди от релятивизма свое понятие необходимой множественности, плюрализма научных гипотез, оно все-таки сбивается на множественность объективных истин, из которых одна в конечном счете должна вобрать в себя все другие. Что под этим разумеет французский философ на практике, не трудно увидеть в соответствующих главах «Марксизма XX века» — «Марксизм и религия», «Марксизм и искусство». Материалистическая эстетика и коммунистическая мораль должны, по мысли автора, в конечном счете «интегрировать» то, что во все времена шло и идет сейчас по ведомству «боженьки».

Ленин в «Материализме и эмпириокритицизме» заменил, поминая идеалистические заблуждения Луначарского, слово «боженька» словами «религиозные представления», дабы уже окончательно не обидеть товарища. Да что Луначарский! Богданов, Базаров — и те не признали бы себя сторонниками религии, чего никак нельзя утверждать по поводу некоторых сегодняшних «улучшателей» марксизма. Значит ли это, что мы против той «политики протянутой руки», тех диалогов с «верующими католиками», о которых столько говорит Роже Гароди? Нет, мы за диалог, за терпимость к чужим убеждениям, более того, за глубочайшее уважение к тем верующим и служителям культа, которые участвовали или участвуют в общенародной борьбе против фашизма, империализма, расовой дискриминации, отдавая за это нередко свою жизнь и кровь.

Но мы против того, чтобы «сгибаться» в диалоге до завуалированных религиозных представлений, интегрировать в кодекс коммунистической морали «христианскую любовь» или «христианское всепрощение». Мы за то, чтобы находить и подымать в мыслях и действиях участников диалога то, что сближает их с общенародной борьбой, с тем, что соответствует генеральной линии исторического процесса.

Несколько иначе выглядит оценка «Материализма и эмпириокритицизма» в книге Роже Гароди «Ленин» *. Опять-таки я не буду касаться этой работы в целом. Приведу

* Roger Garaudy. Marxisme du XXe siècle. Paris, 1966.

* Roger Garaudy. Lénine. Presses Universitaires de France. Paris, 1968.

лишь тот общий вывод, тот урок, какой французский философ предлагает извлечь из труда Ленина: «Великий урок, который должно извлечь из «Материализма и эмпириокритицизма», заключается в том, что ни в коем случае не следует смешивать тот образ материи, который дают нам науки в определенный период развития в истории науки, с абсолютной истиной, истиной в себе. И — говоря шире — не следует смешивать марксизм с той или иной культурной или бюрократической (institutionelle) формой, какую он мог принять в тот или иной период исторического развития».

Думаю, что «урок» определен здесь и произвольно, и неточно. Для Ленина познание образа материи—это «освоение» одного за другим «отрезка кривой», «витка спирали», то есть путь приближения к абсолютной истине. Формула же французского философа прежде всего *отгораживает* абсолютную истину от процесса познания. Что же касается тех весьма загадочных «культурных или бюрократических» форм, какие марксизм может принять в тот или иной исторический период, то мне кажется, что «стрела» направлена тут во всех противников «плюрализма» и «интеграции» как в родной стране философа, так и за ее пределами.

Думаю также, что здесь применен *«чисто ревизионистский* прием — изменить сути материализма под видом критики *формы* его» *.

Нет, и Роже Гароди начал не с политических выводов из своих теоретических положений (к этому вопросу мы еще вернемся). И он пошел в поход против марксизма сначала в области эстетики и литературоведения, размывая границы между реализмом и антиреализмом, подменяя теорию отражения теорией создания художником некой новой действительности, нового мира, «относящегося к нашему так же, как миф относится к реальности». Об идеалистическом характере этого «мифотворчества» уже убедительно и точно сказали у нас, в СССР,— Б. Рюриков, Б. Сучков и другие. Их критика показала всю надуманность теории современного «мифа», ибо, о ком бы ни шла речь — о Кафке, или Джойсе, или еще о каком-либо из других кумиров современного модернизма,— для марксиста нет сомнений в том, что вопрос здесь стоит не о «новом мире», а всего лишь об искаженном, мистифицированном отражении «старого» и единственного мира. И более того — что самый характер искажения прямо или опосредствованно «историчен», отражает настроения, беды, противоречия определенных слоев общества.

Кокетливая ссылка на созидание человеком «второй природы» к делу не идет, потому что творческое преображение «первой природы», господство над природой не есть акт волюнтаризма, воплощение некого «мифа», а всего лишь познание тех реально существующих и до того непознанных, «скрытых» свойств материи, о котором с такой исчерпывающей ясностью говорит в «Материализме и эмпириокритицизме» Ленин. «Господство над природой, проявляющее себя в практике человечества, есть результат объективно верного отражения в голове человека явлений и процессов природы, есть доказательство того, что это отражение (в пределах того, что показывает нам практика) есть объективная, абсолютная, вечная истина»*. Боюсь также, что конструирование «нового», «мифического» мира, определяемого прежде всего присутствием в нем человека, то есть Я художника, состоит в родстве — и не таком уж отдаленном — с той философией, которая идет «от психического, или Я, к физическому, или среде, как от центрального члена к противочлену,— или от ощущения к материи,— или от чувственного восприятия к материи» **. И это та философия, нищету которой раскрыл в «Материализме и эмпириокритицизме» Ленин. Для художников, таких, как Джойс или Кафка, самоизоляция в «мифическом», искаженном мире своих снов о действительности стала трагедией. Но теоретик, хорошо осведомленный в материалистической философии и приступивший к апологии мифотворчества и множественности «миров», рискует попасть в ситуацию фарса.

«Плюрализм», возникший в области философии и эстетики, естественно начинает захватывать и область чистой политики; тогда множественность «моделей» мира в художественном творчестве становится множественностью «моделей» социализма — отнюдь не в смысле возможности различных путей перехода к социализму.

Последовательная ликвидация всех «берегов» и «границ» привела сейчас французского философа к положениям, одно из которых хорошо прокомментировал в «Юманите» (от 22 января 1970 г.) рядовой участник дискуссии по проекту тезисов ЦК Французской компартии к XIX съезду.

Он отмечает, что в соответствующем разделе (посвященном вопросам идеологической борьбы) необходимо наряду с вполне правильными определениями идейной позиции членов партии — работников умственного труда,— такими, как научный социализм и марксизм-ленинизм, упомянуть также и наиболее общее из понятий — «диалектический материализм».

Участник дискуссии считает упоминание необходимым, потому что «мы сейчас видим на примере Роже Гароди, к каким аберрациям может привести полное и прямое забвение диалектического материализма или отречение от него». И далее приведены подлинные слова французского философа о том, что «партия по сущности своей не может быть ни идеалистической, ни материалистической, ни религиозной, ни атеистической». «И кажется,— говорит коммеитатор,— что

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 18, стр. 266.

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 18, стр. 198.

** Там же, стр. 150.

Е. КНИПОВИЧ

ЧИТАЯ ЛЕНИНА

видишь тот смех, каким отмечены порой после «Философских тетрадей» и каким бы Ленин отметил этот невероятный афоризм».

И, наконец, для ликвидации марксизма-ленинизма подымают в качестве оружия современную науку, научно-техническую революцию, опирающуюся, по мнению Гароди, на такие «новые явления», которые якобы кладут конец диалектическому материализму.

Спекулируя на действительной сложности и дифференцированности современной науки, Роже Гароди и здесь производит некое «разъятие», практически делает науку самостоятельным «миром», «действительностью», независимой от жизни общества, от классовой борьбы. Таким образом, «наука» в его интерпретации становится надобщественной сущностью, космической и неконтролируемой угрозой. Причем угрожающая сущность эта в представлении Гароди как бы независима от того, какова общественная система того государства, где совершаются научные открытия.

Некоторое родство такого понимания роли современной науки с релятивизмом и агностицизмом уловить нетрудно, как нетрудно увидеть и то, что такое пониманне науки делает ее тормозом общественного прогресса.

Нет, сейчас происходит не первая научная революция в истории человечества. И некий Бертольт Брехт в пьесе «Жизнь Галилея» показал нам, как великий переворот в науке — конец «геоцентризма» — наносит сокрушительный удар по авторитету церкви, а значит, и по всей феодальной системе общественных отношений. В сцене гильдейского карнавала Брехт показал, как научная истина выходит на площадь, становится частью народной жизни.

И «угрозу», которую могут нести с собой «новые явления» в науке, Брехт точно и четко связывал с общественно-экономической структурой классового общества. «И если ученые, запуганные своекорыстными властителями,— говорит его Галилей,— будут довольствоваться тем, чтобы накоплять знания ради самих знаний, то наука может стать калекой и ваши машины принесут только новые тяготы. Со временем вам удастся открыть все, что может быть открыто. Но ваше продвижение в науке будет лишь продвижением прочь от человечества. И пропасть между вами и человечеством может в один прекрасный день стать настолько огромной, что на ваши крики торжества по поводу какого-нибудь нового открытия вам ответит всеобщий вопль ужаса».

«Угроза» в понимании Брехта носит исторический, социальный характер. В монологе Галилея встает вопрос о пагубности разъединения науки и человечества, об ответственности ученого. Но в монологе этом содержится и утверждение необходимости тесной связи ученого с жизнью народа, необходимости того контроля масс над использованием «новых явлений», который возможен только на пути классовой борьбы, побед социализма. Потому что «новые явления» в зависимости от того, чей разум и чьи руки их используют, могут послужить и благу и злу, и жизни и смерти, и всякое «размывание» и «стирание граней» здесь недопустимо.

IV

Ну, а все-таки вернемся к уже поставленному вопросу: почему в наши дни «свихнулись» некоторые писатели и теоретики, бывшие в прошлом марксистами, почему стрелы, направленные Лениным в теорию ревизионистов начала века, с такою точностью поражают сегодняшних «улучшателей» марксизма? Почему, наконец, в литературе и искусстве капиталистических стран можно обнаружить мотивы, весьма близкие тем, о которых мы говорили здесь в связи с русской литературой первого десятилетия нашего века?

Ведь исторический период, который человечество переживает сейчас, в корне отличен от начала нашего века.

Пятидесятилетнее существование Советского Союза, социалистическая система, память о недавней (по масштабам «исторического времени») победе над фашизмом, миллионы представителей рабочего класса в странах капитала, ведущие активную борьбу за свои права, сотни миллионов граждан всех континентов — бойцов и победителей в национально-освободительном движении — вот что прежде всего определяет сегодняшнее лицо мира. Но империализм, естественно, не остается пассивным в этой жестокой и трудной борьбе.

Страх за свою власть, за свое существование ведет и к прямым формам террористического подавления или военного вмешательства в деятельность антиимпериалистических организаций или в общественное бытие целых стран. Но не менее активны силы империализма и в провокаторской работе, в спекуляции на тех сложностях, которые определяются самим «глобальным» размахом борьбы, разнообразием втянутых в борьбу социальных слоев, разным уровнем общественного самосознания борцов и, наконец, реальными трудностями, сложностями, ошибками, допущенными странами социализма в процессе построения нового общества.

Не будем останавливаться здесь на продукции продажных писак, сознательных защитников империализма и фашизма. Не так трудно понять также, откуда идет тот реальный страх, а также кокетство страхом и спекуляция на страхе, которые так или иначе «просвечивают» в творчестве многих художников и писателей декаданса. И опять-таки, стремление убедить читателя или зрителя в бесцельности и абсурдности существования и его самого, и всего мира, есть форма страха — и перед сложностью общественных процессов в глобальном масштабе, и перед

сложностью современной науки. Но я думаю, что за всем этим все-таки стоит та «систематическая боязнь народа и народного движения», о которой говорил в статье «О «Вехах» Ленин. Сколько бы неудобств и огорчений ни доставляла высококвалифицированной либеральной и «радикальной» интеллигенции власть буржуазии, к ней все-таки можно как-то приспособиться, но «буря» — движение самих масс — не очень-то считается с налаженным бытием и готовой идеологией, и тогда появляется и у художника, и у «дипломированного профессора» то желание «попугать», которое уловила большевичка Елизавета Спивак в статье о событиях 9 января 1905 года, написанной Климом Ивановичем Самгиным.

Ну, а былые марксисты, идеологи, члены партии — откуда у них появляется стремление «улучшить» марксизм, «интегрировать» неинтегрируемое?

Мне думается, что и здесь проявляется страх перед масштабами и сложностью происходящих процессов, подсознательное ощущение несоизмеримости своих масштабов как идеолога и руководителя с масштабами и размахом исторических событий.

Тогда и возникают те «уродливые союзы», «ненормальные «сожительства», пользуясь выражением Ленина из статьи «Партийная организация и партийная литература». И вчерашний «интегратор» утонченнейшего декаданса падает ниц перед «культурной революцией» по-пекински, то есть перед истреблением всех и всяческих культурных ценностей.

Так правый оппортунизм и леваческий анархизм подают друг другу руку, а «через голову» неудачливых идеологов идет поток истории, идет по-ленинскому пути «упраздненный» буржуазными социологами рабочий класс под водительством коммунистов — ленинской гвардии всех стран и континентов.

Анкета «Иностранной литературы»

В этом номере журнал продолжает (начало см. в №№ 2, 3) публиковать ответы зарубежных писателей и деятелей культуры на анкету, посвященную 100-летию со дня рождения В. И. Ленина и содержащую два вопроса:

1. При каких обстоятельствах Вы впервые познакомились с именем В. И. Ленина?

2. В чем Вы видите актуальность ленинизма сегодня?

АЙВОР МОНТЕГЮ (АНГЛИЯ)

До того как произошла Октябрьская революция, имя Ленина мне было неизвестно. Но после Октября оно стало часто появляться в английских газетах.

В начале 1918 года я увидел объявление об организуемом социалистами митинге в Хэммерсмите, западном районе Лондона; на этом митинге приехавший из Петрограда англичанин намеревался рассказать о том, что ему довелось пережить во время Февральской и Октябрьской революций. Я пошел на митинг и впервые услышал, как о Ленине говорил человек, который видел его своими глазами. По моей инициативе этот оратор выступил и на заседании фабианского общества, членом которого я тогда был. Вскоре я вступил в английскую социалистическую партию, которая впоследствии, объединившись с другими организациями, вошла в новую, коммунистическую, партию Великобритании. Мне довелось принять скромное участие в спасении первого тиража английского издания «Государства и революции» от полиции, собиравшейся его конфисковать.

Не следует закрывать глаза на то, что термин «ленинизм» в наши дни нередко прилагается к доктринам, не имеющим ничего общего с подлинным ленинизмом.

Публикуемые в Китае книги зачастую прославляют под видом ленинизма идеи, прямо противоречащие ему. На Западе разного толка анархисты, троцкисты и даже полицейские агенты пытаются с помощью гордого имени Ленина замаскировать истинную суть своей пропаганды и обвинить СССР и коммунистические партии своих стран в отступничестве от идей Ленина (без указания, каких именно), утверждая (без малейшего на то права), что истинные его наследники — они, и только они. Идейная путаница, которую они этим вносят, играет на руку империалистам, борющимся против освободительного движения в развивающихся странах.

Как можно помешать этому? Каким способом можно отличить ложь от истины, чтобы учение Ленина сохранялось в своей первозданной чистоте, величии и силе, как руководство для разрешения насущных проблем современности?

Тут могут помочь только изучение теории и практический опыт. Ибо самое важное положение ленинизма заключается в том, что марксизм, чтобы оставаться живым, должен учитывать своеобразие каждой данной ситуации со всеми конкретными особенностями классовых отношений в той или иной стране, ее исторического и географического развития и культурных традиций, с вытекающими отсюда стратегией и тактикой, специфичными для каждой страны и эпохи.

ГЕОРГИЙ КАРАСЛАВОВ (БОЛГАРИЯ)

В мое родное село Дебри, где я родился и жил, и в ближайший городок, куда каждый день ходил в школу, имя Ленина пришло вместе с известием об Октябре. Оно запомнилось мне не только потому, что было связано с великим событием, с революцией, которая потрясла мир, но еще и потому, что звучало как чисто болгарское имя, очень распространенное у нас в стране.

Мне тогда было тринадцать лет. Несмотря на свой возраст и на то, что жили мы в заброшенном крае, я очень интересовался политическими вопросами и мировыми событиями. Без разбора читал я ежедневные «желтые» газетенки, восхвалявшие победы Германии и ее союзников, читал короткие, сенсационные сообщения о событиях в России, о какой-то новой власти в этой близкой сердцу каждого болгарина стране, но что, в сущности, происходило там, мне было не ясно. Не ясно было, впрочем, и взрослым вокруг меня.

Уже было известно, что в России пришла к власти новая партия, во главе которой стоял человек по фамилии Ленин, что Ленин отнял у богатеев частную собственность, чем навлек на себя и на свою партию их ненависть, но кому была передана изъятая частная собственность, мы не знали.

Прошла зима, страшная зима неурожайного года, миновала весна. Голод, недоимки, непосильный рабский труд, вести об убитых и тяжелораненых — вот что осталось в памяти об этом полугодии.

Наконец в мае 1918 года совсем случайно в руки мне попал «ключ» к русским событиям — мой однокашник дал мне прочитать «Мать» Максима Горького. Одним духом я проглотил эту книгу.

Я впервые понял, что такое классовое разделение и классовая борьба, и Павла Власова, ставшего моим любимым героем, уже не отделял от Ленина, о котором все чаще стали писать в газетах, да и в нашей деревне о нем заговорили. Имя Ленина связывалось с мечтой о мире, которого жаждал болгарский народ, измученный, обескровленный страшной и бессмысленной империалистической войной.

Прошел еще год. В доме моих двоюродных братьев (оба они принадлежали к партии «тесных социалистов», «тесняков» — другими словами, коммунистов) рядом с портретом старшего, погибшего в Балканскую войну, я вдруг увидел новый портрет. Один из братьев сказал о нем просто: «Ленин». Позднее я видел и другие портреты Ленина, но этот врезался особенно глубоко в мою память.

В нашем селе сохранилась вековая традиция: поздней осенью, после сбора урожая, крестьяне звали друг друга в гости — выпить, закусить, потолковать. Разговоры на этих вечеринках велись самые различные, но заканчивались они, как правило, острыми политическими дискуссиями. В те годы больше всего спорили о характере новой власти в России, о гражданской войне, о прочности Советского государства. И всегда в этих спорах звучало имя Ленина. Любопытно, что о Ленине говорили крестьянки, которые раньше, до войны и Октябрьской революции, абсолютно не интересовались политикой.

Ленина односельчане представляли себе этаким сказочным богатырем, наделенным чудодейственной силой, перед которой отступает любое зло. Не было у них ни малейших сомнений и в исполинском могуществе ленинской Красной Гвардии.

К этому времени «тесные социалисты» уже назывались Болгарской коммунистической партией. В крестьянских жилищах появился «Работнически вестник» — центральный орган партии. Газета учила своих читателей правильно ориентироваться в сложных политических событиях и быстро завоевала популярность. В деревню проникла и марксистская литература, которую издавала и распространяла партия. В домах наиболее грамотных крестьян начали появляться первые ленинские работы на болгарском языке. Так я прочитал «Государство и революцию», а несколько позже — «Детскую болезнь «левизны» в коммунизме» и работу «Пролетарская революция и ренегат Каутский».

Эти книги убедили меня в глубочайшей справедливости ленинских идей; я вступил в ряды Болгарского коммунистического союза молодежи, а через два года меня приняли в партию.

В чем актуальность ленинизма сегодня?

Ленинизм рождался в революционной борьбе российского пролетариата. Ленинские мысли, идеи и выводы в области философии, политической экономии, теории научного социализма, стратегии и тактики международного рабочего движения были жизненно необходимы в этой борьбе. Время подвергло всесторонней проверке идеи Ленина, и они с честью выдержали эту проверку. События последних лет, новая расстановка сил в мире, рост мирового социалистического и коммунистического движения неопровержимо доказали актуальность марксистско-ленинского учения. Ленинизм завоевывает все больше и больше сторонников на земном шаре, становится все более мощным оружием в борьбе за прогресс и счастье человечества.

ЛАСЛО КАРДОШ (ВЕНГРИЯ)

ИСПЫТАНИЕ НАГРУЗКОЙ

Содержание вашего опроса огромно. Оно охватывает все существенные моменты идеологии и действительности, поэтому мое выступление возможно лишь как изложение личной точки зрения. Я часто размышляю о том, какое «испытание нагрузкой» выдержала монументальная фигура Ленина и его монументальное учение.

Правоту Ленина подтверждают полувековые достижения революции, та самая практика, которая и есть главная проверка теории. Пятьдесят лет — большой срок. Если бы Ленин ошибался, если бы указанный им путь был неправилен, то за минувшие десятилетия это выяснилось бы убедительно и неопровержимо. Но ленинское учение одержало победу: ленинское государство и через полвека остается реальностью мирового общественного развития. Значение его все более усиливается. Ленинизм — органическая часть истории человечества, революционный итог его прошлого развития, вдохновитель и созидатель его будущего.

Повторяю: пятьдесят лет — это много. Но не каждые полстолетия одинаково значительны. Последние пятьдесят лет были, быть может, самыми бурными, решающими. Мировые войны, революции, контрреволюции, расовое исступление, экономические катастрофы, атомные ужасы, крах колониализма, яростные попытки утверждения неоколониализма, чудесные взлеты и губительные последствия достижений науки и техники — такого гигантского столкновения положительных и отрицательных сил еще никогда не видел род человеческий. И если ленинская мечта и сегодня не просто существует, а захватывает умы миллионов, то это и есть беспримерный результат «испытания нагрузкой».

Были и ошибки в нашем движении. И только необоримой силе ленинского учения мы обязаны тем, что строящееся здание устояло перед испытанием. Когда же совесть социалистического мира искала скрытые причины допущенных ошибок, то всегда оказывалось, что они были результатом отклонения от ленинских норм. Возвращение к этим нормам всегда вызывало новый подъем в строительстве социализма, новую веру в уповающем на социализм человечестве.

Хор врагов, усиливавшийся в трудные моменты, собственно говоря, не умолкал никогда. Ленинский план строительства социализма беспрерывно подвергался нападениям. Фашистская агрессия стала кульминацией наступления реакции на ленинизм, и когда общество, построенное на ленинских принципах, не только победило налетевшую бурю, но и способствовало созданию вокруг себя целой системы дружественных, союзных стран, то это снова было победоносным преодолением «испытания нагрузкой», доказательством силы ленинского государства, мощи его военного потенциала, экономических возможностей, духовной, интеллектуальной и моральной выносливости. Самым большим доказательством величия этой силы является документ о капитуляции фашистской Германии.

Агрессию другого рода, широкую, непрекращающуюся, провокационную, мы видим и сегодня: постоянные, упрямые идеологические и экономические нападки на социализм, гонка вооружений, непрерывное усиление международной напряженности. Это тоже немалое «испытание нагрузкой», ибо постоянная угроза войны заставляет Советский Союз расходовать на оборону те средства, которые могли бы быть затрачены на подъем народного благосостояния.

«Испытание нагрузкой» ленинское учение выдерживает и в новых, социалистических странах. Жизнь этих стран, их неуклонное движение вперед — великолепное опровержение «теорий», согласно которым ленинизм — явление типично русское. Социалистические страны продемонстрировали всеобщность ленинизма, хотя, конечно, эту всеобщность надо понимать творчески: она не означает, что различные народы будут точно копировать принципы строительства социализма в СССР или подражать друг другу, что они не должны проявлять самостоятельности и инициативы, учитывать свои национальные особенности.

Я сказал, что социалистические страны твердо стоят на общей основе ленинизма, но читатель может тут же вспомнить о шатаниях и колебаниях в истории некоторых из этих стран, и это будут неприятные и болезненные воспоминания. Такие шатания и колебания являются еще одним видом «испытания нагрузкой». Исправление в ленинском духе сдвигов в идеологии — доказательство непоколебимой и объединяющей силы ленинизма. А там, где внутри марксистского лагеря действуют темные силы, пытающиеся разорвать его звенья, такое исправление требует особо тонкого сочетания твердой принципиальности, страстности и энергии с мудрым терпением, то есть — ленинского стиля руководства.

Со дня смерти Владимира Ильича прошло уже сорок шесть лет. И то, что он остается движущей силой, сгустком энергии, собранной и сконцентрированной в его теоретических трудах и практической деятельности, является еще одним замечатель-

ным доказательством силы и прочности ленинизма. Именно потому, что в Ленине так чудесно сочетались теоретическая широта и практическая трезвость, мечта и реальность, он живет в нас, в наших воспоминаниях и представлениях о нем не как легендарное, почти мифическое существо, но как человек среди людей.

ЭРВИН ШТРИТТМАТТЕР (ГДР)

Мой родной дом в деревне, в котором и поныне живет отец, расположен неподалеку от холма, увенчанного исполинскими дубами. Жители деревни зовут это место «дубняк».

Однажды весенним вечером 1920 года в дубняке собралась группе окрестных жителей: шахтеры, стеклодувы, сельскохозяйственные рабочие; все, как мне помнится, социал-демократы.

Кое-кто из собравшихся прислонился к деревьям, другие стояли вокруг, взволнованно курили. Обычно в такое время мы, дети, уже спали, но тогда, привлеченные необычным собранием, постарались улизнуть из дому. Мы жаждали узнать, почему отцы молчат, пристально глядя в направлении города.

Вскоре мы поняли, в чем дело,— впервые в жизни мы увидели, как вспыхнула в небе и потухла сигнальная ракета, ветер донес треск винтовочных выстрелов, стрекот пулеметов. Суконщики Котбуса и горняки Зенфтенбергского буроугольного района нанесли поражение «Черному рейхсверу», возглавляемому оголтелым реакционером Каппом, злобным врагом рабочего класса.

Наши отцы, социал-демократы, бледные как полотно, стояли на холме, глубоко засунув руки в карманы. Беспокойная игра мускулов на некоторых лицах выдавала волнение. Кто-то попытался отпустить шутку, другие сравнивали происходящее с памятными и еще столь недавними событиями мировой войны; безучастным, сдается мне, не остался ни один человек.

Когда же стих шум боя, отец взял меня за руку (что случалось до крайности редко) и, зашагав домой, сказал, больше для себя, чем для меня:

— За всем этим стоит некто Ленин из России. Может быть, он и прав, кто знает...

Так я впервые услышал имя Ленина. В эти годы мне уже мало было единственного сборника сказок, который читали в нашем доме. Я начал следить за газетами и, приметив в них имя Ленина, с интересом читал все, что о нем писали. В социал-демократических газетах, как можно себе представить, ничего хорошего о Ленине не писали, но я читал их со жгучим интересом, пытаясь понять, почему этот человек так не нравится журналистам, да и кое-кому из наших отцов.

Произведения Ленина попали ко мне, к сожалению, значительно позже, но и поныне я испытываю на себе их побудительную силу, которую ощутил при первом чтении. Я вновь и вновь перечитываю Ленина, всякий раз, когда вижу, как пытаются исказить или бюрократически сузить его политические и философские взгляды. Чаще всего читаю переписку Ленина с Горьким. Уважение, испытываемое Лениным к искусству, понимание, с каким он относился к его нуждам, стремление сделать искусство достоянием всего народа снова и снова вызывают у меня восхищение. Критические замечания, высказанные им Горькому, заставляют о многом задуматься, но тон его писем, в котором нет ни тени всезнайства и умничания, действует на меня благотворно и ободряюще, а тот факт, что Ленин признает за художником право на своеобразие, поддерживает в работе.

ФРАНЦ ФЮМАН (ГДР)

Сердечно благодарю за дружеское приглашение рассказать об обстоятельствах, при которых я впервые услышал имя Ленина. Признаюсь в моей полнейшей беспомощности. Мне пришлось бы написать роман, чтобы изобразить, как с самого раннего детства, буквально еще до того, как я научился мыслить, меня, росшего в фашистской среде, направляли в русло антикоммунизма, причем особенно глупого, подлого, отвратительного. Коротко об этом не расскажешь, если хочешь быть точным, а точным надо быть, иначе это прозвучит неправдоподобно.

А так как мне чрезвычайно трудно излагать на бумаге что-либо, не являющееся повествованием, я на ваш второй вопрос смогу ответить только в общем: я верю, что великое, человечное учение Ленина живо и современно ныне, как и прежде,— но дальнейшие размышления об этом должны были бы стать еще одним романом.

САДЖАД ЗАХИР (ИНДИЯ)

Когда произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, я был уже школьником и прекрасно помню, как однажды утром мой дядя пришел к матери — набожной мусульманке — с вестью о большой «inquilb» (революции) «в Roos» (России). В ту пору слово «Россия» не пользовалось популярностью в нашей семье: говорили, что русский царь — враг и осквернитель мусульманских земель, таких как Иран и Турция. Моя мать сама не читала газет, но каждое утро один из ее младших братьев читал ей вслух наиболее важные известия из газет, выходивших на урду. Первая мировая война вызвала в Индии повышенный интерес к международным новостям.

Мой дядя рассказал матери, что царское правительство свергнуто, что власть в России захватили простые рабочие, крестьяне и солдаты и что имя вождя русских революционеров — Ленин. Я сидел возле матери, и мне показалось, что ее, как и дядю, очень обрадовали эти вести. Мать сказала, что бог наказал царя за его грехи и что Ленину, безусловно, помогает рука божья.

Дядя добавил, что Ленин выступает и против английских империалистов, призывая их освободить Индию и все азиатские страны.

— Пусть сопутствует ему удача и хранит его господь,— сказала моя мать.

Так я впервые услышал имя Ленина.

В истории человечества еще никогда не бывало, чтобы такие огромные перемены произошли в такой короткий отрезок времени. За каких-нибудь пятьдесят лет значительная часть человечества встала на социалистический путь, господство империализма свергнуто на большей части территории Азии и Африки, а в той части мира, которая все еще остается в сфере господства капитализма и империализма, рабочий класс, широкие круги интеллигенции и мелкой буржуазии обращаются к идеям, теориям, стратегии и организационным методам, выдвинутым Лениным в борьбе против угнетателей.

Поскольку я прежде всего писатель, я хотел бы сказать о влиянии ленинских идей в области идеологии. Со всей категоричностью я утверждаю, что некоторые основополагающие идеи и замечания Ленина, относящиеся к литературе и искусству, и по сей день служат прогрессивным писателям оружием в идеологической борьбе, которую они ведут против реакции и антигуманизма разных сортов и оттенков.

В моей стране Индии, например, две реакционные идеологии объединенными усилиями пытаются отравить сознание нашего народа. Американские империалисты и их прислужники от литературы и искусства распространяют теории о том, будто человечество зашло в тупик, будто оно обречено, а посему следует жить сегодняшним днем, что ни прошлое, ни будущее, ни долг человека перед обществом не имеют ни малейшего значения. Индивидуум начисто освобождается от какой бы то ни было ответственности, его инстинкты, его подсознание объявляются более существенными, нежели разум, иррациональное представляется более важным, чем рациональное, и так далее и тому подобное. Во имя утверждения и распространения этих идей расходуются огромные суммы долларов, издаются журналы, покупается труд писателей и журналистов. Разумеется, пружиной всех этих целенаправленных пропагандистских усилий является антикоммунизм, антигуманизм.

С другой стороны, у нас в Индии имеются и реакционные силы отечественного происхождения: все, что есть застойного в нашем обществе, что олицетворяет собой отживший феодальный и даже племенной уклад. Под лозунгом возрождения воображаемой былой славы Индии сторонники феодальной реакции стремятся сохранить такую дикость, как кастовая система, посеять ненависть и антагонизм между людьми, придерживающимися различных религиозных верований, преградить путь к демократическому и социалистическому преобразованию индийского общества.

Как и следовало ожидать, «передовые» западные идеологи — идеологи империализма — и «отсталые» индийские традиционалисты — идеологи феодализма — оказываются союзниками.

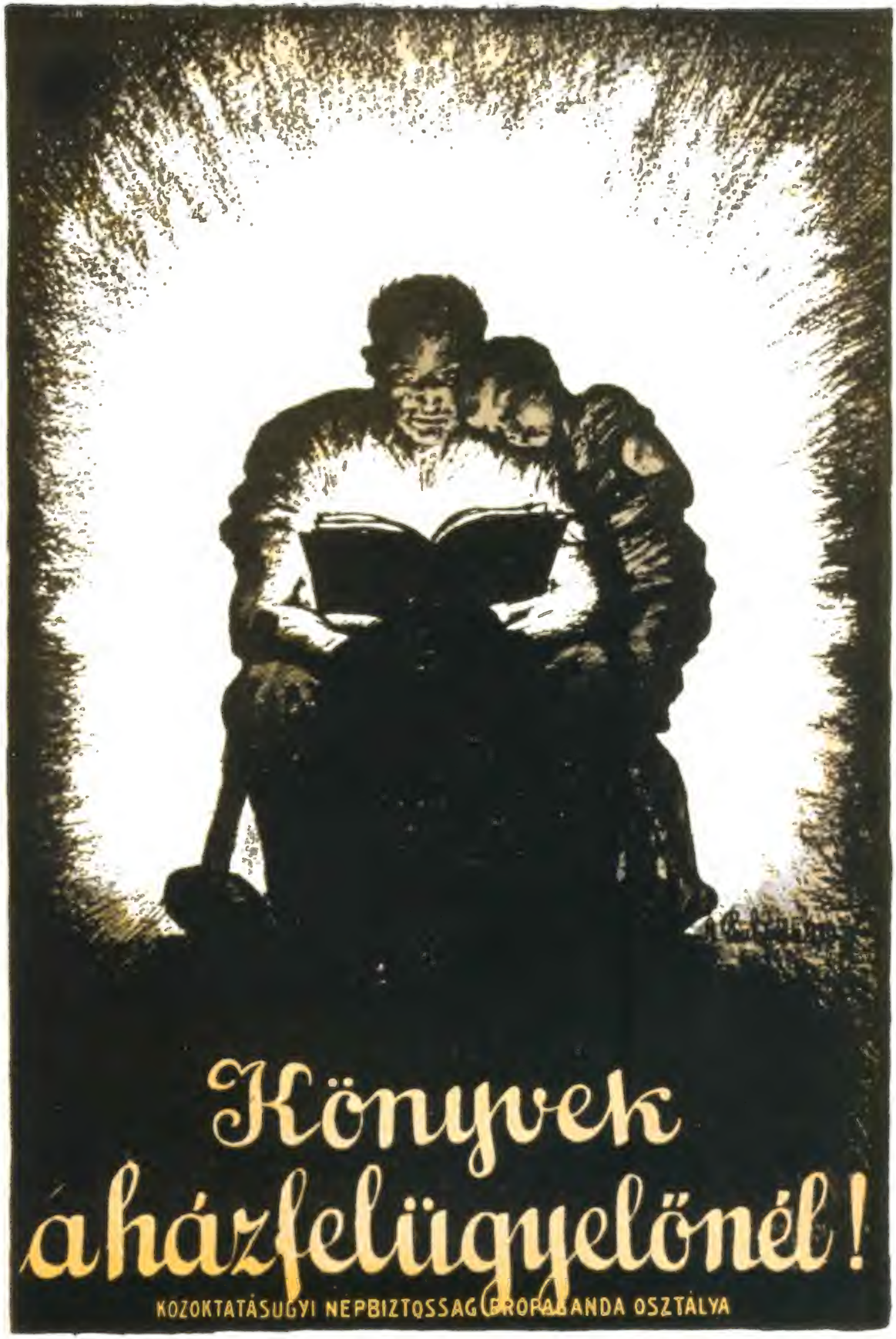
В этом номере мы публикуем репродукции плакатов, выпущенных в 1919 году советским правительством Венгрии и воспроизведенных в альбоме «Плакаты Венгерской советской республики», изданном в Будапеште к юбилею Венгерской революции.

«Плакатные композиции имели огромное значение в дни революции,— пишет в предисловии к альбому Берталан Пор.— Венгерское советское правительство с первого дня использовало агитационную силу плаката для эмоционального воздействия на пролетарские массы, для информации о важнейших политических и общественных событиях».

Плакаты Венгерской советской республики

ЯНОШ ТАБОР. Красные солдаты, вперед! Будапешт, 1919 г.

ИМРЕ ФЕЛДЕШ.
Из серии производственных плакатов.
Будапешт, 1919 г.



ИШТВАН АЗАРИ-ПРИХОДА.
Книги — у каждого дворника!
Отдел пропаганды Народного комиссариата просвещения.
Будапешт, 1919 г.

ЛАЙОШ САНТО. Пролетарии! Вперед! Вы властелины мира! Будапешт. 1919 г.

Прогрессивным, демократическим, подлинно патриотическим писателям и деятелям культуры Индии приходится постоянно сражаться против этого нечестивого союза. И в этой битве идеи Ленина — наше самое мощное и действенное оружие, и в первую очередь идея о том, что литература должна служить народу, что она должна зажигать сердца людей, воодушевлять и объединять их на борьбу против угнетателей, за построение нового общества изобилия, справедливости, духовного и морального совершенства.

РЕНАТО ГУТТУЗО (ИТАЛИЯ)

Моя первая встреча с Лениным состоялась в 1919 году на моей родине в Сицилии, когда мне было семь лет и я стал свидетелем демонстрации крестьян против коммунального налога. Впереди несли огромное красное знамя и несколько плакатов, на одном из которых было написано: «Да здравствует Ленин!».

Позднее, прочитав первые книжки о социализме, я понял, что это за человек, он стал для меня критерием нравственности, а его произведения — самым надежным и верным инструментом познания настоящего и будущего.

Имя «Ленин», увиденное мною в детстве на плакате, живет с тех пор в моей душе, оно стало для меня источником света, разгоняющим мрак и рассеивающим сомнения, незыблемой опорой в нашем неустойчивом мире.

НИКОЛАС ГИЛЬЕН (КУБА)

ВСПОМИНАЯ ЮНОСТЬ...

В тот год, когда гениальный Ленин, столетие со дня рождения которого мы ныне отмечаем, основал первое в мире социалистическое государство, мне исполнилось пятнадцать лет. Мой отец, перестав быть сенатором — его полномочия истекли еще в 1912 году,— занимал пост редактора городской газеты «Либертад» в Камагуэе, и мы начали получать в порядке обмена, наряду с другими периодическими изданиями нашего острова, газеты из Гаваны. Мне поручалось каждый вечер ходить на почту — забирать из абонементного ящика ежедневную корреспонденцию. А поскольку абонементный ящик был весьма вместителен, то в нем свободно укладывались «Дискусьон» и «Диарио де ла марина», «Политика комика» и «Эральдо де Куба», «Луча», «Ноче», «Импарсиаль»... Сколько, сколько же их было, этих газет — самых разных направлений, самой разной масти.

Мой отец погиб в нашу «гражданскую войну» между либералами и консерваторами в 1917 году, за несколько месяцев до Октября, и некому было объяснить мне, что на самом деле скрывалось за огромными, черными заголовками, сообщавшими о падении дома Романовых. А телеграммы — все они поступали из Нью-Йорка — расписывали большевиков как страшных дикарей, которые в руке держат бомбу, а в зубах — острый нож. И, разумеется, одеты в мохнатые шкуры...

Как мы узнавали обо всем этом? Что ж, проще простого: информационные сообщения «специально для газеты» получены по прямому проводу «от собственного корреспондента» из... Москвы!

Как бы то ни было, пропаганда давала желаемый эффект. Я, бедный негр, сирота, в пору своей доверчивой юности испытывал отвращение к варварам, которых изображали газеты. Массовые убийства женщин и детей, не без мрачного сладострастия измышляемые телеграфными агентствами суды Линча над беспомощными стариками (конечно, по образцу янки!), разграбление дворцов с их несметными сокровищами (как в кинофильмах янки) — все это наполняло меня чувством безграничного негодования. Неужто кровавая оргия когда-нибудь докатится и до Кубы? Нет, нет, этого господь бог не допустит!

Не проходило дня, чтобы в прессе не говорилось о малоизвестной России и прежде всего о человеке по имени Ленин. Были даже газеты — правда, очень немногие,— писавшие о нем если не с уважением, то сдержанно или, по крайней мере, без тех злобных измышлений, которыми отличалось большинство печатных изданий, выражавших яростную ненависть кубинской буржуазии к русской революции.

И вот, как подчас бывает в жизни, именно эта звериная озлобленность, доходившая до бредовой одержимости, заставила меня задуматься: нет ли какой корысти в этих истеричных воплях? А если на деле все не так, как твердят газеты?

Счастливая судьба свела меня с одним человеком, старым другом моего отца. В нашем городке кое-кто считал его безумцем или маньяком, однако в действительности это был высокообразованный, интеллигентный человек. Фамилия его — Варона, а вот имя из памяти улетучилось. Как-то однажды я поделился с ним своими сомнениями, более того — своей тревогой. Я спросил его, как он относится к событиям в бывшей империи царей. Попросил рассказать о Ленине и вообще обо всем, что там, в России, происходит и что он об этом думает.

Как живого, вижу я Варону перед собой. Темный, почти черный мулат лет пятидесяти, с правильными чертами лица, которое не портили даже оспины, и вьющимися волосами уже с проседью. Голос его звучал низко и немного дрожал, как у старика, однако дикция у Вароны была превосходной, и все, что он говорил, всегда заслуживало серьезного внимания. Как только я высказал ему свою просьбу, он пристально посмотрел на меня большими черными живыми глазами, а затем, немного помолчав, произнес:

— Глупости все, что пишут газеты. А если не глупости, так подлость. Тебя не должна пугать эта революция, наоборот, ты должен приветствовать ее от всей души, и, хотя сегодня она где-то вдали от нас, в один прекрасный день она будет совсем рядом с тобой... Ленин не таков, каким его расписывает «Диарио де ла марина». Он — гений. Могучий разум сочетается у него с силой характера. Он заботится о трудовом люде. Кроме того, он человек очень большой культуры. Я говорю тебе это потому, что на днях читал в одной гаванской газете, похоже, в «Дискусьон», что он, дескать, «неграмотный, но с капитальцем».

Мы беседовали рано утром на углу Сиснерос и Сан-Игнасио, самых оживленных тогда улиц Камагуэя, напротив дворца провинциального правительства. Неожиданно он предложил мне мягко, но властно:

— Пойдем со мной.

Я последовал за ним вниз по улице, пока мы не достигли перекрестка у церкви святой Кармен. Здесь жил Варона. Он пригласил меня войти в лачугу — из тех, что на Кубе назывались «пристройками». В комнатушке царил беспорядок, свидетельствовавший об отсутствии в доме женской руки. Мой друг открыл огромный сундук — такие сундуки были тогда очень популярны, их называли «вселенная» — и из-под тяжелой груды лежалой одежды и старых газет вытащил маленькую книжку. С лукавой улыбкой и необычайно заблестевшими глазами он протянул ее мне. На обложке я прочел: «Коммунистический манифест». Ниже: Маркс и Энгельс. На книжке не было указано ни выходных типографских данных, ни названия издательства. Разорванная обложка была подклеена. Судя по крайней скудости шрифтов, книжку, должно быть, печатали в типографии, имеющей весьма ограниченные возможности. Я тут же принялся было ее читать, но мой друг сказал:

— Здесь не надо. Возьми ее с собой. Не будь полиция столь глупа, я бы посоветовал тебе ее спрятать, но в этом нет необходимости. Никакой полицейский в этом не разберется.

С подчеркнутой небрежностью я засунул книжку в карман и окинул взглядом библиотеку моего друга. Среди большого количества книг я заметил книги авторов «Коммунистического манифеста».

С тех пор много воды протекло под мостами, перекинутыми через Тйнима и Атибонйко — двух рек, омывающих стены моего родного Камагуэя. Сначала я переехал в Гавану. Из Гаваны, проездом побывав в Мексике, отправился в Испанию в самый разгар войны против Франко... Там, в Валенсии, вступил в коммунистическую партию. И в тот момент, когда мне потребовалось заполнить анкету вступающего в ряды коммунистов-ленинцев, на меня нахлынул целый поток воспоминаний о детстве и юности...

Сколько же лет прошло с того утра в Камагуэе, когда мой друг Варона познакомил меня с «Манифестом» и рассказал о Ленине? О, много, очень много... Страна, которую вся буржуазная пресса Кубы обливала отъявленнейшей клеветой, превратилась в могучую, монолитную, непобедимую державу. Уже давно умер Варона, одинокий, в нищете. Но разве в самом себе я не храню многое от него?

Ведь я слышал его слова — и даже сейчас, спустя более полвека, я слышу его голос:

— Тебя не должна пугать эта революция, наоборот, ты должен приветствовать ее от всей души, и хотя сегодня она где-то вдали от нас, **в один прекрасный день она будет совсем рядом с тобой...**

АНХЕЛЬ АУХЬЕР (КУБА)

В 1924 году я окончил начальную школу в поселке при одном из сахарных заводов Кубы на северном побережье провинции Орьенте.

Интересно сейчас восстановить в памяти, когда именно личность и идеи Владимира Ильича Ленина вошли в жизнь людей моего поколения. Страна переживала

серьезный экономический кризис, и кубинский пролетариат проникался идеями классовой борьбы, сознанием своего бесправного положения, сознанием того, что его сила — в единстве и солидарности. То было время бурного развития профсоюзного движения по всей Кубе и особенно в провинции Орьенте.

В ходе этой активной профсоюзной деятельности выделились различные направления: проводникам реформистских и анархо-синдикалистских теорий противостояли первые сторонники марксизма-ленинизма, которые уже тогда оказывали влияние на трудящихся, давали им четкие ориентиры.

В мае 1925 года к власти пришло правительство генерала Герардо Мачадо, а несколько месяцев спустя была создана Коммунистическая партия Кубы, которая начала активную бескомпромиссную борьбу против засилья североамериканских монополий и кубинских сахаропромышленников, против тех сил, чьи интересы представляло новое правительство — начала борьбу за социализм.

Первая забастовка, жестоко подавленная правительственными войсками, произошла как раз на том сахарном заводе, где я провел детство и отрочество. Я уже писал однажды, что впечатления от этого наглядного и драматического урока классовых боев научили меня большему, чем мог бы сделать самый серьезный социологический трактат.

Народная борьба против диктаторского режима постепенно охватила все слои общества. Мы, молодые, довольно быстро определили в этой борьбе свое место, занимая под влиянием событий все более левые позиции. В стране нелегально распространялась революционная литература самого различного толка. Я помню, какое глубокое впечатление произвела на меня брошюра, изданная в Испании, под названием «Пять основных декретов» — речь шла о первых декретах Советской власти; она сразу же ввела идеи Ленина в круг моих интеллектуальных интересов.

Из статей прогрессивных авторов мы все больше узнавали о жизни и деятельности Ленина. Часто ссылался на Ленина Хулио Антонио Мелья. Этот замечательный лидер студенчества и трудящихся, основатель марксистского движения на Кубе и в Мексике, был предательски убит в 1929 году в мексиканской столице наемниками диктатора Мачадо. Смерть Мельи была тяжелым ударом для всех нас, но она ускорила революционное формирование нового боевого поколения. Молодежь пошла по пути Ленина, который избрал сам Мелья и на который он указал нам.

Проблемы национального освобождения заставили нас обратиться к работе Ленина «Империализм, как высшая стадия капитализма». С тех пор мы не перестаем восхищаться мудростью и логикой Ленина, его глубоким проникновением в существо вопроса, способностью анализировать факты и идеи, его стилем — ясным, четким, убедительным, вдохновенным и живым. Каждое слово у него имеет свой точный смысл, и каждая мысль не может быть выражена иначе, чем это сделал он.

Встав на ленинский путь, мы вновь и вновь обращались к его произведениям как к основному источнику идей, наравне с произведениями Маркса и Энгельса. В тюрьмах, на подпольных собраниях, в кружках или в одиночку мы изучали «Государство и революцию», «Детскую болезнь «левизны» в коммунизме», «Что делать?» и т. д., а также книги, рассказывавшие о жизни Ленина, об Октябрьской революции и об историческом развитии Советского Союза, за которым мы следили и продолжаем следить с горячим интересом.

Можно утверждать, что для тысяч молодых кубинцев моего поколения чтение произведений Ленина определило их путь — путь борьбы за социализм.

Если бы меня спросили, в каком смысле учение Ленина повлияло на мое литературное творчество, я бы ответил — в самом главном: оно дало мне коммунистическое, то есть марксистско-ленинское понимание жизни, действительности, истории. Именно в рамках такого понимания я и создавал свои поэтические и литературно-критические произведения. И никогда эти рамки не казались мне узкими. Скорее наоборот. Ленинское учение открывает широкий простор для размышлений и выводов, служит стимулом творчества и неиссякаемым источником вдохновения.

ЛОДОЙН ТУДЭВ (МОНГОЛИЯ)

Самые замечательные творения нашей эпохи связаны с Лениным. И я убежден, что коммунистическое общество, о котором мечтало человечество из века в век, будет носить его имя.

Первая моя встреча с Лениным произошла в пору далекого детства и стала прекраснейшим воспоминанием всей жизни.

Небольшой поселок, заброшенный в глуши бескрайних монгольских степей — кучка юрт, стадо овец. Я только что научился читать, когда грянула вторая мировая война. Однажды отец, вернувшись с работы, с тревогой сказал:

— Война идет!

— А что такое война?

— Самое плохое на свете, сынок. Война убивает людей, разрушает города.
— А зачем же тогда люди позволили, чтоб началась война?
— Есть плохие люди, они любят войну. Они и напали на страну русских братьев.
— Русские братья победят,— сказал я.
— Конечно. Ведь Россия — родина великого Ленина.
— А кто такой Ленин?
— Очень ученый, очень сильный человек. Богатырь.
— Ученее нашего учителя?
— Конечно. Ведь Ленин — учитель всех честных людей земли. Он всемогущ.
— Значит, он сильнее борца Чоймбол-гуая?
— Чоймбол всего-навсего может вырвать с корнем саксаул. А Ленин-багш (учитель) сумел переделать весь мир.

Услышав это, я замолчал: дальше Чоймбола моя фантазия не шла. В детской голове еще не укладывалась мысль о существовании удивительного человека, который ученее самого школьного учителя и такой сильный, что может перевернуть землю.

Вот как мне довелось узнать о Ленине. Жизнь моя и доныне связана с ним, как и вся наша эпоха связана с его именем, с его идеями.

С возникновением ленинизма человечество обрело невиданную мудрость и силу. Из века в век передавались людям мечты лучших сынов человечества, искавших пути к свободе и не сумевших дойти до цели. Томас Мор был казнен, Джордано Бруно сожгли на костре, Николая Чернышевского приковали к позорному столбу...

«Дайте нам организацию революционеров — и мы перевернем Россию!» * — сказал Ленин. Обретя надежную опору в тысячах обездоленных пролетариев, он создал революционную теорию и революционное движение. Ленинская революционная теория стала мощным оружием в руках передового человечества.

Свет революции, зажженный Лениным, ярко сияет над странами и континентами, увлекая на борьбу новые миллионы людей. Его нельзя погасить, как нельзя закрыть ладонями солнце. Путь, проложенный Лениным, уже давно стал и путем монгольского народа.

Мы, монголы, никогда не забудем, что Владимир Ильич неоднократно писал о нашей родине. Сбылось его пророчество: в Монголии родилась Народно-революционная партия, и под ее руководством монгольский народ, поддерживаемый братским русским пролетариатом, отвоевал свое счастье у эксплуататоров, наглядно продемонстрировав всему миру справедливость ленинской идеи о том, что «с помощью пролетариата передовых стран отсталые страны могут перейти к советскому строю и через определенные ступени развития — к коммунизму, минуя капиталистическую стадию развития» **.

Сегодня мы пашем землю тракторами, летаем на могучих воздушных лайнерах, путешествуем в скоростных поездах. Темная, дикая Монголия осталась где-то далеко позади, во мраке средневековья.

Судьба моей родины — ярчайшее подтверждение гениальности ленинской теории. Вооруженные теорией социалистической революции, сегодня побеждают гнет и насилие другие отсталые народы планеты. Это ли не доказательство актуальности ленинизма?

ЮЛИАН КАВАЛЕЦ (ПОЛЬША)

ЛЕНИН ЖИВЕТ

Это было в 1929 или 1930 году. Я тогда учился в школе в городке Сандомеж, в семи километрах от моей родной деревни. Было мне лет 13—14. Однажды нам стало известно, что один из учеников старшего класса исключен из школы. Причины его исключения были окружены тайной. Учителя избегали этой темы, отделываясь общими фразами. Можно было заметить, что они боялись сказать правду, хотели скрыть ее от молодежи. И это вызывало обратный эффект, любопытство наше росло. Мы хотели знать, за что наш товарищ был так неожиданно лишен права посещать школу. Наконец, мы выяснили, в чем дело: в большой тайне из уст в уста передавалось известие — нашего товарища исключили за то, что он состоял в нелегальной организации, за то, что читал труды Ленина (в то время они были запрещены в Польше).

Много лет прошло с тех пор. Перечитывая работы Ленина, я снова убеждаюсь в их непреходящей ценности. Сила ленинских идей распахивает врата времен, эти идеи нельзя загородить барьерами, которые история ставит на границах эпох.

---

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 6, стр. 127.
** Там же, т. 41, стр. 246.

Гениальный ум Ленина разрабатывал организационные методы, стратегию и тактику эксплуатируемого класса, а горячее сердце Ленина было отдано каждому труженику. Даже в самые тяжелые моменты, когда решалась судьба всего народа, когда прежде всего надо было объединить и направить передовые силы общества, вдохнуть в них волю к борьбе, Ленин умел найти время для отдельного человека. Две заботы — о народе и о человеке — он превратил в одну, он ставил знак равенства между благом народа и благом отдельной личности, чтобы никогда не перекрещивались пути, ведущие от человека к народу и от народа к человеку.

В этом непоколебимая сила его идей и притягательность его заветов, из которых черпают мудрость и народы и отдельные люди, каждый трудящийся в своей будничной работе. Его революционная практика, а также практика осуществления власти были пронизаны воинствующим гуманизмом.

Величие Ленина заключается и в его скромности, во внутренней потребности разделить судьбу людей, борющихся за социальную справедливость, а значит, и за счастье народа. Своим умением предвидеть, своей энергией он во сто крат умножил силы трудящихся масс и привел их к победоносной революции...

В годы, когда безумствовал фашистский террор, память о его жизни, борьбе давала силы выжить, выдержать и победить. Ленин живет в своих трудах, в своих заветах и предостережениях и в современности, когда многие народы идут по пути социалистического развития. Мы обращаемся к Ленину особенно в те моменты, когда возникает необходимость бороться за чистоту его идей, осуществляемых в ежедневной практике. Ибо Ленин всегда напоминает нам о том, что ценность идеи лучше всего проверяется конкретными фактами действительности.

Ленин принадлежит и будущему, будущему без войн, без эксплуатации и пренебрежения человеческой личностью.

ТАДЕУШ БРЕЗА (ПОЛЬША)

Когда я впервые в жизни услышал имя Ленина? Очень давно. Я и сам ведь на этот свет явился, увы, не с последним снегом. Воспитывался я в родительском доме, в имении Секежинцы Житомирской губернии. Дом у нас был огромный. Во время первой мировой войны в нем перебывало великое множество родственников из той части Польши, что была захвачена Австрией и Германией.

В результате в секежинском доме «скопилось» четырнадцать детей — «исконных» и приезжих. Мой отец организовал для нас всех домашнюю школу, пригласив в преподаватели немолодого профессора Аугусто Хласек-Хласко. Он был страстным любителем истории и знатоком политики.

Мартовским утром 1917 года, когда семья сидела за завтраком, в столовую вбежал господин Хласко. Он явно только что вскочил с постели. В ночном колпаке, в халате, весь в поту, дрожа от волнения, профессор кричал: «Отречение от престола! Львов! Керенский!» Бегая вокруг стола, он, захлебываясь словами, сравнивал русскую революцию с французской.

Несколько месяцев спустя, в скверную осеннюю пору, господин Хласко вновь ворвался в столовую во время обеда. Облаченный в уже ставший традиционным халат, он метался вдоль стен, увешанных портретами предков и музейным фарфором, и восклицал: «В Петрограде власть в руках якобинцев, в руках социальных низов!» В тот же день я несколько раз кряду услышал впервые имя Ленина. «Ленин, Ленин, Ленин!» — все твердил Хласко. Он пытался предсказать будущее России, и, как выяснилось впоследствии, сделал это довольно удачно.

...По нашей губернии безостановочно двигались войска: немцы, махновцы, белые — и все уверяли, что занимают земли «раз и навсегда». Отцу с помощью солидных знакомств удалось вывезти семейство, погрузив самое ценное — детей и коллекцию фарфора — в четыре товарных вагона. Мы уехали в коренную Польшу. Именно тогда, на основании ленинской идеи социальной справедливости, я, как сын помещика, лишился родного дома. Тридцать семь лет спустя, в 1945 году, после разгрома Гитлера Советским Союзом, когда снова восторжествовала ленинская справедливость, мне, как гражданину, было возвращено нечто большее — Родина.

Я много путешествовал. Работал дипломатом. Видел десятки стран. И много, много раз думал об идеях Ленина, наблюдая жизнь народов в разных частях света. Вот, скажем, Латинская Америка. Я твердо убежден в том, что ленинизм для латиноамериканцев — единственно верная дорога, единственный путь к тому, чтобы покончить с эксплуатацией, получить настоящую независимость.

ДЕМОСТЕНЕ БОТЕЗ (РУМЫНИЯ)

Я учился в четвертом классе лицея в Яссах, жил в интернате, откуда мог выходить только по воскресеньям. Каждую неделю я отправлялся к одному из моих дядей — Константину Кирикэ, который работал в университете на естественном факультете препаратором у профессора Пауля Бужора. Это происходило в 1908 году, когда мне было 15 лет.

Родился и вырос я в селе и летом, приезжая на каникулы, работал в поле. Мне были хорошо известны условия жизни крестьян и их помыслы. Довольно рано я стал задумываться над тем, почему они так трудно живут. Интерес к этим вопросам резко обострился после русской революции 1905 года, отголоски которой дошли до нас и произвели большое впечатление. Как следствие этого в Румынии разразилось в 1907 году крестьянское восстание.

Первым коммунистом, которого я знал, и был мой дядя Константин Кирикэ. Жил он в подвальном этаже университета, в маленькой комнатке, рядом с залом, где проводились исследования. На стене перед его письменным столом висел в раме большой, сделанный углем портрет Карла Маркса работы художника Октава Бэнчилэ, который тоже был обязан дяде своими марксистскими убеждениями. Иногда я встречал в этой комнатке и других людей: нынешнего профессора университета Василе Рышкану, тогда юного студента, и моего кузена, тоже студента, Жана Теодореску, ныне покойного. С величайшим интересом слушал я их разговоры. На огромном столе рядом с микроскопами лежали в беспорядке листы рукописи и книги по естествознанию, был тут и «Капитал», очевидно читавшийся и перечитывавшийся, пестревший карандашными пометками. Там и тогда, в этих беседах я услышал о Ленине как об одном из тех, кто выковывал их идеи и зажигал души стремлением служить делу пролетариата и делу революции.

В те времена я еще слишком мало разбирался в их спорах, которые становились все более жаркими. Много позднее, уже студентом я стал председателем организации студентов-демократов и потом всю жизнь писал в защиту униженных и эксплуатируемых.

Погиб на войне Константин Кирикэ, умер и Жан Теодореску... Но от них я впервые услышал имя Ленина. И это имело для формирования моего мировоззрения такое значение, что я до сих пор не забыл обстоятельств, при которых это произошло.

На вопрос о том, в чем актуальность ленинизма сегодня, трудно ответить кратко, ибо для этого потребовалось бы проанализировать состояние современного общества в целом, во всех его аспектах: политическом, экономическом, социальном и культурном, со всеми конфликтами и перспективами их разрешения в борьбе, которую ведет рабочий класс капиталистических стран, с освободительной борьбой колониальных и зависимых стран, с надеждами на ленинизм всех народов, которые еще задыхаются под гнетом эксплуатации.

Неисчерпаемую, гигантскую силу идей Ленина можно сравнить с мощностью ядерной энергии. Ленинские идеи живут повсюду. Их отзвуки слышны в самых глухих уголках земного шара. Актуальность ленинизма состоит в том, что, вопреки всем препятствиям, он ведет мир к коммунизму.

НИНА КАССИАН (РУМЫНИЯ)

Не помню, когда я впервые услышала слово «Ленин», не помню, когда я впервые увидела ленинский профиль на фоне развевающегося знамени. Помню только, что это было в годы войны. Мое сознание вдруг озарилось видением идеального мира — мира, к которому я стремилась всеми своими силами, но то, что для его созидания нужно преодолеть так много трудностей и трагедий, открылось мне гораздо позже. Видение идеального и гармоничного мира, где личность раскрывается во всей ее глубине и сложности,— это видение дал мне Ленин.

С годами ленинский образ стал глубже, он словно чеканная бронза остался в моей памяти, но я с уверенностью могу сказать, что Ленин и сейчас для меня полон динамизма и жизни.

Никогда не забуду тех месяцев, когда я работала над большой поэмой о Революции, в которой есть две главы о Ленине. В одной — он в Разливе, где скрывался под именем Константина Петровича Иванова; во второй — он едет в холодном пустом трамвае по настороженному Петрограду.

Тринадцать лет спустя я бродила по местам, где бывал Ленин, и сравнивала действительный облик вещей с тем, который был создан моим внутренним взором; и чувства мои множились, словно отраженные двумя зеркалами.

В этих зеркалах — объективном и субъективном — образ Ленина не тускнеет. Я вижу Ленина, воплощенного на экране советскими артистами, вижу его черты, жесты, слышу его голос; я вижу лицо Ленина в Мавзолее и жадными глазами стараюсь снять слепок со рта, с глаз, с неповторимого лба, о котором Маяковский в поисках высшего эпитета сказал просто — «ленинский».

Я жила рядом с Лениным, когда переводила драматическую поэму Сельвинского. Я испытала ощущение легкого шока, когда в документальном фильме впервые увидела Ленина живого, услышала его голос, завораживающую картавость, его неповторимое «р».

И вот, естественно, пришло для меня время обобщений, и я смогла воспринять Ленина как историческое явление, восстановить в мыслях своих его жизнь, и она предстала передо мной как сверкающий вектор, вобравший его уникальную способность отвлеченного мышления, его одержимость идеей, волю, глубокое понимание жизни, возможностей, таящихся в нашем времени, его практический ум и деловитость, душевную широту.

В своих последних стихах, посвященных Ленину, я отказалась от повествовательного тона, от детального изображения жизненных фактов, а стремилась, насколько это в моих силах, постичь глубинный смысл того явления, которое зовется «Ленин», чей приход в мир был предопределен историей и кто, в свою очередь, столь решительным образом повлиял на ее ход. Это не значит, что в моем сознании ореол вокруг имени Ленина хотя бы на миг затмил его человечность. Величие Ленина и его человечность неразделимы.

СИДНЕЙ ФИНКЕЛЬСТАЙН (США)

Я не могу точно сказать, когда именно я впервые услышал имя Ленина. Когда я учился в старших классах школы и в колледже (это было в Нью-Йорке в конце двадцатых и начале тридцатых годов), мне довольно смутно представлялось, что это — один из руководителей «русской революции», но наши преподаватели не говорили с нами ни о социализме, ни о социалистических революциях, ни о Советском Союзе, ни о Ленине.

Мое знакомство с Лениным было цепью все новых и новых открытий — книга Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир», яркий, навсегда запоминающийся образ Ленина в волнующих советских фильмах об Октябрьской революции, которые демонстрировались в США. А потом — книги и брошюры самого Ленина, переведенные на английский: «Империализм, как высшая стадия капитализма», «Что делать?», «Детская болезнь «левизны» в коммунизме», «Государство и революция» и другие. Но прочитав впервые эти ленинские труды, я не сумел понять их по-настоящему. Правда, тогда я этого не замечал. Им всем была присуща та поразительная ясность и точность, с какой Ленин умел раскрывать самые сложные темы и проблемы. Однако, как мне позже открылось, нет ни одного ленинского произведения, в котором при перечитывании не обнаруживались бы новые богатства мысли. И я постепенно начал постигать не только блистательную злободневность этих произведений, но и их, так сказать, «вневременность», их «метод», их глубочайшие уроки того, как надо «осмыслять» каждую данную проблему.

Пожалуй, Ленина нигде так последовательно не чернили, как в Соединенных Штатах,— причем не только откровенные реакционеры, но и лицемеры, которые, провозглашая себя друзьями прогресса и даже социализма, пытались пробраться к руководству рабочим классом. Этот поток клеветы не иссякает и по сей день. Говорится, будто Ленин отошел от марксистской науки и марксистских «предсказаний». Однако вся его жизнь была отдана именно тому, чтобы защищать, продолжать и развивать научный марксизм. Исследуя законы развития общества, Ленин так же, как Маркс и Энгельс, вовсе не считал, будто в них таится какая-то слепая, механическая сила, которая сама собой рано или поздно создаст социализм. История делается людьми. Законы развития общества, открытые Марксом, могли привести к уничтожению эксплуатации человека человеком только тогда, когда установленные благодаря этому открытию истины овладели сознанием людей, превратились в силу, сплачивающую их для преобразования действительности. И в каждом произведении Ленина живет пламенный призыв к трудящимся — призыв действовать и изменять окружающий мир, призыв соединить свои усилия с усилиями трудящихся всей земли на основе той правды, которую открывает им это ленинское произведение. Книги и речи Ленина проникнуты глубочайшей верой в народ, к которому он обращался.

Клеветники постоянно рисовали и рисуют Ленина честолюбивым политиком, который ради своих целей не останавливался ни перед какими средствами. На самом же деле для Ленина «средства» и «цели» были едины. Ленин видел в человеческой жизни величайшую ценность и относился к ней с несравненно большим уважением, чем все апологеты буржуазного общества, хвастающие своим мнимым «мягкосердечием» и «гуманностью».

Ленина изображают мыслителем, отвергавшим мораль и нравственность. На самом же деле вся его жизнь, вся его деятельность, все его труды зиждятся на самой высокой морали. Вспомним хотя бы его слова, обращенные в 1920 году к молодежи: «Для коммуниста нравственность вся в этой сплоченной солидарной дисциплине и сознательной массовой борьбе против эксплуататоров. Мы в вечную нравственность не верим и обман всяких сказок о нравственности разоблачаем. Нравственность служит для того, чтобы человеческому обществу подняться выше, избавиться от эксплуатации труда» *. И именно поэтому Ленин требовал от коммунистов подлинного уважения к знаниям, накопленным человечеством, критического овладения этими знаниями, скрупулезной честности по отношению к рабочему классу и отречения от собственных эгоистических интересов, которые могли бы нанести ему ущерб.

Неудивительно, что реакция пытается скрыть от народов своих стран истинный облик Ленина. Он стал вождем народов потому, что, как ни один вождь во всей истории человечества, он уважал людей, любил их и учил.

ХЕСУАЛЬДО (УРУГВАЙ)

Вполне возможно, что впервые я услышал имя Ленина уже после Октябрьской революции. Я учился в педагогическом колледже в Монтевидео; с ранних лет я мечтал стать учителем начальной школы. Альфредо — мой товарищ — был членом коммунистической партии и возглавлял движение молодежи, от него-то я и услышал впервые об Октябрьской революции и о Ленине. Сам я в то время служил адъютантом шефа полиции города Монтевидео, причем был отобран для этой должности не случайно, ибо происходил из семьи богатых землевладельцев и принадлежал к правящей партии «Колорадо». Часто я приходил на занятия прямо в форме и отнюдь не стыдился ее, так как шеф не раз говорил мне, что ставит своей целью «очистить полицию от воров, взяточников и карателей» и «восстановить ее истинную сущность: поддерживать порядок, сражаться с преступлениями, заставить уважать законы».

В те времена я не столько хотел заниматься политикой, сколько закончить колледж и уехать в глубь страны учить детей. Однако все чаще и чаще я просил шефа назначить меня в патруль, занимавшийся наблюдениями за порядком на политических митингах, проводимых левыми партиями: меня интересовали речи лидеров из народа, и в особенности выступления моего друга Альфредо, чья личная судьба начинала меня тревожить, ибо я уже тогда понимал, до какой степени полиция ненавидит коммунистов.

На следующий же день после получения диплома я отказался от своей должности и уехал на север, чтобы учить детей и продолжать работать в своей либерально-демократической партии «Колорадо». Некоторое время спустя я вошел в контакт с левым крылом этой партии, и вот однажды где-то в 1928 или 1929 году Хулио Грауэрт (один из выдающихся лидеров этого крыла, убитый полицией во время государственного переворота президента Терра в 1933 г.) сказал мне: «Сынок... давай-ка готовь себя для будущего. Возьми вот эту книжечку, в ней — вся суть»,— и он протянул мне краткое изложение «Капитала» Маркса, сделанное Довилем и опубликованное в Буэнос-Айресе народным издательством.

Мне кажется, влияние теоретических трудов Ленина лучше всего проявляется в их практическом воплощении. Социалистическая революция — основа завтрашнего коммунизма. Методическое изучение самых важных теоретических работ и проверка результатов их применения каждодневной работой коммунистов, нашей борьбой в условиях капиталистического мира на протяжении более чем 40 лет окрасили всю мою жизнь и творчество и воплотились в одном слове — Ленин. Его мудрые идеи служили и всегда будут служить мне компасом в пути, ведущем к свободной, независимой и социалистической Америке. И, разумеется, прежде всего в борьбе за свободу моей родины, Уругвая.

---

* В. И. Ленин Полн. собр. соч., т. 41, стр. 313.

ПЬЕР ГАМАРРА (ФРАНЦИЯ)

СОЛНЦЕ

Сегодняшний ребенок, в какой бы семье он ни рос, в любой момент может услышать имя Ленина — даже в первых классах школы, на любом уроке истории. Его могут произнести скороговоркой, иногда чуть ли не шепотом — все равно оно прозвучит. А я принадлежу к поколению, которому в детстве просто негде было услышать ленинское имя...

Я вспоминаю свое отрочество, юность: война в Абиссинии, война в Испании, Мюнхен, наконец, вторая мировая... Мои сверстники и я мужали под гул набата, зовущего на войну с фашизмом. К тем трагическим дням, когда впервые зазвучал этот набат, я уже знал Ленина. И не я один воспринял его имя как символ победы, как преграду черным силам на пути войны. Я твердо помню, что уже в ту пору слово «Ленин» стало для меня именем, лицом, человеческой жизнью, неотделимыми от борьбы угнетенных, обездоленных бедствиями войны людей.

Да, точной даты я не назову. Мне не вспомнить, в какой именно миг имя Ленина и все, что стояло за ним, впервые запечатлелись в моем сознании. Но, перебирая в памяти прожитые годы, я связываю этот миг с Барбюсом, с первой мировой войной.

Знакомство с Лениным началось с туманной и прекрасной легенды: где-то далеко-далеко, в России, там, где всегда идет снег, один человек вступил в борьбу с нищетой, угнетением, с войной, с застарелой людской привычкой к несчастью. Конечно, я видел этого человека по-своему, глазами ребенка, французского школьника. Он представлялся мне похожим то на Камилла Демулена, вскочившего на садовую скамейку в Пале-Рояле, то на жестикулирующего Дантона, то на Робеспьера, вещающего с трибуны...

Разумеется, позже я прочел биографию Ленина и познакомился с его трудами. Но все, что я потом узнал, нимало не противоречило ленинскому образу моей юности, образу человека на службе человечеству.

На вопрос о том, в чем актуальность ленинизма, разрешите мне ответить не как историку или философу — на эти звания я не претендую,— но как писателю и гражданину. Для меня актуальность ленинизма состоит прежде всего в том, что он помогает нам заслужить высокое и трудное звание гражданина, звание человека, живущего вместе с людьми и озабоченного их общим будущим.

«Гражданин» — великое слово; по существу, по изначальному смыслу оно противостоит жестокости, насилию, грубости, обскурантизму, предрассудкам, несправедливости... Гражданский урок, преподанный Лениным, налагает на нас двойные требования — требования, предъявляемые к самим себе, и требования, связанные с отношением к другим людям.

Один из заветов Ленина — братская любовь к людям. Не к какому-то неопределенному, абстрактному человеку, которого в природе нет, а к живому, многоликому, разнообразному и в то же время единственному в своем роде, чьи руки создают общественное богатство, а разум — интеллектуальные и художественные сокровища земли. Ленин этого человека понимал и любил. Его любовь не была слепой: он ясно видел и хорошо знал людей. Ленин любил крестьян, рабочих, поэтов, студентов, детей. Он не смотрел на них с высоты холодного знания, уверенного в собственной непогрешимости, он понимал их ежедневное трудное бытие.

Красоту величайших памятников человеческого искусства — будь то египетские пирамиды, или мечеть в Кордове, или собор Парижской богоматери, или храм Василия Блаженного — нельзя оценить, не обращаясь мысленно к зодчим, создавшим их силою таланта и фантазии, к труженикам, которые собственными руками возводили их из дерева и камня со стонами, с кровью, страдая от жажды и голода. И если воспользоваться этим примером, то Ленин учит меня видеть не только красоту, но и человеческое усилие, родившее на свет эту красоту.

Я, конечно, никого не удивлю, сказав, что мир, окружающий меня, полон рабов и угнетенных. А поскольку этот мир все еще существует и в нем царят злоба и мракобесие, учение Ленина актуально каждую секунду.

Вспоминаются замечательные строки из короткой статьи «Советская власть и положение женщины», опубликованной в «Правде» 6 ноября 1919 года, где могучий ленинский гнев обрушивается на ложь и лицемерие угнетателей, на их «отвратительно-грязные, зверски-грубые законы»:

«Советская республика, республика рабочих и крестьян, смела эти законы сразу, не оставила камня на камне в постройках буржуазной лжи и буржуазного лицемерия. Долой эту ложь! Долой лжецов, говорящих о свободе и равенстве *для всех*, пока есть угнетенный пол, пока есть угнетающие классы, пока есть частная собственность на капитал, на акции, пока есть сытые, своими излишками хлеба закабаляющие голодных...

И именно потому, что мы сорвали маску с этого лицемерия, что мы осуществляем с революционной энергией свободу и равенство для угнетенных и для трудящихся, против угнетателей, против капиталистов, против кулаков,— именно поэтому стала так дорога рабочим всего мира Советская власть» *.

Сквозь мрак и кровь сияло и сияет над нами солнце Октября — солнце грядущего, в котором воцарятся мир и взаимопонимание.

ИРЖИ ТАУФЕР (ЧЕХОСЛОВАКИЯ)

Я был учеником младших классов австро-венгерской школы, когда мир потрясла Октябрьская революция, и детская мечта, чтобы кончилась война, слилась с желанием вновь увидеть отца, австрийского солдата, объявленного пропавшим без вести, хотя, как выяснилось потом, он уже давно погиб.

Через год и в следующие годы, уже в школе новой Чехословацкой республики, я услышал такие вещи о большевиках, какие рассказывают в сказках о лешем. Идеи, на основе которых родилась Советская Россия, изображались как самая страшная опасность, которая угрожает якобы независимости, завоеванной чешским народом после трехсот лет порабощения, грозит разрушить внутренний мир в стране, подорвать национальное единство.

Конечно, нужен был определенный жизненный опыт, чтобы иллюзорность этого хваленого национального единства предстала перед молодым человеком того поколения во всей своей наготе и чтобы уверенность в государственной независимости, гарантированной западными империалистическими хищниками, сменилась опасениями, вызванными именно этими гарантиями, столь же мало ценными, как фальшивые монеты.

Все, что мы по молодости не сумели еще понять — декабрьская всеобщая забастовка 1920 г. и особенно создание Коммунистической партии Чехословакии в следующем году,— было понято нами позднее, когда, уже студентами, мы не могли не почувствовать вопиющего социального неравенства на «освобожденной родине».

Свою роль сыграли и стихи коммунистических поэтов, ибо молодая, быстро радикализирующаяся мелкобуржуазная интеллигенция приходила обычно в те годы к политическому мышлению и к научному пониманию общества через искусство. Чувство было тогда чем-то вроде горючего для интеллекта.

Мы с жадностью тянулись к таким журналам, как «Червен» и «Кмен» (1918—1921), издававшимся поэтом С. К. Нейманом. В них печатались страстные лирические стихи о революции и о новом обществе будущего, слишком искренние, чтобы не суметь воспламенить юные сердца. Здесь же появились первые переводы ленинских работ и статьи о Ленине. А в библиотечке, издаваемой журналом «Кмен», мы нашли два тома «Картин современной России» — волнующее свидетельство делегата II конгресса Коминтерна писателя Ивана Ольбрахта, выразительно передавшего человеческое обаяние В. И. Ленина.

В этой же библиотечке мы познакомились и с первым чешским изданием «Государства и революции» (1920). Это было одно из лучших, самых прозорливых издательских начинаний поэта Неймана.

Не меньшее значение имел для нас в этом смысле и маленький журнальчик З. Неедлы «Вар» или журнал Общества культурного и экономического сближения с Советской Россией «Новая Россия». Они сделали бесконечно много для того, чтобы мы освободились от иллюзий и не верили полным злобы нападкам на Ленина и его дело.

Книга В. И. Ленина «Государство и революция» сыграла огромную роль в моей жизни и помогла мне принять решения, которые определили все ее дальнейшее направление. Мой путь привел меня к революционным рабочим, а отсюда прямая дорога вела в коммунистическое движение.

Мне очень близка одна мысль, высказанная с большой убедительностью и искренностью Виктором Гюго в предисловии к одному из изданий его «Од и баллад». Он говорит, что из всех путей, ведущих из тьмы к свету, самым трудным был путь роялиста и аристократа по рождению, ставшего демократом. И опыт молодого человека начала XX века говорит о том, что превратиться в коммуниста, будучи либеральным мелкобуржуазным демократом, с головой, затуманенной националистическими предрассудками, можно только в результате трудных и мучительных усилий, большой работы сознания и совести, в результате постоянного стремления освободиться от опьянения «национальной свободой» и отрешиться от иллюзий буржуазной демократии. Необходимо было преодолеть хаос в мыслях, созданный отрывочными знаниями, приобретенными в буржуазной школе, выработать научное мировоззрение, понять историческую роль его величества рабочего класса и навсегда отдать ему свою любовь.

---

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 39, стр. 287—288.

Идеи Ленина сыграли в моей жизни исключительную роль; когда в моменты тяжелых кризисов и переломов, характерных для нашей эпохи, в которой я хочу быть не зрителем, а активным участником, я блуждал и искал ответы на мучившие меня вопросы, я всегда находил их у Ленина. Я находил их, разумеется, и у его учителей — Маркса и Энгельса, на произведения которых в книгах Ленина есть сотни ссылок, привлекательных, как свежий источник, возбуждающий непреодолимое желание утолить великую жажду правды.

Актуальность ленинизма для настоящего и будущего в том, что ленинизм развивает и продолжает учение Маркса. Ленинизм — это не только 50—60 томов книг, не только поразительное идейное наследие, представляющее собой неповторимое выражение ленинского гения. Ленинизм — это более чем пятидесятилетняя история Советского Союза и мирового коммунистического движения, инициатором которого был основоположник III Интернационала — В. И. Ленин. А одним из значительнейших результатов ленинизма является возникновение и существование мировой социалистической системы.

Я помню те годы, когда СССР был единственным социалистическим государством. И когда империалисты покушались на первую родину пролетарской революции, революционные рабочие всех стран удерживали их поднятую для удара руку.

Почему так происходило? Несомненно, потому, что они поняли и усвоили ленинскую мысль, высказанную уже в декабре 1918 года, о том, что «Советская власть — это всемирная власть» и что «мы воюем не только за Советскую Россию,— мы боремся за власть рабочих и трудящихся всего мира»*. Поэтому я полагаю, что знаменитый лозунг: «Руки прочь от России!», выдвинутый компартиями разных стран, сохранил и сегодня свое значение, только в более широком смысле: «Руки прочь от каждого звена социалистической системы». Осуществлять этот лозунг при всех условиях — это прекраснейшее проявление интернациональной солидарности, которая также является ленинским наследием и принципы которой осуществляются со всей серьезностью и ответственностью ленинской страной — Советским Союзом.

Именно Ленин вернул учению Маркса и Энгельса, до неузнаваемости искаженному ревизионизмом, его революционный смысл, или, говоря словами Маркса, примат фразы над содержанием превратил в примат содержания над фразой, а победоносная пролетарская революция в России доказала его жизненность и научную правоту.

Из этого вытекает чрезвычайно актуальное для сегодняшнего дня положение: ленинизм представляет собой высшую ступень развития марксизма, он способен отреагировать на каждый новый исторический факт, он и сегодня является единственным действенным оружием против постоянно «возрождающегося» ревизионизма, угрожающего единству мирового коммунистического движения.

Недавние события на моей родине и затянувшийся кризис, который еще продолжается, являются также одним из доказательств (к сожалению, негативных) правильности ленинизма. Ленин писал в своей работе «Детская болезнь «левизны» в коммунизме», что хотя нельзя упускать из виду «своеобразие», то есть результат закона неравномерности развития капитализма в разных странах,— большевизм является образцом тактики для всех. В свете так называемых чехословацких событий особого внимания заслуживает ленинская мысль о том, что «революционный класс для осуществления своей задачи должен уметь овладеть всеми без малейшего изъятия формами или сторонами общественной деятельности (доделывая после завоевания политической власти, иногда с большим риском и огромной опасностью, то, что он не доделал до этого завоевания)...» ** Трудно даже представить себе все, что делается в борьбе против коммунизма под видом его «обновления», придания ему «более научного» вида. Так, например, марксизм выдается за метод, научные результаты которого действительны только для уже отошедшей в прошлое исторической эпохи, завершившейся последней четвертью XIX века. Если одни «марксологи» ставят молодого, «домарксистского» Маркса выше того Маркса, чья деятельность открывается «Коммунистическим манифестом», то другие, со своей стороны, противопоставляют марксизм ленинизму, как «науку» — «интерпретации», объявляют ленинизм «моделью», пригодной в лучшем случае для «своеобразного» отрезка русской истории до конца первой четверти XX столетия.

Ни для кого не секрет, что после Октябрьской революции Ленина назвали «бланкистом». Сегодняшние потомки приверженцев Каутского часто изображают его чуть ли не предшественником нынешних изобретателей модели «гуманного социализма»! В этих приемах фальшивомонетчиков и шулеров нет ничего нового. Мне вспоминается, что в начале 30-х годов в еженедельнике «Творба», редактируемом Юлиусом Фучиком, была опубликована карикатура, состоявшая из четырех рисунков, на которых изображалась парикмахерская, на первом из них «парикмахер» — экономист, теоретик тогдашней чехословацкой социал-демократической партии проф. Йозеф Мацек усаживал в кресло Карла Маркса, а на последнем он с поклоном отпускал его, остриженного под Т. Г. Масарика.

---

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 37, стр. 377, 378—379.
** Там же, т. 41, стр. 81.

Еще не так давно (меньше года назад) в чешском еженедельнике «Политика» вырванные из контекста ленинские цитаты преподносились читателям как «аргументы» в защиту правого оппортунизма и против... КПСС и интернационалистической политики Советского Союза.

Празднование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина не должно ограничиваться, по моему мнению, рамками одного-единственного юбилейного года. Оно должно стать (и, по-видимому, уже становится) мощным импульсом для развертывания большой теоретической и идейной работы по изучению гениальных творений Ленина и через них — современной социальной действительности, которая снова и снова полностью подтверждает научную правоту ленинизма.

И последнее — этот год должен ознаменоваться во всех странах великим наступлением научного мышления против всевозможных предрассудков, против социального пессимизма, против того хаоса, который преднамеренно насаждает псевдонаука, проникнутая идеями антикоммунизма, порожденными мировым империализмом, античеловеческая сущность которого остается неизменной.

ЛАДИСЛАВ ШТОЛЛ (ЧЕХОСЛОВАКИЯ)

Имя Ленина появилось в печати вместе с сообщениями о революционных событиях в России, значение которых я, тогда ученик средней школы, понял только много лет спустя. Позже, когда мне уже было 22 года, я начал постепенно осознавать их исторический смысл. Решающим был тот момент, когда после смерти Ленина мне в руки попала книга «Государство и революция», переведенная на чешский язык в 1920 г. Заслуга издания книги Ленина принадлежит поэту С. К. Нейману, одному из основателей компартии Чехословакии. Эту книгу я не только прочитал, но и пережил, и это переживание осталось для меня связанным с именем С. К. Неймана, с миром поэзии. Перевод «Государства и революции» имел большое значение не только для политической жизни страны, не только сыграл большую роль в образовании компартии, но и благотворно повлиял на развитие чешской социалистической культуры, литературы и, особенно, поэзии. Это произведение Ленина расширило горизонты наших представлений о будущем человечества, нанесло сильный удар по реформистским и анархистским тенденциям, сплотило самых честных и талантливых творцов чешской культуры вокруг рабочего движения.

Перевод книги Ленина был, несомненно, крупнейшим событием в чешской духовной жизни тех лет. Она помогла мыслящим людям проникнуться духом исторического оптимизма (как говорил Нейман, «оптимизма без предрассудков и иллюзий»). А без подобного оптимизма не может создаваться подлинно великая поэзия. Я рад, что принадлежу к поколению Фучика и Незвала, которое в самом начале своей сознательной гражданской жизни выбрало верный путь, определивший его дальнейшее духовное развитие.

Во время того тяжелого политического кризиса, который мы переживали в 1968—1969 гг. и переживаем еще и теперь, для меня постоянно служила ориентиром ленинская мысль о том, что правда может оказаться в меньшинстве, то есть может стать непопулярной, но от этого не перестанет быть правдой. Ленин никогда не боялся выступать перед тысячами трудящихся и правдиво и убедительно отвечать им на любой вопрос, даже если ответ не вызывал сочувствия большинства. Ленин не шел на поводу у отсталой части масс, не стремился к дешевым овациям. Он говорил, что тот, кто хочет подлинного блага рабочим и крестьянам, тот будет говорить им всю правду и только правду. Ленин ненавидел демагогов, гоняющихся за дешевой популярностью, считал их врагами всего трудового народа.

После того, что мы пережили в прошлые два года, ленинское учение о правде и народе, о пролетарском интернационализме представляется мне наиболее последовательным воплощением идей реального гуманизма, наиболее актуальной частью ленинского наследия.

ЛУИС ЭНРИКЕ ДЭЛАНО (ЧИЛИ)

Интерес к далекой и неведомой родине Ленина пробудился у меня примерно в пятнадцати- шестнадцатилетнем возрасте под влиянием русских книг, которые жадно прочитывались нами без разбору — все, что попадалось под руку: Достоевский и Андреев, Тургенев и Арцыбашев, Толстой, Гарин-Михайловский. Бунин. Естественно, в мыслях была изрядная путаница, а если еще добавить, что в те времена среди нашей учащейся молодежи господствовали идеи анархизма, то можно вообразить, каково было наше представление о свершающихся в России событиях.

Порывшись в памяти, я вспоминаю, что впервые имя Ленина встретилось мне на страницах буржуазной печати. В одном из номеров чилийского журнала «Зигзаг» — это было, вероятно, в середине 1924 года — я прочел статью, посвященную памяти Ленина. С известной объективностью в ней говорилось о характерных чертах личности Ленина — его выдающемся уме, его исключительной энергии, его влиянии на массы.

Тем не менее я не думаю, чтобы именно эта статья оказала на меня особое воздействие. Мои познания о Советском Союзе в те годы были весьма туманными. Буржуазная пресса, как правило, публиковала о первом социалистическом государстве весьма тенденциозную информацию (трудности, лишения, голод). И только когда в мои руки стали попадать чилийские пролетарские газеты, издававшиеся коммунистической партией, я начал узнавать, что такое Октябрьская революция, Советский Союз и Ленин.

Серьезное ознакомление с завоеваниями социалистического строя в России, с биографией Ленина, чтение некоторых его произведений (первыми прочтенными книгами были «Государство и революция» и «Детская болезнь «левизны» в коммунизме») помогли мне лучше понять гений Ленина. Гуманизм, простота в отношениях с людьми, высочайший моральный уровень, выдержка, смелость, вера в рабочий класс, универсальность знаний, постоянное внимание к искусству и литературе — вот черты гениального создателя первого рабоче-крестьянского государства, открывшиеся мне в результате изучения его работ и его деятельности.

Имя Ленина неразрывно связано с именем Маркса. Марксизм-ленинизм представляет собой всеобъемлющую социально-философскую концепцию. Подавляющее большинство коммунистических и рабочих партий мира следуют этой концепции и ленинским методам руководства.

Учение Ленина и поныне сохраняет свою актуальность, возвышаясь над всяческими теориями и новейшими теорийками. И это, несомненно, объясняется тем, что Ленин, анализируя социальные явления своей эпохи, всегда проникал в самую суть их, видел то, чего не могли увидеть многие его современники, и, отбрасывая в сторону все поверхностное и преходящее в этих явлениях, применяя для их анализа метод материалистической диалектики, он мог предвидеть, как будут развиваться события в будущем. В этом — его величие. Уважение прогрессивного человечества к гениальному человеку — Ленину — беспрерывно возрастает. Именно уважение к человеку, а не преклонение перед богом. «Отныне нашим долгом будет — защитить тебя от обожествления»,— писал еще в 1924 году чилийский поэт Висенте Уидобро в своей «Элегии на смерть Ленина». Память о Ленине всегда будет памятью о человеке, показывающем людям путь к освобождению.

О бессмертии Ленина необычайно ярко сказал другой чилийский поэт, Пабло Неруда:

Не спутайте его с инженером хладнокровным,
не спутайте его и с мистиком страстным.
Разум его горел, не оставляя пепла,
а смерти не охладить его пылающее сердце...

МЕША СЕЛИМОВИЧ (ЮГОСЛАВИЯ)

Первая моя встреча с Лениным относится к периоду между двумя мировыми войнами, когда я был еще студентом. Мой старший товарищ, студент, дал мне прочесть на русском языке брошюру Ленина «Карл Маркс», написанную в 1914 году. Этот студент, очень образованный человек, болел туберкулезом, что не мешало полиции непрестанно арестовывать его за революционную деятельность. (Он погиб во время войны.)

Брошюра, изданная, между прочим, без двух важных глав («Социализм» и «Тактика классовой борьбы пролетариата»), запрещенных цензурой, поразила меня тем, что в ней всего на тридцати страницах было не только необыкновенно четко изложено учение Маркса, его суть и формулировки, но и высказано много собственных, ленинских суждений, дополняющих мысли Маркса. Я увидел, насколько совершенно знал Ленин Маркса, насколько был проникнут духом марксизма. Брошюра произвела на меня такое сильное впечатление, что заставила искать другие ленинские сочинения.

В наше время ленинизм, в первую очередь, актуален своей фундаментальной философской разработкой материалистического учения («Материализм и эмпириокритицизм»). Исключительную актуальность имеют также указания Ленина об опасности бюрократизма, который он активно ненавидел, подчеркивая, что «решающим фактором для преодоления и искоренения бюрократизма служит самое широкое

образование и воспитание народа» *. Актуальны и многие другие выдвинутые В. И. Лениным положения. Но мне, как писателю, хотелось бы обратить внимание на актуальность ленинских взглядов на литературу и искусство.

Владимир Ильич без устали говорил о необходимости создания искусства для пролетариата, для народа, но предупреждал (по свидетельству Клары Цеткин): «Для того, чтобы искусство могло приблизиться к народу и народ к искусству, мы должны сначала поднять общий образовательный и культурный уровень» **. Ленин, следовательно, не хотел, чтобы искусство приближалось к неграмотному народу ценой уступок, снижения художественного качества, скидок на неразвитый вкус и т. п., но он требовал от художника, чтобы тот черпал пафос своих произведений в народной жизни, дабы эти произведения могли стать общественно полезными. Такая позиция идеально определяет наилучшую политику в области литературы и искусства. Изолированное, лишенное связи с нуждами и жизнью современников, оторванное от проблематики своей эпохи искусство становится формалистическим, пустым по содержанию, никому не нужным. С другой стороны, снижение художественного уровня до уровня понимания необразованного человека делает искусство упрощенным и приземленным. Лишь совокупность обоих факторов, общественной полезности и высокой художественности, при их взаимодействии могут дать хороший результат.

Художественное творчество не механический процесс, не дагерротип, а процесс созидательный. Это, по словам Ленина, акт, «*включающий в себя*.. возможность *превращения* (и притом незаметного, несознаваемого человеком превращения) абстрактного понятия, идеи в фантазию» ***. Подобным глубоким и тончайшим проникновением в суть «подхода разума человеческого к отдельному явлению» и к его художественному изображению Ленин указывает на активный, творческий характер искусства, отрицая всякую ценность пассивного, созерцательного, механического отношения к действительности. Из этого генерального тезиса, объясняющего феномен искусства, вытекают существенные последствия и прежде всего понятие свободы творчества, необходимости самостоятельности художника. Ленин, размышляя о литературе, четко говорит об этом: «Спору нет, литературное дело всего менее поддается механическому равнению, нивелированию, господству большинства над меньшинством. Спору нет, в этом деле безусловно необходимо обеспечение большего простора личной инициативе, индивидуальным склонностям, простора мысли и фантазии, форме и содержанию» ****. Разумеется, границу этой свободы, в рамках этической и общественной обусловленности и велений времени, лучше всего почувствует сам художник, а самыми строгими судьями его будут читатели.

АЛЕКС ЛА ГУМА (ЮЖНАЯ АФРИКА)

ПОРТРЕТ В ГОСТИНОЙ

Окно глядело на глухой задний дворик, где на веревках сохло белье. Подгнившая калитка в заборе вела в проулок. В заставленной мебелью крошечной гостиной даже летом было прохладно и сумрачно. Кружевные занавески, пропуская свет, создавали причудливые узоры, падавшие на потертую кушетку, или коврик из шкуры лани, или вышитые салфетки на стульях. На бамбуковой этажерке среди вороха викторианских безделушек хранились чучела двух попугаев под стеклянными колпаками. Обстановка и дом принадлежали моей бабке, приютившей нас.

Подобно призраку королевы Виктории, бабушка безраздельно царствовала во всем доме, в том числе и в гостиной. Она старалась казаться строгой, но круглое лицо лучилось добротой. Седеющие волосы были собраны в тугой узел.

На стене гостиной в золоченой рамке висела большая старинная фотография моего деда. Внимательные и строгие глаза с немалым любопытством следили за нами, белые бачки топорщились, густая борода покоилась на высоком валу крахмального воротничка.

Таков был бабушкин муж, я не застал его в живых. По рассказам, в молодости бабушка была красавицей, яванская кровь предков давала себя знать. Она работала служанкой в здании парламента Капской колонии, один известный депутат добивался ее любви, но она отдала предпочтение шотландскому плотнику и родила ему дочь — мою мать.

Мать работала на табачной фабрике, а отец трудился в профсоюзах. Я был мальчишкой, обожавшим оловянных солдатиков и ненавидившим парикмахеров, и

---

* «В. И. Ленин о литературе и искусстве». М., Гослитиздат, 1957, стр. 585.
** Там же, стр. 583.
*** Там же, стр. 31.
**** Там же, стр. 43—44.

почти все время торчал в гостиной, ведя игрушечные баталии под неусыпным оком деда и бабушки. Бабушка, которую все мы называли не иначе как мама, обкармливала меня мороженым с имбирной шипучкой — лакомством, к которому и сама она была неравнодушна.

На стене гостиной висел еще один портрет. Мужчина в простой матерчатой кепке и скромном костюме стоял на мощенной булыжником набережной. За его спиной высились какие-то башни. Одна рука засунута в карман брюк. Казалось, что он пристально вглядывается в будущее. В отличие от деда, у этого человека не было ни высокого воротничка, ни седых бачков. Только бородка клинышком и самая обычная сорочка.

Я еще не знал, кто этот человек, но по тому, как домашние бережно протирали стекло и рамку, чувствовал, что портрет этот висит здесь не случайно.

И вот однажды я спросил у бабушки:

— Кто этот дядя на картинке?

— Твой отец привез эту картинку из России, далекой-далекой страны,— ответила бабушка со своего «тронного» места на кушетке.— Это очень нужный человек. Не пролей шипучку — я только что пол натерла!

— А что такое нужный человек? — помню, спросил я.

— Тот, кто делает добро. У родителей спроси — они тебе лучше объяснят.

Отца я видел редко. Он все время пропадал на каких-то митингах. Я обратился к матери. Она сказала, что Ленин изменил жизнь русского народа, покончил с бедностью и нищетой и что мой отец — ученик Ленина.

— А русские к нам сюда собираются?

— Нет,— ответила мама,— но отец и другие люди, которые учатся у Ленина, укажут простому люду нашей страны путь к счастливому будущему.

— И тогда у всех детей будет вдосталь мороженого с шипучкой!

— Правильно! — подтвердила мама.

И пока мы жили в этом доме, перед нами всегда стоял человек в скромном костюме и матерчатой кепке, взгляд которого был устремлен в будущее. Отец вел свои нескончаемые битвы, руководил бастующими, выступал на митингах. Помню, я видел его под красным знаменем с серпом и молотом. Потом его посадили в тюрьму. Когда срок кончился, мы пришли встречать отца к воротам тюрьмы, и я его не узнал — так изменила лицо борода. Только побрившись, отец вновь стал самим собой. Все время в доме говорили и спорили об учении Ленина. Казалось непостижимым, удивительным, что идеи человека с портрета на стене могут вызывать такие споры здесь, на другом конце света.

Я вырос, закончил школу, а портрет все висел на прежнем месте. Пришло и мне время ходить на митинги, участвовать в маршах и демонстрациях. Я купил кожаную куртку и матерчатую кепку, мне нравилось романтическое слово «революционер». Я вступил в комсомол, и отец подробно растолковал мне, какая это честь и ответственность — быть коммунистом. Комсомольцы изучали труды Ленина и спорили с юношеским задором. Мы раздавали листовки и брошюры жадным до знаний обитателям трущоб. Мы не только постигали ленинские идеи, но уже и проповедовали их. Наверно, я был неплохим комсомольцем, потому что вскоре меня приняли в коммунистическую партию.

Когда к власти в нашей стране пришло националистическое правительство, компартия была объявлена вне закона. Многие мои сверстники исчезли тогда с политической арены. Остались самые стойкие. Полиция травила коммунистов, врывалась в дома, уводила на допросы. Мы прятали книги и листовки на чердаках, в подвалах, зарывали в саду. Но портрет Ленина все висел на стене в гостиной.

Когда я женился, среди свадебных подарков, полученных от отца, был и этот портрет. Я повесил его в нашем новом доме. Не раз меня и мою жену бросали в тюрьму, но портрет оставался на прежнем месте. Думаю, что полицейские по невежеству и глупости не узнавали изображенного на нем человека.

Наши маленькие сыновья часто смотрели на портрет и называли человека «дядя Ленин», как и я сам в детстве.

Когда нас принудили покинуть родную землю, мы смогли увезти в изгнание лишь самое необходимое. Портрет был упакован в ящик с книгами, одеждой и домашней утварью.

Теперь мы живем в Лондоне, вдали от родины. Портрет Ленина, который подарили отцу в Москве в 1927 году, снова висит на стене в гостиной. Тот же портрет, в той же рамке, тот же человек в скромном костюме и матерчатой кепке, пристально вглядывающийся в будущее.

Недавно мой девятилетний сын, сидя в кресле, задумчиво и долго смотрел на портрет, а потом сказал лукавым, звонким голосом:

— В школе нам задали приготовить выступление на вольную тему. Скоро моя очередь.

— Какую же тему ты выбрал? — спросила жена.

— Я буду говорить о Ленине,— ответил сын.

ХИРОСИ НОМА (ЯПОНИЯ)

Впервые я услышал имя Ленина, когда еще учился в средней школе. Мне назвал его один из товарищей моего старшего брата, юноша лет двадцати, работавший токарем в мастерской в нашем городке Нисиномия. Говоря о Ленине, он рассказывал о великой русской революции, совершенной рабочим классом под руководством Ленина, рассказывал о Советской России.

Я любил слушать его рассказы. В то время он уже принимал участие в рабочем движении в районе, лежащем между Осакой и Кобэ, несколько раз сидел в тюрьме. Он находился под надзором полиции, и это делало его в моих глазах необыкновенно привлекательным. Сейчас он уже пожилой человек, ему за шестьдесят, а во время войны он был одним из первых, кто способствовал развитию движения народного фронта, и теперь, несмотря на преклонный возраст, он один из активных участников революционного, антивоенного движения.

Ленина я начал читать, еще когда учился в старших классах средней школы и готовился к поступлению в университет. Я изучал его работы, посвященные вопросам экономики и политики, как, например, «Развитие капитализма в России», «Государство и революция»; я прочел «Письма к Горькому», «Лев Толстой как зеркало русской революции». Благодаря этим произведениям я смог впервые понять объективную связь между революцией и литературой.

Письма Ленина к Горькому ясно показали мне, как ценил великий революционер великого революционного писателя, с какой бесконечной мягкостью привлекал его на свою сторону, как бережно обращался с ним, как поддерживал его в минуты, когда это было особенно нужно легко ранимому сердцу писателя, как поощрял его создавать новые произведения. И когда мне бывало особенно тяжело, когда я испытывал состояние, близкое к отчаянию, я доставал письма Ленина к Горькому и вновь перечитывал их.

«Лев Толстой как зеркало русской революции» — именно та работа, которая помогла социалистам и марксистам проникнуть в суть творений Толстого, по-новому, конкретно показала, как должен марксист рассматривать творчество художника и художественные произведения. Читая эти работы, я испытывал истинную близость к Ленину.

Ленин прекрасно понимал всю сложность современного мира и доказал важность и необходимость его изменения.

Сейчас в Японии с новой силой идет борьба за отмену «Договора безопасности» в 1970 году, в нее включились все: рабочие, крестьяне, студенты, служащие, интеллигенция, домохозяйки,— и тезисы Ленина об империализме представляют собой мощную теоретическую поддержку в этой борьбе. Я с особой остротой чувствую, что для уничтожения империализма и порожденных им колониализма и неоколониализма необходимо вооружиться работами Ленина о национальном суверенитете и независимости. Я всей душой ощущаю необходимость интернационализма, к которому призывал Ленин.

(Окончание следует)

ПУБЛИЦИСТИКА

МИРОСЛАВ КРЛЕЖА

«ЛЕНИНИАНА»

Мирослав Крлежа (род. в 1893) — один из виднейших писателей Югославии, хорват по рождению. Творчество его справедливо считается достоянием всех югославских народов. Произведения Крлежи переведены на многие европейские языки. Диапазон его творчества необычайно широк — он известен как романист и новеллист, он заложил основы современной югославской драмы, он — один из крупнейших югославских поэтов XX века. Особое место в его творчестве занимает публицистика, в том числе публицистика политическая. Мирослав Крлежа пришел в югославскую литературу сразу после первой мировой войны. Служба в австро-венгерской армии, отвратительные картины мировой бойни разрушили либеральные иллюзии юноши, выросшего в зажиточной интеллигентной семье, пробудили в нем интерес к освободительному движению масс, охватившему в те годы Восточную Европу. Огромное впечатление произвела на Крлежу весть о Великой Октябрьской социалистической революции. Русская революция стала для него, как и для целого поколения прогрессивной европейской интеллигенции, событием, определившим его дальнейший жизненный путь, его творческую судьбу.

В 1919 году совместно с писателем-коммунистом, активным деятелем Третьего Интернационала Августом Цесарцем Крлежа предпринял в Загребе издание литературно-публицистического журнала «Пламен», пропагандировавшего идеи социалистической революции. Журнал был вскоре запрещен властями Королевства сербов, хорватов и словенцев, возникшего на развалинах югославской части Австро-Венгерской монархии. С 1923 по 1927 год Крлежа и Цесарец совместно издают и редактируют журнал «Книжевна република», продолжающий линию «Пламена». Позже Мирослав Крлежа организует еще целый ряд журналов того же направления. Все это время он не прекращает напряженной творческой работы. В 1925 году Крлежа осуществляет свою давнишнюю мечту — минуя многочисленные кордоны, он приезжает в Советскую Россию. Итогом этого путешествия были его очерки «Поездка в Россию», опубликованные главным образом в журнале «Книжевна република». Крлежа был одним из немногих югославов, побывавших в те годы в Советской России, и очерки его, позже изданные отдельной книгой, до сих пор сохраняют ценность живого человеческого документа.

Русская революция и личность Владимира Ильича Ленина — эти две темы пронизывают все публицистическое творчество Крлежи вплоть до наших дней. К пятидесятой годовщине Октября выходящий в Загребе журнал «Форум» — орган Отделения современной литературы Югославской Академии наук и искусств — поместил «Лениниану» Мирослава Крлежи — своеобразный монтаж отрывков из публицистики Крлежи разных лет, составленный при участии автора. Мы публикуем этот монтаж с сокращениями, сохраняя последовательность оригинала. «Лениниана» Мирослава Крлежи, начатая в 1917 году и далеко еще не законченная,— искренняя, эмоциональная исповедь художника, символ веры целого поколения югославских коммунистов. Это также и рассказ о том, как восприняла русскую революцию, Ленина и ленинизм прогрессивная югославская (да и не только югославская) интеллигенция, вступившая в сознательную жизнь под грохот залпов Октября. Для нее революция была в первую очередь событием, принесшим мир народам, и Ленин был прежде всего миротворцем, олицетворением высшей справедливости. Для Крлежи Октябрьская революция — явление всемирного, космического масштаба и в то же время — глубоко национальное, русское, а Ленин —

воплощение интеллекта и этики Революции — величайшего события нашего времени,— и потому Революция и Ленин — одна из вечных тем искусства.

Публицистика Мирослава Крлежи, сочетающая пристальное внимание к фактам и высокую патетическую взволнованность, по достоинству входит во всемирную Ленинниану.

Н. ВАГАПОВА

МЕЖЗВЕЗДНАЯ КАНОНАДА

Залпы и картечь звучат сегодня по-ленински. «Аврора»! Это уже канонада межзвездная, а не только интернациональная, это канонада двадцать первого столетия. Ленин — не из тех сеятелей, которые рассчитывают на каравай из урожая нынешнего лета. Он сознает, что пройдет несколько сезонов, прежде чем начнут печь хлеб из посеянных им зерен.

(1917)

УВЕРТЮРА

У кого не хватает (или не хватило) слуха, чтобы распознать в выстреле «Авроры» увертюру нового драматического цикла истории, зазвучавшую после того, как опустился занавес над целой цивилизацией, тот глух к подлинно европейским и подлинно гуманистическим литературным мотивам современности.

(1954)

ЗА САНИТАРНЫМИ КОРДОНАМИ

На вокзалах — белые польские орлы на плитах — амарантовые, темно-красные тона, звон кавалерийских шпор, шинели, сапоги, жандармы, таможенники, границы, международное политическое положение в виде временных деревянных будок для часовых, ощущение войны — едешь словно через военные лагеря без конца и края. Солдатские котлы, пломбированные вагоны, усиленная пулеметами пехота, орудия, лошади, орудия — человек, едущий с Балкан в Москву, преодолевает препятствия, как лошадь на скачках. Балканские препятствия, австрийский христианско-социалистический карантин, барьер Масарика, веймарский контроль Эберта — Носке — Стиннеса, контроль польский с белыми двуглавыми орлами и уланскими флажками, восточно-прусский и литовский и, наконец, латвийский. Восемью рядами колючей проволоки отгородила Лига наций Балканы от России, а если вы не верите в блокаду Русской революции, извольте-ка пуститься в путь до Москвы, этого очага «большевистской заразы», огороженного восемью европейскими карантинами. Вы будете иметь честь лично убедиться в том, как восемь раз открываются чемоданы и задерживаются все сомнительные лица, мысли, книги, газеты и туалетная бумага — а то вдруг какому-нибудь безумцу взбредет в голову провезти в Совдепию через западноевропейский санитарный кордон совершенно неизвестные находящимся по ту сторону сведения о том, что народы на Немане, на Висле или на берегах Балтики живут отнюдь не в мире и согласии.

(1925)

БРЕСТ-ЛИТОВСК

Встреча двух миров

Солнце всходит над прогнившими, заплесневелыми бараками окруженного колючей проволокой военного лагеря. Две умирающие империи встречаются в Бресте с миром, рождающимся подобно кровавому рассвету. Европа феодальная, автократическая, олигархическая, страдающая манией цезаризма, империалистическая Европа встретилась здесь с толпой «примитивных и неграмотных мужиков», с «победоносной бандой санкюлотов», со своим историческим отрицанием, и оно явилось — как отрицание отрицания — в форме логичной и неизбежной победы возвышенного политического разума над любой формой средневекового мышления.

(1919)

Аргументы Ленина

Логические аргументы в пользу подписания Брестского мира, которыми Ленин в «Правде» в феврале 1918 года защищал свои тезисы, были доступны тогда лишь действительно интернационалистски настроенным людям, способным

понять прежде всего международное историческое значение Октябрьской революции, а таких в наших условиях было немного.

(1961)

Смятение

Защищать Брестский мир в качестве единственно возможного реального решения означало скомпрометировать себя в глазах относительно небольшого, но довольно крикливого круга политических болтунов, уверенных в том, что осуществление церемонии народного освобождения и самоопределения не более чем вопрос времени, достаточного, чтобы рассказать еще несколько салонных анекдотов.

Утверждения же о том, что подписание драматического мира есть, в сущности, суровая и грубая историческая необходимость, насилие, во всяком случае, необходимость более сильная, чем личная воля отдельных большевиков или большевизма как движения и явления,— такие утверждения вызывали негодование, прямо-таки ужас «архипередовой» части нашего общества.

Наивные политические филистеры, настроенные «юго-роялистски», по духу своему — искренние поклонники первой программы временного русского правительства князя Львова (исчезнувшего в водовороте революции уже в июне 1917 г.), программы, которая все еще реяла над их головами как идеальное воплощение некой Всеславянской Великой Силы, все наши «русофилы» болезненно реагировали на приводимые нами русские, социалистические и особенно большевистские аргументы. Подписание перемирия в Бресте считалось циничной сдачей оружия вековечному врагу, а солидарность с этим решением, «практически означавшим спасение Австрии в последний момент», представлялась нашей мещанской элите — которая после роспуска русской учредиловки загорелась огнем страстной непримиримости к большевистской диктатуре — общественной и политической компрометацией.

Смятение умов в нашем отечестве не было локальным исключением — об этом говорило и голосование во ВЦИКе, где произошел драматический раскол в рядах большевиков. Из 220 присутствовавших 112 голосовали за предложение Ленина о безотлагательном подписании мира. 84 человека голосовали против, 24 — воздержались, так что если предположить, что воздержавшиеся выражали отрицательное отношение — а так оно, очевидно, и было на самом деле,— то предложение Ленина прошло большинством всего лишь в четыре голоса *.

(1961)

«Измена принципам социализма»

Ленинцев, бывших в начале мировой войны 1914 года проповедниками всеобщего мира на земле, считали беспочвенными мечтателями, какими их считают и сейчас. «Инженеры смерти» Джека Лондона, отправившие на тот свет более двенадцати миллионов человек, считали социалистов — проповедников всеобщего мира — безумцами, как считали в свое время безумцами якобинцев, социалистов сорок восьмого и парижских коммунаров. По закону духовной косности та же картина разыгрывается на наших глазах и сегодня, когда подлинные преступники убивают миротворцев, объявляя их интеллектуальными зачинщиками катастрофы 1914—1918 гг. Истории, однако, захотелось исполнить новую вариацию на известную тему, и, к величайшему удивлению всех западных социалистических пророков, случилось так, что на этот раз победил политический разум. От имени социализма на международной арене выступили государственные деятели, у которых хватило отваги подписать мир в Брест-Литовске в тот момент, когда вся «демократия» мира вопила, что этот мирный договор является изменой принципам социализма.

(1919)

Смысл

Сейчас, год спустя после Бреста, над прахом этой мирной конференции мы задаем себе вопрос: что было целью подписанного там «мира» и какой кровью за него заплачено? Смысл Брест-Литовска не фраза сорок восьмого года о братстве всех людей, не рифмы Беранже, которые Петефи назвал божественными,— ведь в Европе еще сорок лет после этого звенели цепи Меттерниха. Историческая правда Брестского мира, заключенного между Революцией и агонизирующими

* Заседание ВЦИКа, посвященное вопросу заключения мира с Германией, состоялось 24 февраля 1918 г. Против подписания мира выступили представители меньшевиков, правых и левых эсеров и анархистов. 116 голосами против 85, при 26 воздержавшихся, заседание утвердило предложенную большевиками резолюцию о принятии немецких условий мира. Большинство «левых коммунистов» не приняло участия в голосовании, покинув на это время зал заседаний. (См. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 33, стр. 490.)

империями, была непреклонной и жестокой. Не было ничего патетического в свидании Габсбургов с большевиками, и все же весь земной шар обратил тогда свои взгляды к Новой Исторической Дате. В Бресте ненастной весной Земля совершила поворот вокруг своей оси вопреки всем и всему. Пусть все так называемые «Великие люди» нашей эпохи — президенты республик, императоры и короли, все масарики и все врангели земного шара вопят, что хотят и как хотят. В Бресте Земля совершила поворот вокруг своей оси, и сегодня она уже не та, что была до вчерашнего дня.

(1919)

ЛЕНИН ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ

Маяк

Ленин — это человек, который наблюдал гибель западноевропейской цивилизации в 1914 году как бы из тридцатого века. Из этой утопической дали он смог яснее оценить события, происшедшие между русско-японской войной, первой русской революцией и крахом западноевропейского социализма. И только этим можно объяснить, что он так яростно атаковал теоретический, абстрактный реформизм и что его атака казалась тогда маниакальной и чудовищной.

Это видение из будущего давало ему силу не сгибаться в тяжкие, критические дни шестнадцатого и семнадцатого годов, когда в своей одинокой комнатке в Цюрихе, на Шпигельгассе, 12 он предсказывал ход событий, в возможность которых никто тогда не верил. Из этой своей комнатки на третьем этаже, снимаемой у сапожника Каммерера, он вышел в свой славный и победоносный поход от Петрограда до Москвы и Владивостока, чтобы внушить массам рабов от Гонконга до Панамы, от Мадагаскара до Марокко новые надежды и заложить посреди широкой русской земли первый крепкий фундамент Космополиса.

И когда Человечество перестанет быть гниющей рваной раной, какую оно являет собой сейчас, когда Советская Республика не будет единственным кораблем, плывущим к Космополису, когда в том же направлении поплывут целые флотилии народов и классов, Владимир Ильич будет приветствовать корабли у входа в гавань подобно гигантскому маяку,— это будет памятник человеку, который первым высадился на другой берег.

(1924)

Знаменосец

Владимир Ильич Ленин в европейской драме появился как фигура Фортинбраса или Ричмонда в драмах Шекспира, и у кого недостает воображения представить себе его на кровавом фоне европейской бойни как героическую фигуру знаменосца-мстителя, тот зря прожил свое время и никогда не поймет нашу эпоху. Кому не хватает фантазии, чтобы увидеть в Ленине символ возмездия, тому не понять, в чем именно заключается смысл европейской драмы — если эта драма вообще имеет смысл.

(1924)

Свет маяка

В мрачной грозовой европейской ночи, в сгущающихся сумерках морали и разума, среди крушения всех интеллектуальных ценностей Ленин вспыхнул сияющим светом маяка, и бесконечное число тонущих на корабле европейской цивилизации стало плыть по направлению к нему, кто как мог и умел.

(1952)

Надежда рабов

Миллионы безымянных рабов и страдальцев, начиная с европейского цивилизованного рабочего (рабство которого называется продажей рабочей силы) и кончая негром в колониях, находящимся и по сей день в рабстве без этой научной формулировки, миллионы простых и невежественных людей почувствовали инстинктом избиваемого в упряжке животного, что протянулась рука, чтобы сокрушить тысячелетнее ярмо, и от негритянских хижин в Конго до ликерной фабрики Арка на Влашской улице * поплыл шепот, исполненный упования и надежды.

(1924)

Идеолог

Неоспоримая заслуга Ленина как марксистского идеолога заключается в том, что он, благодаря прирожденной мощи своего таланта, предотвратил вырождение

* Улица в Загребе.

русской марксистской формулы в формулу западноевропейского реформизма. И как фаза капитализма до мировой катастрофы 1914 года носит в истории имя Маркса, так сейчас уже ясно, что исторический период с года тысяча девятьсот четырнадцатого будет носить имя Ленина.

(1924)

Перед лицом истории

Интеллектуальный работник и идеолог, Ленин не зарыл в землю свой талант ученого. Перед лицом истории он стоит рядом с многочисленными томами своих сочинений. Гениальный борец и созидатель, Ленин со спокойной совестью мог бы сказать, что после Архимеда он первый решился нарушить вселенскую косность земного шара.

(1924)

Голос Ленина в 1917 году

Черное в черном и мрачное в мрачном — безнадежно крутился водоворот бурных и опасных событий, но вот зажегся ленинский магический маяк, и голос Ленина провозгласил смелую историческую концепцию, он напоминал своему веку о том, что пришел конец философским разглагольствованиям Европы: русские приступили к осуществлению социализма.

(1947)

Мавзолей

Мавзолей Ленина сегодня — центр Москвы. Перед Мавзолеем каждый день собираются паломники поклониться усопшему. Рядом с сибирским старателем и охотником стоит желтокожий китайский кули, рядом с мужиком из Тульской губернии — астматический голландский буржуа или крестьянин из Вестфалии. Все они мокнут под дождем и стынут на ветру, дожидаясь своей очереди войти и поклониться тени человека, который верил в победу человеческого разума.

...На глубине четырех метров под землей, где по красному ковру неслышно идут вереницы людей, происходит чудо. Этот человек продолжает агитировать за дело своей партии — издалека, с другого, незнакомого берега... Он ушел от нас и превратился в тень, но эта тень назло богам живет и говорит о том, что только единство пролетариата может спасти мир от новых катастроф.

(1926)

В свете ленинской логики

Ленин в 1917 году в одно мгновение — ad acta — сдал в архив всю европейскую политику и культурную проблематику, и в свете его логики все наше собственное ничтожное социал-демократическое и либеральное провинциальное политиканство представилось нам смешным и беспредметным и, надо сказать, как это ни грубо,— глупым!

(1951)

Под ударами темных сил

Все темные силы этого мира, все банки, все биржи, все капиталы, все тресты, все короны, все тиары и все картели, все это мобилизовалось и все двинуло против имени Ленина печать и пушки, танки и ротаторные машины, изведя целые водопады чернил, чтобы облить его грязью и ненавистью. Они подняли всех продажных писак, воскресили самые бесславные традиции, и не было такой авантюры, такого позорного преступления, начиная от убийства и поджога и кончая варварским кровопролитием, с помощью которых не попытались бы замарать и уничтожить имя Ленина. И вот сегодня, после шести лет этой бесславной и кровавой возни, имя Ленина встает над Европой как солнечный диск, еще багровый и мутный от предрассветной тьмы, но неумолимо поднимающийся ввысь и светлеющий с каждым мгновением.

(1924)

От Эскуриала до пирамид

Один путешественник, вернувшийся недавно из Испании, записал, что в Эскуриале, в гробнице испанских королей, где под монументальными бронзовыми плитами покоятся испанские властители и инфанты от Карла Пятого до дона Хуана Наваррского, он увидел над одной из усыпальниц написанное мелом имя Ленина. ¡Viva el Lenin! Имя Ленина над гробницей испанских королей в Эскуриале ясно говорит то же, что мы можем прочесть и на стенах церквей нашего города. Его

вырезают на камнях египетских пирамид и на коре деревьев в индийских джунглях; это значит, что имя Ленина стало легендой,— оно переживет все те силы, которые хотели стереть и уничтожить его.

(1924)

Не воспетый поэтами

...Тридцать три года прошло с момента извержения ленинского вулкана, но до сих пор еще не появился поэт, о котором мы могли бы сказать, что это поэт ленинской эпохи. Ленина, который, говоря словами Маяковского, шел в бой «за всех товарищей людей на всей планете», за всех товарищей людей, которые умирают от голода, от нищеты, от войн, Ленина, который ненавидел «сладкоречивых баптистов-скопцов», Ленина, который ненавидел кровавые колокола от Ватикана до Киева, такого Ленина, чья прямота в дни тяжелейшей европейской депрессии в мире Пуанкаре, Клемансо, Ллойд Джорджа представляла для них интеллектуальную гильотину, Ленина как символа антивоенной, антиимпериалистической политики, Ленина, который был не только сигнальной ракетой тревоги, но и первым политическим воплощением социализма,— такого Ленина до сих пор поэтически не дал никто.

(1950)

Смерть

Именно потому, что мы уже года два почти каждый день слышали, что он умирает, а банкирские и гангстерские международные телеграфные агентства по крайней мере раз пятьдесят злобно сообщали нам, что он уже умер, потому, что мы видели его на фотографии больным, изможденным и усталым, весть о его смерти не была для нас неожиданной. Смерть Ленина не разразилась грохотом взорванной каменоломни, весть о ней прозвучала приглушенно, словно лопнула скрипичная струна.

(1924)

Политическая формула

После осады Парижа, после гибели Коммуны 1871 года, в обстановке катастрофы западноевропейской цивилизации в 1914 году, во время крушения всего, что обозначало в Европе прогресс, не было политической формулы более мудрой, чем ленинская.

(1920)

Политический рычаг

Ленинизм — это политический рычаг Архимеда, достаточно крепкий, чтобы с его помощью поднять земной шар с уровня легитимистской, финансово-капиталистической Европы до высоты светлой цивилизации, которая своими масштабами соответствовала бы императиву эпохи технической революции. Ленинизм — это марксизм, но между ленинским марксизмом и западноевропейскими марксистами огромная разница.

После Маркса и Энгельса прошло шестьдесят лет — шестьдесят лет марксизма. За это время было несколько миллионов марксистов и один-единственный Ленин, который дополнил эту теорию ленинской силой.

(1926)

Отрицание филистерства

Ленинизм — принципиальное отрицание мелкобуржуазного филистерства, идет ли речь о его социал-демократических оттенках (Масарик, Каутский) или о его непоследовательной фразеологии в области политики и культуры.

(1926)

Непоколебимая позиция

Во всех запутанных вопросах, связанных с многочисленными финансовыми кризисами империалистической политики, позиция ленинизма была столь же твердо определенной и логичной, как жестока и неумолима была позиция захватчиков и эксплуататоров: око за око, зуб за зуб!

(1926)

Символ мира

Когда с кронштадтской антенны полетел первый ленинский радиосигнал «Всем, всем, всем!», в окопах от Ипра до Вердена, от Македонии до Риги роди-

лось предчувствие, полное светлых надежд. Ленинизм прозвучал для воюющих масс всех стран как символ мира, и в этом была его сила и таинство его магии. Люди вылезли из окопов, перерезали колючую проволоку, отбросили оружие, они пожимали друг другу руки, братски обнимались и плакали вместе; на всем фронте от Балтики до Карпат вместо орудий и пулеметов зазвенели балалайки, солдаты угощались вином и пели. В этот момент сбылись слова Сократа: пушечное мясо, мобилизованные «ослы» и в самом деле сделались сократовцами и, разогнав своих погонщиков-генералов, с песнями ринулись по домам. Мир без аннексий и контрибуций, земля крестьянам, заводы рабочим — таковы были ленинские лозунги, и я думаю, что в Европе не было ни одного воюющего человека (умеющего мыслить и, согласно законам мышления, делать какие-то логические выводы), который не ощутил бы впечатляющей истинности ленинских тезисов.

(1926)

Смертельная война против ленинизма в 1920 году

По всей Европе сегодня вешают и расстреливают ленинцев. Дунай несет человеческие трупы, их не было столько и во времена турецких зверств, а в политических концентрационных лагерях от Рейна до Эльбы, от Альп до Карпат льются потоки крови коммунистов.

Высокоцивилизованный западноевропейский мир, уничтожив за четыре года войны более десятка миллионов человек, считает Ленина чудовищем и вампиром только потому, что этот человек вступил в позорную европейскую историю с белым флагом в руке. Символ кровожадности в глазах поджигателей войны — человек, который проповедует международный мир без аннексий и контрибуций...

(1920)

Тезисы

Ленинизм явился блестящим подтверждением положения, что войны — явление, сопутствующее капиталистической хозяйственной системе, что двадцатый век характеризуется вступлением Азии в историю и все более быстрым развитием социальной революции, которая одержит победу сначала в одной группе стран, а затем постепенно победит везде и осуществит высший уровень производства в международном масштабе.

(1926)

ОКТЯВРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Начало новой эры в межконтинентальных масштабах

Мы говорили нашим господам епископам, нашим поэтам, нашим политикам, нашей буржуазной интеллигенции, что русская ленинская революция — начало новой эры в международном, европейском, а особенно дунайском и балканском, масштабе. Мы говорили им, что мы, как народ, в данном конкретном случае — хорватский народ, должны безусловно определить свою позицию по отношению к этому событию. Мы говорили им годами, чтобы они поняли, увидели, осознали, что сила ленинского магнита воздействует на континенты и что мы должны сориентироваться в ленинском магнитном поле как национальная хорватская частица. Не только потому, что это закон магнетизма революции, но и потому, что это в наших интересах — адриатических, придунайских и балканских.

(1947)

Через тридцать лет

Тридцать лет увлекает нас лава неудержимого вулканического извержения. Этот тридцатилетний процесс до такой степени изменил наши жизненные условия, наши воззрения, морально-политические взгляды, принципы и убеждения, что должны измениться и литературные образы и картины, отражающие их.

(1945)

Гарант мира

Смысл русской ленинской революции в том, что она является единственным гарантом того, что европейская цивилизация не погибнет в бесперспективной цепи военных столкновений, которые, наконец, неминуемо уничтожили бы эту цивилизацию.

(1951)

Свет во мраке веков

Отзвуки грозы над Москвой замирали над серыми водами Балтики, клубы дыма русского пожара через галицийские болота доползли и до наших гор и ущелий, и народ почувствовал запах гари. Было ясно, что где-то далеко пылают старые камеры общественной тюрьмы, клетки исторического зверинца, где веками кормили зверей человеческим мясом.

В России вспыхнуло именно то, что должно было вспыхнуть, и этот русский огонь в глазах нашего народа не был зловещим, опасным и губительным «всепожирающим огнем», этот пожар не был злодейством поджигателей — нет, наш народ инстинктивно воспринял его как то, чем он и был на самом деле: как свет во мраке веков.

(1947)

Сопротивление старого

Если мерить международными масштабами, то русские события получают высший смысл и мотивировку. Становятся ясными дальновидные концепции и очертания предстоящей огромной борьбы. Царские чиновники, лакеи, лавочники, генеральские вдовы, гнилая чеховская мещанская интеллигенция не понимают этих событий, вздыхают и сокрушенно ворчат. Русский чиновник, который в царское время носил полковничьи или генеральские эполеты, сегодня ожесточен; ему пришлось натянуть потрепанное штатское пальто. Кожа у него на лице морщинистая, как у мумии, взгляд прокурорский, серый, пронизывающий. Ему присущи закоренелый бюрократизм, врожденная злоба, невероятная тупость, за которой скрываются неискоренимые следы традиционного воспитания ложью и лицемерием, он напичкан передовицами «Нового времени», заученными фразами о народе, боге и царе. Такие чиновники работают и в условиях нового строя, но молча ненавидят все окружающее. Для них все, что происходит вокруг,— бунт, беспорядки, пугачевщина, хаос, насилие, преступление, и они терзаются бессильной ненавистью, дрожат перед ЧК и умирают с проклятием на устах, побежденные, никому не нужные.

(1925)

Социализм становится практикой

Русская революция имеет неоценимое практическое значение. От бесконечных теоретических дебатов в рамках Первого и Второго Интернационалов, от первомайских филистерских декламаций и фракционных споров в политических синагогах, где говорят и пишут о ревизионизме или о концентрации капитала и о монополиях как предпосылках создания социализма, о все растущем повышении жизненного уровня американского и западноевропейского пролетариата и об укреплении филистерского классового сознания как непосредственном результате этого процветания, об экспроприации эксплуататоров демократическим и парламентарным путем,— как далеко еще от всего этого до организованной государственной власти, завоеванной силой оружия. Краснобайству об относительности процветания, о периодичности кризисов и о возможностях эволюционного развития, этому нагромождению слов о демократизации масс пролетариата и о свободе человека СССР сегодня противопоставляет свои положительные результаты. Это весьма трудно оспоримое доказательство того, что все, что произошло и происходит в России, это уже не попытка, а факт и что социализм из теории перешел в практику. Из книги, из тезиса, из резолюции выросла государственная организация со своей милицией, судами и позитивными законами. Из парламентской речи, из общеобразовательных вечерних курсов, из газетной передовицы или полемики с банкирской прессой возникла действительность звонкой монеты, артиллерии, броненосцев, современной авиации и международных дипломатических отношений.

(1926)

Eppure si muove

«И все-таки она вертится» — эта детская и наивная фраза в давние мрачные времена чуть было не стоила головы Галилею. Тогда, как и сейчас, за каждую, даже самую невинную, победу разума платили кровью. А все-таки над растоптанными человеческими муравейниками, среди развалин, вопреки призрачно-победоносному и преходящему триумфу варварства, над Европой и над всеми пятью континентами раздается и сегодня звук Октябрьской Трубы, возвещающей, что не все еще наши надежды развеяны. Ибо впервые в истории политический разум вооружен пушками.

(1961)

В капиталистическом окружении

Подобно тому, как капитализм свергал докапиталистические общественные формы часто очень сложными, а иногда и косвенными методами (примеров достаточно — с 1789 до 1918), первое здание социализма в комплексе окружающих его капиталистических систем и механизмов строится, преодолевая огромное количество препятствий, в условиях значительных противоречий; если взглянуть диалектически, то это совершенно естественное явление, обусловленное действительными экономическими и морально-политическими обстоятельствами.

(1927)

Маркс и Ленин

Маркс сформулировал свои классические тезисы о том, что безусловно необходимо, чтобы пролетариат сделался политическим субъектом на нашей кровавой политической арене. А Ленин для этого политического субъективного сознания пролетариата создал первую настоящую, земную, материальную базу в форме государственной власти.

(1952)

ТРЕТИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Интернационал заседает, как римский сенат. С трибуны Андреевского зала люди обращаются ко всей земле, и слова их слетают с антенн волнами, что летят над всем земным шаром, как сигналы маяка.

Они договариваются о том, чтобы, подобно Архимеду, поднять земной шар, освободиться, зажить по-человечески, осуществить, наконец, то, что надо было осуществить уже давно на заре цивилизации,— чтобы человек был равен человеку... Много еще сомнений и темноты в сознании, потому что такие богохульные мысли противоречат всяческим заклинаниям, а отрыв от шаманства, от боярского и купеческого золота и крови — процесс столь огромный, что скорость его движения, измеренная мерой времени одного человеческого поколения,— это скорость движения улитки... Все ораторы на трибуне начинают и кончают свои речи и положения цитатами из Ленина. Dixit Lenin discipulus suis. *

(1925)

Перевод с хорватско-сербского Н. ЛЕБЕДЕВОЙ

---

* Ленин сказал своим ученикам *(лат.)*.

Наши публикации

ЛУИС ТЕХАДА

ПЫЛАЮЩЕЕ СЛОВО

Осень 1923 года. В далекую Колумбию пришла весть о тяжелой болезни Ленина. И тогда в столичной газете «Эспектадор» появилась «Молитва о выздоровлении Ленина»: «...Он преобразовывает жизнь, делает ее благороднее, гуманнее... Он знает, что солнце и радость на земле — для всех, и каждому бедняку он дает частицу солнца и счастья. Мужик стал человеком, и человеком стал угнетенный пролетарий города...» — взволнованно писал молодой колумбийский литератор Луис Техада.

Луиса Техаду, одного из первых пропагандистов идей марксизма в Колумбии, впервые рассказавшего своему народу о России и Ленине, помнят и поныне колумбийские коммунисты. Они передали советским писателям, побывавшим в Колумбии, статью Техады, посвященную памяти Ленина.

Мы публикуем эту статью, написанную в 1924 году после кончины Владимира Ильича и незадолго до смерти ее двадцатишестилетнего автора. Слово Техады — волнующий человеческий документ, проникнутый большими неподдельными чувствами — восхищением, любовью, верностью.

Сегодня утром я вновь взглянул на портрет — он стоит среди книг в центре моей маленькой библиотеки коммунистической литературы,— и это светлое, доброе и суровое лицо, отмеченное печатью глубокой мысли, озаренное скрытым огнем, вызвало у меня чувство радостного волнения.

А потом я снова долго думал о том, что сделал Ленин для меня, обо всем, чем обязан я этому истинному спасителю мира. Вдохновляющая история его жизни, упорно направленной к осуществлению одной цели,— идеал человеческого поведения в пору, когда, казалось, обветшали все идеалы, угасли все стремления. И, пожалуй, самое важное и ценное для меня то, что его пылающему слову я обязан верой и надеждой. Оно заставило меня ощутить глубочайший смысл борьбы, сознательно и неколебимо уверовать в то, что в мире, наконец, воцарятся справедливость, благородство, достоинство.

У Ленина научился я постигать волнующую самоотверженность солдата и его бессмысленную гибель под пулями в окопе, научился понимать, насколько бесконечно жестока доля порабощенного труженика — истинного сына земли, вынужденного взращивать хлеб для стола своих палачей. Я научился читать немое молчание усталых, черных от копоти рабочих, бредущих в багровых вечерних сумерках к своим бедным жилищам, где рождается идея праведного и скорого отмщения.

Да, Ленин научил меня чувствовать поэзию, что бьется в сердце простого народа, народа в лохмотьях, живущего среди грязи, видеть растущие зародыши красоты и силы. Я знаю, что в массах пролетариата и даже в самом забитом существе, темном и невежественном, наливается зерно человеческого достоинства.

Уже одно это поможет человеку стать смелым, сильным, благородным, подняться на бой против гнета и унижения.

Я верю в способность людей совершенствоваться, верю в новое, небывало прекрасное общество, которое созидают сегодня народы мира. Ростки его пробиваются из земли, увлажненной потом, слезами, кровью. Я верю, что солнце и земля будут добрее к моим детям.

Только глупцы станут называть Ленина пророком, наподобие древних христиан, которые старались внушить миру туманные надежды на спасение.

Да, Ленин был пророком, но его гениальное предвидение стояло неизмеримо выше предсказаний прорицателей прошлого, ибо свою мечту он сумел воплотить в жизнь и показал людям реальные возможности, как осуществить их чаяния. Справедливость он видел не в метафизическом ее понимании, угнетенному, лишенному счастья труженику он дал отнюдь не пустые словесные утешения — он четко определил материальную основу для того, чтобы замысел претворить в действительность. Только он показывает народу путь к спасению.

ЖАН-РИШАР БЛОК

МЫСЛИ ФРАНЦУЗА О ЛЕНИНЕ

Декабрь 1908 года; в Париж прибывает русский политэмигрант. Зовут его Владимир Ильич Ульянов, ему 38 лет...

1908 год: Жорес, Бриан, Мильеран, Клемансо, Пуанкаре — признанные звезды на политическом небосводе. Сердечное согласие * и франко-русский альянс составляют основы внешней политики Франции и ее безопасности. Франция богата и трудолюбива; Европу несет волна бурного индустриального роста. Но куда несет? Лишь немногие способны различить в недрах этих мирных дней грядущую войну, увидеть в сердцевине сочного плода благоденствия червоточину бедствий.

Прибывший в Париж принадлежит к этим немногим. Но кто об этом знает? И кто знает его? В руководящих кругах французских социалистов он известен под псевдонимом Ленин, которым подписывает свои сочинения с 1901 года. Знают, конечно, об его спорах с прежним штабом русской политической эмиграции. Но споры эти ведутся на языке, доступном не каждому. И эти разногласия кажутся чересчур сложными берлинским или парижским социологам. К тому же Россия — незнакомка. Она явно отстает от уровня современной цивилизации. Жизнь там дорогая, доступ туда всячески затруднен, климат суровый, язык почти не поддается усвоению — одним словом, там редко встретишь туриста-эстета, искателя еще неизведанных и приятных впечатлений. А туристу-социологу там вроде бы делать нечего. Там ведь народ отсталый!...

И уж, конечно, многомудрые пророки не решатся утверждать, что эта бесформенная масса найдет в самой себе факторы решительного возрождения, не-

* Соглашение Англии и Франции, заключенное перед первой мировой войной *(Прим. перев.)*.

Жан-Ришар Блок (1884—1947) — французский писатель, критик и публицист, общественный деятель, член Французской компартии. С 1923 г. вместе с Ромэном Ролланом руководил прогрессивным журналом «Эроп». В период оккупации Франции гитлеровской армией ушел в подполье, выступал в прессе Сопротивления. После войны редактировал журнал «Эроп».

Советскому читателю известны его произведения: роман «... и компания» (1917), документальные повести «На грузовом пароходе» (1924) и «Зеленые орехи и бананы» (1929), роман «Сибилла» (1932), антифашистская книга «Испания! Испания!» (1936), пьеса «Тулон» (1943).

Статья «Мысли француза о Ленине», написанная Жан-Ришаром Блоком в феврале 1943 г., опубликована впервые в специальном номере журнала «Эроп» за сентябрь — октябрь 1967 г., посвященном пятидесятилетию Октября.

виданные и плодотворные принципы организации, импульс достаточно могучий, дабы, встряхнувшись, гигантскими шагами двинуться вперед и потрясти весь мир гулом своих шагов.

Но есть человек, который размышляет над этим. Человек, который это предвидит. Человек, который в этом убежден. Этот человек — русский, прибывший в Париж в один из декабрьских дней 1908 года.

Конечно, мыслящий европеец отлично понимает, что проблему России нельзя охватить, пользуясь лишь упрощенными представлениями. Русская литература, русская музыка привлекают внимание всего мира. Гоголь, Пушкин, Тургенев, Достоевский, Толстой, Мусоргский, Чайковский, Римский-Корсаков вызывают всеобщее восхищение. Передовые люди искусства открывают для себя Чехова. Но, странное дело! Как раз сами русские писатели вроде бы стремятся показать, что Россия с головой ушла в разрешение диковинных проблем — трагедий совести, трагедий, ничем не похожих на те, что волнуют реалистических и романтических художников Запада! Разве Тургенев в «Вешних водах» не показывает в смехотворном виде своего героя? Читая «Преступление и наказание», «Воскресение», «Чайку», ленивые европейские умы полагают, что от русского вопроса можно легко отмахнуться, прибегнув к несложной хитрости. Создается некий ходячий миф. В этот-то миф и стараются втиснуть Россию и русских, и тогда призывают на помощь пресловутую «славянскую душу» и пресловутое «nitchevó!».

События 1905 года как будто подтвердили это немудреное умозаключение. Героизм и нерадивость, доблесть и легкомыслие, выдержка и равнодушие, величественное и ничтожное — вот какой виделась из европейского далека война в Маньчжурии, великолепная и бессмысленная кампания вице-адмирала Рожественского, закончившаяся в пучинах Цусимы. «Славянская душа! Nitchevó!» А в Санкт-Петербурге пролетариат великого города идет к императорскому дворцу вслед за иконами, вслед за длиннобородым попом, и все кончается, как в Цусиме,— кровью и грязью. «Славянская душа! Nitchevó!»

Но есть в Европе человек, который отказывается удовлетвориться подобными нелепыми объяснениями и слишком легким решением проблем. Это иностранец, живущий в Париже с 1908 по 1912 год, простой в обращении, деятельный и трудолюбивый. Это Ленин. Он снимает маленькую квартирку в квартале Монсури...

Днем его можно увидеть в Национальной библиотеке. Он один из самых усердных посетителей читального зала. Иногда вечерами он выходит из дома со своей спутницей; он любит заглянуть в зрительные залы рабочих кварталов, в эти скромные театрики и кабаре парижских окраин. Интересно и поучительно наблюдать живое, непосредственное восприятие искусства простыми людьми Парижа. В это время на юге Франции происходили волнения. Посланный на усмирение полк отказался выступить против мятежных виноградарей. Монтегюс создает свою «Славу 17-му!» и множество других популярных песенок, которыми восхищался Ленин. В воскресенье, в хорошую погоду, он гуляет по окрестностям Парижа, бродит по чудесным лесным тропинкам. А в 1909 году выпускает свой «Материализм и эмпириокритицизм» — труд, который еще нескоро дойдет до западной публики, даже до профессиональных ученых и философов. Однако тот, кто хочет понять «тайну» возрождения русского народа под руководством Ленина, должен снова и снова возвращаться к этому фундаментальному исследованию. Этой книгой Ленин как бы вручал золотой ключ всем, кто стремился открыть врата будущего; но на Западе, за исключением нескольких сот русских социалистов, ничья рука не протянулась принять этот дар. Его не знали или не постарались понять вплоть до того дня 1917 года, когда этот золотой ключ взял в свои руки русский народ, и тяжелые бронзовые врата, за которыми открывалась дорога в будущее, скрежеща, повернулись на своих петлях.

Свободомыслящий француз, который успел еще до катастрофы мая—июня 1940 года совершить паломничество по ленинским местам во Франции, не раз задумывался над тем, как странно подчас складывается судьба человеческого общества. В течение четырех лет самый светлый ум Европы находился у нас, во Франции. Но никто из видных политиков, блиставших на тогдашнем горизонте, не подозревал, сколь проницательный взор был устремлен на них, внимательно следил за их деятельностью. Этот человек не таился. И он выковывал свое творение, выковывал Россию, выковывал целый мир. Понятно, такому человеку некогда было щеголять остроумием в парижских салонах.

Теперь весь мир корчится в невиданном кризисе и находится на самом краю бездны ужаса и варварства. Ошеломленные народы стали свидетелями того, как в несколько часов рухнуло под ударами гигантского робота одряхлевшее здание французского общества, которое столь многие издавна привыкли считать своим укрытием, своей защитой. Мир в ужасе наблюдал, как шагает робот по необозримым пространствам от Нордкапа до Пиренеев, от собора Парижской богоматери до афинского Парфенона, как он за несколько месяцев растоптал своим сапогом целый материк, обратил Европу в пепел, покрыл ее виселицами, усеял ее землю

тысячами тысяч братских могил, залил ее кровью и грязью, и было слышно в настороженной тишине лишь уханье его орудий и непристойное урчание его стального чрева.

И вот тогда-то поднялся один народ, который не только сказал мерзкому призраку «Не пройдешь!», но и совершил все, чтобы обезвредить чудовище. Какой народ? Да тот самый народ, который люди Запада еще тридцать лет назад представляли себе в грубо извращенном виде, с которым, по мнению «знатоков» и проницательных наблюдателей, нельзя было связывать своих надежд. Как? Тот самый народ? Что же произошло? Произошла та встреча, какая бывает лишь раз в тысячелетие: встреча величайшего ума и народа, чей дух воплощался в этом уме, равно как воплощались в нем народные чаяния, народная мощь и все возможности, заложенные в России, и в конце концов они стали едины. Это органическое слияние гения одного человека с гением народа предполагает наличие огромной любви, безграничной веры, беспредельного великодушия, сверхчеловеческой способности жертвовать собой, забывать себя. О какой любви идет речь? О любви к народу, его породившему. О какой вере? О вере в силы этого народа. Все это было в Ленине. Критический ум, алмаз чистый и острый, ограждал эти достоинства от упрощений любого вида. Неукротимая физическая и интеллектуальная энергия была подчинена у Ленина величайшей и разностороннейшей силе ума.

Моя задача не в том, чтобы набросать портрет Ленина: мне это не под силу. Моя задача лишь в том, чтобы осознать один из самых чудесных сдвигов в истории... Год 1917! Начинается колоссальный процесс зарождения новой России вопреки безумному миру, который пытается удушить и этого человека, и эту нацию, насылая тлетворные тучи. 1924 год: сраженный тяжелым недугом, этот человек умирает... 1941 год: величайшее испытание народов и государств, война обрушивается на молодой советский народ, находившийся еще в начале своего пути. И мир, обезумевший от ужаса, мир при последнем издыхании внезапно увидел, когда рассеялись тучи, которыми умышленно скрывали от него истину, увидел то, к чему многие из нас пытались привлечь его взор, и ныне мир, доведенный до отчаяния, увидел, как на его защиту поднимается возрожденный народ, народ, который сумел противопоставить немецкой «организованности» высшую организованность, немецкой технике — технику еще более совершенную, немецким машинам и заводам — лучшие заводы и машины, гитлеровской армии — армию более могучую, наконец, германскому роботу — бойца, который сидит в таком же окопе, но в груди которого бьется человеческое сердце, сердце свободного человека.

Таковы были результаты дела Ленина и тех, кто это дело продолжил.

О, если б я мог после войны еще раз присоединиться в горячем и душевном порыве к бесконечной череде советских мужчин и женщин, терпеливо ждущих на Красной площади счастливого мгновения, когда в глубине Мавзолея из темного мрамора они увидят ставшее нетленным лицо великого Ленина, его спокойный лоб, знакомое доброе выражение рта, его скромный пиджак и белоснежный воротничок.

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

ЛЕНИНИАНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Землю всю охватывая разом... Стихи зарубежных поэтов о Ленине. Вступительное слово Роберта Рождественского. Москва, «Художественная литература», 1969. 263 стр.
Бессмертие. Иностранные писатели о Владимире Ильиче Ленине. Вступительная статья А. Суркова. Книга иллюстрирована плакатами зарубежных художников. Москва, «Художественная литература», 1970. 416 стр.

Обе эти книги: поэтическая антология и том художественной и документальной прозы, поэзии и публицистики о В. И. Ленине, созданной иностранными писателями более чем за полвека,— итоговые в многолетних усилиях советских литературоведов, библиографов, переводчиков, редакторов.

Перелистывая сборники, куда вошли произведения ста шестидесяти писателей из пятидесяти пяти стран, воочию видишь, какое влияние оказали личность и идеи вождя Октябрьской революции и практика социалистического строительства в нашей стране на новейшую историю мира. Лениным восхищались и классики мировой литературы, чье творчество стоит на рубеже веков — Анатоль Франс и Бернард Шоу, Ромен Роллан и Герберт Уэллс, Томас Манн и Теодор Драйзер, и писатели, составляющие цвет современной литературы — Анри Барбюс, Шон О'Кейси, Тудор Аргези, Мартин Андерсен-Нексе, Иван Ольбрахт, Джон Рид, Иоганнес Бехер, и литераторы более молодого поколения, которые наблюдали события в России глазами подростков.

Вчитаемся еще раз в некоторые высказывания великих художников, вдумаемся в их суждения о человеке, который «обессмертил себя еще в дни своей земной жизни», если воспользоваться выражением болгарина Гео Милева (высказывание этого поэта-революционера, замученного в фашистских застенках после поражения Сентябрьского восстания 1923 года, публикуется на русском языке впервые).

Какое духовное сродство с Лениным должен был чувствовать семидесятисемилетний Анатоль Франс, чтобы, отправляя письмо главе советского государства, обратиться к нему как к «товарищу Ленину» и воздать должное его «характеру и гению».

В 1917 году Роллан записывает в дневнике: «Говорили о Ленине... Он всюду вносит бурю, борьбу... он убежден, что правда на его стороне. И ради этой правды он готов пожертвовать всем».

«Мы, социалисты, завоевывая себе немного удобств и комфорта, готовы ждать, но люди, желающие в самом деле что-нибудь сделать, как Ленин,— не ждут...» — говорил Бернард Шоу в 1921 году.

Если так отзывались о Ленине при его жизни люди, которым не довелось встретиться с ним, то можно представить себе впечатления тех, кто испытал непосредственное воздействие личности вождя революции.

Специальный раздел — «Видели, слышали, знали» — отдан воспоминаниям литераторов, посетивших в те годы Москву и общавшихся с Лениным, беседовавших с ним. Среди них — Поль Вайян-Кутюрье, Мартин Андерсен-Нексе, Джованни Джерманетто.

Мемуарные материалы, представленные в книге «Бессмертие», написаны в разное вре-

мя, вплоть до 50-х годов, но с особым, естественно, интересом перечитываешь свидетельства очевидцев грандиозной ломки стародавних порядков, происходившей в России, свидетельства, публиковавшиеся за рубежом по горячим следам событий. Это фрагменты «Десяти дней, которые потрясли мир» Джона Рида и «Десяти месяцев с Лениным» его соотечественника Альберта Риса Вильямса, изданные в США в 1919 году. Это отрывки из книги англичанина Артура Рансома «Шесть недель в России», увидевшей свет почти одновременно в Англии. К тому же 1919 году относятся воспоминания старейшего американского журналиста Линкольна Стеффенса и румынского писателя Николае Думитру Кочи. Год спустя в Лондоне выходит книга Герберта Уэллса «Россия во мгле», а в Праге — книга Ивана Ольбрахта «Картины современной России» — отрывки из них тоже опубликованы в «Бессмертии».

В 1923 году Николай Полетаев писал в стихотворении о Ленине: «Века уж дорисуют, видно, недорисованный портрет». И ныне и вечно художники слова обращаются и будут обращаться к бесценным свидетельствам тех, кто «видел, слышал, знал» Ильича.

Нельзя точно сказать, когда началась зарубежная поэтическая Ленинниана. В книге «Землю всю охватывая разом...» самая ранняя дата — 1917 год — стоит под стихотворением венгра Арпада Пастора. Своей отвлеченной метафоричностью, известной прямолинейностью, своим высоким, сплошь и рядом библейским пафосом оно характерно для революционной поэзии мира первых лет существования государства рабочих и крестьян. Ленин многими тогда воспринимался как пророк и новый спаситель, несущий из «красного царства» надежду страждущему человечеству:

Винтовки обращаются в деревья,
И люди обращаются к доверью.
Так Рождество совпало с Воскресеньем...
Ленин! Ленин!

(Перевод В. Корнилова)

Двенадцатого февраля 1918 года «Правда» публикует стихотворение «Ленину» голландца А. ван Коллема. То был отклик пятидесятилетнего поэта на русскую революцию:

Народ рабочий жизни смысл обрел:
От слов ты, Ленин, к делу перешел...

В образах традиционной национальной поэзии осмысливал в 1919 году ленинские дела иранский поэт Хасан ибн Мохаммед Касем Вахид Дастгарди.

Навек он украсил собою просторы вселенной,
Как пламенной розой — в тоске увядающий сад.

(Перевод Д. Комиссарова и Ю. Панышевой)

Со словами приветствия к молодой Советской России, что, «хаос победив», творит новую эпопею, обращается в 1921 году болгарин Димитр Полянов:

Твое оружье — труд, борьба — твоя стихия,
Ученье Ленина — великий светоч твой.

(Перевод Я. Галицкого)

С годами поэзия о Ленине не только ширится, но и наполняется конкретным историческим содержанием. Чешский поэт Станислав Костка Нейман видит, как показывает его стихотворение «Поле боя внутри нас» (1923), великое противоборство двух миров — мира собственников и мира пролетариев, противоборство старой правды и правды новой, но он сознает и всю сложность революционных преобразований, и в первую очередь преобразование психологии масс. Перекликаются с ленинской мыслью о том, что «нельзя, не из чего строить коммунизм иначе, как из человеческого материала, созданного капитализмом...», слова поэта:

Разве,
товарищи, только тот
к свету выходит из тьмы,
кто чист и безгрешен вполне?

(Перевод П. Железнова)

Смерть Владимира Ильича Ленина потрясла мир. «Закачалась земля, как лодка,

из которой выпрыгнул гребец» (Карел Томан). В те безмерно горестные дни и месяцы десятки писателей разных стран отозвались на утрату, понесенную человечеством. Сквозь январский обжигающий мороз идут к Колонному залу люди «потоком бесконечным, словно жизнь»,

и стонут звуки траурного марша
в застывшей бухте побелевших стен.

(Перевод В. Журавлева)

Этим строкам венгерского поэта Шаролты Лани вторил немец Эрих Мюзам:

Сирены фабрик, взвойте в общем хоре!
Греми, оркестр пушек и мортир!

(Перевод К. Богатырева)

Но, одолевая потрясение и скорбь, в стихах 1924 года в поразительном согласии возникает иной мотив, который впоследствии станет доминантой мировой поэтической Ленинианы. Рядом со стихами Владимира Маяковского, давшего гениальную в своей простоте стихотворную формулу: «Ленин — жил, Ленин — жив, Ленин — будет жить», рядом с произведениями других советских поэтов вставали в строй строки шведа Сикстена фон Иегерфельта, англичанки Мэри Голланд, венгра Аладара Комьята, финского писателя Кэсси Каатра, молодого тогда турка Назыма Хикмета, который восклицал:

Не умрет!
Не умрет никогда!
Не умрет человек,
который
крутые повороты Истории
раньше всех проходил в боях...

(Перевод П. Железнова)

Так в самой смерти Ленин обрел бессмертие, стал «явлением эпохальным», по словам Томаса Манна.

Чем дальше уходил тот январский день, тем мощнее и многообразнее звучала в мировой поэзии тема Ленина и победившего на одной шестой мира социализма. Многие могли бы повторить вслед за Эптоном Синклером: «Ленин — отец нового мира. За успехами этого мира я слежу с невыразимым интересом» (1938). «Стихи-плачи, стихи-признанья, стихи-раздумья, стихи-клятвы» (слова Роберта Рождественского из предисловия к сборнику «Землю всю охватывая разом...») создают Иоганнес Бехер, Витезслав Незвал, Пабло Неруда, Джо Уоллес, Рафаэль Альберти, Эми Сяо, Поль Вайян-Кутюрье и множество других писателей, чьи имена для нас, людей, вступивших в последнюю треть двадцатого столетия, неотделимы от духовной истории современности.

И вот что любопытно: в стихах конца 20-х годов, предвоенной декады, Ленин как бы пересекает пределы Советского Союза и шагает по планете, входя в повседневную жизнь и борьбу народов всего мира против капиталистического гнета.

Заводы Будапешта
К тебе взывают с дикой болью.
Голодные крестьяне
Толкуют о тебе...

(Перевод Б. Слуцкого)

Это писал Антал Гидаш в обстановке белого террора, воцарившегося у него на родине после поражения Венгерской революции. В соседней Югославии, где

...еще темен небосвод,
мертв даже воздух грязно-серый...

черногорец Михаило Лалич вместе со своими соотечественниками живет «видением одним» — простором России и Лениным:

и кто ж еще так высоко поднимает
мечту, надежду нашу?

(Перевод В. Корчагина)

А на другом континенте Майкл Голд тоже мечтает — о новой Америке, «Америке рабочих и фермеров», и тоже связывает эти мечты с тем временем, когда «Ленин пройдет среди твоих 120 миллионов».

В наше сознание прочно вошла литература «вулканического континента» — Латинской Америки, обновленных стран Азии, молодых государств Африки. И дело даже не в необыкновенно расширившейся географии. Какую неповторимую национальную самобытность, какую пестроту красок и подлинность чувства внесли в современную прогрессивную поэзию, в поэтическую Ленинниану клятвенные, несущие отблески жарких боев строки вьетнамца То Хыу; чеканные, словно стук тамтамов, похожие на древние магические заклинания ритмы малийца Гауссу Диавары; насыщенные высоким — как «самые вышние Анды» — пафосом строфы перуанца Густава Валькарселя; раздумчиво-лирический верлибр гаитянина Жана Бриера, который «через два континента, через душную толщу изгнанья» приходит в Москву, чтобы «с Лениным говорить»; упругие, классически-точные четверостишия кубинца Анхеля Аухьера «У Мавзолея» («Ты есть. Ты здесь. Бессонный, как и прежде...»).

Невозможно сколько-нибудь подробно рассказать о прозаическом разделе тома «Бессмертие» — настолько он обширен и многообразен. Здесь и ответы М. Андерсена-Нексе, А. Барбюса, Г. Манна, Р. Роллана, Б. Шоу на запрос газеты «Известия» в связи с кончиной Ленина, и автобиографические раздумья Шона О'Кейси, И. Бехера, Джо Уоллеса, Арнольда Цвейга, и статья Кришана Чандара «Глаза Истории», показывающая, как слилось имя Ленина с судьбами национально-освободительных движений мира, и образец боевой публицистики Юлиуса Фучика, и написанное специально для данного издания эссе Ганса Шерфига. С огромным интересом читаешь малоизвестный очерк «неистового репортера» Эгона Эрвина Киша, который, одним из первых начав писательский поход по ленинским местам, в 1923 или 1924 году посетил скромный домик цюрихского сапожника, где около года перед возвращением в Россию квартировал господин Ульянов с су-

пругой. Много пищи для размышлений дают заметки М. Андерсена-Нексе «Влияние Ленина на творческие силы Запада» (1938) и перекликающаяся с ними по проблематике статья Дж. Г. Лоусона «Во имя светлого будущего» (1963). Об особом, писательском восприятии ленинской диалектической мысли, от которой исходит «огромная поэтическая сила», об уроках, которые выносит поэт и романист из чтения Ленина, рассказал А. Стиль в тонком этюде «Учитель» (1960).

Новеллистика, быть может, самый трудный литературный жанр — как в капле воды передать цвет океана? И все же собранные под одним переплетом рассказы Орлина Василева, Матэ Залки, Бруно Фрея, Дожодоржа, Крума Григорова, Пьера Гамарра, а также лирические очерки Николаса Гильена, Джеймса Олдриджа и других авторов производят сильное впечатление сочетанием правды исторической и правды художественной, показывая, что зарубежные писатели овладевают ленинской темой и в этом жанре.

Не стану перечислять материалы новые, не публиковавшиеся прежде на русском языке. Упомяну лишь в этой связи о статье Мирослава Крлежи 1939 года «Памяти Владимира Ильича».

Спору нет, невозможно зарубежную Ленинниану представить в одной, даже обширной, книге сколько-нибудь исчерпывающе. Нельзя не отдать должное огромной работе, проделанной редактором изданий О. Лозовецким. И все же невольно сожалеешь, что в «Бессмертие» не попали некоторые значительные материалы, пусть известные русскому читателю. Удивительно злободневно звучит в наши дни статья Ромена Роллана «Ленин — искусство и действие», написанная в 1934 году, в которой Роллан писал: «Хочет того литература или нет, она подчинена интересам и страстям общественной борьбы, она не свободна и не может быть свободна от влияния того или иного класса». Анализируя ленинские работы о Толстом, Роллан приходит к необыкновенно ценному выводу: именно с этих работ начинается новый этап в науке о литературе.

Немалый историко-литературный интерес представляет рассказ немецкого писателя Франца Карла Вайскопфа «Чудотворец». Написанный в январе—феврале 1924 года и несущий, естественно, следы времени, он являет собой один из самых ранних примеров освоения в иностранной художественной прозе темы Ленина и русской революции (это произведение было впервые опубликовано на русском языке в сборнике «Друзья Октября и мира», выпущенном издательством «Художественная литература» в год полувекового юбилея советского государства). То же самое примерно можно сказать и об известном драйзеровском рассказе «Эрнита» (1929) и соответствующих страницах в романе одного из зачинателей чешской социалистической литературы Владислава Ванчуры «Три реки» (1936), где выразительно, новаторски рисуются судьбы людей, осмысливающих опыт Октябрьской революции. Кстати сказать, осмысление и анализ этой темы в мировой литературе XX века — какое это широкое поле деятельности для наших историков литературы!

Жаль, что в сборнике нет и таких американских имен, как Луиза Брайант, жена Джона Рида, автор книг «Шесть красных месяцев в России» (1919) и «Зеркала Москвы» (1923), Бесси Битти (с ее книгой «Красное сердце России» познакомился Владимир Ильич и сделал на полях пометы), Роберт Майнор, журналист и «американский карикатурист номер один», напечатавший в левой американской прессе ряд статей о событиях в Красной России и встречах с ее руководителем.

Читая эти замечательные книги, постоянно думаешь о том, что, очевидно, настало время систематизировать мировую литературно-художественную Ленинниану, подготовить научный свод художественных и публицистических текстов, посвященных В. И. Ленину.

И еще одно пожелание нашим издателям. Сейчас на страницах газет, журналов, книг — у нас и за рубежом — появляется множество материалов зарубежных деятелей литературы и искусства. Не дать лучшим, наиболее ценным из них забыться, отойти вместе с текущей информацией во вчерашний день.

И тогда через год-полтора мы получим еще одну книгу — «Бессмертие», том второй.

Ибо Ленинниана — так же, как и Революция,— продолжается.

Г. ЗЛОБИН

ВСТРЕЧИ С ВЛАДИМИРОМ ИЛЬИЧЕМ ЛЕНИНЫМ

Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. В пяти томах. Том пятый. Воспоминания зарубежных современников. Редакционная коллегия: Г. Н. Голиков, С. М. Майоров, Г. Д. Обичкин, М. Я. Панкратова, Н. В. Тропкин. Подготовители 5-го тома: Д. С. Кислик, Д. Е. Гринберг, А. И. Горбачева. Редакторы: Г. Г. Куранов, А. И. Горшкова. Москва, Издательство политической литературы, 1969. 559 стр.

Этот большой том вмещает воспоминания восьми десятков людей, работавших с Лениным, разговаривавших с ним, споривших, учившихся у него, а иной раз попросту дававших ему приют на сутки, на двое.

Среди них — представители едва ли не всех крупнейших наций мира — большие группы французов, немцев, итальянцев, американцев, китайцы, чехи, венгры, болгары.

Писатели с мировым именем — Герберт Уэллс или Мартин Андерсен-Нексе соседствуют с безвестным почтовым работником из польского местечка Поронино или женой финского рабочего. Деятели мирового коммунистического движения, навсегда записанные на страницах истории своих стран,— Кашен, Лонго, Сэн Катаяма, Цюй Цю-бо, Тибор Самуэли, Георгий Димитров — с рядовыми солдатами партии. Составители книги привлекли воспоминания людей далеких от революции — буржуазных или реформистских дипломатов, журналистов, писателей, старавшихся честно разобраться в идеях Ленина и его деятельности.

Если просмотреть судьбы авторов этой книги, нельзя не удивиться разнообразию их вариантов. Иные возглавили правительства социалистических стран или мощные коммунистические партии. Иные погибли молодыми. Одни похоронены в Кремлевской стене. Могилы многих других неизвестны. Несколько человек до сих пор продолжают трудиться в международном коммунистическом движении. Некоторые давно отошли от него, уйдя в частную жизнь. Общее в этих судьбах, пожалуй, только одно — необычайное по силе впечатление, произведенное встречей с Лениным. Комета, проходя мимо больших или малых планет, обязательно изменяет их траекторию. Все или почти все воспоминания всех или почти всех авторов этой книги повествуют о том, как изменила траекторию их жизни встреча с Владимиром Ильичем.

Без внимательного чтения этих воспоминаний нельзя написать ни историю международного коммунистического движения, ни историю мира в XX столетии. Многое сказано о многом. Я поставил перед собой очень ограниченные задачи, попытался проследить прежде всего, какое впечатление производил Ленин на людей, которые с ним встречались. Я беру только поздний период работы Ильича: Ленина — вождя мировой революции, Ленина — председателя Совета Народных Комиссаров, пятидесятилетнего Ленина, место которого в мировой истории уже было ясно всем.

Начинаю с записок Клэр Шеридан — тридцатипятилетней английской скульпторши, лепившей Ленина в 1920 году. Начинаю с нее потому, что у нее профессиональный глаз художника, притом талантливого художника.

«Ленинская способность сосредоточиваться впечатляла, пожалуй, больше всего. Такое же сильное впечатление производил и его огромный лоб...

Лицо его выражало скорее глубокую думу, чем властность. Мне он представлялся живым воплощением мыслителя (но не роденовского)...» Шеридан пришлось присутствовать при разговоре Ленина с Калининым: «...это было мне очень на руку. Его лицо в состоянии покоя — совсем не то, что я хотела запечатлеть. А разговаривая оживленно с Калининым, он высоко поднимал и хмурил брови. Казалось, что Ленин погрузился в глубокие размышления, выражение его лица было одновременно суровым и полным юмора. Он устремил на Калинина проницательный взор, словно читал его мысли и знал наперед все, что Калинин может сказать ему, и даже больше».

Как известно, Шеридан дорого обошлась ее поездка в Москву. Ее дядя, Черчилль, заявил о том, что он никогда не будет с ней разговаривать. Ее семья пришла в бешенство. «Моя частная жизнь стала адом»,— пишет она в тех же записках. Однако из Москвы Шеридан вывезла два портрета Ленина — скульптурный и второй, словесный, отрывки из которого вы прочитали.

Обратимся к воспоминаниям другой женщины, знавшей Ленина несравненно ближе, его единомышленнице и соратнице — Кларе Цеткин.

Они познакомились еще в 1907 году. Но впервые после революции встретились в сентябре двадцатого года в Свердловском зале Кремля, где тогда заседала IX Всероссийская конференция РКП(б).

«Ленин показался мне не изменившимся, почти не постаревшим. Я могла бы поклясться, что на нем был тот же скромный, тщательно вычищенный пиджак, который я видела на нем при первой нашей встрече в 1907 году на Всемирном конгрессе II Интернационала в Штутгарте. Роза Люксембург, отличавшаяся метким глазом художника, подмечавшим все характерное, указала мне тогда на Ленина со словами: «Взгляни хорошенько на этого человека. Это — Ленин. Обрати внимание на его упрямый, своевольный череп».

Интересно, что этот самый «скромный, тщательно вычищенный пиджак» обратил на себя внимание множества людей, писавших о Ленине. С одной стороны, скромный.

с другой стороны — тщательно вычищенный. В XX веке, в эпоху нового барокко, когда политические деятели и сколько-нибудь заметные люди вообще изощрялись и соревновались в изобретении мундиров, мантий, всяческой мишуры, Ленину не приходило в голову выделиться из массы, которую он возглавлял, еще и потому, что он ее представлял. Может быть, поэтому так легко и безболезненно происходили переходы Ленина в подполье — когда ему надо было выглядеть рабочим, самого небольшого грима, самого легкого переодевания было достаточно. И, возглавляя крупнейшее государство мира, он выглядел как рабочий, как умный, квалифицированный, опытный, много знающий и много умеющий рабочий. Соответственно он и одевался.

Однако продолжаю выписки из воспоминаний Клары Цеткин:

«...самая характерная черта Ленина — простота и сердечность, естественность во всех его отношениях ко всем товарищам. Я говорю «естественность», так как я вынесла вполне определенное впечатление, что этот человек не может вести себя иначе, чем он себя ведет. Его отношение к товарищам — естественное выражение всего его внутреннего существа... Он целиком сливался с массой товарищей, был однороден с ней, был одним из многих. Он не хотел ни одним жестом, ни выражением лица оказывать давление в качестве руководящей личности». Подобный прием был ему совершенно чужд, так как он действительно был ярко выраженной личностью... Он чутко прислушивался и всегда был готов помочь в партийной работе или личном горе. Глядя на него, как он относился к молодежи, сердце радовалось: чисто товарищеское отношение, свободное от какого-либо педантизма, наставнического тона или высокомерия, продиктованного тем, что пожилой возраст будто бы сам по себе является каким-то несравненным преимуществом и добродетелью.

Ленин вел себя, как ведет себя равный в среде равных, с которыми он связан всеми фибрами своей души. В нем не было и следа «человека власти», его авторитет в партии был авторитетом идеальнейшего вождя и товарища, перед превосходством которого склоняешься в силу сознания, что он всегда поймет и в свою очередь хочет быть понятым. Не без горечи сравнивала я атмосферу, окружавшую Ленина, с напыщенной чопорностью «партийных отцов» немецкой социал-демократии. И мне совершенно нелепой казалась та безвкусица, с которой социал-демократ Эберт в качестве «господина президента Германской республики» старался копировать буржуазию «во всех ее повадках и манерах», теряя всякое чувство человеческого достоинства».

Воспоминаниями Клары Цеткин открывается этот том, и не случайно. Клара знала Ленина на протяжении семнадцати лет. Она близко дружила с ним и с его семьей. Она много разговаривала с Лениным и не только о проблемах коммунистического движения, но и о литературе, искусстве, быте молодой Советской республики. Недаром и сейчас над сценами многих советских клубов и театров висят транспаранты с цитатами из воспоминаний Клары Цеткин о Ленине. С другой стороны, Клара часто спорила с Лениным, в особенности по вопросу о путях германской революции, и неоднократно испытывала на себе тяжелые удары ленинской логики. Клара была значительно старше Ленина — на тринадцать лет. Еще в начале века имя ее гремело среди европейских социалистов. Тем не менее она нашла в себе силу, чтобы пойти на выучку, во многом на перевыучку, к Ленину и советским большевикам. Личная смелость, небоязнь смерти, так блистательно проявившиеся в 1933 году, когда, будучи глубокой старухой, она на правах старейшего члена открывала ревущий и беснующийся, набитый фашистами, рейхстаг, эта личная смелость сочеталась в Кларе с умственной дерзостью большого мыслителя, не боящегося принять точку зрения более правильную, чем ее собственная. Поняв правоту Ленина и свою неправоту, Клара пошла за Лениным.

Умберто Терначини повстречался с Владимиром Ильичем совсем молодым человеком. В июне 1921 года из Италии в Москву на III конгресс Коминтерна поехала делегация коммунистической партии. Все это были рядовые рабочие, массовики, ненавидевшие реформистских вождей социалистической партии, от которой они только что откололись, жаждавшие поскорее устроить в Италии революцию на русский манер. В делегации был сапожник из Неаполя, «который ревниво прятал в сундуке и отказывался кому-либо показывать две пары ботинок, изготовленных им самим,— одна пара мужская, другая женская, которые он хотел подарить Ленину и Крупской; парикмахер из Казерты, который имел свои определенные взгляды на бородку Ленина и желал дать ему на этот счет некоторые советы; и, наконец, один батрак из Тосканы, который, узнав, что Ленину будто бы нравится вино «кьянти», купил в итальянской лавке в Берлине бутылку этого вина... Признаюсь, я удивился, узнав, что в это время напряженной работы и забот... Ленин сумел посвятить нам пусть лишь крупицу своего времени, идя навстречу трогательному, но наивному желанию моих неграмотных и политически неопытных товарищей по делегации.

Но когда я увидел его... когда я увидел, как осветилось его лицо искренней радостью от бурных приветственных восклицаний гостей, как его охватило радостное волнение, когда парикмахер, разразившись слезами, бросился к нему, чтобы сжать в восхищении ему руки, когда я услышал его чуть захлебывающийся смех при виде сапожника, преподнесшего ему туфли — одни на высоченных каблуках, а другие балетные люстриновые туфли на тончайшей по-

дошве, и его замечание «хорошо» при виде красного тосканского вина в традиционной бутылке, оплетенной соломой,— вот тогда я понял, что до этого момента я еще не знал Ленина.

Да, мое заочное знакомство с Лениным открыло мне его возвышенный ум проницательного исследователя наиболее сложных процессов человеческой общественной жизни... его несгибаемую волю в достижении целей и отыскании соответствующей тактики.. Но что стало бы с этими величайшими способностями, если бы они не подкреплялись, не сочетались и не усиливались сотни раз тем чувством человеческого восприятия, которым обладал Ленин и которое, прорвавшись на одно мгновение из самых глубин, как бы оттесняло на этот миг непосредственную действительность, его безмерные обязанности главы государства и руководителя великой партии для того, чтобы воспользоваться минутой общения с простыми людьми?

Моя первая встреча с Лениным — это встреча с его великим сердцем».

Эти воспоминания были написаны шестидесятилетним человеком с большим политическим опытом, который включал и работу в Москве в Коминтерне, и долгие годы подполья, и семнадцать лет тюрем, и ссылки, и партизанские годы, и годы руководства легальной массовой Итальянской коммунистической партией. Он вспоминает не только о первой встрече с Ильичем, но и о жесткой критике, которой он был подвергнут Лениным на конгрессе Коминтерна:

«...если конгресс не будет вести решительного наступления против таких ошибок, против таких «левых» глупостей, то все движение осуждено на гибель... Нам, русским, эти левые фразы уже до тошноты надоели».

Эта речь, знаменитая «Речь в защиту тактики Коммунистического Интернационала 1 июля», имела непосредственной целью Террачини и его товарищей, их торопливость, их неправильную оценку обстановки, их неумение бороться за завоевание большинства рабочего класса, их болезнь, которую Ленин назвал «детской болезнью «левизны» в коммунизме».

«Продолжая говорить, Ленин, по своему обыкновению, не стоял на трибуне, а ходил взад-вперед, обращая свой живой взор в сторону огромного зала. Но всякий раз, когда его взгляд на мгновение останавливался на мне, он узнавал меня среди присутствующих... этот его взгляд, обращенный ко мне, вместо горечи и унижения зажигал во мне мужество и бодрость. И мне казалось понятным, что этот взгляд искал меня затем, чтобы сказать, что то суровое осуждение, которое слышалось в его словах, бьющих словно молот, было произнесено им во имя высшего долга, который выпал на его долю. Этот долг заключался в том, чтобы спасти меня, спасти всех нас от ошибки, которая могла бы оказаться непоправимой и гибельной не только для нас, но и для самого великого и светлого дела социального освобождения — дела, общего для всех нас.

...В конце заседания я оказался лицом к лицу с Лениным. «Товарищ Террачини,— обратился он ко мне по-французски с дружеской спокойной улыбкой,— нужно быть гибким и мудрым!» И уже удаляясь в толпе людей по лестнице, он повторил, подняв руку: «Гибким и мудрым!»

В обозреваемой книге немало записей, подобных воспоминаниям Террачини. Многие люди, подчас с мировыми именами, вспоминают на ее страницах, как Ленин спорил с ними, как Ленин критиковал их — жестоко, но не грубо, принципиально, но не оскорбительно. Вспоминают с чувством живой и непосредственной благодарности.

Уильям Галлахер, один из шоп-стюардов Шотландии, с риском для жизни пробравшийся в Москву на II конгресс Коминтерна, обнаружил в английском переводе ленинской «Детской болезни...» раздел об Англии.

«К моему ужасу, оказалось, что и я фигурировал здесь, олицетворяя дурной пример! Я уехал из Великобритании с довольно преувеличенным мнением о своих достоинствах как политического деятеля. То, что я теперь прочел в книге Ленина, подействовало на меня, как ледяной душ».

Позднее Ленин сказал Галлахеру: «...Вы утверждаете, что буржуазии удается подкупать всех людей, попадающих в парламент. Если бы английские рабочие послали вас в парламент представлять их интересы, разложились ли бы вы?» Я с удивлением посмотрел на него и пробормотал: «Странный вопрос». «Товарищ Галлахер,— продолжал Ленин,— это очень важный вопрос. Позволили ли бы вы буржуазии подкупить вас?» «Нет,— ответил я.— Не могу допустить, чтобы кто-либо или что-либо разложило меня».

Наклонившись вперед, Ленин смотрел на меня. Услышав мой ответ, он выпрямился и, широко улыбаясь, сказал: «Товарищ Галлахер, Вы должны добиться того, чтобы рабочие послали Вас в парламент. Тогда Вы покажете им, как ведет себя там неподкупный революционер. Покажете, как надо по-революционному использовать парламент».

Прошло много лет, прежде чем шотландским рабочим удалось послать в парламент Галлахера. Почти в одиночестве представлял он там интересы своего класса. Автору этого обзора приходилось слышать и в Глазго и в Эдинбурге, что Галлахер был образцовым рабочим парламентарием — гибким и мудрым.

Ленину не всегда удавалось убеждать своих оппонентов. 21 февраля 1920 года он встретился с шестидесятилетним Джорджем Ленсбери, одним из лидеров лейбористов и христианским социалистом; Ленсбери писал: «Когда он увидел, что мой ум не воспринимает его теорию о победе социализма насильственным путем в Англии или где-нибудь в другом месте и что я слепо полагаюсь на изменение интеллектуальных и моральных представлений у

отдельных людей путем осуществления христианских принципов любви и братства, он не оборвал меня с презрением или сарказмом, а с веселым смехом сказал:

— Неважно, каким путем придет социализм. Возвращайтесь в Англию и попробуйте ваш путь любви и мирного убеждения. Вы считаете, что можете победить таким путем. Я полагаю, что вы потерпите неудачу, но я был бы рад, если бы вы оказались правы».

С тех пор прошло уже пятьдесят лет. Лейбористы не раз и не два приходили к власти в Англии. Сам Лейсбери два года был министром общественных работ и четыре года — председателем лейбористской партии. Вряд ли он согласился с Лениным и тогда, когда писал вышеприведенные слова. Однако высокая степень личной порядочности заставила его закончить свои записи, изданные в 1935 году, следующей тирадой: «Покидая Ленина, я чувствовал, что встретил наиболее ненавидимого и наиболее любимого человека в мире. Лучше всего я могу подвести итог, сказав, что думаю о нем как о мудрейшем и наиболее преданном своему делу человеке, которого я когда-либо встречал».

Общеизвестна книга Герберта Уэллса «Россия во мгле». Можно и не пересказывать главу этой книги «Кремлевский мечтатель», главу, ставшую своеобразным памятником великой ошибки Уэллса, очень хорошо прорицавшего пути технического прогресса и оказавшегося беспомощным в области социальных пророчеств. Молодой коммунист литовец Габдаик, случайно встретившийся в поезде с Уэллсом, рассказывал мне, что английский писатель часами не отходил от окна вагона, часами всматривался в картины, развертывающиеся вдоль железнодорожного полотна. Известно, что ни эти наблюдения, ни встречи с Лениным и Горьким не помогли Уэллсу разглядеть что-либо, кроме «России во мгле».

Менее известна другая книга Уэллса «Опыт автобиографии». Во втором томе, вышедшем в 1934 году в Лондоне, содержатся важные признания, которые приведены в обозреваемой мною книге: «Мне не приходилось встречать столь оригинального мыслителя, к тому же занимающего такое важное положение... казалось, что все ресурсы, какие еще сохранились в России, находятся в его руках... Его авторитет был огромным.

Основой его личного престижа были трезвость суждений и дальновидность, проявленные им в дни революционного переворота. К нему обращались тогда все: и с опасениями и с сомнениями. Силу его составляла ясность цели в сочетании с тонкостью мысли... Когда мы встретились с ним и беседовали, каждый из нас придерживался собственного предвзятого мнения... Я скептически относился к идее электрификации, так как не имел представления о запасах водной энергии в России. «Приезжайте снова через 10 лет»,— говорил Ленин в ответ на мои сомнения... Но теперь, просматривая свою, написанную 14 лет назад книгу, восстанавливая в памяти события того времени и сравнивая Ленина с другими знаменитыми людьми, которых я знал, я начинаю понимать, какой выдающейся и значительной исторической фигурой он был. Я не сторонник теории об исключительной роли «великих людей» в жизни человечества, но уж если вообще говорить о великих представителях нашего рода, то я должен признать, что Ленин был по меньшей мере великим человеком... он полностью руководил страной меньше чем пять полных событиями лет. Тем не менее за это время он зажег в русском народе такой непоколебимый созидательный энтузиазм для решения всех вставших перед ним задач, что этот энтузиазм живет в нем и по сей день...

Деятельный ум Ленина с удивительной быстротой переключился сразу после революции на осуществление социальных преобразований. В 1920 году, когда я с ним виделся, он с юношеской энергией изучал возможности электрификации России. Идея пятилетнего плана... Днепрогэс — все это уже занимало его мозг. Плодотворные идеи Ленина продолжают оказывать воздействие и после того, как перестал творить их создатель. И в настоящее время их воздействие, видимо, так же сильно, как и раньше».

Знаменательное признание для писателя, озаглавившего свою книгу о нашей стране «Россия во мгле», а главу о Ленине в ней — «Кремлевский мечтатель»!

Мартин Андерсен-Нексе, видевший Ленина только один раз — осенью 1922 в Кремле во время IV конгресса Коминтерна,— четко и правильно определил связь между Лениным и руководимыми им массами:

«Мы, участники конгресса, собравшиеся со всех концов Земли: немецкие и скандинавские рабочие, негры, египетские феллахи и индийские кули,— все мы верили в дело нового мира и в Ленина. Но сам он знал с непоколебимой уверенностью, что победа придет, и отчетливо видел путь к ней... Казалось, он жил всеми человеческими жизнями. Он знал положение во всех странах, судьбы бедняков и применяемые в каждой стране методы эксплуатации... Это была наука, но совершенно особая и новая: она не пахла книгой, а была самой жизнью...

— Вот это настоящий человек,— шепнул мне рабочий-норвежец.— И как он похож на любого из нас, только в тысячу раз зорче!»

Этими словами, так напоминающими знаменитые строки Маяковского, видимо, и следует закончить настоящий обзор.

БОРИС СЛУЦКИЙ

С МЫСЛЬЮ О ЛЕНИНЕ

Морис Пианзола. Ленин в Швейцарии. Перевод с французского. Предисловие Андре Боннара. Москва, Политиздат, 1968. 116 стр. А. С. Кудрявцев, Л. Л. Муравьева, И. И. Сиволап-Кафтанова. Ленин в Женеве. Женевские адреса Ленина. Москва, Политиздат, 1967. 200 стр.

Недавно мне представилась возможность поехать в Швейцарию, побывать в тех местах, где Владимир Ильич провел много лет своей вынужденной эмиграции.

Обстоятельства сложились так, что как раз перед самой поездкой я кончал работу над романом «И жизнью, и смертью...», главный герой которого, бежав из енисейской ссылки, оказывался в Швейцарии, в Цюрихе, в 1915 году, то есть тогда, когда там жил Владимир Ильич. Прожив почти два года рядом с «Ильичами», герой мой возвращается вместе с ними в Россию весной 1917 года, после Февральской революции, в так называемом «запломбированном вагоне». Он принимает самое активное участие в вооруженном Октябрьском восстании в Москве, а через год гибнет в Сибири от белогвардейской пули.

Поистине неисчерпаемой кажется мне тема нравственного облика борца, деятеля революции, с его бесстрашием и мужеством, с его бескорыстием и преданностью идее коммунизма. В течение десятков лет этот образ слагался в моем представлении и из рассказов людей, которые сами прошли по этому огненному пути, и из прочитанных газет и книг, из увиденных кинофильмов — он многолико смотрел на меня из пожелтевших архивных дел, испятнанных сургучными печатями, словно сгустками крови. Только проведя множество дней над архивными материалами, я в полную меру понял смысл ленинских слов: «Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки. Мы окружены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их огнем. Мы соединились, по свободно принятому решению, именно для того, чтобы бороться с врагами».

Отнюдь не личные беды, не неустроенность собственной судьбы толкала передовых людей времени на борьбу с царизмом, на борьбу с гнетом, с церковью, бюрократизмом, узаконенным для большинства бесправием, неприкрытой коррупцией, с роскошью на одном полюсе и предельной нищетой на другом. К борьбе их вело пронзительно острое неприятие любой несправедливости по отношению к народу. Они ничего не хотели и ничего не добивались для себя лично — ни чинов, ни званий, ни богатства, но рисковали всем, что имели, включая саму жизнь. Они обрекали себя на тюрьму, на каторгу и ссылку, а если приходилось умирать, умели умирать с достоинством и мужеством, присущими революционерам. Приговоренный к виселице Кибальчич чертил в камере эскизы и составлял расчеты будущего космического корабля, Желябов улыбался со смертного помоста, Шмидт сказал перед казнью: «Я пойду к столбу принять смерть, как на молитву». Александр Ульянов мог бы избежать ареста, он же помог бежать за границу Говорухину, заложив для этого за сто рублей свою золотую медаль и проводив товарища на вокзал. На вопрос судьи, почему он не бежал сам, Александр ответил: «Я не хотел бежать, я хотел лучше умереть за свою родину».

И такими были не одиночки, не фанатики, таких оказывалось множество, и принадлежали они к различным социальным категориям. Два года назад я написал повесть «Суд скорый», где рассказано о последней перед казнью ночи Ивана Якутова, рабочего-железнодорожника, возглавившего вооруженное восстание уфимских рабочих в декабре 1905 года и позже казненного там же, в Уфе. Повесть родилась из фразы, которая поразила меня в воспоминаниях Надежды Константиновны Крупской. Вот эта фраза: «Он умирал на тюремном дворе, а вся тюрьма пела, во всех камерах пели и клялись, что не забудут этой смерти, не простят ее». Я с трудом отыскал в архиве дело Якутова — несколько десятков страничек, исписанных выцветшими чернилами, и еще раз поразился стойкости человеческого духа. Сохранив в повести все детали и обстоятельства дела Ивана Якутова, я старался образ героя сделать собирательным, обобщенным, прежде всего мне хотелось показать силу и мужество человека, пришедшего к революции и не изменившего ей перед лицом смерти.

Но о скольких таких Якутовых мы не знаем! Мне навсегда врезались в память

книги «Красная Голгофа» и «Памятник»— сборники последних писем, записок и выцарапанных на тюремных стенах надписей, сделанных осужденными на смерть коммунистами в годы гражданской войны. Ни одна книга не волновала меня так сильно, как эти, и не только потому, что они ставили читателя лицом к лицу с тысячами трагедий, но и потому, что демонстрировали непреклонность воли, вооруженной верой в правоту своего дела. Много веков назад Муций Сцевола, поклявшийся не выдавать врагам тайны, выдержал пытку огнем — легенда о его подвиге перешагнула тысячелетия. А сколько таких Сцевол можно насчитать в мартирологах наших трех революций? Обливают себя в камере керосином из тюремной лампешки и погибают в огне Михаил Гинзбург и Маруся Ветрова, сгорает в паровозной топке Сергей Лазо, не сдается под испытанием раскаленным железом легендарный Камо. Сколько их! Большинство погибших было выковано из прекрасной человеческой стали, несгибаемой и нержавеющей. И всегда за шеренгой этих героических образов нам видится гигантская фигура Ленина.

Именно работа над революционной темой закономерно и неизбежно привела меня к теме ленинской. Здесь сама судьба подбросила мне счастливый билет: я рос и учился в Ульяновске, где родился и провел первые семнадцать лет своей жизни Владимир Ильич. От школы на Новой дамбе, где я учился, было не больше трех минут хода до дома-музея Ленина. Позже я несколько лет работал в ульяновской газете и по ее заданиям многие десятки раз побывал в самых отдаленных уголках бывшей Симбирской губернии, в тех самых когда-то глухих местах, где неутомимый инспектор народных училищ Илья Николаевич Ульянов одну за другой открывал новые школы,— а открыл он их более четырехсот.

Уже тогда мне хотелось написать книгу о симбирских годах жизни семьи Ульяновых, об атмосфере любви, уважения и взаимного доверия, которая была так характерна для этой семьи. Но в то время я не считал себя вправе приниматься за такую книгу — впереди мне виделись многие годы литературной учебы, годы овладения мастерством и материалом, на основании которого такую книгу можно было бы написать.

Опыт работы над «Детством на Волге» убедил меня в том, что когда прикасаешься к теме, связанной так или иначе с именем Ленина, необходимо абсолютное знание накопленных историей материалов, необходимо видеть и знать места, о которых пишешь, необходимо подышать их воздухом, почувствовать атмосферу, которая окружала героев.

Перед отъездом я успел снова — в который раз! — перечитать воспоминания современников Владимира Ильича о том периоде его жизни, проследил все этапы его «второй» эмиграции. В этой работе мне очень помогли две книги: «Ленин в Швейцарии» швейцарского писателя и общественного деятеля Мориса Пианзолы и подробная, богато иллюстрированная фотографиями книга «Ленин в Женеве», авторами которой являются советские историки — А. Кудрявцев, Л. Муравьева и И. Сиволап-Кафтанова.

Книге Мориса Пианзолы предпослано предисловие профессора Андре Боннара, в котором написано: «Ленин восхищался красотой нашей природы. Он любил наши озера, гулял по нашим лесам, собирал грибы и ягоды; вместе со своей женой он бродил по нашим долинам, взбирался на вершины наших гор... Он любил нашу страну и наш народ почти так же, как свою страну и свой народ. Для него уже не существовало враждебных и разобщенных народов. Он был всецело во власти грядущего великого братства людей...»

Пианзола подробно описывает поездки Владимира Ильича по Швейцарии, начиная с его первого приезда в 1895 году, когда он приезжал для установления связей с группой «Освобождение труда», с Плехановым, Верой Засулич, Аксельродом, и кончая так называемой «второй» эмиграцией Ильича, завершившейся весной 1917 года.

Богатейшая, живописная природа Швейцарии не могла не пленить Ленина. В одном из писем Марии Александровне он писал из первой поездки: «Природа здесь роскошная. Я любуюсь ею все время. Тотчас же за той немецкой станцией, с которой я писал тебе, начались Альпы, пошли озера, так что нельзя было оторваться от окна вагона...»

Но, конечно, не красоты природы привели Владимира Ильича за границу. Правда, договориться с чрезвычайно самоуверенным Плехановым оказалось не так-то просто. Пианзола пишет:

«Сначала члены группы «Освобождение труда», изолированные в своем изгнании, радостно, как струю свежего воздуха, встретили приезд молодого Ленина, проникнутого живым дыханием русского рабочего движения. Однако некоторые его воззрения поразили их своей смелостью. Так, Ленин заявлял, что либеральная буржуазия не будет играть руководящей роли в грядущей революции и что для свержения самодержавия рабочему классу необходим союз с крестьянством. Плеханов протесто-

вал. Эти первые разногласия явились лишь прологом ожесточенной борьбы, которая продолжалась целых двадцать лет».

Морис Пианзола прослеживает ход этой борьбы на протяжении обеих ленинских эмиграций, прослеживает титанический труд Владимира Ильича по созданию центрального органа партии, ожесточенные схватки с меньшевиками и оппортунистами, а в годы первой мировой войны — с оборонцами,— ведь даже Плеханов встал в ту пору на позиции «защиты отечества», в то время как Ленин и его единомышленники ратовали за превращение войны империалистической в войну гражданскую, в войну классов. Приходится ли удивляться злобным словам жандармского полковника Зубатова, что «крупнее Ульянова сейчас в революции нет никого» и что «надо срезать эту голову с революционного тела»? Да, до Швейцарии руки российских палачей дотянуться не могли — эмиграция для Владимира Ильича была единственной возможностью продолжать борьбу за партию, за народ, за новое государство.

Разложив перед собой карту Швейцарии, я самым тщательным, точнейшим образом нанес на нее ленинские маршруты, проставил их даты, предварительно сличив их с наиболее проверенными ленинскими документами. И когда мы прилетели в Цюрих, я очень отчетливо представлял себе, что мне нужно увидеть. Как увлекательно было бы совершить путешествие по всем ленинским местам, побывать, скажем, в Циммервальде и Кинтале, подняться в Чудивизе, где Владимир Ильич и Надежда Константиновна отдыхали одно лето. Увы, сделать это не удалось. Хотелось бы подольше пожить в Цюрихе, повидать места, связанные с именем Фрица Платтена, заслонившего когда-то Владимира Ильича от вражеской пули на Симеоновском мосту в Петрограде. И опять, увы: туристские автобусы всегда движутся быстрее, чем нам хотелось бы.

Вторая книга, о которой я упомянул выше,— это очень подробный путеводитель по ленинским адресам Женевы, составленный нашими советскими историками. К его бесспорным достоинствам относятся, прежде всего, скрупулезная, выверенная точность всех сообщений и, во-вторых, обилие фотодокументов. С этими двумя книгами я не расставался в Швейцарии ни на один час, и они чрезвычайно помогали мне ориентироваться в калейдоскопической смене городов и впечатлений.

И в Цюрихе, и в Берне, и в Лозанне, и в Женеве — всюду не покидало ощущение присутствия где-то рядом Владимира Ильича. Все время думалось: он ходил вот по этим улицам, поднимался по этим ступенькам, сидел за столиком вот этого кафе, перелистывал в библиотеке вот эти книги. Читальный зал общества «Сосьете де лектюр» («Общество любителей чтения»), библиотека Женевского университета, общественные здания, где Ильич выступал со своими рефератами, дома, где он жил,— все это как бы сохраняет на себе отпечаток ленинского присутствия, все это волнует, хотя разумом понимаешь, что с тех пор, когда здесь бывал Ильич, прошло более полувека.

К сожалению, ни одна из квартир, где Владимир Ильич когда-то жил, недоступна для обозрения: все эти дома принадлежат частным лицам, и в скромных крохотных комнатушках, где когда-то обитали Ульяновы, сейчас живут другие люди. Даже в доме сапожника Каммерера, на узенькой крутой улочке Шпигельгассе в Цюрихе, нам побывать не удалось, только осмотрели дом снаружи, постояли перед мемориальной доской, прикрепленной к стене под окном комнаты, которую Владимир Ильич и Надежда Константиновна занимали перед возвращением в Россию. Это печально. А в Женеве, в кафе Ландольт, где Ленин бывал почти ежедневно, мы застали строительных рабочих. В маленьком кабинетике, стены которого когда-то слышали голос Ильича и были свидетелями его встреч с друзьями, в день нашего посещения было пусто и тихо. И знаменитые деревянные крышки стола, на которых посетители Ландольта, социалисты-эмигранты вырезали перочинным ножом свои имена, были перенесены в помещение летнего кафе. Мы долго стояли перед этими коричневыми крышками, стараясь найти среди сотен автографов знакомый ленинский почерк. Не нашли. Да и вряд ли Владимир Ильич мог, следуя примеру других, вырезать на столешнице свое имя.

В заключение этих небольших заметок мне хочется высказать одно пожелание. Как было бы хорошо, если бы можно было приобрести у домовладельцев некоторые квартиры, где жил Владимир Ильич, и восстановить в них обстановку того времени,— ведь еще живы люди, которые бывали у «Ильичей», они помогли бы сделать доброе дело. Пройдет еще с десяток лет, и сделать это будет уже невозможно.А для советских людей, попадающих за границу, это было бы кусочком родного дома.

АРСЕНИЙ РУТЬКО

ТЫСЯЧА СТРОК О СОВЕТСКОЙ РОССИИ

Свапнастха. Огненное солнце. Бомбей. Тривеин пракашан. 1968. (На языке гуджарати.)

Тоненькая книжка стихов. На ярко-желтой обложке черные фигурки людей простирают руки к огромному огненно-красному солнцу. Солнце — это Советская Россия, люди — народы мира. Это сборник стихов гуджаратского поэта Свапнастхи **«Огненное солнце». Сборник стихов о Ленине, Октябрьской революции, советском народе.**

На титул вынесены строки:

Пою советский народ,
восхищенный его героизмом,
трудолюбием, самоотверженностью
в борьбе за мир и свободу человека.

Автор подходит к ленинской теме широко, обобщенно. Для него Ленин не только гениальный человек, мыслитель и вождь трудящихся. Ленин — это новая эпоха. Октябрьская революция изменила судьбу России, всколыхнула народы земного шара:

О, Октябрь, твое яркое зарево
Заставило биться сильнее сердца народов.
Ты пробудил не только Россию, но и
весь мир, о, Октябрь!

(«Зарево над миром»)

Свапнастха показывает, как идеи ленинизма воплощаются в советской действительности, получают мощное звучание во всем мире. Именно в этом ленинское бессмертие:

Там, где черная ночь угнетения и нужды,
Рабочий и крестьянин помнят тебя,
Ленин!
Где золотое солнце смеется
И сердца людей вместе с ним,
И там помнят тебя, Ленин!

(«О тебе вспоминают, Ленин»)

Октябрьская революция вызвала к жизни новую социальную систему, дала миру нового человека. Взяв власть в свои руки, трудящиеся Советского Союза получили возможность воздействовать на ход истории («Хозяева России»). Отсюда, говорит поэт, и стойкость советского народа, проявленная в борьбе против фашистской агрессии. Победа над гитлеровской Германией — это торжество справедливости, это не просто победа одной из сторон в войне, это «победа человеческого над бесчеловечным, победа жизни над смертью» («Солнце справедливости», «Жизнь побеждает»). Советский народ, социалистический строй — символ жизни для поэта. А Свапнастха любит жизнь и ненавидит «всяческую мертвечину», особенно отмеченную фашистской свастикой.

Автор горячо приветствует индо-советскую дружбу, благодарен советскому народу за помощь Индии—в постройке металлургического завода в Бхилаи, ГЭС в Нейвели, открытии нефти в Гуджарате («Святость сотрудничества»). Здесь тоже нашли воплощение идеи Ленина.

Свапнастха давно изучает жизнь советского народа, его культуру и литературу. Он перевел на гуджарати произведения Тургенева и Горького. В сборнике «Огненное солнце» поэт посвятил Горькому теплые строки. В стихотворении «До боли люблю» поэт высоко оценивает русскую культуру, породившую могучие таланты Ломоносова, Циолковского, Павлова, давшую миру произведения Пушкина, Толстого, Горького, Маяковского.

«Советский народ,— говорит поэт в предисловии к сборнику,— завоевал признание миллионов индийцев. О людях Советской России с любовью писали Тагор и Прем Чанд, Валлатхол и Джош Малихабади, Кришан Чандар и Али Сардар Джафри. Я присоединяюсь к ним от лица гуджаратского народа. Эти стихи — голос моего сердца».

Ю. ЦВЕТКОВ

ПУТЬ К ЛЕНИНУ

Alfred Kurella. Unterwegs zu Lenin. Erinnerungen. Berlin, Verlag Neues Leben, 1967.

Особое волнение в душе каждого из нас вызывают рассказы и книги ветеранов, встречавшихся и беседовавших с Ильичем. К числу таких произведений принадлежит книга немецкого писателя и публициста, переводчика советской литературы на немецкий язык, видного деятеля германского коммунистического движения Альфреда Куреллы «По пути к Ленину».

Небольшая часть этих воспоминаний была написана раньше и уже известна советскому читателю в русском переводе. Альфред Курелла продолжал работать над этой темой, и теперь перед нами увлекательная, написанная ярким языком, захватывающая драматизмом событий книга, повествующая о долгом, трудном и радостном пути молодого немецкого интеллигента к Ленину, о том, как он нашел самого себя, свое место в рядах борющегося пролетариата. Эта книга шире мемуаров в обычном смысле слова. Она — история развития молодого немца 20-х годов нашего столетия.

Альфред Курелла — выходец из потомственной семьи ученых. Отец писателя был известным психиатром. Молодой Курелла много читал, пробовал свои силы в живописи и графике и немалого достиг: его работы выставлялись на художественной выставке в Мюнхене. Недоверие к существующим буржуазным порядкам заронили в душу юноши, как он сам пишет, русские писатели — Гоголь, Толстой, Тургенев, Короленко. В поисках истины Курелла примыкает к мелкобуржуазному молодежному движению, проповедовавшему стремление к абстрактной свободе; но это движение скоро зашло в тупик. В годы первой мировой войны Курелла был унтер-офицером, служил в артиллерии немецкой армии. Здесь, среди одетых в солдатские шинели рабочих и крестьян, он понял, что их посылают на смерть ради цели и интересов, к которым они не имеют ни малейшего отношения. Тогда же в руки молодого унтер-офицера попал номер журнала со статьей Ленина, в которой его поразил обращенный к трудящимся массам лозунг — «враг находится в собственной стране».

Альфред Курелла выступает против войны. Но он идет дальше многих немецких писателей, он осознает, что фронт проходит не между народами, а внутри каждой нации, между двумя непримиримыми классами — пролетариатом и буржуазией. Курелла вливается в ряды молодых рабочих-революционеров. В Мюнхене он создает группу свободной социалистической молодежи и становится коммунистом.

Итак, перед тем, как отправиться к Ленину с поручением Центрального Комитета Коммунистической партии Германии, Альфред Курелла уже два года был на пути к Ленину.

Книга Куреллы состоит из нескольких глав, и каждая из них — как бы отдельная новелла, рассказывающая об одном из этапов пути писателя к Ленину. Из Германии в Москву с шифровками для Ленина Курелла отправился 19 марта 1919 года и прибыл в столицу первой социалистической страны ровно через месяц. Путь от Берлина до Москвы посланцы союза «Спартак», Курелла и его друг Людвиг, преодолели в трудных условиях военного времени. Им пришлось сотни километров идти пешком, ехать на попутной крестьянской телеге, минуя опасности и рискуя жизнью, пробираться по лесам и болотам, чтобы вступить на свободную землю. Перипетии этого пути подробно и захватывающе описаны в главе «Большое приключение». С интересом читаются страницы, повествующие о переходе немецкой границы, о передвижении по территории Литвы и, наконец, о волнующей встрече с первым красноармейцем. Радость этой встречи была омрачена внезапным наступлением на этом участке немецких войск. На их глазах красноармеец Володя, часовой на пограничном мосту, которого они первым увидели, был сражен немецкой пулей. Молодые немецкие революционеры попросили дать им оружие, чтобы отомстить за своего советского друга.

Через несколько дней после прибытия в Москву Альфреда Куреллу принял Владимир Ильич Ленин. Вот как описывает автор книги эту первую незабываемую встречу, несколькими точными штрихами передавая характерные черты вождя.

«Ленин встал из-за письменного стола,— вспоминает Курелла,— когда я вошел в небольшую, но очень светлую комнату, ту самую, которая позже стала широкоизвестной по многочисленным фотографиям и картинам. Мы сели за маленький столик в углу комнаты, Ленин — на кожаный диван, стоявший у стены, а я — в кожаное кресло напротив. Стол — несколько в стороне, и мы все время могли хорошо видеть друг друга... Я постоянно чувствовал на себе его взгляд, внимательный, испытующий, которым он словно читал мысли — дополнительные вопросы Ленина часто касались того, о чем я думал и что только еще собирался сказать».

Сила ума, огромная эрудиция, глубокая проницательность вождя революции — все это на первых порах поразило молодого немецкого коммуниста. «Что же касается меня, то наивная самоуверенность, с которой я пришел к Ленину, стала все больше и больше сменяться смущением. Не потому, что Ленин как-то хотел дать мне почувствовать свой авторитет: наоборот, он сразу заметил мое смущение и еще больше подчеркнул равноправный характер нашего разговора. Но это сделало меня еще более неуверенным... То, что сам Ленин знал о Мюнхене, о последних событиях в Баварии и о политическом положении в Германии, то, что он надеялся дополнительно узнать от меня, далеко выходило за пределы моих знаний и моего опыта».

В дальнейшем Альфред Курелла был секретарем Исполкома Коммунистического интернационала молодежи. Проблемы меж-

дународного социалистического движения молодежи волновали Ленина, он уделял им много внимания, программа работы КИМа вырабатывалась при его участии. Это послужило причиной еще одной встречи Курелла с Лениным. Обсуждался проект программы молодежного интернационала. Ленин внес много поправок к выработанным уже предложениям и сказал, что рабочему классу нужно единство, что без единства он не сможет победить. Объединение возможно только на последовательно революционной платформе, на основе общей цели для рабочего класса всего мира.

«И в политических схватках уже много лет спустя,— пишет Курелла,— я вновь и вновь убеждался, как важна эта ленинская мысль для будущего, для рабочего движения и социализма. Понимание этого помогло мне во многих беседах с гражданами нашей республики, прежде всего с молодыми людьми, помогло раскрыть им историческое значение существования ГДР... Только на такой платформе, которая создана в нашей республике, могут воссоединиться два немецких государства, исключить всякую возможность новой войны и новые бедствия для миллионов, только на такой платформе Германия может возвратиться в семью свободных народов».

В. И. Ленина молодой Курелла слушал в Свердловском зале Кремля на X съезде партии, видел его в радостной толпе на первомайской Красной площади, встречался с ним на различных заседаниях. И каждая встреча обогащала его духовно, много давала для понимания практики революционной борьбы. Некоторые страницы воспоминаний рассказывают об огромной силе воздействия ленинских книг и статей на умы немецких революционеров. После прочтения работы «Государство и революция», пишет автор, все предстало перед ним в новом свете: теория — в облике конкретной практики, а практика приобрела новое содержание.

Живя в Москве, Курелла своими глазами видел, как ленинские идеи претворялись в жизнь на просторах молодой Советской страны. Он был очевидцем первых субботников, этого «фактического начала коммунизма», осуществления ленинского плана монументальной пропаганды в области изобразительного искусства, становления нового советского театра. Он видел живую социалистическую действительность, реальную картину созидания того мира, который раньше он знал только по книгам.

Как же подействовали на писателя встречи с Лениным? На этот вопрос Альфред Курелла так отвечает в своей книге: «Ленин вошел в мою жизнь». Путешествие к Ленину закончилось тем, что молодой немецкий коммунист стал убежденным ленинцем, носителем и пропагандистом великих ленинских идей.

И. ГОЛИК

ЛОГИКА ЖИЗНИ

The Autobiography of W. E. B. Du Bois. A Soliloquy on Viewing My Life from the Last Decade of Its First Century. New York, International Publishers, 1968.

Долгую жизнь Уильяма Дюбуа один из критиков назвал «прометеевской». Его путь растянулся на целых 95 лет, вобрав в себя множество творческих трудов и дел историка, романиста, поэта, педагога, негритянского национального лидера. И, добавим, особую напряженность духовных, идейных поисков: Дюбуа, поистине, блуждал в чаще иллюзий, пока увидел свет ленинской мысли.

Гэс Холл, приветствуя У. Дюбуа при вступлении в Коммунистическую партию США, сказал, что его, как и некогда Т. Драйзера, привела к этому решению «логика жизни».

В спокойной неторопливой манере рассказывает Дюбуа о том, как простой юноша-негр из маленького городка Баррингтона, преодолевая бесчисленные расовые барьеры, вырос в крупнейшего ученого, писателя, общественного деятеля. И за внешней фактографией, за вехами жизненного пути встает образ Дюбуа-человека — вечного труженика, сосредоточенного, немного замкнутого человека, непоколебимо принципиального, когда речь шла о его убеждениях. Человека, подчинившего свою многогранную деятельность поискам методов и средств, которые могли бы привести к решению негритянской проблемы в США.

Так было всегда, начиная с 1887 года, когда он, студент университета в Фиске, опубликовал «Открытое письмо южанам» с протестом против джим-кроуизма, и кончая августом 1963 года, когда за несколько дней до смерти в Аккре (Гана), где он провел последние годы жизни, он участвовал в демонстрации в поддержку «Похода свободы» в Вашингтоне.

Да, он перепробовал немало соблазнительных, но оказавшихся иллюзорными решений, прежде чем стал рассматривать национальный вопрос в свете ленинских идей.

Поначалу он готов был верить, что расовые предрассудки — лишь плод невежества или неведения, которые можно изжить, распространяя знания о негритянском народе. Долгие годы он считал, что ключом к решению проблемы может быть общее повышение культуры негритянского народа. Эту программу, по мысли Дюбуа, должны были выполнить «десять процентов талантов», люди, получившие специальное университетское образование. Подготовка таких кадров была многолетней заботой Дюбуа-педагога. В начале века он уповал на превращение негров в общество мелких фермеров, собственников. Позднее он с му-

жественной самокритичностью признал свой проект утопичным.

Нет, все эти годы он отнюдь не был осторожным реформатором. В глазах современников он оставался радикалом, бунтарем, президент Теодор Рузвельт считал его «опасной личностью». В 900-е годы он вступил в бескомпромиссную полемику со всесильным в ту пору Букером Т. Вашингтоном, который угодничал перед власть имущими белыми и не без эффекта пропагандировал теорию превращения негров в маленьких капиталистов. В качестве редактора журнала «Кризис» Дюбуа занимал резко радикальную позицию, которая шокировала соглашательских лидеров Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения, одним из основателей которой он был. Именно несогласие с их умеренной политикой привело Дюбуа к почти десятилетнему разрыву с этой организацией.

Но долгие годы у него не было верного компаса. Только в 20-е годы он начинает впервые по-настоящему знакомиться с трудами Маркса, в период «красных тридцатых» он уже читает специальный курс по проблемам социализма и коммунизма в Атлантском университете. «Я был убежден,— писал он в «Автобиографии»,— что ни одна образовательная дисциплина не может игнорировать это великое мировое движение. Я читал и учился вместе со своей аудиторией».

Знания, почерпнутые им из марксистско-ленинской литературы и подкрепленные жизнью, убедили его в том, что подлинное равноправие всех национальностей достижимо лишь вне пределов буржуазного правопорядка — в условиях соцнализма. Вот почему неоценимое значение приобрел для него социальный опыт «новой России, основанной Лениным», опыт, которому посвящена специальная глава его книги.

В первый раз он приезжает к нам в 1926 году. От него не укрываются трудности, переживаемые Россией, но они не мешают ему увидеть главное: перед ним был народ, «ищущий новые пути в жизни».

Проходит еще десять лет, и Дюбуа снова наш гость. Его поражают «удивительные перемены», мощь новых индустриальных гигантов, зрелище народа, «исполненного чувства собственного достоинства, готового постоять за себя».

В третий раз он приезжает к нам в 1949 году и участвует в конференции сторонников мира. В «Автобиографии» он пишет о том, как «растет Москва и как укрепляется вера Советского Союза в свои силы и социализм». Он был участником и Первой (Ташкентской) конференции писателей стран Азии и Африки в 1958 году.

Говоря о своих последних посещениях Советского Союза — в 1959 и 1962 годах,— У. Дюбуа восхищается новым человеком, его общественной активностью, нетерпимостью к любым расовым предрассудкам, его кровной заинтересованностью в государственном, народном благе. Все это становится для У. Дюбуа наглядным свидетельством того переворота в духовной и экономической сфере, который был прямым следствием Октября. «Ни одно из движений,— пишет он,— за женское равноправие, государственное регулирование промышленности, социальные реформы, ни одно из религиозных или моральных учений не обнаружило такой мощи и силы, как большевистская революция в России».

Дюбуа порой нарушает хронологическую последовательность в изложении событий в «Автобиографии», чтобы рельефнее очертить решающий момент своего идейного роста. Несколько глав первой части развертывают широкую панораму послевоенного мира, каким его увидел Дюбуа во время своей поездки за рубеж в 1958 году. Перед нами — картина распадающейся колониальной системы и неуклонного укрепления социалистического лагеря. На этом историческом фоне неотразимую убедительность приобретает тот конечный вывод, венчающий многолетние поиски Дюбуа, который он счел необходимым выделить специально, в виде своеобразной «интерлюдии», предваряющей собственно рассказ о его жизни. Эта «интерлюдия» называется «Коммунизм». В ней есть такие строки: «Я изучал коммунизм и социализм долго и внимательно, наблюдая страны, где они осуществляются, беседуя с их сторонниками, знакомясь со специальными трудами. Я могу теперь сформулировать свое заключение откровенно и открыто: я верю в коммунизм. Я понимаю под коммунизмом продуманную систему жизненных отношений и производства, направленную на построение государства, цель которого — максимальное благосостояние всех его граждан, а не обогащение какой-то их части».

Выбор социалистического, ленинского пути не случайность, а логика жизни — таков главный смысл «Автобиографии» У. Дюбуа.

В. ГИЛЕНСОН

ВСЯ ЖИЗНЬ — В БОРЬБЕ

Bob Stewart. Breaking the Fetters. London, Lawrence and Wishart, 1967.

«Я никогда не терял глубокой веры в способность людей изменить экономическую и политическую систему, которая мешает полноценной и счастливой жизни» — у Боба Стюарта, ветерана английского рабочего движения, одного из основателей Коммунистической партии Великобритании, есть полное право сказать о себе так. Мемуары Стюарта, опубликованные к его девяностолетию,— не только ценное свидетельство очевидца и участника исторических событий огромной важности, но и яркий человеческий документ, со страниц которого встает образ привлекательного своей удивительной цельностью человека, убежденного борца за осуществление гуманных идеалов человечества.

«Разбивая оковы» — это рассказ «о времени и о себе». И если иногда кажется, что Боб Стюарт не столько вспоминает собственную жизнь, сколько пишет историю Коммунистической партии Великобритании, то это не случайно: жизнь Стюарта неразрывно связана с историей партии английских коммунистов.

Тяжелое детство паренька из рабочей семьи («У меня было королевское имя без королевских доходов»,— грустно шутит по этому поводу Стюарт); короткие годы школьной учебы, нередко совмещаемой с самой разной поденщиной, которая, пожалуй, подготовила его к жизни больше, чем школа; три года работы на мельнице — Стюарт не вычеркивает их из жизни как бесполезные: «Долгие часы труда за ничтожное вознаграждение, ежедневное существование в атмосфере несправедливости и нетерпимости заронили во мне желание увидеть общество, которое было бы справедливо к рабочим».

Уже квалифицированным рабочим, страдая от тягот безработицы, Стюарт с отчаяния отправляется на заработки в Южную Африку, но очень скоро возвращается оттуда все таким же бедняком, лишь «более чем когда-либо убежденным, что необходимо изменить экономические и социальные условия жизни». Это не умозрительное пожелание в ожидании лучших времен: каждый шаг Стюарта, ставшего активным профсоюзным и политическим деятелем, подчинен тому, чтобы облегчить положение рабочих сегодня, немедленно.

Вот так же, на деле проявились в годы первой мировой войны интернационалистские принципы Стюарта, его активное неприятие сути империалистической войны, за что ему пришлось трижды предстать перед военным трибуналом. «Если я когда-нибудь решусь стрелять,— заявил Стюарт на очередном суде,— то не в немцев, а в тюремщиков».

Весть о «русской революции», о том, что рабочие свергли правительство капиталистов и захватили власть, произвела огромное впечатление в Англии. Стало, как никогда, очевидно, что основная слабость прогрессивного движения в стране — его раздробленность. Именно под влиянием победы большевистской революции, свидетельствует в своих воспоминаниях Стюарт, встал вопрос об объединении левых партий и групп в единую коммунистическую партию, которая и была создана на лондонской конференции летом 1920 года.

Первая же принятая партией резолюция гласила: «Коммунисты одобряют систему Советов как средство достижения власти рабочим классом и способ осуществления контроля над производством». КПВ брала на вооружение и принцип диктатуры пролетариата, необходимой для подавления контрреволюции; были особо подчеркнуты верность и единство с Коммунистическим Интернационалом. Основным вопросом, вызвавшим разногласия среди членов новой партии, стал вопрос об отношении к парламенту, об участии коммунистов в работе этого органа власти капиталистического государства, а также проблема объединения с лейбористской партией. Немаловажную роль в решении этого последнего вопроса сыграло письмо В. И. Ленина, в котором вождь русского пролетариата подчеркивал необходимость объединения всех левых сил в борьбе с капитализмом при условии сохранения коммунистической партией независимой тактики. Английские коммунисты последовали совету Ленина, но лейбористское руководство отвергло предложение объединиться, уже в те годы взяв курс на предательство интересов рабочего класса.

И в вопросе об участии коммунистов в работе парламента существенную роль сыграли ленинские советы.

Английские коммунисты энергично использовали предвыборные кампании (1924, 1929 годов, например), чтобы объяснять широким массам смысл идей коммунизма, характер и цели своей работы.

В выборную кампанию 1924 года коммунисты добились, что основным вопросом, по которому пришлось выступать кандидатам, стал вопрос о признании СССР, об установлении с ним дипломатических отношений. И трудно пришлось тем кандидатам, которые были известны своими реакционными высказываниями в адрес Страны Советов.

Руководящая, организующая роль партии особенно проявилась во время всеобщей забастовки 1926 года, ставшей важнейшим событием в истории национального рабочего движения. Роль тем более сложная, что партия была тогда фактически обезглавлена: полиция состряпала дело против ведущих деятелей партии, и Галлахер, Поллит, Инкпин и другие были арестованы. В 1926 году Б. Стюарт исполнял обязанности Генерального секретаря партии, и все усилия направил на то, чтобы сохранить, а по возможности и расширить партию, добиться консолидации прогрессивных сил.

Воспоминания хронологически завершаются концом 20-х годов: автор выполнил свой замысел и рассказал о годах становления коммунистической партии в период обострения борьбы рабочего класса, на который пришлась его молодость и зрелость. Заключает воспоминания глава «Глядя вперед», в своем роде итоговая. Стюарт гордится, что его жизнь была связана с рабочим движением, с деятельностью партии, всегда шедшей в авангарде передового общественного движения в Англии.

Английских коммунистов, говорит Стюарт, всегда вдохновлял пример СССР, успешно строящего социализм. Тема Советской страны занимает в его мемуарах особое место.

Стюарт впервые приехал в Москву в 1923 году, посланный своей партией, чтобы принять участие в работе Коминтерна. Он увидел, как живут простые русские люди, приступившие к строительству нового общества с небывалым энтузиазмом, который ие могли погасить никакие трудности. Он бывал в школах и на заводах, видел, как рабочие овладевали новым для них искусством управления производством, как боролись с неграмотностью крестьяне.

Стюарту случилось быть в Москве в трагические дни смерти и похорон В. И. Ленина. «Это огромная утрата для международного рабочего движения»,— пишет он, отмечая в то же время, что для русского народа, для каждого рабочего и крестьянина смерть Ленина была и глубоким личным горем. «Это была очень трогательная демонстрация любви простого народа к этому великому человеку»,— с чувством пишет он.

Возвращаясь в заключительной главе к впечатлениям тех лет, Стюарт убежденно восклицает: «Вспоминая Россию, какой я увидел ее в свое первое посещение, я чувствую, как прав я был, гордясь тем, что приехал в страну, принадлежащую рабочим, которые свергли капиталистов. Как прав я был, предсказывая, что страна социализма изменит всю жизнь людей и тем самым подаст пример рабочим всего мира!»

И. ВАСИЛЬЕВА

ПРОСТО ХУАН ЧАКОН

José Miguel Varas. Chacón. Santiago de Chile, Colección "Vidas de revolucionarios", 1968.

В последней главе, которая называется «Автор хотел бы кое-что объяснить», Хосе Мигель Варас говорит: «У меня не было намерения создавать жизнеописание святого, учебник по воспитанию или историко-социальный очерк. Мне хотелось дать портрет — без ретуши — человека по имени Хуан Чакон через его поступки, дела, действия».

На обложке книги «Чакон» — лицо человека собранного, замкнутого, пожалуй, сурового, наверно, доброго и наверняка очень усталого...

Хуан Чакон Корона — чилиец; рабочий, член Рабочей Социалистической партии Чили с 1918 года, а с 1922 года, со дня образования Чилийской коммунистической партии,— коммунист, позднее — член Центрального Комитета и член Политбюро, один из руководителей профсоюзного движения Чили.

«Я родился в Лампа, 9 октября 1896 года, кажется так. Мой отец был сельскохозяйственный рабочий. Моя мать — индианка-мапуче. Никто из них не мог читать или писать». «По-моему, все было не так,— говорит Амелия Роман, тоже уроженка Лампа, 82 лет.— Настоящим-то отцом Хуана Чакона был вовсе не арендатор Франсиско Чакон, так говорят люди, а один богач, наш, местный. Его мать Люсия Корона пришла сюда с юга, с Рио Буэно. Она была мапуче. И привезла с собой свою мать, значит это будет уже бабушка Хуанито. У них там вышли проблемы с землей, да и преследования против мапуче были тоже. А по-испански обе говорили еле-еле...»

Так начинается эта книга, так она дальше и пойдет — воспоминания Хуана Чакона и комментарии к ним людей, которые знали его в разные периоды жизни,— соседей, школьных друзей, его детей, товарищей по партии, известных деятелей коммунистического и рабочего движения Чили,— автор называет их «свидетелями». Они объясняют, дополняют, углубляют рассказ Чакона, иногда спорят с ним — все это вместе, даже и несовпадения, создает прелесть живого разговора, прелесть подлинности.

Язык воспоминаний Чакона прост, лаконичен, ярок, и, если можно так выразиться, густ, это язык человека, стихия которого — не писать, а действовать.

Автор предупредил, что не претендует на

социально-исторический очерк, но, читая Чакона, все время думаешь: о чем же он вспоминает — о своей личной жизни или о событиях революционного движения в Чили? Слова «тесно переплетено» здесь, пожалуй, были бы неточны, тут одно вырастает из другого: чем дальше, тем больше политическая борьба делается личной жизнью Чакона, а его личная жизнь — коммуниста и профессионального революционера — в конце концов сама становится политическим фактом.

Хуан Чакон начинался как человек как раз тогда, когда начиналась Коммунистическая партия Чили, в буйные двадцатые годы, на взлете революционного движения, которое разбередила Октябрьская революция.

«Русская революция 1917 года принесла дискуссии, самые горячие. То, что происходило там, очень далеко от нас, сотрясало рабочий класс Чили и возбуждало огромный энтузиазм.

Мы пожирали газеты, в которых день за днем писалось о том, как революция наступала, останавливалась, отступала и вновь начинала наступать. Рабочая федерация Чили и Рабочая Социалистическая партия каждый день организовывали митинги в поддержку русских рабочих. Я бывал на всех. Сколько шума! Сколько крика! Мы брали с собой консервные банки, свистки, приводили детей, приносили знамена, лозунги. Митинги тогда шли почти во всех уголках Сантьяго, всегда рядом с каким-нибудь заводом или фабрикой. Ораторы связывали поддержку большевистской революции с борьбой против дороговизны жизни, за снижение арендной платы, против увольнений, за повышение зарплаты.

Отклик в Чили на русскую революцию был не просто энтузиазмом на одну минуту, то, что случилось, принесло изменения в самый образ мыслей и в жизнь политических и профсоюзных организаций трудящихся».

1918, 1919, 1920 годы в Чили — это годы массовых забастовок, демонстраций, собраний рабочих, это годы образования Рабочей федерации Чили, единой профсоюзной организации трудящихся, где первым генеральным секретарем был Луис Эмилио Реккабаррен (позднее Генеральный секретарь Коммунистической партии Чили), это время больших надежд. «...Мы думали, что революция близка, вот-вот, за тем поворотом...» — говорит Чакон. И тут появился, по словам Чакона, Артуро Алессандри, «великий демагог». Ярый антикоммунист, защитник интересов национальной буржуазии, глава либералов, в 1920 году он победил на президентских выборах.

«...Можно было подумать, что уже в это время рабочий класс в целом все понимал, что ему все было ясно. Что он шел вперед, не колеблясь, навстречу созданию своей собственной партии, что вместе с тем как развивалась его профсоюзная организация, он уже ясно видел и свою политическую дорогу. Не тут-то было! Почти никогда не бывает так, чтобы все было ясно. Нам надо было еще пережить иллюзию «алессандризма», горькое разочарование, которое помогло созреть многим. И мне тоже. Почему мне это отрицать?..»

Это был один из самых сложных моментов в истории рабочего класса, когда набирающее силу рабочее движение, «опьяненное» (как говорил Чакон) первыми победами, позволило увлечь себя иллюзией: все, что еще предстояло рабочему классу взять в долгой, мучительной борьбе за социальную революцию, Алессандри обещал завтра, послезавтра, немедленно, как только он станет президентом. И этому поверили.

«...За тот год мы пережили больше, чем за всю жизнь... Но так или иначе, рабочее движение шло вперед, разочарование в Алессандри только подтолкнуло события». И вот...

«...Мы дожили до конгресса в Ранкагуа в январе 1922 года, на котором Рабочая Социалистическая партия Чили приняла имя Коммунистической партии Чили. Это был большой шаг вперед, хотя должны были пройти еще годы и годы, прежде чем наша партия стала настоящей партией коммунистов, с единым руководством, опирающейся на знание марксизма и организованной по-ленински».

Это он говорит в шестидесятые годы, точно и искренне анализируя прошлое, но тогда, подобно многим «просто» рабочим и «просто» крестьянам, шел он трудно, иллюзии анархизма еще долго держали его, его созревание происходило медленно, внутри партии и вместе с партией.

Сороковые годы. Это время, когда еще живы в памяти победы Народного фронта: в 1937 году в чилийском парламенте восемь депутатов были коммунисты, а в 1938 году кандидат Народного фронта стал президентом республики.

Когда после распада в 1941 году Народного фронта коммунистическая партия

вновь сплачивает прогрессивные силы страны и возникает Демократический Альянс с единой программой, и снова победа: президентом становится кандидат Альянса Гонсалес Видела.

Когда в кабинете министров три портфеля — министров земледелия, общественных работ и общественных земель — принадлежат коммунистам...

Да, но выполнять эту программу, удерживать единство разнородных сил было не очень-то просто. В такое время партия и посылает Чакона вице-президентом в Институт аграрной экономики (ИНЕКОНА).

«Вице-президентом я пробыл всего четыре месяца. Членами совета института были правые, и они бойкотировали меня. Что бы я ни предложил, они тут же объявляли бойкот всем блоком. Единственно, что мне оставалось, это действовать согласно с духом и буквой программы, принятой правительством и одобренной народом, сунув в карман реакционные резолюции совета и разоблачая публично их грязные комбинации. Я так и делал...

Одна из первых стычек произошла, когда я заставил выйти из моего кабинета делегацию земледельцев — производителей зерна, хозяев мельниц и хлебопекарных предприятий. Они пришли просить повышения цен. Вышли они разъяренные и пожаловались президенту-предателю».

Надо сказать, что Гонсалес Видела через семь месяцев после избрания его президентом предал программу Демократического Альянса. Напуганный необычайным ростом влияния коммунистической партии, он перешел к открытым репрессиям против коммунистов, партия вынуждена была уйти в подполье. Но в то время с ним еще можно было разговаривать.

«...Он позвонил мне... и обратил внимание на то, что я плохо обошелся с этими кабальеро, и намекнул, что я должен все-таки изучить с ними вопрос о повышении цен.

— Пока я нахожусь на этом посту,— ответил я ему,— ни о каком разрешении на повышение цен не может быть и речи. О том, чтобы я ушел с моего поста добровольно, тоже не может быть речи. Вы можете меня выгнать, если хотите. Тогда я расскажу народу, за что вы меня выгнали».

Саботаж политики Демократического Альянса был велик. Его осуществлялн правые всеми возможными средствами. Землевладельцы не сдавали зерно, чтобы создать дефицит в хлебе. Первыми, кто страдал от этого, были, конечно, трудящиеся, простые люди, особенно на севере, где сложилось очень тяжелое положение с продовольствием.

«Я приказал брать зерно прямо на токах, пустив в дело машины ИНЕКОНА и Комиссарната. Крику было!.. Когда я хотел отправить муку на север по государственной железной дороге, мне отказали. Я поехал в Вальпарансо, там в это время как раз стоял корабль, готовый к отплытию в Антафагасту, с трюмами, полными вина. Я пытался договориться с губернатором, чтобы он отдал распоряжение выгрузить вино и погрузить хлеб. Он отказался. Раз такое дело, я пошел к руководителям рабочих-портовиков и грузчиков. Они собрали людей. Я рассказал о недостатках продуктов на севере и что это будет свинством — послать туда вино вместо продуктов. Я предложил выгрузить вино и погрузить вместо него хлеб. Приняли единодушно. Работа была сделана в рекордно короткий срок. Северяне очень радовались. Даже какая-то монахиня прислала мне телеграмму с поздравлением.

Землевладельцы топали ногами от ярости...»

Это уже не просто Хуан Чакон, это уже Хуан Чакон — политическое явление: впервые в истории Чили столь высокий пост занял рабочий и вел себя с достоинством, соответствующим этому посту.

А когда Гонсалес Видела пытался было возражать против назначения Чакона, ему ответили: либо вы принимаете Чакона, либо мы отзываем своих представителей из всех министерств и со всех общественных постов. И он уступил. Да, здесь речь шла не только о зрелом коммунисте Хуане Чаконе, речь шла о зрелости и мощи Чилийской коммунистической партии.

Рассказывая о себе, Чакон говорит и о своих личных ошибках, от которых он же первый тяжко страдал. Ведь Чакон — скажем это без жеманства, как он сам об этом не раз говорит,— был, в сущности, человеком малообразованным. «Только в тридцатые годы я впервые взял в руки книги Ленина «Что делать?», «Шаг вперед...»; книга «Государство и революция» повергла в прах мой анархизм, ее я прочитал уже в зрелые годы. ...Когда я стал депутатом, я стал читать больше. Я столкнулся с избранными произведениями Ленина, которые больше всего питали мое сознание. Из Маркса я читал «Политэкономию» и некоторые главы «Капитала», «Коммунистический манифест», «Восемнадцатое брюмера»... Но учился я мало. Учиться, читать теоретические произведения глубокого дыхания мне было тяжело. ...Правда, и жизнь профессионального революционера (без постоянного заработка) с самого 22-го года не очень-то давала учиться. Ни режима, ни уверенности в завтрашнем дне, ни куска хлеба. А если ты поднатужишься и начнешь читать и собирать понемногу свою библиотеку, то все равно это ненадолго... Я думаю, в полиции накопилось моих книг куда больше, чем у меня».

Но как бы там ни было, теперь, когда его уже нет (Чакон умер в 1965 году), в памяти людей осталось другое.

Рейнальдо Нуньес, коммунист, член парламента и близкий друг Чакона, вспоминает: «Крестьянский люд любил его за то, что он был одним из них, жил среди крестьян, помогал им по хозяйству, ездил верхом, объезжал жеребят, праздновал с ними их праздники...» В бытность свою депутатом парламента, Чакон роздал много земли, особенно на юге, обойдя ухищрения закона, явочным порядком, опираясь на массовое

крестьянское движение. В этом смысле, видимо, и надо понимать такую горячую оценку Р. Нуньесом его деятельности: «Чакон был представителем и лидером крестьян, одной из самых больших фигур крестьянского движения всех времен». И даже — в католической газете «Кларин»— после его смерти: «Он был апостолом социальной революции».

Книга Хосе Мигеля Вараса — книга-хроника, книга-свидетельство. Хорошо, что автору удалось собрать и сохранить воспоминания Чакона и сделать эту книгу, передающую характер человека и событий, в которых он участвовал. Вот того самого человека, который смотрит на тебя с обложки,— просто рабочего, просто коммуниста, просто большого человека, а по-русски говоря,— самородка Хуана Чакона.

Л. АРХИПОВА

НА ВСЕХ КОНТИНЕНТАХ

По данным Всесоюзной книжной палаты, труды В. И. Ленина издавались в Советском Союзе 10 096 раз общим тиражом 348,9 миллиона экземпляров на 100 языках народов нашей Родины и зарубежных стран. А за границей — в 48 странах на 51 языке 4079 раз. По данным ЮНЕСКО последних лет, по числу переводов на языки народов мира произведения В. И. Ленина занимают первое место.

Ленинские труды за рубежом начали издаваться в самом начале XX века. За годы 1905 — 1918 произведения Ленина вышли в свет на английском, немецком, французском, венгерском, испанском, норвежском, шведском и других языках. В последующие годы отдельные ленинские труды неоднократно издавались во многих странах мира: «Государство и революция» — 196 раз в 37 странах, «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» — 151 раз в 32 странах, «Империализм, как высшая стадия капитализма» — 156 раз в 30 странах, «Материализм и эмпириокритицизм» — 69 раз в 22 странах. В настоящее время труды Ленина изданы также на языках хауса, суахили, тамили, гуджарати, пенджаби, малаялам и других.

Ленина чтут сегодня на всех континентах земли — об этом рассказывают собранные здесь (но далеко не полные) сообщения газет, журналов, телеграфных агентств многих стран.

АВСТРАЛИЯ

ТРУДЫ В. И. ЛЕНИНА ВПЕРВЫЕ ПОПАЛИ в Австралию в 1919 году. Газета «Трибюн» недавно опубликовала письмо, в котором рассказывалось, как это произошло.

Автор письма — Том Фири, в то время — молодой докер, секретарь незадолго до этого созданной в Новой Зеландии «Ассоциации изучающих марксизм», предложил своим товарищам отправиться в США и Канаду за литературой об Октябрьской революции. Вместе с докером Олфом Коулменом и моряком-новозеландцем Биллом Паттерсоном они нанялись кочегарами на корабль, шедший к американским берегам...

После возвращения Фири в Сидней здесь в ноябре 1919 года под названием «Советы за работой» была опубликована привезенная им статья Ленина, написанная в апреле 1918 года (очевидно, речь идет об «Очередных задачах Советской власти».— **Прим. ред.**). Издала брошюру Австралийская социалистическая партия, впоследствии влившаяся в Коммунистическую партию Австралии при ее основании в 1920 году.

«Трибюн» поместила также статью «Как Ленин впервые достиг Австралии», где приводятся названия ленинских трудов, вышедших в Австралии в 1920 году. Среди них — мельбурнское издание брошюры «Советы за работой», «Государство и революция», «Великий почин», «Крах II Интернационала». В мае 1921 года в Сиднее была опубликована «Детская болезнь «левизны» в коммунизме».

АНГЛИЯ

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ЛОУРЕНС ЭНД ВИШАРТ» закончено издание Полного собрания сочинений В. И. Ленина в 42 томах. Перевод осуществлен по 4-му советскому изданию. 41-й том включает статьи, относящиеся к дооктябрьскому периоду. В 42-й

том вошли материалы, впервые опубликованные в 5-м советском издании.

• • •

СБОРНИК ИЗБРАННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В. И. ЛЕНИНА под названием «Британские рабочие и британский империализм» вышел в Лондоне. Книга содержит выдержки из работ Ленина об экономическом и политическом положении в Англии.

АРГЕНТИНА

«ЧЕЛОВЕК ВЕКА» — ТАКОЕ НАЗВАНИЕ НОСИТ СБОРНИК, выпущенный издательством «Космос», в который включены рассказы, воспоминания и другие материалы о В. И. Ленине. «Сейчас на земле нет ни одного отдаленного уголка, где не было бы известно великое имя Ленина,— говорится в предисловии к сборнику.— Оно стало любимейшим для трудящихся всего мира, превратилось для них в своего рода маяк, в Полярную звезду. Образ Ленина живет и вечно будет жить в сердцах всех прогрессивных людей». Среди имен авторов сборника — Горький, Маяковский, Луначарский, Бонч-Бруевич, Полевой и другие.

• • •

ПО СООБЩЕНИЯМ ПЕЧАТИ, СОГЛАСНО ПОСЛЕДНИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ, за период с 1918 по 1969 г. труды В. И. Ленина издавались в Аргентине 177 раз, включая полные Собрания сочинений, общим тиражом 1130 тыс. экземпляров. Согласно полученным данным, один экземпляр изданных в стране ленинских трудов приходится на 20 человек.

• • •

ИЗДАТЕЛЬСТВО «АНТЕО» ПЕРЕИЗДАЛО НЕДАВНО четыре работы В. И. Ленина: «Три источника и три составных части марксизма», «Апрельские тезисы», «Пролетарская революция и ренегат Каутский», «Революционная армия и революционное правительство».

БИРМА

ИЗВЕСТНЫЙ ПИСАТЕЛЬ У ТЕЙ ПЕ МЬИНИТ выступил в газете «Ботатаун» со статьей «Навстречу 100-летию Ленина».

В журнале «Схудаун» введена постоянная рубрика «100-летие Ленина», в которой напечатано немало информационных материалов и статей о вожде Октября.

БОЛГАРИЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАРОДНА КУЛТУРА» ВЫПУСТИЛО АНТОЛОГИЮ ПОЭЗИИ «Мир воспевает Ленина», в которую вошли произведения авторов многих стран. Валерий Брюсов, Владимир Маяковский, Сергей Есенин, Бертольт Брехт, Витезслав Незвал, Пабло Неруда, Назым Хикмет, Юлиан Тувим, Рафаэль Альберти, Владислав Броневский, Иоганнес Бехер, Николас Гильен, Леонид Мартынов, Кайсын Кулиев, Андрей Вознесенский, Александр Твардовский — таков далеко не полный перечень авторов этого сборника.

• • •

«ЛЕНИН И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» — книга Васила Колевского под таким названием выпущена издательством «Наука и изкуство». В книге три раздела: «Ленин, революция, литература», «Великие ленинские принципы» и «Утверждение ленинских принципов в болгарской литературе». По отзывам рецензентов, это первое в Болгарии обширное исследование важнейших ленинских положений о литературе.

• • •

ИЗДАТЕЛЬСТВО «БЛГАРСКИ ПИСАТЕЛ» подготовило к печати «Стихи о Ленине» Йордана Милева, сборник рассказов и повестей Пелина Велкова «Дуб Ленина», стихи Николая Зидарова «Песня ведет нас», а также литературный сборник «Живее всех живых», в котором помещены лучшие стихи, рассказы и очерки болгарских писателей всех поколений о В. И. Ленине.

• • •

ИНСТИТУТ ЛИТЕРАТУРЫ БОЛГАРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК подготовил сборник научных исследований, посвященных великой дате. В него вошли статьи болгарских авторов о влиянии Ленина и его учения на развитие литературы и искусства.

• • •

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК «ЛИТЕРАТУРЕН ФРОНТ», а также журналы «Септември» и «Пламк» объявили конкурсы на лучшие прозаические, стихотворные и публицистические произведения о Ленине и ленинизме. Премию за лучшее художественное произведение на ленинскую тему учредил Союз болгарских писателей.

• • •

СОФИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ТЕАТР им. И. ВАЗОВА показал премьеру «Кремлевских курантов» Н. Погодина. В апреле 1970 года в театрах Софии пройдет декада лучших спектаклей, посвященных ленинскому юбилею.

• • •

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ ПЛАКАТ, посвященный 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, который был объявлен ЦК БКП, Комитетом по искусству и культуре, Союзом болгарских художников, издательством «Наука и изкуство» и Комитетом болгаро-советской дружбы. Жюри приняло решение о при-

Плакат А. Балканского и Э. Добрева, удостоенный первой премии.
(Еженедельник «Народна култура»)

суждении первой премии плакату, выполненному Александром Балканским и Эмилом Добревым.

БУРУНДИ

В ЛУЧШЕМ КИНОТЕАТРЕ БУЖУМБУРЫ состоялся общественный просмотр советского фильма «В дни Октября». Это — шестой просмотр фильма о Ленине в столице Бурунди.

В Бужумбуре открыта выставка фотографий и книг о Ленине.

ВЕНГРИЯ

ПОЛВЕКА НАЗАД, в памятные дни Венгерской советской республики 1919 года, в Венгрии увидела свет работа В. И. Ленина «Государство и революция». Это был первый крупный ленинский труд, полностью изданный на венгерском языке. За 133 дня советской власти были опубликованы еще десять работ Владимира Ильича. Его произведения издавались нелегально и в мрачные годы хортистского режима. За четверть века, прошедшую со дня освобождения от фашизма, в Венгрии издано более ста ленинских трудов, тираж которых превысил три миллиона экземпляров.

* * *

ВЕНГЕРСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА «ЭЛЕТ ЭШ ИРОДАЛОМ» публикует серию статей видных литераторов, философов и историков страны, посвященную столетию со дня рождения В. И. Ленина. Серия открывается отрывком из предисловия к исследованию Дьердя Лукача о вожде мирового пролетариата, которое в ближайшее время издательство «Магветё» выпустит отдельной книгой. «В Ленине нет ничего такого,— пишет Лукач,— что хотя бы отдаленно напоминало самолюбование; успех не кружил ему голову, неудача его не обескураживала... Ленин — один из немногих великих людей, которым удалось добиться очень многого, самого существенного и именно на практике».

В большой статье «О Ленине, который знал людей» известный венгерский писатель Петер Вереш пишет: «Я нередко думаю о том, какой была бы Европа, каким был бы мир, если бы не было Ленина или если бы он не взял верх над доктринерствующими социалистами-лжереволюционерами. Вспомните: одна только Англия владела тогда четвертой частью земного шара!.. И в самой России только передовой класс, новые люди, передовые идеи смогли поднять ее великий народ к возрождению, которого не смеют отрицать даже враги».

* * *

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗЕНЕМЮКИАДО» выпустило сборник «Песни о Ленине», куда вошли произведения советских и венгерских композиторов. На обложке сборника — репродукция портрета Владимира Ильича, написанного венгерским художником Шандором Эком.

ВЕНЕСУЭЛА

ШИРОКУЮ ПРОГРАММУ МЕРОПРИЯТИЙ — лекции, выставки, конференции — в честь ленинского юбилея осуществил в Каракасе Центр друзей советской культуры и науки.

• • •

ПОД ОБЩИМ ЗАГОЛОВКОМ «ЛЕНИНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» в Каракасе выпущена серия брошюр, содержащая высказывания В. И. Ленина о партии рабочего класса и ее роли в переустройстве общества.

ДРВ

ИЗДАТЕЛЬСТВА ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ выпускают немало книг ко дню рождения В. И. Ленина. О детских и юношеских годах Володи Ульянова расскажут книги, подготовленные издательствами «Тхань ниен» и «Ким донг». Важнейшие статьи и высказывания Ленина по вопросам литературы и искусства включены в сборник, который выпустило к юбилею ханойское издательство «Ван хок». Очередные тома Собрания сочинений В. И. Ленина подготовило издательство «Шы тхат».

• • •

КОЛЛЕКТИВ ХАНОЙСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА подготовил постановку пьесы Н. Погодина «Кремлевские куранты», премьера которой приурочена к 22 апреля 1970 года.

• • •

В ГОРОДАХ И ДЕРЕВНЯХ ДРВ открыты выставки, повествующие о жизни и борьбе В. И. Ленина.

ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ОРГАН ГАЗЕТА «ЭБАНО» регулярно публикует материалы в связи с ленинским юбилеем; недавно она поместила обширную статью о В. И. Ленине.

• • •

В ГОРОДАХ РЕСПУБЛИКИ прошли выставки о Ленине и Советском Союзе.

ГДР

ЗА ГОДЫ НАРОДНОЙ ВЛАСТИ в Германской Демократической Республике издано более 12 миллионов экземпляров трудов В. И. Ленина и книг о нем.

Около 80 книг выпускают издательства ГДР к ленинскому юбилею. В их числе — художественная, общественно-политическая и научная литература. Институт марксизма-ленинизма подготовил «Ленинскую хрестоматию». Издательство географических карт в Готе выпустило карту «В. И. Ленин — этапы большой жизни». В мае нынешнего года будет организована «Неделя книги», посвященная великому юбилею.

• • •

ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ «ДИЦ-ФЕРЛАГ» выпустило в целом 50 произведений В. И. Ленина. Сейчас там выходит VII том писем В. И. Ленина, охватывающий период с ноября 1920 по июнь 1921 г.

Большой интерес общественности вызвал выход 40-томного Собрания сочинений Ильича.

• • •

ШЕСТЬ ЭССЕ ПОД ЗАГОЛОВКОМ «ЯЗЫК И СТИЛЬ ЛЕНИНА» вышли в издательстве «Фольк унд вельт». Книга открывается работой Фрица Мирау «Язык Ленина — язык литературы».

• • •

ЛЕЙПЦИГСКИЕ КОМПОЗИТОРЫ заканчивают работу над музыкальными произведениями, которые будут впервые исполнены в юбилейном году. Гейнц Краузе-Граумниц работает над «Ленинскими поэмами» для хора, Фред Малиге — над Второй симфонией и над кантатой по поэме Маяковского «Владимир Ильич Ленин», Эрхард Рагвиц — над кантатой, посвященной дружбе с Советским Союзом. «Мы хотим создать произведения, в которых

Фрагмент стенной росписи «Путь красного знамени» в Доме социалистической культуры в Дрездене; авторы росписи — Герхард Бондцин и Альфред Гессе.

(Еженедельник «Зонntаг»)

Одна из иллюстраций Герберта Зандберга к «Коммунистическому манифесту», опубликованная еженедельником «Зонntаг» в разделе «Новые работы».

будет отражена интернациональная солидарность, величие нашей жизни, развитие нашего социалистического общества, дружба с Советским Союзом»,— подчеркнули участники недавнего собрания членов окружного союза композиторов и музыковедов в принятой ими резолюции.

• • •

«ИЗ ЛЕНИНСКОГО НОВОГО МИРА» — так назвал свой струнный квартет в шести частях, посвященный Ленину, композитор Курт Форест. Этому же композитору принадлежат две кантаты, посвященные вождю Октября.

ЗАПАДНЫЙ БЕРЛИН

ГАЛЕРЕЯ им. В. В. МАЯКОВСКОГО при клубе Западноберлинского общества германо-советской дружбы провела серию мероприятий в честь ленинского юбилея. Были показаны документальные киноленты, запечатлевшие образ великого вождя, воспроизведены записи речей Ленина. Кроме того, Галерея подготовила к юбилею постановку по книге Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир» с участием молодых актеров западноберлинских театров.

ИНДИЯ

«ОЧЕРЕДНОЕ ПРИСУЖДЕНИЕ ЕЖЕГОДНЫХ ПРЕМИЙ ИМЕНИ ДЖАВАХАРЛАЛА НЕРУ (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 1, 1970) проходило под знаком ленинского юбилейного года,— заявил генеральный секретарь комитета по премиям, известный общественный деятель Индии К. П. С. Менон.— Среди нынешних лауреатов — лучшие из тех, чьи произведения помогли донести до индийского народа идеи и образ великого вождя мирового пролетариата и чей талант и труд способствовали укреплению дружбы между Индией и Советским Союзом.

Книги о Ленине и переводы его работ вышли на многих национальных языках Индии. Серию ленинских изданий, удостоенных премий, как уже сообщалось, открывают книги-ветераны: «Николай Ленин: его жизнь и деятельность», опубликованная на английском языке Г. В. Кришной Рао (Гунтур, 1921 год), «Николай Ленин — основатель русской демократии», изданная на маратхи Рамакришной Гопалом Бхиде (Бомбей, 1922 год). В те времена, когда буржуазная Западная Европа предавала анафеме главу первого в мире пролетарского государства, надо было обладать немалым мужеством, чтобы напечатать такие книги в Британской Индии»,— подчеркнул К. П. С. Менон.

Почетное место среди новейших ленинских изданий занимает вышедшая в Мадрасе на тамили книга «Ленин — вождь угнетенных». Это фундаментальный труд (400 страниц с иллюстрациями) известного писателя А. Л. Натараджана. Он же автор перевода «Воспоминаний о В. И. Ленине» Н. К. Крупской. С интересом читают индийские ребята «Рассказы о В. И. Ленине для детей», изданные одним из первых переводчиков советской литературы на маратхи писателем С. Х. Модаком. Статьи В. И. Ленина по вопросам пролетарской культуры изданы на том же языке в переводах Рагунатха Г. Карадкара. Президент Литературной академии штата Керала профессор Куттипужа Кришна Пиллай, удостоенный премии за издание на малаялам «Капитала» К. Маркса, готовит сейчас публикацию трехтомника «Избранные произведения Ленина». Заслуженной популярностью пользуется у читателей на гуджарати книга Нароттама Шаха «Ленин — биография великого революционера». Переводчик Г. К. Моханти познакомил читателей на языке ория с несколькими статьями советских авторов, вошедших в сборник «Ленин».

• • •

В КАЛЬКУТТЕ, ПО СООБЩЕНИЯМ ПЕЧАТИ, проведены семинары на тему «Ленин и Индия» и кинофестиваль о вожде Октября.

В штате Керала задолго до юбилея был создан организационный комитет. В столице штата — городе Тривандраме этот комитет провел несколько семинаров, посвя-

щенных отдельным ленинским работам. В городах штата были организованы фото- и книжные выставки, рассказывающие о жизни и деятельности основателя первого в мире социалистического государства. В здании Керальского университета функционирует выставка трудов В. И. Ленина и работ о нем, в колледжах и средних школах открылись «Ленинские уголки».

• • •

В ГОРОДАХ МАДУРАЙ И ТРИЧИНОПОЛИ организованы фотовыставки, посвященные ленинскому юбилею.

• • •

В ДЕЛИ СОСТОЯЛСЯ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР, посвященный жизни и деятельности В. И. Ленина — «великого вождя человечества», как сказал о нем, открывая заседание, министр информации, радиовещания и связи Индии Гуджрал.

Председательствовавший на вечере министр планирования и развития сельскохозяйственных районов Чандрасекхар отметил в своем выступлении, что В. И. Ленин был смелым борцом, великим мыслителем, великим руководителем и революционером, которому удалось претворить в действительность мечту о социальной справедливости и равенстве.

ИРАК

КАРТИНА, посвященная Ленину, молодого иракского художника Самира аль-Баяти, а также другие его работы (портреты Лермонтова, Зои Космодемьянской, пейзажи Баку, картина «В камере смертников» — о борьбе арабских народов против израильской агрессии) экспонируются на выставке живописи и графики в Багдаде, которую открыл министр культуры и информации Ирака Абдалла Саллум ас-Самарраи.

...Ленин изображен в момент произнесения речи с броневика у Финляндского вокзала Петрограда в апреле 1917 года. Автор картины — ныне студент архитектурного факультета Бакинского политехнического института.

• • •

«ЛЕНИНСКАЯ НЕДЕЛЯ» ПРОШЛА В МОСУЛЕ — крупнейшем городе на севере Ирака. Общественность города прослушала цикл лекций о Ленине. В кинотеатрах и по телевидению демонстрировались советские фильмы о вожде мирового пролетариата.

ИРАН

В ТЕГЕРАНЕ ОТКРЫТЫ ВЫСТАВКИ КНИГ И МАРОК, посвященные В. И. Ленину. Подготовлен к изданию сборник воспоминаний о Владимире Ильиче на персидском языке. Один из последних номеров журнала «Пейяме новин» целиком посвящен Ленину. Иранское радио организовало передачи об основателе Советского государства.

ИСЛАНДИЯ

В РЕЙКЬЯВИКЕ ПРОШЛА НЕДЕЛЯ СОВЕТСКИХ ФИЛЬМОВ, открывшаяся фильмом «Живой Ленин». Неделя была посвящена 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. На ее открытии присутствовал президент Исландии доктор Кристиаун Эльдъяурн.

ИТАЛИЯ

ПЕРВЫЕ РАБОТЫ В. И. ЛЕНИНА на итальянском языке появились в начале 20-х годов; это были «Государство и революция» и «Детская болезнь «левизны» в коммунизме».

В начале 1970 года, как сообщает печать, завершено издание на итальянском языке полного Собрания сочинений В. И. Ленина в 45 томах, осуществленное издательством «Эдитори риюнити». Перевод на итальянский язык произведений В. И. Ленина, вошедших в это издание, был начат в 1954 году и потребовал пятнадцати лет напряженного труда девятнадцати высококвалифицированных переводчиков и специальной редакции. Главный редактор издательства «Эдитори риюнити» Джузеппе Гарритано рассказал корреспонденту газеты «Унита», что среди переводчиков ленинских работ в свое время был Пальмиро Тольятти. В период с 1936 по 1941 год он сотрудничал в московском Издательстве литературы на иностранных языках и перевел на итальянский язык несколько работ Ленина. Переводы, сделанные Тольятти, позже вошли в двухтомник избранных произведений В. И. Ленина. Большую роль в подготовке к изданию ленинских произведений сыграли Луиджи Амедзи, Феличе Платоне и Елена Монтаньяна Роботти, которая и по сей день занимается подготовкой к печати трудов Ленина и отдает этой работе весь свой богатый опыт и знания.

Многие работы В. И. Ленина были опубликованы издательством «Эдитори риюнити» в 1967 году в однотомнике «Избранные произведения» (сейчас выходит уже третье его издание).

* * *

ИЗВЕСТНЫЙ ПИСАТЕЛЬ ДЖАННИ РОДАРИ недавно совершил поездку в Советский Союз. Он посетил места, связанные с детскими и юношескими годами В. И. Ленина. В результате появилась серия репортажей, опубликованных в газете «Паэзе сера». Родари описывает свое путешествие по Волге, а также Ульяновск, Казань, село Кокушкино, где проходила первая ссылка Ильича.

Обложка нового членского билета Итальянской коммунистической партии.

(Газета «Унита»)

В ОДНОМ ИЗ ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАЛОВ МИЛАНА открылась выставка работ художника Джанджакомо Спадари. На выставке представлена серия портретов революционных деятелей всех стран на протяжении XVIII—XX столетий. Центральное место в экспозиции занимает портрет В. И. Ленина.

* * *

КИНОСТУДИЯ «УНИТЕЛЕФИЛЬМ» создала документальный короткометражный фильм «Ленин живой». Фильм длится 31 минуту и состоит из кинокадров и фотографий, снятых при жизни Ильича. С экрана звучит голос Ленина.

* * *

ЖУРНАЛ ОБЩЕСТВА «ИТАЛИЯ—СССР» «Реальта совьетика» из номера в номер печатает материалы о В. И. Ленине. В специальном апрельском номере журнала все материалы посвящены ленинскому юбилею.

Общество «Италия—СССР» проводит «Ленинскую неделю», центральные мероприятия которой проходят в Риме и Милане. В программе «Недели» — просмотры художественных и документальных фильмов о Ленине, фотовыставки, лекции.

* * *

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭДИТОРИ РИУНИТИ» выпустило пластинку с записью выступлений В. И. Ленина.

ЮЖНЫЙ ЙЕМЕН

ЕЩЕ В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА В АДЕНЕ был создан специальный комитет по организации мероприятий, посвященных ленинскому юбилею. Газета «Саут аль-уммаль» — орган Всеобщей федерации труда Народной Республики Южный Йемен — опубликовала воззвание этого комитета. «Имя Ленина,— сказано в воззвании,— неразрывно связано с революционной борьбой, которую ведут силы национально-освободительного движения, с борьбой арабских народов против империализма и феодализма, за освобождение, единство и прогресс».

По решению юбилейного комитета печать, радио и телевидение в стране постоянно знакомят читателей, слушателей и зрителей с жизнью и деятельностью В. И. Ленина. С 15 по 22 апреля в Южном Йемене проводится «Ленинская неделя», в ходе которой организуются вечера и художественные выставки, посвященные памяти великого вождя трудящихся.

К ленинскому юбилею министерство связи Южного Йемена выпустило специальную почтовую марку. Именем Ленина решено назвать одну из улиц столицы.

КОЛУМБИЯ

ЖУРНАЛ «ДЕСАРОЛЬО ИНДОАМЕРИКАНО», издающийся в Колумбии и пользующийся популярностью в латиноамериканских странах, публикует статьи и фотоматериалы о В. И. Ленине.

«Нынешнее десятилетие начинается со знаменательной даты: 100-летия со дня рождения Ленина,— говорится в передовой статье одного из последних номеров журнала.— Юбилей гения социалистической революции, который повел свой народ по пути освобождения и строительства нового общества без эксплуататорских классов, имеет огромное значение для народов нашего и других континентов, ведущих борьбу за свободу».

* * *

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭДИСЬОНЕС СУРАМЕРИКА» подготовило к выпуску серию брошюр о В. И. Ленине и влиянии ленинизма на общественно-политическую жизнь Колумбии. Известный драматург и театральный режиссер Карлос Хосе Рейес написал работу о взглядах Ленина на литературу и искусство.

* * *

СЕМИНАРЫ ПО ЛЕНИНСКИМ РАБОТАМ, фотовыставки и кинофестивали, а также митинги, посвященные В. И. Ленину, прошли в городах Богота и Медельин.

* * *

ОТДЕЛЬНОЙ БРОШЮРОЙ ВЫПУЩЕН В БОГОТЕ доклад о В. И. Ленине писателя-коммуниста Хосе Арисалы, с которым он

выступил перед руководящими деятелями профсоюзов. В заключительной части доклада подчеркивается, что «учение и деятельность Ленина привели к коренному преобразованию мира».

* * *

ЖУРНАЛ «ЭНФОКЕ ИНТЕРНАСИОНАЛЬ» провел конкурс на лучшее знание биографии В. И. Ленина. Первая премия — 12-дневная поездка в Советский Союз — присуждена студенту 3-го курса юридического факультета Национального университета Колумбии О. Вильегасу. Остальные премии получили: полковник Л. Гальвис, католический священник А. Гарсиа, венесуэльский служащий Ф. Санчес и лиценциат философии из Эквадора Маргарита Мальдонадо.

НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО

В ЗДАНИИ МЭРИИ СТОЛИЦЫ РЕСПУБЛИКИ прошла выставка «Великий вождь пролетариата в изобразительном искусстве», на которой экспонировались плакаты и репродукции с картин советских художников, посвященные жизни и деятельности В. И. Ленина.

* * *

ХУДОЖНИКИ, СКУЛЬПТОРЫ И ПИСАТЕЛИ Народной Республики Конго участвуют в конкурсе на лучшее произведение, посвященное вождю Октября.

* * *

БРАЗЗАВИЛЬСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ осуществило серию передач о В. И. Ленине, которая была начата советским фильмом «В дни Октября».

* * *

В СТОЛИЦЕ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ КОНГО открыта выставка «Марки рассказывают о Ленине».

КНДР

НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА изданы за годы народной власти общим тиражом свыше 3,5 млн. экземпляров. В их числе — 35-томное издание Собрания сочинений В. И. Ленина.

По сообщению газеты «Нодон синмун», в КНДР подготовлено юбилейное издание ленинских трудов.

* * *

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, посвященная 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, прошла в Академии общественных наук КНДР. На конференции были прочитаны доклады: «Ленин — гений революции, открывшей эру социализма» и «Ленинское учение об империализме».

КОСТА-РИКА

СОТНИ РАБОЧИХ, СТУДЕНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ присутствовали в порту Лимон на лекции о В. И. Ленине, которая была прочитана членом ЦК партии Народный авангард Коста-Рики Умберто Варгасом.

КУБА

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ И ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ КУБЫ осуществил обширную программу мероприятий в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. Первым из них было торжественное заседание в гаванском Дворце изящных искусств, на котором с докладом «Столетие Ленина» выступил президент Союза писателей и деятелей культуры Кубы лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» поэт Николас Гильен.

«Сто лет в геологии — это вспышка молнии, капелька воды в океане,— сказал Николас Гильен.— Иначе в истории: минувшее столетие стало свидетелем глубочайших изменений в политической и экономической структуре общества... Жизнь Ленина не была долгой, однако какой она была волнующей, интенсивной, полной! И когда Ленин ушел от нас, он оставил жизнеспособное, могущественное государство с широкими перспективами на будущее, рождение которого открыло новые пути для прогресса человечества».

Докладчик подчеркнул значение величайшего вклада Ленина в пролетарскую и мировую культуру, отметил важнейшие принципы подхода Ленина к литературе и искусству, его глубокий интерес к творчеству отдельных писателей и деятелей культуры.

В январе — феврале 1924 года газеты буржуазной Кубы под крупными заголовками сообщали о кончине В. И. Ленина, отдавая дань его величию.

(Газета «Гранма»)

«Еще до окончания нынешнего века,— сказал в заключение Николас Гильен,— ленинские идеи победят в новых районах земного шара, и близко то время, когда победа будет всеобщей».

* * *

ПИСАТЕЛИ И ДЕЯТЕЛИ ИСКУССТВ КУБЫ выступают перед трудящимися с докладами на темы: «Гуманизм Ленина», «Ленин и Горький», «Ленин и его взгляд на литературу», а также с чтением стихов о вожде Октября.

* * *

ВЫШЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМЕРА журнала «Уньон» и ежемесячника «Гасета де Куба» со статьями писателей о Ленине.

Проведен конкурс мастеров плаката; коллектив скульпторов трудится над созданием монументальной скульптуры В. И. Ленина.

* * *

КУБИНСКИЙ ИНСТИТУТ КНИГИ подготовил к выпуску: биографию Ленина, «Рассказы о Ленине», сборник «Военные документы Ленина», включающий его высказывания о вооруженных силах и выступления перед бойцами Красной Армии.

Готовится к печати сборник поэм и стихотворений, посвященных Ильичу.

* * *

ЖУРНАЛ «МУХЕРЕС» — орган Федерации кубинских женщин — из номера в номер публикует статьи о вожде Октября.

* * *

«ЛЕНИН И ТРУДЯЩИЕСЯ» — таково название литературного конкурса, который проводит Профцентр трудящихся Кубы в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина.

* * *

КУБИНСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИОВЕЩАНИЯ осуществил обширную серию радио- и телевизионных передач, посвященных ленинскому юбилею. В их числе — инсценированные отрывки из произведений советских писателей — Горького, Шолохова, Лавренева, Соболева и других, фильмы об Октябрьской революции и ее вожде, радиоспектакль по книге Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир», а также специально подготовленные репортажи под названием «Ленин и Куба».

* * *

КУБИНСКИЕ КОМИТЕТЫ ЗАЩИТЫ РЕВОЛЮЦИИ учредили почетный знак «Столетие В. И. Ленина», которым награждаются наиболее активные организаторы выставок, кинофестивалей, конкурсов в честь ленинского юбилея.

МЕКСИКА

ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ И КУЛЬТУРНОГО ОБМЕНА «Мексика — СССР» проводит Национальный конкурс среди писателей и журналистов Мексики на тему: «Значение Ленина в современной культуре». Согласно условиям конкурса, произведения, которым будут присуждены первая и вторая премии, будут опубликованы в «Ленинской культурной серии», издаваемой Институтом дружбы и культурного обмена.

МОНГОЛИЯ

НАД ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ О В. И. ЛЕНИНЕ, Сухэ-Баторе, о советско-монгольской дружбе работают художники, скульпторы, мастера народного прикладного искусства. Среди новых работ — полотна «Ленин вечен» Ч. Одона, «50 героических лет» Д. Амгалана, «В. И. Ленин — вождь и друг монголов» Б. Доржсурэна, картина Б. Гомбосурэна, посвященная Сухэ-Батору, скульптуры «Вечная дружба» Чоймбала, «Незабываемая встреча» Л. Махбала и др.

* * *

В ГОБИ-АЛТАЙСКОМ АЙМАЧНОМ МУЗЕЕ хранится портрет В. И. Ленина, выполненный из дерева еще в 30-е годы аратом Доржем из кочевья Захын Зарман на юго-востоке Монголии.

«Мы гордимся тем, что наряду с профессиональными художниками у нас есть народные мастера, посвятившие себя работе над образом В. И. Ленина,— сказал в беседе с корреспондентом ТАСС директор музея Довчин.— Произведения, запечатлевшие образ Ильича, составят основу выставки, которую мы создаем в честь столетнего юбилея вождя мирового пролетариата».

НЕПАЛ

В КАТМАНДУ НА НЕПАЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ издается бюллетень «Юбилей Ленина». Бюллетень сообщает о праздновании 100-летия со дня рождения В. И. Ленина в различных странах мира; в нем печатаются документальные материалы о Ленине.

ОАР

ПРЕССА ОАР И ДРУГИХ АРАБСКИХ СТРАН публикует много материалов, посвященных жизни и деятельности В. И. Ленина.

Журнал «Аль-Кятиб» опубликовал серию статей о вожде Октября. Одна из первых статей в этой серии — «Ленин и национально-освободительное движение». «Ленин так досконально знал жизнь народов Азии, Африки и Ближнего Востока, словно жил среди этих народов и испытал их страдания»,— писал автор статьи Саид ат-Таих.

ПАКИСТАН

В ГОРОДАХ И ДЕРЕВНЯХ ВОСТОЧНОГО ПАКИСТАНА проходит празднование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина.

За несколько месяцев до юбилея начали работать семь семинаров, посвященных жизни и деятельности Ленина, были организованы выставки фотоснимков, картин и плакатов; проводились кинофестивали и спортивные соревнования.

• • •

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛИБЕРТИ ПРЕСС» выпустило на языке урду книгу пакистанского журналиста Бахтиара Идриса «Ленин и народное образование в СССР».

ПОЛЬША

ОБЩЕСТВО ПОЛЬСКО-СОВЕТСКОЙ ДРУЖБЫ выпустило библиографию сочинений Ленина и книг, посвященных вождю пролетариата, вышедших в Польской Народной Республике.

Как явствует из приведенных данных, за 25 лет в ПНР было выпущено 217 трудов В. И. Ленина; их общий тираж достиг 9 млн. экземпляров. Издательство «Ксёнжка и ведза» в 1966 году закончило выпуск 40-томного издания Полного собрания сочинений В. И. Ленина. В дополнение к нему то же издательство подготовило к печати три тома ранее не публиковавшихся трудов Ленина.

Издательства «Искры», «Наша ксенгарня», Министерства национальной обороны выпустили работы, посвященные теоретическому наследию, жизни и деятельности Ленина. В их числе — несколько сборников воспоминаний поляков, которые встречались с Лениным, когда он жил в Кракове и Поронине, а также свидетельства поляков — участников Октябрьской революции.

К 50-летию Советской власти в издательстве «Ксёнжка и ведза» вышел сборник «На рубеже эпох», где были собраны воспоминания польских революционеров об Октябрьской революции и ее вожде, а также — о гражданской войне в России.

• • •

В КРАКОВЕ ВЫШЛА КНИГА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ «Дорогой Ленина», которая в популярной форме рассказывает о жизни и деятельности Ильича. Как сообщает печать, особое внимание в книге уделяется годам пребывания Владимира Ильича в Польше.

• • •

В МУЗЕЕ ЛЕНИНА В ПОРОНИНЕ открылась новая экспозиция. Она иллюстрирует пребывание Ленина в Подгалье в 1913—1914 гг.; многие документы ранее не экспонировались в польских музеях. Это, в частности, карты, иллюстрирующие переписку Ленина с революционерами всего мира и места нелегальных переходов через границы, которыми пользовались посланцы Ленина, поддерживавшие связь между ним и важнейшими рабочими центрами России.

• • •

«ЛЕНИН О ПЕЧАТИ» — ТАК НАЗЫВАЕТСЯ СБОРНИК, изданный Краковским институтом теории печати. Он содержит подобранные в хронологическом порядке выдержки из статей, выступлений и писем Ленина, а также целиком те статьи, речи и письма, которые тематически относятся к средствам массовой информации. Этот сборник — результат многолетнего труда научного работника Марии Русс.

Кузнец металлургического комбината им. Ленина Станислав Саганяк создал скульптурный портрет вождя Октября из листовой латуни.

(Еженедельник «Польское обозрение»)

• • •

В ДЕНЬ 100-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА в г. Нова Гута близ Кракова в Аллее роз состоится торжественная закладка памятника вождю Октябрьской революции. Этому событию предшествовал общепольский конкурс на лучший памятник Ильичу, в котором приняли участие многие скульпторы страны. В Кракове открыта выставка проектов памятника. Готовится специальный альбом репродукций всех работ, присланных на конкурс.

• • •

В ВАРШАВЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА с исполнителями ролей Ленина на польских сценах — артистами Игнацы Маховским и Феликсом Жуковским. Они выступали в пьесах «Человек с ружьем», «Третья патетическая» Погодина и «Шестое июля» Шатрова. Артисты поделились воспоминаниями о работе над этой трудной и ответственной ролью, говорили об источниках, к каким они прибегали при ее подготовке.

Феликс Жуковский — первый исполнитель роли Ленина в Польше — сказал, что намеревается на малой сцене Театра им. Ярача в Лодзи поставить одноактную пьесу «День Ленина».

БИБЛИОГРАФИЮ «В. И. ЛЕНИН В 100-ю ГОДОВЩИНУ со дня рождения» подготовили воеводская и городская библиотеки в Кошалине. Работа содержит обширный перечень произведений и статей Ленина и о Ленине, а также художественных произведений: поэзии и прозы, драматургии и кино, посвященных вождю Октябрьской революции.

Библиография открывается подробным перечнем дат жизни и деятельности В. И. Ленина, затем следует указатель его работ, опубликованных в Народной Польше.

Библиографию дополняет указатель названий художественных и документальных фильмов о Ленине, пьес и музыкальных произведений, посвященных Ильичу. Приводятся цитаты, раскрывающие отношение Ленина к отдельным книгам и к чтению вообще, а также список псевдонимов, которыми Владимир Ульянов подписывал свои работы.

РУМЫНИЯ

ПЕРВЫЕ ПЕРЕВОДЫ И ПУБЛИКАЦИИ работ В. И. Ленина на румынском языке относятся к 1912 году, сообщил в статье, опубликованной журналом «Лупта де класэ», главный редактор Издательства политической литературы И. Симион.

К нынешнему юбилею Издательство подготовило сборники: «В. И. Ленин. Избранные произведения» и «Ленин. Документы, воспоминания», куда включены письма вождя мирового пролетариата к деятелям румынского рабочего движения. Кроме того, завершен выпуск 55-томного Собрания сочинений В. И. Ленина.

Всего за годы народной власти в Румынии, пишет И. Симион, труды Ленина были изданы общим тиражом 6 406 тыс. экземпляров.

* * *

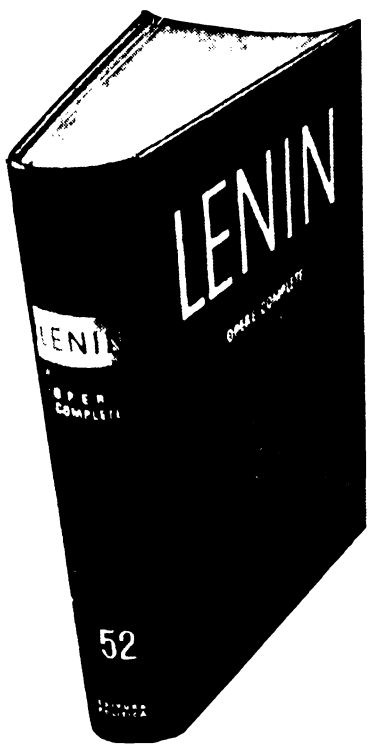
ГОРОДСКОЙ ТЕАТР ТИМИШОАРЫ подготовил к ленинскому юбилею сценический монтаж, в который вошли отрывки из поэм, а также стихотворения о Ленине поэтов Советского Союза, Румынии и других стран.

* * *

АКАДЕМИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК им. Штефана Георгиу, Институт исторических и социально-политических исследований при ЦК Румынской компартии и Академия Социалистической Республики Румынии провели научную сессию на тему: «Ленинизм и победа социализма в Румынии».

Один из последних томов Собрания сочинений В. И. Ленина, выпущенный Издательством политической литературы в Бухаресте.

(Журнал «Румынские горизонты»)



СЕНЕГАЛ

В ДАКАРЕ СОСТОЯЛСЯ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР сенегальской общественности, посвященный ленинскому юбилею, на котором присутствовали государственные и общественные деятели страны. На вечере были показаны фильмы «Живой Ленин» и «Железный поток». Газета «Дакар матэн» писала: «Уникальные кадры, запечатлевшие образ живого Ленина, представляют несомненный интерес для нашего поколения, а фильм по роману Серафимовича воскрешает героическую историю становления Советской страны».

США

ЛЕКЦИЕЙ НА ТЕМУ «ЛЕНИНИЗМ И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ», с которой выступил Генеральный секретарь компартии США Гэс Холл, в Центре марксистского образования в Нью-Йорке начались еженедельные ленинские чтения.

* * *

СТАТЬИ И ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ о В. И. Ленине постоянно публикуются журналами «Политикал афферс», «Лэнгуидж пресс» и газетой «Дейли уорлд».

Издательство «Интернэшнл паблишерс» подготовило серию брошюр о вожде мирового пролетариата, которая включает биографию В. И. Ленина и анализ основных его работ.

Осуществлено новое издание ленинского «Письма к американским рабочим».

• • •

ГАЗЕТА «НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС» поместила статью под заголовком: «Большой год в Советском Союзе — 100-летие со дня рождения Ленина», где информирует читателей об основных мероприятиях юбилейных торжеств в Советском Союзе. На газетной полосе воспроизведены два фотоснимка: одного из памятников Ленину и длинной очереди перед Мавзолеем.

ТАНЗАНИЯ

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ДАР-ЭС-САЛАМА прошла выставка советской книги в честь ленинского юбилея. На ней было представлено свыше 500 наименований различных советских изданий — труды основоположников марксизма-ленинизма, художественная литература и периодические издания, а также грампластинки и почтовые марки.

УРУГВАЙ

ВЫСТАВКИ «ЛЕНИН И ИСКУССТВО», «По ленинским местам», «Там, где жил Ленин» организованы Уругвайско-советским институтом. В городах и селах страны читаются лекции о жизни и деятельности В. И. Ленина.

• • •

В ПРИЛОЖЕНИИ К ГАЗЕТЕ «ПОПУЛАР», выходящей в Монтевидео, опубликованы материалы о Ленине и Октябрьской революции.

ФИНЛЯНДИЯ

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «КАНСАНКУЛТТУУРИ» («Народная культура») в Хельсинки вышел сборник воспоминаний финских рабочих и революционеров, встречавшихся с В. И. Лениным во время его многократных поездок в Финляндию. В тридцати рассказах сборника «Ленин в воспоминаниях финнов», с большой теплотой, по словам критика газеты «Кансан уутисет», повествуется о том, как Ленина старались уберечь от преследований царской охранки, как помогали в его сложной и многотрудной деятельности. Особенно подчеркиваются в воспоминаниях огромная эрудиция, трудолюбие и скромность вождя Октября.

• • •

В ХЕЛЬСИНКИ ПРОШЕЛ ДВУХДНЕВНЫЙ СЕМИНАР на тему «Власть и революция», посвященный 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Отметив важную роль основателя Советского государства в самоопределении народа Финляндии, один из докладчиков — Унто Миеттинен — сказал: «Финны, и в особенности финские коммунисты, имеют веские основания отдать в юбилейном году дань уважения памяти Владимира Ильича Ульянова-Ленина, его жизни и деятельности».

• • •

ВЫСТАВКИ КНИГ И ФОТОГРАФИЙ, просмотры фильмов, посвященных В. И. Ленину, конкурс на лучшее знание биографии вождя пролетарской революции проведены молодежной секцией общества «Финляндия — Советский Союз».

• • •

В ХЕЛЬСИНКИ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА, посвященная В. И. Ленину. Там же прошла Неделя советских фильмов в честь ленинского юбилея.

ФРАНЦИЯ

«ЛЕНИНИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ БИТВЕ ИДЕЙ» — под таким названием в «Новом университете» Парижа (демократическое учебное заведение, созданное Французской компартией для пропаганды и распространения марксизма-ленинизма среди рабочей и студенческой молодежи) состоялись цикл лекций, а также конференции в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина.

• • •

В БОРДО, ДИЖОНЕ, НИЦЦЕ, ЛИОНЕ, ЛИЛЛЕ, ТУРЕ, ПЕРПИНЬЯНЕ, КЛЕРМОН-ФЕРРАНЕ и других французских городах прошли фестивали советских фильмов в честь ленинского юбилея.

• • •

ФИРМА ГРАМЗАПИСИ «ШАН ДЮ МОНД» выпустила в честь ленинского юбилея серию долгоиграющих пластинок. Среди них: одиннадцать русских революционных песен и запись голоса Ленина; Шостакович, Двенадцатая симфония опус 112, посвященная памяти Ленина. В этой же серии выпущены кантата Прокофьева «К 20-летию Октября» и Патетическая оратория Свиридова «Владимир Маяковский».

• • •

«ЛЕНИН ЖИВОЙ» — так озаглавлена книга эссе Жоржа Коньо, выпущенная издательством «Эдисьон сосиаль». Первый том книги озаглавлен «Этапы героической жизни», второй — «Исторические судьбы ленинизма».

«Биографическое эссе Коньо особо подчеркивает и выделяет то, что всегда было сущностью и содержанием жизни Ленина,— его неустанную творческую энергию, направленную на развитие марксистских концепций и их защиту от ревизионистов и фальсификаторов»,— писал в газете «Юманите» рецензент Франсуа Бийу. Предисловие к книге Коньо написано Вальдеком Роше.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

СБОРНИК «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МИНУТЫ» вышел в пражском издательстве художественной литературы «Одеон». В сборник включены воспоминания видных чешских деятелей, встречавшихся с Лениным: Богумира Шмераля, Антонина Запотоцкого, Ивана Ольбрахта и других. Кроме того, там помещены стихи и очерки чешских прозаиков и поэтов, навеянные впечатлениями как от личных встреч с Лениным, так и от посещений его кабинета в Кремле, дома в Горках, Мавзолея: Я. Глазаровой, Ф. Галаса, Й. Горы, К. Конрада, Я. Копецкого, М. Майеровой, В. Незвала, Т. Святоплука, Г. Велички.

Издательство «Ческословенски списователь» подготовило к юбилею сборник стихотворений под названием «Ленин 100». Составители сборника Отакар Могила и Йозеф Румлер включили в него лучшие стихи поэтов — современников Ленина, которые выразили свое отношение к нему с максимальной достоверностью и непосредственностью. В сборник вошли стихи Й. Горы, Я. Сейферта, К. Библа, В. Незвала, Ф. Галаса, К. Томана и В. Завады. Сборник дополнен выдержками из произведений В. И. Ленина и большим количеством фотографий.

* * *

КНИГУ «В. И. ЛЕНИН. ПИСЬМА К МАТЕРИ» выпускает «Лидове накладателстви». Там же выходит иллюстрированное издание «Ленин вечно живой». Это сборник документов и фотографий о жизни Ленина, в который включена также его краткая биография и статья о нем президента ЧССР Людвика Свободы.

* * *

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СВОБОДА» ПОДГОТОВИЛО К ВЫПУСКУ заключительный, 45-й том Собрания сочинений В. И. Ленина. Том содержит корреспонденцию Ленина с 1917 по 1923 г. В связи с завершением выпуска Собрания сочинений издательство в ближайшее время выпустит «Библиографию сочинений и трудов Ленина», выпущенных издательством «Свобода». Книга будет содержать предисловие об истории издания произведений Ленина на чешском языке и воспоминания одного из первых переводчиков Ленина — профессора Ярослава Прохазки.

ЧИЛИ

«ЛЕНИНСКАЯ НЕДЕЛЯ» прошла в государственном университете в Сантьяго. На философском факультете университета были прочитаны доклады о жизни и деятельности В. И. Ленина. В университете состоялись просмотры советских художественных фильмов о Ленине, открыта выставка, посвященная вождю Октябрьской революции.

Студенты центра славянских исследований провели вечера, на которых прочли на русском языке стихотворения и отрывки из прозаических произведений, посвященные Ленину.

* * *

«Я ПРЕКЛОНЯЮСЬ ПЕРЕД ВЕЛИЧИЕМ Владимира Ильича Ленина, перед его всеобъемлющим гением, перед человеком, открывшим и положившим начало целой эпохе в истории человечества, эпохе социализма и коммунизма. Я преклоняюсь перед человеком, который посвятил всего себя без остатка подготовке самого потрясающего события нашего столетия — Октябрьской социалистической революции, изменившей лицо мира и ход истории»,— заявил в связи со 100-летним юбилеем В. И. Ленина известный поэт Пабло Неруда.

ШВЕЦИЯ

НЕДАВНО ИЗ КОРОЛЕВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ШВЕЦИИ в адрес Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина была отправлена не совсем обычная посылка: вместо книг, которыми регулярно обмениваются библиотеки, в конверт была положена грампластинка. На ней записана песня Бельмана «Над Хагой бабочка порхала...» в исполнении известного шведского певца Андерса Берье.

Ленин впервые услышал эту песню в конце 1907 года, когда приехал в Стокгольм из Финляндии. Он остановился тогда в гостинице «Мальмстен», недалеко от старого города, и должен был ждать приезда из России Н. К. Крупской, чтобы затем продолжить путь в Швейцарию...

Все, кто посещает ныне Королевскую библиотеку, видят в ее читальном зале ценную реликвию — старинный стол с книжной полкой и надписью на трех языках о том, что в 1907 и 1910 годах на этом месте работал Владимир Ильич. Директор библиотеки Уно Виллерс нередко предлагает при этом послушать песню Бельмана: в соседней комнате он включает проигрыватель — и посетители слышат мелодию, полюбившуюся Ильичу.

ЮГОСЛАВИЯ

ВПЕРВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА были переведены и опубликованы на территории нынешней Югославии в 1904 году. С того времени до наших дней работы В. И. Ленина издавались на языках народов Югославии 5 500 раз общим тиражом 2 300 тыс. экземпляров. Ленинское слово вдохновляло борцов-антифашистов: в годы гитлеровской оккупации подпольные типографии выпустили около 200 работ вождя мирового пролетариата.

В настоящее время, по постановлению ЦК Союза Коммунистов Югославии, начинается выпуск Собрания сочинений

В. И. Ленина в 40 томах на сербохорватском языке. Выпуск первого тома приурочен к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина.

ЯПОНИЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ОЦУКИ СИОТЭН» выпускает избранные произведения В. И. Ленина в 10 томах.

* * *

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА ЛУЧШИЕ СТАТЬИ О ЛЕНИНЕ; статьи победителей конкурса будут опубликованы в журнале «Гэккам гакусю».

* * *

ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ КНИГОТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ ЯПОНИИ «Тохан» провела выставку советской книги в честь ленинского юбилея, на которой было представлено около 950 наименований книг. В их числе — Полное собрание сочинений В. И. Ленина и воспоминания о нем современников.

100-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА отмечается также в ООН.

Еще в 1968 году Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла резолюцию о проведении мероприятий в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина и, в частности, об организации симпозиума на тему: «Ленин и вопросы развития науки, культуры и образования». В марте прошлого года резолюция о проведении ленинского юбилея была принята другим органом ООН — Комитетом по правам человека. В резолюции отмечался «большой практический и теоретический вклад выдающегося гуманиста В. И. Ленина в развитие и осуществление экономических, социальных прав и прав в области культуры».

За несколько недель до ленинского юбилея в здании штаб-квартиры ООН на Ист-Ривер в Нью-Йорке открылась книжная выставка, посвященная В. И. Ленину. Выставка размещена в одном из самых больших залов библиотеки ООН. Ленинская выставка, рассказал представителям печати директор библиотеки ООН Л. И. Владимиров, организована из новейших изданий, присланных в дар библиотеке ООН Библиотекой им. Ленина в Москве. Среди экспонируемых здесь изданий (на русском, английском, арабском и других языках) — «В. И. Ленин о литературе и искусстве», «Ленин и историческая наука», «Письма В. И. Ленину из-за рубежа».

* * *

ДРУГОЕ ЮБИЛЕЙНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ в стенах ООН проводится Клубом русской книги. Клуб показал два фильма о Ленине — «Сердце матери» и «Ленин в Польше» — и организовал две экспозиции: книжную и фотовыставку, посвященную Ильичу.

В подборе материалов для выставок Клуб также руководствовался решениями ЮНЕСКО и Комитета по правам человека. За пятилетнюю историю нашего Клуба, заявил его президент В. А. Соколов, юбилейные ленинские мероприятия неизменно вызывали интерес у членов Клуба и его друзей.

Выставки в ООН, посвященные 100-летию со дня рождения вождя трудящихся всего мира, с интересом восприняты посетителями.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художественный редактор **С. И. Мухин.**
Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**

Адрес редакции:
Москва, Пятницкая ул., д. 41.
Телефон 233-51-47.

А 05974.
Сдано в производство 6/II-70 г.
Подписано к печати 18/III-70 г.
Бумага 70×108$^{1}/_{16}$=9 бум. л.=18 п. л. (25,2)+2 вкл.
Уч.-изд. листов 28,32. Зак. 484.

Типография
«Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова,
Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394